

## ПРОЛОГ

### В ВЫСШИХ СФЕРАХ

Как обычно в подобных случаях, в высших сферах царило тогда лукавое удовлетворение, сдержанное злорадство, сквозившее при встречах во взглядах из-под скромно опущенных ресниц и в уголках губ. Вот и опять переполнилась чаша долготерпенья, настал черед справедливости, и вопреки Собственному Желанию, наперекор Своему же замыслу, пришлось под натиском царства строгости (дай волю этому царству, и мира, пожалуй, вообще не стало бы, хотя и на чересчур мягком фундаменте сплошной кротости и безграничного милосердия построить мир тоже никак нельзя было) — пришлось, к величественному Своему огорчению, вмешаться и навести порядок, разрушить, уничтожить, снова сровнять с землей — точь-в-точь как во время потопа, как в день серного ливня, когда щелочное озеро поглотило нечестивые города.

Теперешняя уступка справедливости была, правда, иного объема и стиля, она не достигла такой суровости, как в памятный миг величайшего раскаянья и нещадного затопления или хотя бы как в тот раз, когда люди Содомы, с их порочным представлением о красоте, чуть было не взыскали с двоих из нас некий несказанный оброк. На сей раз не сгнули, не провалились в тартарары ни человечество, ни какая-то его вопиющим образом извратившая свои пути часть, о нет, ибо на сей раз речь шла всего-навсего об одном, особенно, правда, красивом и заносчивом, особенно отмеченном участием, пристрастием и далеко идущими замыслами представителе той породы, которую нам посадили на шею, следуя одному странному, слишком хорошо известному наверху рассуждению, издавна вызывавшему там, помимо горечи, не совсем несправедливую надежду, что вскорости горечь станет уделом того, кто выносил и осуществил эту обидную мысль. «Ангелы, — так звучала она, — созданы по нашему образу и подобию, только бесплодны. Животные, наоборот, плодятся, но они не созданы по нашему образцу. Сотворим же человека — подобие ангелов, но существо плодовитое».

Абсурд. Мало сказать — излишество: нелепость, причуда, чреватая горечью и раскаяньем. Спору нет, «плодовиты» мы не были. Мы были личными слугами света и заодно тихими царедворцами, а что касается истории о том, как мы когда-то входили к дочерям человеческим, то это беспардонная мирская сплетня. Но что бы нам ни приписывали и каких бы побочных, довольно-таки любопытных сверхживотных значений ни имело это животное преимущество «плодовитости» — мы, «бесплодные», во всяком случае, не пили кривду, как воду, — и Он еще увидит, до чего доведут Его эти его плодовитые ангелы: пожалуй, даже до признания, что Всемогущему, который умеет владеть собой и мудро радеет о собственной беззаботности, следовало бы навсегда удовлетвориться нашим почтенным существованием.

Всемогущество и неограниченность воли и выдумки при сотворении простым «Да будет» имели, разумеется, свою опасную сторону, — опасную даже для всеразумия, которого тоже может оказаться недостаточно, чтобы избежать ошибок и несомненных ненужностей при проявлении этих абсолютных качеств. Из-за простой неугомонности, простой потребности в действии, простой тяги сделать «после этого еще и то», «после ангелов и животных еще и животных-ангелов» оказалось возможным впасть в неразумие и создать нечто весьма ненадежное и конфузное, к которому затем, именно потому что оно явно не удалось, питали в почтенном Своем упрямстве особую слабость и относились с оскорбительным для небес участием.

Но только ли по Собственной воле и вполне ли самостоятельно совершили этот неприятный творческий акт? В высших сферах тайком и шепотом высказывались предположения, отрицавшие такую самостоятельность, — недоказуемые, но весьма правдоподобные предположения, согласно которым причиной всему был великий Семаил, тогда, перед ярким своим падением, еще очень близкий к Престолу. Все это вполне могло произойти по его наущению — а почему? Потому что ему было важно осуществить и пустить в мир зло, сокровеннейшую свою мысль, никому больше не ведомую, и потому что обогатить репертуар мира злом можно было не иначе, как создав человека. О зле, об этой великой выдумке Семаила, не могло быть и речи в связи с плодящимися животными, а тем более — в связи с нами, бесплодными подобиями Бога. Чтобы оно пришло в мир, нужно было именно то существо, которое там, как все полагают, и предложил создать Семаил: подобие Бога, но при этом плодящееся, то есть человек. Кстати сказать, тут не было даже никакого обмана Творческого Всемогущества, поскольку Семаил, по своему высокомерию, не стал, по-видимому, замалчивать последствий предложенной им креации, то есть появления зла, а, как полагают в сферах, заявил о них громогласно и напрямик, не преминув отметить, что благодаря его затее живая сущность Творца станет еще более живой. И в самом деле, достаточно было только подумать о возможности являть милость и сострадание, чинить суд и расправу, о появлении заслуги и вины, награды и наказания — или, того лучше, о возникновении добра, связанном с возникновением зла; для того чтобы выйти из лона возможностей и обрести бытие, добро тогда действительно должно было дожидаться своей противоположности, да и вообще сотворение мира основывалось в значительной мере на отделении и даже началось с отделения света от тьмы, так что Всемогущий поступал вполне последовательно, переходя от этого чисто внешнего разделения к созданию мира нравственного.

Мнение, что великий Семаил польстил Престолу и убедил его последовать своему совету именно этими доводами, было широко распространено в высших сферах — а ведь совет-то на самом деле был очень хитрый, такой хитрый, что просто смех берет, и притом с подвохом, несмотря на всю громогласную откровенность, которая была только прикрытием этого лукавства, этого коварного замысла, встретившего в сферах некоторое даже сочувствие. А заключался замысел Семаила вот в чем. Если наделенные плодovitостью животные не были сотворены по образцу Бога, то и мы, придворные подобия Божьи, тоже не были, строго говоря, созданы по Его образцу, так как плодovitости у нас, слава Богу, не было и в помине. Свойства, распределившиеся между ними и нами, божественность и плодovitость, были первоначально соединены в самом Творце, и, значит, настоящим его подобием явилось бы только то существо, которое как раз и предлагал создать Семаил, ибо оно тоже соединило бы в себе оба свойства. Однако с этим-то существом, с человеком, в мир и пришло зло.

Как не посмеяться над такой шуткой? Именно создание, всех более, если угодно, походившее на создателя, принесло с собой зло. По совету Семаила Бог сотворил себе зеркало, которое не льстило, вот уж не льстило ему, и которое он потом не раз, в смущенье и досаде, собирался разбить вдребезги, но все же так и не разбивал — потому, наверно, что не мог заставить себя вновь погрузить в небытие то, что однажды, как-никак, сотворил, и потому, видимо, что промахи были ему дороже удач; и еще потому, может быть, что не хотел признать окончательности своей неудачи, если дело шло о чем-то созданном Им до такой степени по Собственному подобию; и, наконец, потому, наверно, что зеркало — это средство самопознания, и на примере одного из сынов человеческих, некоего Авирама или Авраама, Он увидел, что двусмысленное это творение сознает себя средством самопознания Бога.

Таким образом, человек был порождением любопытства Бога к Себе Самому —

любопытства, которое Семаил умно в Нем предугадал и, благодаря своему совету, умело использовал. Досада и смущение были тут необходимым и постоянным следствием, — особенно в тех отнюдь не редких случаях, когда зло соединялось с дерзким умом и воинственной логикой, как уже у Каина, основоположника братоубийства, чья состоявшаяся постфактум беседа с Богом была довольно точно известна и часто передавалась в сферах из уст в уста. Нельзя сказать, чтобы с честью вышел из этой беседы Тот, кто пожелал спросить сына Евы: «Что ты сделал? Голос брата твоего вопиет ко Мне от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей». Ибо Каин ответил: «Да, я убил своего брата, это весьма печально. Но кто сотворил меня таким, каков я есть, ревнивым до такой степени, что в данном, например, случае исказилось лицо мое и я уже не знал, что творил? Ну, а Ты разве не ревнивый бог, и разве ты не создал меня по образу своему и подобию? Кем заложена в меня злая тяга к поступку, который я чудовищным образом совершил? Ты говоришь, что на тебе одном весь мир, а взять на себя наш грех ты не хочешь?..» Недурно. Так и кажется, что Каин, или Кайин, посовещался загодя с Семаилом, хотя очень может быть, что этот пылкий хитрец даже и не нуждался ни в чьих наставлениях. Возразить было трудно, оставалось только разгромить или же напустить на себя сердитую веселость. «Беги! — было сказано Каину. — Ступай своей дорогой! Ты будешь изгнанником и скитальцем, но я отмечу тебя знаком, чтобы все знали, что ты принадлежишь мне и чтобы никто тебя не убил...» Короче говоря, Кайин более чем дешево отделался благодаря своей логике; о наказании и речи быть не могло. Даже насчет изгнания и скитаний говорилось больше для виду, ведь Каин поселился в земле Нод, на восток от Эдена, и преспокойно производил на свет детей, для чего он, собственно, и был так нужен.

В другие разы, как известно, приходилось наказывать и в величественном огорчении компрометирующей повадкой «самого похожего» создания принимать страшные меры — но случалось и награждать, и награждать тоже страшно, то есть чрезмерно, безудержно, разнузданно награждать, — достаточно вспомнить о Енохе или Ханоке и о тех невероятных, надо бы уж тихонько сказать: ни с чем не сообразных наградах, которые достались этому малому. В сферах царило мнение, — хотя делились им, конечно, с большой осторожностью, — что в отношении награды и наказания там, внизу, дело обстоит не совсем благополучно и что учрежденным по наущению Семаила нравственным миром управляют без должной серьезности. В сферах готовы были считать, а иногда и считали, что к миру нравственному Семаил относится куда серьезней, чем Он.

Нельзя было скрыть, хотя это всячески скрывалось и утаивалось, что награды, нередко ни с чем не соразмерные, служили нравственным прикрытием и оправданьем благословений, объяснявшихся, если говорить правду, каким-то первичным доброжелательным пристрастием и едва ли имевших что-либо общее с миром нравственным. А наказания?.. Здесь, например, в земле Египетской, наказание было ниспослано, и порядок был наведен — явно неохотно и огорченно, явно в угоду миру нравственному. Какой-то любимчик-сновидец, какой-то воображала, какой-то отпрыск того, кто напал на мысль, что он есть средство самопознания Бога, угодил в яму, в подземелье, в дыру, причем угодил уже во второй раз, потому что глупость его пошла в рост и он позволил любви, как прежде ненависти, пойти в рост и перерасти себя самого; и глядеть на это было приятно. Но не заблуждались ли мы, присные, когда испытывали удовольствие, глядя на эту разновидность серного ливня?

Говоря между нами, не заблуждались, не заблуждались, в сущности, ни мгновения. Мы доподлинно знали или уверенно предполагали, что строгость тут напускная, в угоду лишь царству строгости, что наказанием, этим атрибутом мира нравственного, воспользовались тут для того, чтобы открыть тупик, имевший только один, подземный выход на свет; что наказанием, да позволено будет сказать, злоупотребили как

средством дальнейшего возвышения и убаженья. Если при встречах мы тихо опускали наши лучистые ресницы и так выразительно отводили книзу уголки губ, та причиной тому было понимание этой механики. Наказание как путь к большему величию — эта высочайшая шутка, задним, правда, числом, бросала свет и на те дерзости, на те провинности, которые «вынудили» наказание, послужили для него поводом, и свет этот отнюдь не был светом мира нравственного; ибо и сами эти дерзости, сами эти провинности, кем бы, Бог весть кем, ни были они внушены, оказывались уже средством и орудием нового, непомерного возвышенья.

Весьма сведущими в этих уловках присные считали себя благодаря своей, пусть ограниченной, причастности ко всезнанию, — хотя из почтения пользоваться ею приходилось, конечно, лишь с большой осторожностью и даже не без самоуничтожения и притворства. Очень тихим голосом можно и должно прибавить, что, по их мнению, они знали и больше — о многообразных вещах, шагах, делах, намерениях, происках и секретах, назвать которые пустой болтовней придворных никак нельзя было, но при упоминании о которых подавать голос вообще запрещалось и уместен был даже не шепот, а род беседы, очень близкий к молчанию: еле заметное шевеление губ — губ, слегка искривленных ехидной улыбкой. Какие же это были вещи, слухи и замыслы?

Они были связаны со своеобразным, не подлежащим, разумеется, критике, но все-таки поразительным распределением наград и наказаний, уже упомянутым, — со всем тем комплексом покровительства, благосклонного пристрастия, избирательности, который ставил под сомнение весь нравственный мир, это следствие вызванного к жизни зла и вместе добра, то есть следствие сотворения человека. Они были связаны, далее, с не вполне подтвердившимся, но хорошо обоснованным, распространявшимся легким движением губ слухом, что идея «похожего» создания, человека, была не последней идеей, нашептанный Семаилом Престолу; что отношения между Престолом и этим низвергнутым то ли не совсем прекратились, то ли однажды возобновились — каким образом, неизвестно. Неизвестно было, состоялась ли, втайне от присных, поездка в тартарары и, таким образом, обмен мыслями произошел там, или же сам изгнанник изыскал, а может быть даже, и многократно изыскивал возможность покинуть свое местожительство и снова держать речи перед Престолом.

Во всяком случае, свой хитрый, рассчитанный на компрометацию прежний совет он сумел дополнить и продолжить новым советом, причем, как, вероятно, и тогда, дело шло лишь о том, чтобы всполошить и воспламенить имевшиеся уже в зачатке, но медлившие желанья и мысли, которые нуждались только в толчке увещания.

Чтобы верно понять, что тут разыгрывалось, нужно вспомнить кое-какие факты и сведения, относящиеся к прологам и предпосылкам текущей истории. Речь идет не о чем ином, как о «романе души», кратко изложенном там имеющимися для этого словами, — первозданной души человеческой, которая, как и бесформенная материя, была одной из первичных стихий и своим «грехопадением» сотворила необходимую основу для всех событий, могущих явиться предметом повествования. Говорить о сотворении в данном случае вполне правомерно; разве не в том состояло грехопадение, что душа, одержимая какой-то меланхолической чувственностью, которая в принадлежащей к высшему миру первозданной стихии поражает и потрясает, пожелала любовно проникнуть в бесформенную и даже упрямо цеплявшуюся за свою бесформенность материю, чтобы вызвать из нее формы, которые бы доставили ей, душе, плотскую радость? И разве Всевышний не пришел им на помощь в их намного превосходившей их силы любовной борьбе, разве не сотворил он поддающийся изложению мир событий, мир форм и смерти? Он совершил это из сочувствия страданиям своей беспутной соданности — совершил из отзывчивости, позволяющей сделать вывод о какой-то их органической и эмоциональной близости — а если такой вывод напрашивается, то надо его и сделать,

сколь бы смелым и даже кощунственным он ни казался, поскольку речь идет как-никак о беспутстве.

Следует ли связывать с Ним идею беспутства? Ответом на подобный вопрос может быть только громкое «нет!», и таков был бы ответ всех хоров Его присных — хотя после этого ответа уголки ротиков скромненько опустились бы. Объявлять беспутством лишь милосердно-творческое пособничество беспутству было бы, несомненно, скоропалительным преувеличением. Преждевременно это было бы потому, что достоинству, духовности, величию и абсолютности Бога, существовавшего не только раньше, но и вне мира, сотворение конечного мира форм, мира жизни и смерти, не наносило еще ни малейшего ущерба, а если и наносило, то именно самый малый, и значит, о беспутстве в полном и собственном смысле слова покамест никак нельзя говорить всерьез. Несколько иначе обстояло дело с идеями, замыслами, желаньями, которые, хотя о них можно было только догадываться, носились в воздухе теперь и составляли предмет тайных диалогов с Семаилом, прикидывавшимся, будто он по собственному почину сообщает Престолу совершенно новую для того мысль, но, видимо, отлично знавшим, что с этой мыслью уже потихоньку заигрывали. Он явно рассчитывал на универсальность заблуждения, что если одна и та же мысль осеняет двоих, то мысль эта хороша.

Нет смысла в дальнейших недомолвках, довольно уж ходить вокруг да около. Ухватив себя одной рукою за подбородок и красноречиво протянув к Престолу другую, великий Семаил предложил воплотить Всевышнего в каком-либо покамест отсутствующем, но удобообразуемом избранном народе, воплотить по образцу других магически могущественных и живых своей телесностью национальных и племенных богов этой земли. Не случайно подвернулось тут слово «живой»; ибо главный довод преисподней был в точности тот же, что и в свое время, когда предлагалось сотворить человека, а именно: если духовный, находящийся вне мира и над миром Бог последует ее, преисподней, совету, то он станет Богом еще более живым, живым как раз в более грубом, в более телесном смысле слова. Заметьте: главный довод; ибо умная преисподняя приводила и другие, с большим или с меньшим правом предполагая, что там, где она их приводила, все они и так уже тайно оказывали свое действие и только ждали воспламеняющего толчка.

Областью чувств, к которой они обращались, было честолюбие — честолюбие, по необходимости связанное с унижением, направленное вниз; ибо в Высочайшем Случае, когда наверху для честолюбия нет пищи, оно может быть только честолюбием уравнения, желания быть таким же, как другие, честолюбием отказа от исключительности. Преисподней легко было взывать к ощущенью, что Собственная абстрактность и всеобщность немного пресна и даже постыдна, — ощущенью, неизбежно возникавшему при самосравнении духовного, возвышающегося над миром мирового Бога с магической чувственностью национальных и племенных богов и будившему честолюбивую потребность в значительном самоунижении и самоограничении, потребность придать Своему бытию некую чувственную пряность. Пожертвовать несколько худосочным величием духовной вседейственности ради полнокровно-плотской жизни в божественном народе и стать таким же, как другие боги, — таково было тайное стремление Всевышнего, нерешительное его желание, которому Семаил пошел навстречу хитрым своим советом, — и разве непозволительно, объясняя это искушение и уступку ему, привлечь в качестве параллели роман души, ее любовный союз с материей, и виновницу такого союза — «меланхолическую чувственность», короче говоря — ее грехопадение? Да тут, по сути, и привлекать нечего: она напрашивается сама, эта параллель, особенно благодаря сочувственно-творческой помощи, оказанной тогда беспутной душе и, несомненно, придавшей великому Семаилу для его совета злобной отваги.

Подоплекой этого совета были, разумеется, злоба и страстное желание поставить в неловкое положение; ибо если человек вообще, человек как таковой уже был для Создателя источником постоянной неловкости, то это неудобство стало бы и вовсе несносным при плотском Его слиянии с определенной человеческой общиной, при котором он стал бы живым настолько, что обрел бы биологическое бытие. Преисподняя слишком хорошо знала, что направленное вниз честолюбие, что попытка стать таким, как другие боги, а именно — племенным богом, народом, то есть соединение мирового Бога и племени, не доведет до добра — разве лишь после множества окольных путей, неловкостей, разочарований и огорчений. Слишком хорошо знала она, — это, несомненно, знал наперед и Тот, Кому давались советы, — что после авантюрного эпизода биологической жизни во плоти какой-то одной общины или племени, после сомнительных, хотя и полнокровных радостей по-земному весомого, реализуемого в жизнедеятельности определенной общины, обслуживаемого магией, благоухоженного, всячески подбадриваемого и поддерживаемого божественного бытия, неизбежно наступит всемирный миг покаянного поворота, когда потусторонность, опомнившись, откажется от такого динамического ограничения, возвратится в потусторонность и вернет себе свое могущество и свою духовную вседейственность. Но Семаил — и лишь он один — лелеял мысль, что даже этот равнозначный мировому перевороту возврат будет сопровождаться неким отрядным для архиехидства конфузом.

Случайно или неслучайно избранное и выращенное для слияния с ним племя было таково, что, с одной стороны, став его плотью и богом, мировой Бог не только лишился своего перевеса над другими племенными богами этой земли, не только стал им равен, но оказался значительно менее могущественным и в куда менее почетном, чем они, положении, — чему преисподняя и радовалась. С другой стороны, и снижение до уровня племенного бога, и весь этот эксперимент биологически радостной жизни протекали с самого начала вопреки рассудку, наперекор убеждениям самого избранного народа, и возврат к старому, восстановление перевеса потусторонности над богами этого мира не могли произойти без его, народа, действенной духовной помощи. Вот это и забавляло ехидного Семаила. Стать божественной плотью этого своеобразного племени было, с одной стороны, небольшое удовольствие; по сравнению с другими племенными богами хвастаться Ему, как говорится, не приходилось. Ущерб тут был неизбежен. Но, с другой стороны, и именно в связи с только что сказанным, общее свойство людей быть орудием самопознания Бога получило у этого племени особую остроту. Беспокойное стремление установить природу Бога было врожденной его чертой; с самого начала в нем жил росток понимания потусторонности, вседейственности, духовности Творца, благодаря чему Он был пространством мира, а мир не был Его пространством (точно так же как рассказчик является пространством истории, а история не является пространством рассказчика, в силу чего тот волен ее разбирать) — жизнеспособный росток, которому суждено было со временем, ценой великих усилий, развиться в полное познание истинной природы Бога. Позволительно ли предположить, что «избрание» оттого и последовало, что исход биологической авантюры был известен Творцу не хуже, чем его хитроумному советчику и что, значит, Он сам умышленно уготовил себе конфуз и назидание? Предполагать это, наверно, даже должно. Для Семаила, во всяком случае, вся соль заключалась в том, что избранный народ, будучи хоть и втайне, хоть и в зачатке, но уже с самого начала умней, так сказать, чем его племенной Бог, прилагал все силы растущего своего разума к тому, чтобы помочь Ему выйти из неподобающего положения и вернуться к потусторонне-вседейственной духовности — причем преисподняя так и не доказала, что обратный путь от грехопадения к привычной почтенности был возможен только благодаря этой усиленной человеческой поддержке, а самостоятельно, собственными средствами, его не нашли бы...

Проницательность присных до таких далей не доходила, на это ее не хватало; хватало ее

только на пересуды о тайных беседах с Семаилом и об их предмете, да еще на то, чтобы превратить ангельское недовольство «самым похожим» творением вообще в особую неприязнь к подраставшему избранному народу, — хватило ее и на осторожное злорадство по поводу маленького потопа и серного дождичка, которые, к собственному огорчению, пришлось напустить на одного отмеченного особыми, далеко идущими намерениями отпрыска этого племени с плохо, впрочем, скрытым намерением сделать наказание неким промежуточным средством.

Все это выражалось в опускании уголков ротика и в почти незаметном движении головы, которыми хористы призывали друг друга прислушаться к тому, что делается внизу, где этого отпрыска, со связанными за спиной руками, везли на парусно-гребном струге вниз по великой реке Египта в темницу.

## РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

### «ДРУГАЯ ЯМА»

Иосиф знает свои слезы

Иосиф тоже вспоминал о потопе — по закону соответствия верха и низа. Мысли обеих сфер встречались или, если угодно, шли параллельно на большом расстоянии друг от друга — с той только разницей, что здесь, внизу, на волнах Иеора, под духовным гнетом тяжелых бед, отпрыск человеческий думал об этом начале и образце всех возмездий с куда большей проникновенностью и ассоциативной энергией, чем то когда-либо удалось бы там, наверху, не знающему ни боли, ни бед племени, которое просто любило немного посплетничать.

Об этом мы сейчас расскажем подробнее. Осужденный лежал, и лежал довольно-таки неудобно, в дощатом сарае, заменявшем каюту и трюм на маленьком, из дерева акации, со смоленой палубой, грузовом судне, так называемой бычьей ладье, одном из тех, на каких, наверно, прежде и сам он, учась обобщающему надзору и став преемником управляющего, возил на рынок товары дома то вверх по реке, то вниз. Экипаж судна состоял из четырех гребцов, которые при встречном или утихшем ветре, когда опускали укрепленную на перилах форштевня двойную мачту, ложились на весла, кормчего и двух самых последних дворовых людей Петепра, которые вообще-то служили охраной, но, выполняя также обязанности матросов, возились с канатами и определяли фарватер. К ним нужно прибавить главного, Ха'ма'та, питейного писца, под чье начало и были отданы судно и доставка узника в Цави-Ра, крепость на острове. Глубоко за пазухой Ха'ма'т носил запечатанное письмо, которое, по поводу провинившегося своего домоправителя, написал его господин смотрителю темницы, военачальнику и «писцу приказов победоносного войска», по имени Май-Сахме.

Путь был далекий и долгий — Иосиф невольно вспоминал свое другое, раннее путешествие, когда он — с тех пор прошло уже семь лет и три года — вместе с купившим его стариком, а также с Мибсамом, зятем старика, Эфером, его племянником, и его сыновьями Кедаром и Кедмой впервые доверился этим волнам и за девять дней доплыл из Менфе, где жил Закутанный, в Но-Амун, город, где жил царь. Но далеко за Менфе, далеко за золотой Он и даже за Пер-Бастет, город кошачий, предстояло ему проплыть на этот раз вспять; ибо горькая цель пути, Цави-Ра, находилась глубоко в земле Сета и Красного Венца, то есть Нижнего Египта, уже в Дельте, в одном из рукавов округа Мендес,

или Джедета, и то, что его везли в этот мерзкий козлиный округ, прибавляло какое-то особое чувство опасности к той общей подавленности и грусти, которая владела Иосифом, хотя и сопровождалась, с другой стороны, торжественным ощущением судьбы и задумчивой игрой мыслей.

Ибо играть сын Иакова и его праведной не переставал никогда в жизни и двадцатисемилетним мужчиной играл так же, как неразумным мальчиком. А самой его любимой и самой приятной ему формой игры был намек, и когда его жизнь, за которой так внимательно наблюдали, оказывалась богата намеками, когда обстоятельства оказывались достаточно прозрачны, чтобы разглядеть высшую их закономерность, он бывал уже счастлив, потому что прозрачные обстоятельства не могут ведь быть вовсе уж мрачными.

А его обстоятельства были и в самом деле достаточно мрачными; с глубокой печалью размышлял он о них, лежа со связанными локтями на циновке в сарае-каюте, на крышу которой были навалены съестные припасы команды: дыни, кукурузные початки, хлебы. Повторялось прежнее, давно знакомое, страшное положение: снова лежал он беспомощно в путах, как некогда пролежал три ужасных дня черной луны в круглой яме, среди червей и мокриц колодца, вымарываясь, как овца, собственным калом; и хотя состояние Иосифа было на этот раз более терпимым, не столь плачевным, ибо связали его, так сказать, лишь формально, лишь для порядка, из какой-то невольной почтительной осторожности, затянув служивший для этой цели пеньковый канат не слишком уж туго, все же падение было не менее глубоким, не менее ошеломительным, перемена была не менее неправдоподобной и резкой: тогда осадил так, как ему и не снилось, — не то что не думалось, — отцовского баловня и любимчика, который только и знал, что умащался елеем радости, теперь так поступили с успевшим уже возвыситься в царстве мертвых Узарсифом, с привыкшим к изысканности, к благам культуры и к платью из плоеного царского полотна вершителем обобщающего надзора и жильцом Особого Покоя Доверия — для него это тоже было неожиданным ударом.

Какая там теперь плоеная изысканность, какой там модный передник и дорогая куртка (ведь она же стала говорящим «доказательством») — ничего, кроме рабского набедренника, точно такого же, как у корабельной прислуги, ему не оставили. Какой там изящный парик, не говоря уж о финифтевом воротнике, запястьях и нагрудной цепи из тростника и золота! Все эти прекрасные дары культуры пошли прахом, и единственным оставшимся у него бедным украшением была ладанка на бронзовой нашейной цепочке, та самая, которую он носил в стране отцов и с которой семнадцатилетний Иосиф угодил в яму. Остальное было «сброшено» — про себя он употреблял именно это многозначительное слово, слово-намек, поскольку намеком, проявлением печальной закономерности было и то, что сейчас происходило: ехать туда, куда он ехал, не полагалось с нагрудными или наручными украшениями; ибо настал час, когда сбрасываются покровы и побрякушки, час сошествия в ад. Цикл завершился, не только малый, часто замыкающийся цикл, но и большой, повторяющийся одно и то же гораздо реже: ведь круги проходили один в другом, и середина у них была общая.

Малый год опять замыкал свой круг, солнечный год, поскольку илоносные воды снова убыли, и (не по календарю, а в практической действительности) стояло время сева, время мотыки и плуга, время разрытой земли. Когда Иосиф поднимался с циновки и, с разрешения своего сторожа Ха'ма'та, руки за спину, словно он держал их там по собственной воле, прогуливался, вдыхая звонкоголосый воздух реки, по палубе, или же сидел там на бухте каната, он видел, как на плодородных прибрежных землях крестьяне творят суровое и опасное дело, требующее всяческих мер искупленья и предосторожности, печальное дело пахоты и посева, печальное потому, что сев — это время печали, время похорон бога злаков, погребенья Усира во мраке лишь очень

дальних надежд, время плакать — и, глядя на погребаяющих зерна крестьян, Иосиф тоже нет-нет да плакал, ибо его тоже погребали во мраке лишь очень дальних надежд — в знак того, что вот и большой год замкнул свой круг и принес повторение, обновление жизни, сошествие в бездну.

Это была бездна, куда уходит Истинный сын, Этура, подземная овчарня, Аралла, царство мертвых. Через яму колодца он пришел в преисподнюю, в страну мертвого оцепенения; а теперь оттуда путь его лежал снова в боор, в нижеегипетскую темницу — глубже спуститься уже нельзя было. Возвращались дни черной Луны, огромные, равновеликие годам дни, в течение которых преисподняя имеет власть над погребенным красавцем. Он шел на убыль и умирал; но через три дня он должен был вырасти снова. В колодец бездны Аттат-Таммуз погружался вечерней звездой: но он непременно должен был вернуться оттуда звездой утренней. Это называют надеждой, а надежда — сладостный дар. Но есть в ней все-таки и что-то запретное, потому что она умаляет достоинство священного мига, предвосхищая еще не наступившие часы праздника, часы круговорота. У каждого часа есть своя честь, и не живет по-настоящему тот, кто не умеет отчаиваться. Иосиф держался такого взгляда. Его надежда была даже уверенностью, знанием; но он был дитя мгновения, и он плакал.

Он знал свои слезы. Ими плакал Гильгамеш, когда пренебрег желанием Иштар и та «уготовила ему плач». Иосиф был измучен обрушившейся на него бедой, натиском обезумевшей женщины, тяжелым кризисом в апогее этого натиска, полной, наконец, переменой всех своих обстоятельств и в первые дни даже не просил у Ха'ма'та разрешения погулять по палубе среди кипучей суеты проезжей дороги Египта, а лежал один на своей циновке в будке и предавался мечтам. Он перебирал в мыслях стихи таблиц:

Иштар разъярилась, поднялась к Ану — требовать у паря богов мести. «Создай быка мне, пусть мир он растопчет, дыханьем ноздрей опалит землю, пусть иссушит поля, пусть нивы погубит».

«Создам я быка тебе, госпожа Аширта, ибо тебя обидели тяжко. Но будет голод, семь лет мякины, от дыханья быка, от громкого топа. Запаслась ли зерном ты, наготовила ль пищи, чтобы годы нужды спокойно встретить?»

«Я зерном запаслась, наготовила пищи».

«Будет тебе бык, госпожа Аширта, ибо тебя обидели тяжко!»

Странное поведение! Если из-за неприступности Гильгамеша Ашера хотела погубить землю и призывала на нее огнедышащего быка, то было довольно-таки нелепо запасаться пищей, чтобы пережить семь лет мякины, которые как раз благодаря быку и наступят. Но, как бы то ни было, она это сделала и на вопрос Ану ответила утвердительно, ибо ей очень нужен был бык, чтобы отомстить; и больше всего Иосифу нравилась, больше всего занимала его тут именно предусмотрительность, которую даже в ярости должна была проявить богиня, чтобы заполучить своего быка. Предусмотрительность, осторожность — эта идея была нашему мечтателю близка и всегда важна, хотя он подчас по-ребячески против нее прегрешал. К тому же это была чуть ли не господствующая идея земли, где он рос, словно у родника, земли Египетской, земли боязливой, всегда и в большом и в малом, озабоченной тем, чтобы каждый свой шаг, любой свой поступок надежно оградить волшебным знаком или волшебным словом от притаившихся бед; а поскольку Иосиф давно уже был египтянином и его плоть, как и его одежда, состояла уже сплошь из египетского материала, то присущая этой стране идея осторожности и предусмотрительности глубоко вошла в его душу, где она всегда была и по-другому

родной. Могучие корни имела она и в его собственных, изначальных традициях, — коль скоро грех был почти равнозначен отсутствию осторожности: грехом была глупость и смехотворная неуклюжесть в обращении с богом; мудрость, напротив, заключалась в предвиденье, в охранительном предвосхищенье. Не потому ли слыл премудрым Ной-Утнапиштим, что предвидел потоп и спасся от него, построив свой ящик? Ковчег, великий ларь, ароон, в котором творение божье переждало лихую годину, был для Иосифа исконным примером, первым образцом всякой мудрости, то есть всякой заботливой предусмотрительности. Но через ярость Иштар, через огнедышащего быка и через предотвращение голода благодаря запасам еды мысли его приходили в необходимое соответствие высшему ходу мыслей о великом потопе, и он со слезами вспоминал о потопе малом, который обрушился на него потому, что, не будучи настолько глуп, чтобы предать бога и окончательно с ним рассориться, он преступно не проявил достаточной осторожности.

Как и в первой яме, большой год назад, он, раскаиваясь, признавал свою вину, и ему было очень жаль отца, очень жаль Иакова, и он сгорал от стыда перед ним, потому что так провинился и в стране отрешения снова угодил в яму. Как прекрасно он уже возвысился в отрешенье, и вот, из-за недостатка мудрости, от его возвышенья ни следа не осталось, так что третий этап, переселенье и продолженье рода, откладывался на самый неопределенный срок! Искренне сокрушаясь духом, Иосиф просил прощения у «отца», чей образ уберег его в последний миг от самого худшего. Но с Ха'ма'том, писцом питейного поставца и своим стражем, который частью от скуки, частью же чтобы насладиться унижением того, кто сумел так перерастить его в доме, неоднократно присаживался к нему поболтать — с Ха'ма'том он держался очень уверенно и даже надменно, ничем не выдавая своего уныния. Да, только благодаря своему умению выставлять вещи в нужном ему свете Иосиф уже через несколько дней пути заставил Ха'ма'та, как мы увидим, снять с него путы и разрешить ему свободно передвигаться, хотя тот и опасался, что с его стороны это будет прямой изменой долгу сторожа.

— Клянусь жизнью фараона! — говорил Ха'ма'т, усаживаясь в будке возле циновки Иосифа. — Что стало с тобой, бывший управляющий, и как низко ты опустился по сравнению со всеми нами, над которыми ты так быстро возвысился! Просто не веришь глазам своим, глядя на тебя, и хочется только покачать головой. Ты лежишь, как пленный ливиец или как пленник из горемычного Куша, со связанными локтями, и хотя ты совсем еще недавно управлял домом, теперь тебя отдали, так сказать, на съеденье собаке Аменте. Да сжалится над тобой Атум, онский владыка! Как же ты себя обратил в пепел — пользуясь выражением, принятым в вашей горемычной Сирии, которое мы невольно у тебя переняли, — клянусь Хонсом, больше мы у тебя ничего не станем перенимать, ни одна собака не возьмет у тебя отныне и куска хлеба, вот как низко ты пал! А отчего? Только из-за своего легкомыслия и распутства. Ты захотел быть важным лицом в таком доме, а сам не сумел даже обуздать свою похоть, и овладеть тебе приспичило не кем иным, как священной госпожой, хотя по стати она почти равна Хатхор — это уж верх бесстыдства. Никогда не забуду, как во время суда ты стоял перед господином с опущенной головой, потому что тебе нечего было сказать в свое оправданье и ты не знал, как себя обелить, — да и как бы ты мог себя обелить, если против тебя вопиюще свидетельствовала измятая куртка, которую ты оставил в руках госпожи, когда тщетно пытался вскочить на нее, пытался, кстати сказать, явно весьма неумело, так что это выглядит жалко во всех отношениях! Помнишь ли ты, как ты впервые пришел ко мне в кладовую за угощением для стариков с верхнего этажа? Ты сразу же задрал нос, когда я предупредил тебя, чтобы ты не пролил питья старичкам на ноги, и до некоторой степени смутил меня, показав своим видом, что с тобой ничего подобного не может случиться. Ну, а теперь ты себе самому пролил на ноги что-то такое, отчего они цепенеют и пристают к месту — вот как! Я же знал, что долго ты не сможешь держать поднос. А почему ты не смог? Из-за своего варварства! Потому что ты грязный заяц, необузданный дикарь из

горемычной страны Захи, тебе невдомек умеренность и мудрость страны людей, и ты не внял душой нашим нравоучительным изречениям, которые вообще-то разрешают забавляться, но только не с замужними женщинами, потому что это опасно для жизни. В слепом и безрассудном своем вожделье ты бросился на самую госпожу — так будь еще рад, что тебя не сделали сразу же бледным трупом, — это, пожалуй, единственная причина, которая у тебя осталась для радости!

— Сделай мне одолжение, воспитанник книгохранилища Ха'ма'т, — отвечал Иосиф, — не говори о вещах, в которых ты ничего не смыслишь! Ужасно, когда какое-то тонкое и трудное, слишком деликатное для толпы дело становится предметом пересудов и всякий, кому не лень, чешет язык и несет грязную околесицу, — это просто нестерпимо, просто гнусно, причем не столько даже в отношении людей, о которых судачат, сколько в отношении самой сути дела, которой попросту жаль. Это грубо и некрасиво с твоей стороны и отнюдь не свидетельствует о высокой культуре Египта — говорить так со мной, — не потому, что еще вчера я был твоим управляющим и ты сгибался передо мной в три погибели, не об этом я веду сейчас речь. Тебе следовало бы взять в толк, что дело, касающееся меня и госпожи, должно быть известно мне куда лучше, чем тебе, до ушей которого дошли только самые внешние его обстоятельства, — так зачем же ты лезешь ко мне со своими назиданиями? К тому же довольно-таки смешно искусственно противопоставлять грубую похоть моей плоти умеренности Египта, о которой весь мир вот уж невысокого мнения; а когда ты употребил слово «вскочить», не постеснявшись соотнести его со мной, ты, конечно же, думал скорей о козле, к которому мы сейчас плывем и которому на его празднике отдаются дочери Египта, — вот они, истинная умеренность, истинный разум! Я тебе вот что скажу: может статься, что когда-нибудь обо мне будут говорить как о человека, сохранившем чистоту среди народа, не уступавшего похотливостью жеребцам и ослам, — вот что может статься, Ха'ма'т. Может статься, что во всем мире девушки будут грустить обо мне перед своей свадьбой, принося мне в дар пряжи своих волос и заводя жалобную песню, в которой оплакивается моя молодость и повествуется история юноши, устоявшего перед натиском охваченной страстью женщины, но поплатившегося за это доброй славой и жизнью. Вот какие обряды в мою честь видятся мне, когда я лежу здесь и обо всем размышляю. Посуди же теперь, какими убогими должны мне казаться твои разглагольствования о моем жребии! Зачем ты смакуешь мое несчастье? Я был рабом Петепра, который меня купил. Теперь я, по его приговору, раб фараона. Значит, я стал больше, чем был, значит, я выгадал! Почему ты так глупо смеешься? Согласен, сейчас мой путь идет вниз. Но разве путь вниз не почетен и не торжествен, и разве эта бычья ладья не кажется тебе стругом Усира, который спускается, чтобы озарить дольную овчарню, и приветствует жителей пещер, совершая свой ночной путь? Знай же, что я усматриваю тут поразительное сходство! Если ты считаешь, что я расстанусь со страной живых, ты, может быть, и прав. Но кто поручится, что я не услышу запаха травы жизни и не выйду завтра из-за края мира, как грядет жених из своей палаты, сияя так, что у тебя заслезятся глаза?

— Ах, бывший управляющий, я вижу, ты прежний и в горе, беда только, что никто не знает, как это объяснить — «прежний», говоря о тебе; на ум приходят цветные мячи, которые подбрасывают и ловят танцовщицы: неразличимые в отдельности, они образуют в воздухе ослепительную дугу. Откуда у тебя, несмотря на твой жребий, берется чванство, ведомо лишь богам, с которыми ты обходишься так, что человека благочестивого берет сразу и смех и оторопь и кожа у него пупырится, как у гуся. Ты осмеливаешься болтать о невестах, посвящающих твоей памяти волосы, хотя такая честь подобает только богам, и сравниваешь это судно, судно твоего позора, с вечерним стругом Усира — и добро бы, клянусь Сокрытым, ты только сравнивал одно с другим! Так нет же, ты вплетаешь еще словечко «поразительный» — говоря, что это судно поразительно похоже на струг Усира, ты тем самым заставляешь простую душу подозревать, что оно и впрямь на него похоже, а ты, чего доброго, действительно Ра, когда он зовется Атум и переходит в свой ночной

струг, — отсюда и гусиная кожа. Однако появляется она не только от смеха, не только от оторопи, но также, и даже главным образом, скажу я тебе, от досады, от злости, от негодования на твою наглость, на то, как ты позволяешь себе отражаться в самом высоком и смешивать себя с ним, словно ты — это оно и есть, отчего твое «я» образует в воздухе какую-то ослепительную дугу, при виде которой начинаешь раздраженно моргать глазами. Ведь каждый мог бы вести себя, как ты, но человек скромный так не ведет себя, он чтит богов и молится им. Я подсел к тебе отчасти из сострадания, отчасти же от скуки, чтобы немного с тобой побеседовать, но коль скоро ты даешь мне понять, что ты Атум-Ра и великий Усир-наструте, я оставляю тебя одного, ибо меня раздражает твое богохульство.

— Поступай, как находишь нужным, Ха'ма'т из книгохранилища и из продовольственной кладовой! Я вовсе не умолял тебя подсесть ко мне, ибо мне так же хорошо и даже, может быть, чуточку лучше быть одному, а уж развлекаться я, как ты и сам видишь, умею, — и если бы ты умел развлекаться, как я, ты не подсаживался бы ко мне, но и не глядел бы косо на развлечение, которое я себе позволяю, а ты мне — нет. Не позволяешь ты мне его якобы из благочестия, а на самом деле просто по недоброжелательности, и благочестие — это только фиговый листок, которым прикрывается твоя недоброжелательность, — прости мне такое неожиданное для тебя сравнение! Ведь в конце концов самое главное — это чтобы человек развлекался, а не проживал свою жизнь как тупая скотина, и все дело в уровне его развлечения. Ты был не совсем прав, сказав, что каждый мог бы вести себя так, как я, — то-то и оно, что не каждый, причем вовсе не оттого, что ему мешает скромность, а потому, что в нем нет и намека на высшее, потому что ему отказано в душевной с ним связи, потому что жизнь его лишена небесной игры, как речь бывает лишена игры словесной. В высшем существе он по праву видит нечто совсем иное, чем в себе самом, и служить ему он может только скучной осанной. А услышав более задушевное славословие, он зеленеет от зависти и подходит к образу высшего существа с ханжескими слезами: «О всевышнее, прости этого богохульника!» Такое поведение куда пошлее, Ха'ма'т из продовольственной кладовой, и тебе не следовало бы так поступать. Дай-ка мне лучше поесть, ибо время обеда уже пришло и я не прочь подкрепиться.

— Не премину, если пришло время, — отвечал писец. — Я не стану морить тебя голодом. Я должен доставить тебя в Цави-Ра живым.

Поскольку пользоваться своими связанными в локтях руками Иосиф не мог, Ха'ма'т, как сторож, должен был его кормить, ничего другого Ха'ма'ту не оставалось. Он должен был, сидя на корточках возле Иосифа, собственноручно совать ему в рот хлеб и подносить к его губам кубок с пивом, и каждый раз Иосиф отпускал замечания по этому поводу.

— Да, вот ты сидишь на корточках, долговязый Ха'ма'т, и кормишь меня, — говаривал он. — Это довольно любезно с твоей стороны, хотя ты и делаешь это со смущенным видом и с явным неудовольствием. Я пью за твое здоровье, но не могу не подумать о том, как низко ты пал, если должен поить меня и кормить, как маленького. Разве ты это делал, когда я был твоим начальником и ты сгибал передо мной спину? Тебе приходится прислуживать мне, как никогда прежде, и значит, похоже все-таки на то, что я стал больше, а ты, наоборот, меньше. Перед нами старый вопрос — кто важнее и больше: охраняемый или охраняющий. Без сомнения, первый. Разве не охраняют царя его слуги, и разве не сказано о праведнике: «Ангелам Его ведено хранить тебя на дорогах твоих»?

— Вот что я тебе скажу, — ответил Ха'ма'т наконец через несколько дней, — я по горло сыт обязанностью насыщать тебя, когда ты разеваешь рот, как галчонок в гнезде, ибо ты разеваешь его еще и для противных речей, от которых мне делается и вовсе тошно. Я просто тебя развяжу, чтобы ты не был таким беспомощным, а я не был твоим слугой и ангелом, это не дело писца. Когда мы будем поближе к твоему новому месту, я тебя снова

свяжу и передам зрителю темницы военачальнику Маи-Сахме, как полагается, связанным. Но поклянись не говорить зрителю, что ты разгуливал без пут и что я, вопреки своему долгу, был милостив; иначе меня обратят в пепел.

— Наоборот. Я скажу ему, что ты был мне жестоким стражем и что не было дня, чтобы ты не наказывал меня скорпионами!

— Глупости, это тоже ненужная крайность! Тебе бы только поиздеваться над человеком. Ведь я же не знаю, что сказано в запечатанном письме, которое я ношу у самого тела, и мне неизвестно, как распорядились тобой. То-то и беда, что никто не знает, как тобою распорядились! А начальнику темницы скажи, что я был умеренно суров и человечно-неумолим.

— Так и скажу, — ответил Иосиф, и локтям его дали свободу до тех пор, пока судно не спустилось в страну змеи Уто и разветвившегося семью рукавами потока и, добравшись до округи Джедета, не приблизилось к островной крепости Цави-Ра, — тут Ха'ма'т снова связал ему локти.

### Начальник темницы

Узилище Иосифа, вторая его яма, которой он достиг после примерно семнадцати дней пути и где, по его соотносительному расчету, он должен был провести три года, прежде чем ему вознесут главу, было скопищем безрадостных зданий, почти сплошь заполнявших поднимавшийся в мендесском рукаве Нила остров нагромождением кубических, образующих дворы и закоулки казарм, стойл, складов и казематов, над которыми в одном из углов возвышался мигдол, башенная цитадель, — видимо, местопребывание зрителя острога, начальника узников и коменданта гарнизона, «писца победоносного войска» Маи-Сахме, а посередине — пилон храма Уэпвавет, единственной, благодаря украшавшим его флагам, отрады для глаз среди этого безобразия, окруженного высокой, локтей в двадцать, стеной из необожженного кирпича с острыми выступами бастионов и закруглениями защитных балконов. Пристань и ворота с часовыми за загородками находились где-то сбоку, и, стоя на высоком носу бычьей ладьи, Ха'ма'т еще издали махал солдатам своим письмом, а когда поравнялся с воротами, стал кричать, что доставил каторжника, которого должен сдать лично начальнику воинов и главному тюремщику.

Молодые наемники не'арин, — это было военное обозначение, несамостоятельно образованное из семитского слова, — копьеносцы с сердцевидными защитными листками из кожи поверх набедренников и со щитом на спине отворили ворота и впустили прибывших — Иосифу казалось, будто его снова, вместе с купившими его измаильтянами, пропускают через стенные ворота пограничной крепости Зел. Тогда он был мальчиком и робел перед чудесами и ужасами Египта. Теперь он был хорошо знаком с этими чудесами и ужасами, он был египтянином от головы до пят — с оговоркой, разумеется, той внутренней оговорки, которую неизменно вызывали в нем нелепости страны его отрешения, а из юноши он успел уже превратиться в мужчину. Но теперь он шел на привязи, как Хапи, это живое повторение Птаха, во дворе храма в Менфе, пленник земли Египетской, как и тот божественный бык; два челядинца Петепра держали концы стянувшей его локти веревки и вели его перед собой, позади Ха'ма'та, который в воротах держал ответ перед каким-то вооруженным палкой нижним чином (тот, видимо, и приказал пропустить их), а потом был направлен им к какому-то высшему, вооруженному дубинкой и уже шагавшему к ним через двор. Тот взял письмо и, пообещав отнести его начальнику, велел им подождать.

И они ждали, ждали под любопытными взглядами солдат, в маленьком четырехугольнике двора, в скудной тени от двух-трех выцветших, зеленых лишь у самой макушки пальм, красноватые круглые плоды которых лежали у их подножий. Сын Иакова был задумчив. Он вспоминал слова Петепра о начальнике темницы, под чей надзор тот его отдавал: это человек, с которым шутки плохи. Знакомства с главным тюремщиком Иосиф ждал с понятной тревогой, но полагал, что мнимый военачальник, возможно, и вовсе не знает его, а судит о его нелюбви к шуткам только по должности, что было хоть и вероятным, но все же не обязательным выводом. Тревога Иосифа искала успокоения в мысли, что иметь дело он будет, во всяком случае с человеком — а в его глазах это означало какую-то доступность, какую-то уживчивость при любых обстоятельствах и было залогом того, что, как бы ни подходил этот человек для должности начальника тюрьмы или каким бы суровым ни сделала его служба, с ним все-таки, с божьей помощью, можно будет тем или иным образом, пусть в каком-то одном отношении, но пошутить.

К тому же Иосиф хорошо знал детей земли Египетской, страны мертвенного оцепенения и могильных богов, которая и на таком мрачном фоне сохраняла немало ребячливости и простодушия, что и облегчало здесь жизнь. Еще имелось письмо, которое сейчас читал смотритель и где Потифар «соответствующим образом описывал» ему препровождаемого преступника. Иосиф уповал на то, что это описание представит его в не слишком ужасном свете и не имеет целью обратить против него наиболее устрашающие качества коменданта. Но, как обычно у людей благословенных, и частные надежды, и самые общие упования были направлены у него не на внешние обстоятельства, а на себя самого, на счастливые тайны своей натуры. Нет, он отнюдь не застрял на той мальчишеской ступени слепой требовательности, когда думал, что все люди должны любить его больше самих себя. Однако он продолжал думать, что ему дано поворачивать к себе мир и людей самой лучшей и самой светлой их стороной, — что, как нетрудно увидеть, было упованием, скорей, на себя, чем на мир. Правда, на взгляд Иосифа, его «я» и мир находились в согласии, составляя в известном смысле одно целое, так что мир был не просто миром, который существует сам по себе, а его, Иосифа, миром, который можно сделать добрей и приветливей. Обстоятельства были могущественны. Но Иосиф верил, что они подвластны личному началу, что оно определяет больше, чем безличная сила обстоятельств. Если он, по примеру Гильгамеша, называл себя человеком боли и радости, то потому, что, зная сопряженность радостного своего назначения со всяческой болью, он в то же время не верил в боль, — настолько черную, настолько мутную боль, чтобы сквозь нее не пробился его сокровеннейший свет, свет бога, который в нем живет.

Вот на что уповал Иосиф. Проще говоря, он уповал на бога и с этой верой в душе готовился взглянуть в лицо Май-Сахме, своего тюремщика, пред каковое он довольно скоро и предстал со своими стражами, после того как они провели его по низкому крытому переходу к подножию крепостной башни и к воротам, этого оборонительного сооружения, где на часах стояли другие, в шлемах с пупышами, воины, которые, когда путники приблизились, сразу распахнули перед начальником решетку ворот.

Он появился в сопровождении верховного жреца Уэпвавет, тощего плешивца, с которым только что играл в шашки. Сам он оказался коренастым человеком лет сорока, в надетом, вероятно нарочно для этой процедуры, нагруднике, на который чешуей были нашиты маленькие металлические изображения львов, и в коричневом парике, с круглыми карими глазами, черными, очень густыми бровями, маленьким ртом и коричневато-красным лицом, покрытым, как и его предплечья, черной растительностью. У этого лица было на редкость спокойное, даже сонное, но умное выражение, и спокойно, даже монотонно звучала речь коменданта, когда он, выходя из ворот с пророком

воинственного божества, явно продолжал обсуждать с ним ходы сыгранной партии, окончания которой, видимо, и пришлось ждать прибывшим. В руке он держал распечатанное письмо носителя опахала.

Остановившись, он снова развернул свиток, чтобы в него заглянуть, и когда он опять поднял лицо, Иосифу оно показалось чем-то большим, чем лицо человека, — олицетворением мрачных обстоятельств и пробивающегося сквозь них божественного света, как раз тем ликом жизни, который она являет человеку боли и радости; ибо черные его брови грозно нахмурились, а на маленьких губах заиграла улыбка. Но он тотчас же согнал со своего лица и улыбку и мрачность.

— Ты вел судно, которое доставило вас из Уазе? — обратился он, широко раскрыв круглые глаза и подняв брови, невозмутимо монотонным голосом к писцу Ха'ма'ту.

Тот ответил утвердительно, и комендант взглянул на Иосифа.

— Ты бывший домоправитель великого царедворца Петепра?

— Да, это я, — ответил Иосиф совершенно просто.

И все же это был довольно сильный ответ. Он мог бы ответить: «Ты это говоришь», или «Мой господин знает правду», или цветистее: «Маат говорит твоими устами». Но слова «Да, это я», — сказанные хоть и просто, но с сосредоточенной улыбкой, были прежде всего некоторой вольностью — ибо с начальством не говорили в первом лице, а говорили: «Твой слуга», или совсем уничижительно: «Этот ничтожный слуга», но кроме того, слово «я» вносило какую-то тревожную ноту — в сочетании со словом «это», будившим смутное подозрение, что его содержание не исчерпывается домоправительством, которое нужно было подтвердить по смыслу вопроса, то есть что ответ не вполне совпадает с вопросом, а выходит за его пределы и надо задать следующий вопрос: «Что ты за человек?» или даже: «Кто ты?»... Короче говоря, слова «да, это я» были издали идущей, издавна знакомой и общепонятной формулой самораскрытия, акта, искони облюбованного преданиями и так свойственного игре богов, акта, с которым воображение само собой связывает ряд однородных реакций и следствий, от опускания глаз до испуганного падения на колени.

И на спокойном лице Маи-Сахме, лице человека на вид не пугливого, показалось легкое замешательство, а кончик его маленького, хорошо вылепленного носа чуть-чуть побледнел.

— Так, так, значит, это ты, — сказал Маи-Сахме, и если в тот миг он и сам толком не знал, какой смысл вкладывал он в слово «это», то мечтательная его забывчивость усиливалась, вероятно, тем, что перед ним стоял самый привлекательный двадцатисемилетний красавец обеих стран. Красота — впечатляющее качество; особый род легкого страха она непременно вызывает даже в самой спокойной, вообще-то не склонной к страхам душе и вполне способна придать сказанным с сосредоточенной улыбкой словам «да, это я» мечтательный смысл.

— Ты, видно, птица легкомысленная, — продолжал комендант, — и выпал из гнезда по глупости, по опрометчивости. Жить наверху, в городе фараона, где все так интересно и где твоя жизнь могла быть нескончаемым праздником, и ни за что ни про что угодить сюда, в эту ужасную скуку! Ведь здесь царит ужасная скука, — сказал он и снова на один миг грозно нахмурил брови, причем на губах его, словно одно не обходилось без другого, опять заиграла полуулыбка. — Разве ты не знал, — продолжал он, — что в чужом доме не заглядываются на женщин? Разве ты не читал изречений из книги мертвых, а также

суждений и поучений божественного Имхотепа?

— Они мне знакомы, — отвечал Иосиф, — ибо и вслух, и про себя я читал их бесчисленное множество раз.

Однако комендант, хотя и потребовал ответа, не слушал.

— Вот это был человек, — сказал он, — повернувшись к сопровождавшему его священнослужителю, — вот это добрый спутник в жизни, мудрец Имхотеп! Врачом, зодчим, жрецом и писцом — всем он был, Тут-анх-Джхути, живой образ Тота. Я чту этого человека, прямо скажу, и если бы мне дано было пугаться, — а мне это, может быть к сожалению, не дано, для этого я слишком спокоен, — я, наверно, задрожал бы перед таким средоточием учености. Он уже бесконечно давно умер, божественный Имхотеп, — такие люди бывали на свете только в раннюю пору, на заре стран. Повелитель его был древнейший царь Джосер; разумеется, это Имхотеп построил для него вечный дом, ступенчатую пирамиду близ Менфе, шестиярусную, в сто двадцать, наверно, локтей высотой; но известняк плох, у нас в каменоломне, где работают преступники, он не так плох, а у великого зодчего не было под рукой ничего лучшего. Однако зодчество составляло лишь небольшую часть его мудрости и умения, он знал все замки и ключи храма Тота. Он был также врачомателем и тайноведцем природы; знаток твердого и жидкого, он утолял боль и приносил покой страждущим. Видимо, и сам он был очень спокойного нрава и не пуглив. Но кроме того, он был тростинкой в руке бога, писцом мудрости — причем и целителем и писцом он был одновременно, сразу, а не то что сегодня одним, а завтра другим, он был, я бы сказал, писцом-врачом, что нужно особенно подчеркнуть, ибо, по-моему, это необычайно важно. Врачебное искусство и письмо с выгодой для себя заимствуют свет друг у друга, и если они идут рука об руку, оба преуспевают больше. Врач, воодушевленный мудростью письма, умнее утешит страждущих; а писец, знающий жизнь и немощи тела, его соки и силы, его задатки и порядки, всегда превзойдет того, кто ничего не знает об этом. Мудрец Имхотеп был таким врачом и таким писцом. Это божественный муж; ему следовало бы воскурять ладан. Я думаю, что когда его смерть уйдет в прошлое еще чуть подальше, так и начнут делать... Впрочем, и жил-то он в Менфе, городе очень интересном.

— Но и ты не ударишь лицом в грязь перед ним, комендант, — отвечал главный жрец, к которому тот обращался. — Ведь не в ущерб воинской службе ты занимаешься еще и врачебным искусством, помогая страждущим и болящим, а кроме того, ты прекрасно пишешь, прекрасно и по форме и по содержанию, причем все эти занятия ты совмещаешь самым спокойным образом.

— Дело тут не в спокойствии, — ответил Май-Сахме, и невозмутимое лицо его с круглыми, умными глазами несколько помрачнело. — Иной раз мне, может быть, и нужна была бы молния испуга. Да откуда ей здесь быть?.. А вы? — обратился он вдруг, подняв брови и укоризненно закачав головой, к двум дворовым рабам Петепра, которые держали концы веревки Иосифа. — Вы что тут делаете? Вы собираетесь на нем пахать или играть с ним в лошадки, как малые дети? Как же ваш управляющий сможет ходить на каторжные работы, если он будет связан, как вол, которого привели на убой! Развяжите его, болваны! Здесь не щадя сил работают на фараона, в каменоломне или на стройке, а не разлеживаются со связанными руками. Что за неразумие!.. Эти люди, — обратился он, поясняя, опять к священнослужителю, — представляют себе узилище местом, где можно разлеживаться со связанными руками. Они понимают все буквально, так уж им свойственно, и, как дети, придираются к слову. Если им скажут, что кого-то бросили в узилище, куда бросают узников царя, они убеждены, что он и в самом деле плюхнулся в какую-то яму, где полно крыс и лязгают цепи, а узники лежат и крадут дни у великого Ра. Такое смешение слова с действительностью есть, на мой взгляд, главный признак

невежества и отсталости. Я часто встречал его у смолоедов горемычного Куша, да и у крестьян, возделывающих наши поля, но никак не в городах. Споры нет, в этом буквальном понимании речи есть какая-то поэзия, поэзия простоты и сказки. Существуют, насколько я могу судить, два вида поэзии: в основе одного лежит народная простота, в основе другого — дух письменности. Второй вид, несомненно, выше, но я считаю, что он не может существовать без содружества с первым, нуждаясь в нем, как в почве, подобно тому как вся красота высшей жизни и великолепие самого фараона нуждаются в слое обыденной, убогой жизни, чтобы расцвести над нею и удивлять мир.

— Как питомец книгохранилища, — сказал писец питейного поставца Ха'ма'т, поспешивший собственноручно освободить локти Иосифа, — я несколько не повинен в смешении слова с действительностью и лишь для формы, церемонии ради, решил передать тебе, комендант, узника связанным. Он и сам подтвердит, что уже в пути я почти все время избавлял его от веревки.

— Это было всего-навсего разумно с твоей стороны, — ответил Май-Сахме. — Тем более что преступление преступлению рознь, и на убийство, воровство, нарушение границы, неуплату налогов или растрату их сборщиком нужно смотреть другими глазами, чем на провинности, где замешана женщина, о которых нужно судить сдержаннее.

Он снова наполовину развернул письмо и заглянул в него.

— У нас тут, — сказал он, — речь идет, как я вижу, об истории с женщиной, и я не был бы офицером и воспитанником царских конюшен, если бы приравнял такое дело к бесчестным выходкам черни. Конечно, неумение различать между словом и действительностью, готовность все понимать буквально есть признак ребяческой отсталости, но такое смешение нет-нет да случается и у людей образованных; хотя известно, что в чужом доме нельзя заглядывать на женщин, потому что это опасно, на них все же заглядываются, потому что мудрость — это одно, а жизнь — это другое; и как раз благодаря опасности такое поведение становится даже делом чести. К тому же в любовной истории участвуют двое, что всегда несколько затемняет вопрос о виновности, и если вчуже он и кажется ясным, потому что одна сторона — мужчина, конечно, — берет всю вину на себя, то и тут тоже нужно иметь голову на плечах и отличать слово от действительности. Когда я слышу о соращении женщины мужчиной, я тихонько ухмыляюсь, ибо меня это смешит, и про себя думаю: о великое троеначалие! Известно же, кто испокон веков наделен способностью соращать — как раз не мы, простаки... Знаешь ли ты историю о двух братьях? — обратился он прямо к Иосифу, подняв к нему круглые карие глаза, ибо был значительно меньше ростом, чем тот, и толстоват. Густые свои брови он тоже поднял как можно выше, словно это помогало свести на нет разницу в росте.

— Я отлично знаю ее, мой комендант, — отвечал Иосиф. — Мало того что я часто читал ее другу фараона, своему господину, мне приходилось и переписывать ее для него красивым почерком, черными чернилами и красными.

— Ее будут еще много раз переписывать, — сказал комендант. — Это превосходное, образцовое сочинение, причем образцовое не только по своему слогу, придающему убедительность некоторым неправдоподобным, если судить трезво, местам, таким, например, как рассказ о царице, которая забеременела от попавшей к ней в рот щепки персей, что слишком противоречит врачебному опыту, чтобы в это можно было сразу поверить. История эта Образцова вообще, в ней, как в форме, отлилась сама жизнь. Взять, например, то место, когда жена Анупа, увидев силу юноши Баты, прижимается к нему и говорит: «Пойдем, ляжем вместе, позабавимся часок! А за это я сошью тебе два красивых наряда!» или когда Бата кричит своему брату: «Горе мне, она все рассказала не

так, как было!» — и, оскопив себя на его глазах листом мечевидного тростника, бросает свой мужской член на съедение рыбам, — это захватывающе! Потом события становятся снова неправдоподобными, но все-таки это возвышает душу, когда Бата превращается в быка Хапи и говорит: «Я стану самым чудесным Хапи, и вся страна на меня не нарадуется», — а потом называет себя и говорит: «Я Вата! Смотри, я живу, и я священный бык бога». Конечно, это грубый вымысел; но в каких странных формах предвосхитительного воображения не отливается иной раз изменчивая жизнь!

Он помолчал, внимательно глядя в пустоту, со спокойным лицом, чуть приоткрыв маленький рот. Потом он снова заглянул в письмо.

— Вы можете представить себе, отец мой, — сказал он, поднимая голову к плешивцу-жрецу, — что прибытие такого новичка служит мне неким живительным развлечением среди однообразия этой крепости, где человеку, уже и от природы спокойному, грозит, можно сказать, опасность впасть в сонливость. Те, кого обычно мне доставляют, либо уже осужденных, либо для предварительного заключения, покуда весы правосудия колеблются и дело еще не разобрано, всякие там обиратели могил, разбойники с большой дороги и похитители кошельков, не способны предотвратить эту опасность. Случай, когда преступление относится к области любви, выделяется на таком фоне самым увлекательным образом. На этот счет не может быть никаких сомнений, и насколько я знаю, даже иноземные народы самого чуждого нам склада ума сходятся на том, что эта область принадлежит к наиболее увлекательным, наиболее замысловатым и таинственным сторонам человеческой жизни. У кого не было своего поразительного и достойного размышления опыта в царстве Хатхор? Рассказывал ли я вам о своей первой любви, которая была одновременно и второй моей любовью?

— Нет, комендант, ни разу, — сказал жрец. — Первая была уже и второй? Удивительно, как это могло произойти.

— Или вторая была все еще первой, — отвечал комендант. — Как вам угодно. Все еще, или снова, или вечно, — кто скажет, какое слово тут верно? Да и не в этом дело.

И с невозмутимым, даже сонным видом, скрестив руки, а свиток письма сунув под мышку, склонив голову набок, приподняв над карими, выпуклыми глазами могучие брови, размеренно и старательно шевеля округленными своими губами, Май-Сахме начал рассказывать Иосифу и его стражам, жрецу Уэпвавет, а также несколькими стоявшим рядом и подошедшим солдатам ровным-преровным голосом:

— Мне было двенадцать лет, и я был питомцем писарского училища при царских конюшнях. Я был довольно мал ростом и тучен; таков я и ныне, и такова мера, положенная моей жизни до смерти и после смерти; но сердце и ум отличались у меня восприимчивостью. Однажды я увидел одну девушку, которая в обеденный час принесла своему брату, моему соученику, хлеб и пиво, потому что мать его заболела. Его звали Имезиб, он был сыном чиновника Аменмоса. А свою сестру, которая принесла ему его рацион, три хлеба и две кружки пива, он называл Бети, из чего я предположительно заключил, что ее зовут Нехбет, что и подтвердилось, когда я об этом спросил Имезиба. А занимало это меня потому, что она сама меня занимала, и я не мог оторвать от нее глаз, покуда она не ушла: от ее кос, от узких глаз, от изгиба ее рта, особенно же от ее рук, которых не закрывало платье, изящно-полных, полных ровно настолько, насколько это красиво, рук — они произвели на меня самое сильное впечатление. Но в течение дня я и сам не знал, как поразила меня Бети, я узнал это только ночью, когда лежал среди своих товарищей в спальне, положив рядом с собой платье и сандалии, а в головах мешок с книгами и письменными принадлежностями, как то полагалось. Ибо мы и во сне не должны были забывать книг, которые давили нам на головы снизу. Но я все-таки

ухитрялся их забывать, и мои сны совершенно не зависели от их давления. Мне приснилось со множеством самых правдоподобных подробностей, будто я обручен с дочерью Аменмоса Нехбет, будто наши отцы и матери договорились об этом между собой, и теперь она будет моей сестрой во браке и хозяйкой моего дома, а ее рука будет лежать на моей. Я радовался этому сверх всякой меры, как еще никогда в жизни не радовался. Внутренности ходили у меня ходуном от радости по поводу этого сговора, скрепленного тем, что наши родители велели нам сблизить наши носы — это было так сладостно. И сон мой отличался такой живостью, такой естественностью, что вообще не уступал действительности, и даже когда ночь миновала, когда я уже проснулся и умылся, он странно морочил меня и казался мне явью. Ни раньше, ни позже со мной не случилось такого, чтобы и после пробуждения сон пленял меня своей живостью и чтобы я, бодрствуя, продолжал верить в него. Еще несколько утренних часов я жил в столь же твердом, сколь и блаженном убеждении, что я обручен с девушкой Бети, и лишь медленно, поскольку я сидел в зале для письменных работ и учитель, ободрения ради, ударил меня по спине, уходило прочь счастье моих внутренностей. Началом отрезвления была мысль, что хотя сговор и сближение наших носов были лишь сном, незамедлительному осуществлению этого сна ничто не препятствует и мне нужно только попросить своих родителей переговорить на этот счет с родителями девушки Беги; ибо некоторое время мне еще казалось, что после этого сна такое требование совершенно естественно и ни у кого не вызовет удивления. Лишь позже, лишь постепенно я отрезвел, к холодному своему разочарованию, настолько, чтобы понять, что осуществление этой, казалось бы, вполне осуществимой мечты — сущая блажь и в силу обстоятельств совершенно исключено. Ведь я же был всего-навсего мальчишка-школяр, которого колотили, словно папирус, моя карьера писца и офицера только еще начиналась, к тому же я был создан для этой и для той жизни слишком низкорослым и толстым, и мое обручение с Нехбет, которая была на добрых три года старше меня и со дня на день могла обручиться с человеком куда более высокого чина, чем я, показалось мне, когда счастливый морок рассеялся, смехотворной затеей.

— Поэтому, — спокойно продолжал комендант, — я отказался от мысли, которая никогда не пришла бы мне в голову, если бы не предстала во сне прекрасной действительностью, и по-прежнему нес службу ученья в училище при конюшнях, где меня часто понукали ударами по спине. Двадцать лет спустя, когда я давно уже был произведен в писцы приказов победоносного войска, меня с тремя спутниками послали в Сирию, в горемычную страну Хару для осмотра и отбора лошадей, которых в счет дани нужно было отправить на грузовых судах в конюшни царя. Из гавани Хазати я проехал в покоренный Секмем и в город, именуемый, если мне не изменяет память. Пер-Шеан, где находился наш гарнизон, начальник которого, пригласив своих соотечественников и писцов-ремонтеров, устроил для них в своем прекрасном доме вечерний прием с вином и венками. Собрались египтяне и городская знать, мужчины и женщины. Тут-то я и увидел одну девушку, родственницу этой египетской семьи со стороны хозяйки дома, чья сестра была матерью девушки, которая, приехав издалека, из Верхнего Египта, где в области первого порога жили ее родители, гостила здесь со своими слугами и служанками. Отец ее был очень богатым купцом из Суэнета, доставлявшим товары горемычной страны Кази, слоновую кость, леопардовые шкуры и черное дерево, на рынки Египта. Когда я увидел эту девушку, дочь торговца слоновой костью, когда я увидел ее во цвете ее молодости, со мной во второй раз за мою жизнь случилось то, что впервые случилось много лет назад, в училище для мальчиков, а именно: я не мог оторвать от нее глаз, потому что она произвела на меня необычайное впечатление, и счастье того давно забытого сна вернулось ко мне в такой поразительной полноте сходства, что при виде этой девушки внутренности заходили у меня ходуном в точности так же. Однако я робел перед ней, хотя солдату робеть не к лицу, и долгое время не отваживался даже узнать ее имя и кто она.

Когда же я это сделал, я узнал, что она дочь Нехбет, дочери Аменмоса, которая вскоре после того, как я увидел ее и обручился с нею во сне, вышла замуж за того суэнетского торговца слоновой костью. Но девушка Нофрура — так ее звали — совсем не походила на мать ни чертами лица, ни цветом кожи и кос, ибо была в общем гораздо темнее, чем та. На Нехбет она была похожа разве что милым станом; но мало ли на свете девушек такого сложения! И все-таки вид ее тотчас же вызвал во мне те же глубокие чувства, которых я с тех пор не испытывал, так что, пожалуй, можно сказать, что я уже любил ее в ее матери, а мать ее снова полюбил в ней. Я даже допускаю и в некотором роде жду, что если еще через двадцать лет мне случится, не зная того, встретить дочь Нофрура, мое сердце сразу же потянется к ней, как к ее матери и к ее бабке, и всегда и вечно это будет одна и та же любовь.

— Это и в самом деле примечательное влечение сердца, — сказал жрец, как бы не замечая из деликатности того странного обстоятельства, что начальник так спокойно и так монотонно поведал здесь эту историю. — Но если дочери торговца слоновой костью тоже суждено иметь дочь, то жаль, что она будет не твоей дочерью, ибо если мальчишеский сон, приснившийся тебе, когда у тебя под головой лежал мешок с книгами, не мог стать действительностью, то при возвращенье Нехбет, или, вернее, при возобновлении твоих чувств к ней, действительность вполне могла вступить в свои права.

— О нет, — качая головой, ответил Май-Сахме. — Разве пара такой богатой, такой красивой девушке какой-то коренастый писец-ремонтёр? Она вышла замуж за какого-нибудь окружного наместника или за какого-нибудь сановника, стоящего у ног фараона, например, за смотрителя казначейства с воротником из золота славы на шее, тут ничего не поделаешь. Не забывают также, что к девушке, чью мать ты уже любил, относишься до некоторой степени по-отцовски, так что брачному с ней союзу препятствуют и помехи внутренние. А кроме того, мысли, на которые вы намекали, вытеснялись у меня, пользуясь вашим выражением, примечательностью этого случая. Размышляя о его примечательности, я не мог прийти к решениям, благодаря которым внучка моей первой любви стала бы моей собственной дочерью. Да и следовало ли так желать этого? Ведь тогда я отнял бы у себя ожидание, в каком ныне живу, ожидание, что когда-нибудь, сам не зная того, я встречу дочь Нофрура и внучку Нехбет и что она также произведет на меня такое необыкновенное впечатление. Поэтому и на склоне дней моих мне, может быть, дано будет на что-то надеяться, тогда как в противном случае ряд моих повторяющихся влечений сердца, наверно, преждевременно кончился бы.

— Это возможно, — согласился, помедлив, служитель бога. — Но историю о матери и дочери или, вернее, историю твоей истории с ними ты мог бы, по крайней мере, изложить на папирусе, придав ей с помощью тростинки изящную форму для обогащения нашей утешительной словесности. Третье появление единого женского образа и твою любовь к нему ты мог бы, по-моему, просто присочинить и представить дело так, словно и это уже состоялось.

— Попытки такого рода, — невозмутимо отвечал комендант, — делались, и если я так складно все излагаю в нашей беседе, то объясняется это именно предварительной письменной подготовкой. Трудность состоит лишь в том, что для изображения встречи с внучкой Бети мне пришлось бы отнести свое писание к будущему времени, а значит, перенестись в более поздний свой возраст, а это требует усилий, которые меня пугают, хотя вообще-то солдат никаких усилий не должен пугаться. Но главное, я боюсь, что я человек слишком спокойный, чтобы вдохнуть в свое повествование ту волнующую силу, какая есть, например, в образцовой истории о Двух Братьях. А замысел этот слишком мне дорог, чтобы рисковать испортить его... Впрочем, — прервал он себя с укоризной, — сейчас здесь происходит прием узника. Сколько вьючных животных, — спросил он

Иосифа, обращаясь к нему как можно надменнее, — требуется, по-твоему, чтобы доставить пищу в каменоломню пятистам каменотесам и грузчикам с их офицерами и надсмотрщиками?

— Понадобится, пожалуй, — отвечал Иосиф, — двенадцать волов и пятьдесят ослов.

— Пожалуй. А сколько человек приставил бы ты к канатам, если глыбу в четыре локтя длиной и два шириной, а высоту в один локоть нужно было бы тащить до реки пять миль?

— Вместе с путепрокладчиками, подносчиками воды для смачивания земли под катком и носильщиками бревна, которое нужно то и дело подкладывать под камень, — ответил Иосиф, — я бы смело взял для этого сто человек.

— Зачем так много?

— Это тяжелый камень, — отвечал Иосиф, — и если уж запрягать не волов, а людей, потому что люди дешевле, нужно нарядить достаточное их количество, чтобы по дороге один отряд грузчиков сменял у канатов другой и не было случаев смерти из-за внутреннего излияния пота; никто не надорвется, не задохнется, и не будет страждущих и болящих.

— Конечно, этого лучше избегать. Но ты забываешь, что выбирать мы можем не только между волами и людьми, что к нашим услугам еще и варвары красной земли, ливийцы, пунтийцы, жители сирийских песков, и притом в любом количестве...

— Отданный под твое начало, — отвечал Иосиф с достоинством, — и сам родом оттуда. Он дитя одного царя стад из тех мест верхнего Ретену, которые именуются Кана-ан, его просто похитили и увели вниз, в землю Египетскую.

— Зачем ты мне это говоришь? Это же сказано в письме. И почему ты называешь себя «дитя», вместо того чтобы сказать «сын»? Это отдает изнеженностью и самолюбованием, что совсем не к лицу осужденному, даже если его провинность не задевает его чести, а относится к нежной области. Ты боишься, по-видимому, что, поскольку ты родом из горемычной страны Захи, я стану впрягать тебя в самые тяжелые глыбы, покамест пот не изольется у тебя внутрь и ты не умрешь сухой смертью. Это столь же нескромная, сколь и неуклюжая попытка читать мои мысли. Я был бы плохим начальником острога, если бы не умел находить каждому наилучшего по его способностям и по его опыту применения. Твои ответы довольно ясно показывают, что некогда ты управлял домом важного лица и в промыслах кое-что понимаешь. И твое стремление не допускать, чтобы люди надрывались, даже если они не дети, — я хочу сказать: не сыновья Хапи и Черной Земли, — отнюдь не противоречит собственным моим желаниям и свидетельствует о хозяйственной сметке. Я назначу тебя надсмотрщиком над каким-нибудь отрядом каторжан, занятым в каменоломне или даже во внутренней службе и в письмоводстве; ведь, конечно, ты быстрее других высчитаешь, сколько мер полбы войдет в амбар такой-то величины или сколько зерна ушло на такое-то количество пива и сколько на такое-то число хлебов, чтобы узнать меновую стоимость пива и хлеба, и тому подобное... Было бы весьма желательно, — пояснил он отверзателю уст Уэпвавет, — чтобы я освободился от части этих обязанностей и, перестав вникать в каждое дело, приобрел больше досуга для своих попыток утешительно, а может быть даже, и волнующе запечатлеть на папирусе историю трех влечений, которые были одним и тем же влечением... Вы, люди из Уазе, — сказал он провожатым Иосифа, — убирайтесь теперь восвояси и плывите обратно — против течения, но с северным ветром. Веревку свою возьмите с собой, вместе с моим приветом другу фараона, вашему господину!.. Меми! — приказал он наконец чину с

дубинкой, приведшему сюда путников, — укажи этому царскому рабу, приговоренному к каторжным работам в должности младшего управляющего, отдельное пристанище, выдай ему верхнее платье и вручи ему посох в знак его надзирательского достоинства. Как ни высоко он уже стоял, он все-таки спустился к нам, и ему придется подчиниться железным правилам Цави-Ра.

А все, что осталось у него от его высокого положения, мы неумолимо используем, в точности так же, как физические силы стоявших низко. Ибо это принадлежит уже не ему, а фараону. Дай ему поесть!.. До свидания, отец мой, — попрощался он со жрецом и, повернувшись, направился к своей башне.

Такова была первая встреча Иосифа с начальником темницы Май-Сахме.

## О доброте и уме

Ну, вот вы и успокоились, как успокоился Иосиф, насчет нрава тюремщика, в чье распоряжение передал его прежний господин. При всем однообразии своей невозмутимости, это был человек самобытного обаяния, и наша повесть, которая стремится осветить всех и вся, недаром не спешила сейчас отвести свой светильник от его раз и навсегда коренастой фигуры, а довольно долго направляла луч на нее, дав вам время запечатлеть в своей памяти его до сих пор почти неизвестную человечность; ибо в этой истории, которая снова разыгрывается сейчас совершенно правдиво, так же, как она протекала в действительности, его еще ждала, хотя и это почти неизвестно, некая служебная, однако совсем немаловажная роль. Ведь после того как Май-Сахме несколько лет был осторожным начальником Иосифа, ему привелось еще долгое время находиться вблизи Иосифа в качестве его помощника, участвуя в управлении праздником веселых и великих событий, на точное и достойное изложение которых да подвигнет нас муза.

Об этом дальше. Но если к начальнику темницы предание применяет почти ту же формулу, что и к Потифару, говоря, что он «не смотрел ни за чем, что было у него в руках», ибо вскоре все происходившее в яме происходило там благодаря Иосифу, то понимать это нужно правильно, в совсем ином смысле, чем в случае со священной башней из мяса и царедворцем Солнца, который оттого не принимал участия ни в каком деле, что по титулованной своей неподлинности находился вне человечества и, будучи в безвыходно замкнутом своем бытии чужд всякой действительности, называл своим делом чистую форму. Май-Сахме, напротив, был вполне деятельным человеком, с сердечной теплотой, хотя и очень спокойно принимавшим участие во множестве дел, а лучше сказать: в людях; ибо он был прилежным врачом, который ежедневно рано вставал, чтобы посмотреть испражнения недужных солдат и каторжников, лежавших в особом больничном сарае; а его надежно укрепленный служебный покой, находившийся в башне крепости Цави-Ра, представлял собой настоящую, полную всевозможных ступок и терок, гербариев, колб, тиглей, шлангов, испарительных кювет и перегонных реторт лабораторию, где с таким же сонным и умным выражением лица, с каким в день прибытия Иосифа он поведал историю трех влечений, комендант, справляясь с книгой «На пользу людям» и другими сводами древнего опыта, готовил свои средства для промывания желудка, свои отвары, пилули и припарки, помогающие при задержке мочи, опухолях на затылке, отвердении позвоночника и перегреве сердца, а кроме того, читая и размышляя, разбирал такие общие, возвышающиеся над частными случаями проблемы, как, например, вопрос о том, действительно ли сосудов, попарно идущих от сердца к отдельным частям человеческого тела и столь склонных закупориваться, затвердевать, воспаляться, а порой и не принимать лекарств, — действительно ли этих сосудов всего

двадцать два или же, как он все более и более склонялся предположить, целых сорок шесть; или, к примеру, вопрос о том, являются ли черви в теле, которых он пытался умертвить своими снадобьями, причиной определенных болезней или же, наоборот, их следствием, поскольку при закупорке одного или нескольких сосудов образуется опухоль, которая, не находя выхода, гнивает и при этом, что вполне естественно, превращается в червей.

Хорошо, что комендант брался за такие дела, ибо хотя по чину они скорее подобали бы его партнеру по шашкам, жрецу Уэпвавет, нежели ему, солдату, знаний священнослужителя в области свойств тела едва хватало на осмотр и богоугодное заклятие жертвенных животных, а что касается лечения, то его методы всегда несколько односторонне сводились к колдовству и заговорам, элементу, впрочем, необходимому, поскольку заболевание любого органа, будь то селезенка или позвоночник, бесспорно вызывалось и тем, что эту часть тела, добровольно или нехотя, покинуло божество, ей покровительствующее, уступив место враждебному бесу, который вел там теперь свою разрушительную работу, почему его и требовалось оттуда изгнать действенным заклинанием. Известных успехов жрец добивался тут с помощью очковой змеи, которую он хранил в особой корзинке и нажатием на затылок превращал в волшебную палочку, и ввиду этих успехов Май-Сахме брал у него иногда змею во временное пользование. Но в общем-то комендант держался проверенного мнения, что сама по себе, в чистом виде, магия помогает редко и нуждается в материальном подспорье светских знаний и средств, чтобы, в сочетании и в единстве с ними, достичь желаемой цели. Так, например, от засилья блох, допекавших в Цави-Ра всех и каждого, заговоры жреца никогда никого не спасали, а если и спасали, то лишь на столь короткое время, что облегчение вполне могло быть основано на обмане чувств; и беда эта пошла на убыль только тогда, когда Май-Сахме, не пренебрегая, правда, и заклинаниями, велел все опрыскать едким натром, а кроме того, разбросать повсюду древесный уголь, смешанный с растертой травой бебет. Он же распорядился покрыть запасы еды на складах слоем кошачьего жира — от мышей, которых было немногим меньше, чем блох. Он спокойно рассудил, что мыши, приняв запах жира за запах живой кошки, испугаются и не станут трогать запасов, — и так оно и случилось.

Санитарный барак крепости был всегда заполнен ранеными и больными, поскольку работа в каменоломне, находившейся в пяти милях от реки, в глубине страны, была очень тяжелая, как вскоре мог убедиться Иосиф, много раз проводя там по несколько недель в роли надсмотрщика отряда солдат и каторжан, которые рубили, ломали, тесали и волочили камень. Ибо гарнизону жилось не слаще, чем каторжанам, и воины Цави-Ра, как местные жители, так и чужеземцы, когда они бывали свободны от сторожевой службы, несли те же обязанности, что и узники, и так же как узники сносили удары понукающей палки. Правда, ранения, истощение, внутреннее излияние пота признавали у них с несколько большей готовностью, чем у осужденных, и в крепостной госпиталь их препровождали несколько раньше, чем тех, которые должны были терпеть до конца, то есть до падения наземь, причем до третьего падения, ибо первое и второе обычно считались притворством.

Кстати смазать, в этом отношении при Иосифе порядок стал мягче, сперва только в его отряде. А потом, когда сбылись слова, что начальник темницы отдал в руки Иосифу всех узников, и в каменоломне он появлялся уже как главный, что ли, надсмотрщик и заместитель коменданта, это смягчение распространилось на всех. Ибо, помня об Иакове, о далеком своем отце, для которого он умер, помня, как тот не одобрял служильни Египетской, Иосиф распорядился, чтобы уже после второго падения человека браковали и возвращали на остров; а первое по-прежнему считалось притворством, даже если одновременно наступала смерть.

Итак, лазарет никогда не знал недостатка в страждущих и болящих: у одного была сломана кость, другой «не мог опустить взгляд на свой живот», у третьего тело было, как сыпью, покрыто распухшими следами укусов мух и комаров, у четвертого желудок, если приложить к нему палец, начинал перекатываться, как масло в кожаном мехе, у пятого от каменной пыли гноились глаза; и комендант брался за все эти случаи, не отступая ни перед одним и находя для каждого из них, если только это не была сама смерть, свое средство. На сломанные кости он накладывал лубок, при неспособности человека опустить взгляд на свой живот он пытался помочь больному смягчительными припарками, места укусов он смазывал гусиным жиром с примесью растительного лекарственного порошка, при болезненном перекатывании желудка он предписывал разжевывать, запивая их пивом, семена клещевины, а для всяких глазных болезней у него имелась отличная мазь из Библа. Чтобы подкрепить целебное средство и притеснить вкравшегося в ту или иную часть тела беса, пускалось в ход, правда, и некоторое колдовство; состояло оно, однако, не столько в заговорах и прикосновениях оцепеневшей очковой змеей, сколько в действии личных токов Май-Сахме, которые были токами покоя и успокаивали больного, так что тот не страшился уже своей болезни, — а страх этот был вреден, — и, перестав корчиться, произвольно перенимал выражение лица коменданта: приоткрывал округленный рот и поднимал брови с умной невозмутимостью. Так, обретя покой, больные и лежали в ожидании выздоровления или смерти; ибо и смерти Май-Сахме учил их не страшиться, и даже когда лицо больного становилось лицом бледного трупа, он все еще, мирно вытянув руки, подражал хладнокровному своему врачу и без дрожи в губах глядел из-под задумчиво поднятых бровей вперед, туда, где была жизнь после жизни.

В этом-то исполненном покоя и неустрашимости лазарете Иосиф часто появлялся с комендантом в качестве его провожатого и помощника; ибо из каменоломни тот вскоре отозвал его для внутренней службы, и утверждение, что начальник темницы отдал всех узников в руки Иосифу, благодаря которому и происходило все происходившее в яме, надо понимать так, что уже скоро, примерно через полгода после своего прибытия в острог, бывший управляющий Потифара сам собой, без какого-либо особого назначения, сделался вершителем обобщающего надзора в канцелярии и попечителем всей крепости, так что все документы и счета — а их, как повсюду в стране, было здесь бесконечное множество — касались ли они закупок зерна, масла, ячменя, убойного скота и распределения таковых между стражей и каторжниками, или пивоварения и выпечки хлеба в Цави-Ра, или даже доходов и расходов храма Уэпвавет, отгрузки тесаного камня и так далее, проходили, к облегчению всех, кто занимался этим прежде, через его, Иосифа, руки, а отчитывался он только перед комендантом, этим спокойным человеком, с которым у него с самого начала установились дружеские, а со временем и самые теплые отношения.

Ибо в глазах Май-Сахме подтвердились слова, какими Иосиф ответил ему при первом допросе, те исконно-драматические слова самораскрытия, которые вдруг нарушили его покой и даже, чего никогда не случалось, в каком-то широком, в каком-то очень расплывчатом смысле испугали его, так что он и сам почувствовал, как побледнел у него кончик носа; за этот испуг комендант был до некоторой степени благодарен тому, кто помог ему испугаться, ибо подспудно его спокойствие желало испуга, казавшегося умной его скромности завидным, но не доставшимся ей даром, оно ожидало его, как ожидал Май-Сахме нового появления девушки Нехбет в ее внучке и третьего своего потрясения. Широкий, расплывчатый смысл имело и его ощущение правдивости слов, которыми открылся ему Иосиф, и определить, как нужно понимать слово «это» в неизменно пугающей формуле «Да, это я», Май-Сахме не сумел бы, но он и не сознавал, что не может определить этого, ибо не считал нужным отдавать себе отчет в своих ощущениях. В этом и состоит различие между его обязанностями и нашими. В свое раннее, хотя, с другой стороны, уже весьма позднее время Май-Сахме мог в полном спокойствии, хотя и с

подобающим страхом, ограничиваться догадкой и верой. Древнейшая повесть выразила это в утверждении, что господь простер к Иосифу милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. Словечко «и» можно истолковать в том смысле, что милость, оказанная богом сыну Рахили, как раз в том и состояла, что его тюремщик к нему благоволил. Но было бы не совсем верно ставить милость и благоволение в такую связь. Не следует думать, что бог оказал Иосифу милость, заставив коменданта благоволить к нему; нет, приязнь и доверие — одним словом, вера, которую внушали ему вид и повадка Иосифа, вытекала из безошибочного чувства божественной милости, присущего человеку доброму, то есть из ощущения божественности этого узника; ведь таково уж свойство и, можно сказать, признак доброго человека — ощущать божественное начало с умным благоговением, что очень сближает, а по сути, даже и отождествляет доброту с умом.

Кем же считал Май-Сахме Иосифа? Неким воплощением праведности, праведником, желанным пришельцем; зачинателем нового времени — сначала только в том скромном смысле, что этот узник, сосланный сюда по таким интересным причинам, нарушит скуку скучного этого места, где уже с давних пор и кто знает, как долго еще, обречен служить комендант; и если начальник Цави-Ра так резко осуждал и даже объявлял признаком отсталости смешение слова с действительностью, то происходило это, может быть, как раз оттого, что сам он легко впадал в такую путаницу и, стоило ему чуть ослабить внимание, плохо отличал метафорическое от истинного. Иначе говоря, уже каких-то слабых намеков, напоминаний и аналогий в чертах того или иного явления было ему достаточно, чтобы увидеть в нем всю полноту, всю действительность напоминаемого, а в случае с Иосифом этой полнотой и действительностью был образ долгожданного спасителя, пришедшего покончить со скучной стариной и, к ликованию человечества, положить начало новой эпохе. Но образ этот, намек на который виден был в Иосифе, овеян ореолом божественности, — а такая идея опять-таки чревата соблазном спутать метафорическое с истинным, признак предмета с самим предметом. И так ли уж он сбивает с толку, этот соблазн? Где божественность, там и бог, — там, как сказал бы Май-Сахме, если бы он вообще что-то говорил, а не ограничивался догадкой и верой, какой-то бог — бог в маске, которую, однако, нужно внешне, да и мысленно уважать, даже если из-за невольной прекрасной, писано красивой наружности маскировка оказывается неполной, не вполне, так сказать, удастся. Май-Сахме не был бы сыном Черной Земли, если бы не знал, что существуют сколки бога, его одушевленные копии, которые надлежит принципиально отличать от неодушевленных, безжизненных и чтить как живые образы бога, например. Хапи, менфийский бык, или сам фараон на горизонте своего дворца. Привычка к таким вещам немало способствовала тем догадкам, какие возникали у Май-Сахме насчет естества и обличья Иосифа, — а мы знаем, что тот отнюдь не стремился положить конец подобным догадкам, а напротив, любил ставить людей в тупик.

Для письмоводства и для архива появление Иосифа было поистине благодатно; ибо хотя о коменданте отнюдь нельзя было сказать, что он ни за какие дела не брался, — из-за спокойной его страсти к медицине и к литературе порядок в канцелярии, который так ценило фиванское начальство, и в самом деле, как он и сам знал, страдал, а это угрожало его служебному положению и уже стоило ему нескольких писем из столицы со столь же вежливым, сколь и неприятным в своей иносказательности выговором. Как раз в этом отношении Иосиф предстал перед ним как желанный пришелец, зачинатель перемен, человек формулы «Да, это я». Да, это он привел в порядок счета; да, это он внушил письмоводителям Май-Сахме, усердно предававшимся игре в кегли и в пальцы, что если комендант отвлечен более высокими занятиями, это все же не причина запускать дела, а, наоборот, причина вести их с особенным рвением; да, это он заботился о том, чтобы в столицу уходили такие отчеты и докладные записки, которые начальству было воистину приятно читать. В его руке посох надсмотрщика был подобен застывшей в волшебную

палочку змее кобре; ибо ему достаточно было дотронуться им до стенки пифоса, чтобы сразу же, не считая, сказать: «Сюда войдет сорок мешков пшеницы»; а если требовалось определить, сколько кирпичей понадобится для постройки помоста, ему достаточно было прикоснуться посохом к своему лбу, чтобы сказать; «Понадобится пять тысяч кирпичей». Иной раз он определял это верно, иной раз не совсем. Но если однажды он оказался так поразительно прав, то это уже бросало свой отсвет и на позднейшую неточность и скрадывало ее в глазах людей.

Одним словом, сказав: «Да, это я», — Иосиф не солгал коменданту, и теперь хозяйству и учету не шло в ущерб даже то, что Май-Сахме отнимал время у Иосифа, часто призывая его в башню, в свою аптеку и сочинительскую. Ибо он любил его общество и не только охотно обсуждал с ним такие вопросы, как вопрос о числе сосудов и о червях — являются ли они причиной болезни или, наоборот, ее следствием, — но и заставлял его переписывать, как это Иосиф делал для прежнего своего господина, на тончайший папирус, черными и красными чернилами, как можно изящнее, сказку о Двух Братьях, что, по мнению Май-Сахме, подобало Иосифу не только благодаря его красивому почерку, но особенно ввиду личной его судьбы. Ибо особенно интересовал коменданта новоприбывший потому, что его провинность касалась любви — а к этой области, более всего привлекающей к себе отрадную словесность, Май-Сахме относился с горячим и глубоким, хотя и спокойным участием: сколько времени приходилось не в ущерб службе урывать от нее ради частных желаний Май-Сахме сыну Иакова, видно из того, что начальник часами обсуждал с ним, как лучше всего утешительным, а по возможности и волнующим, если не пугающим образом изложить на папирусе историю своей триединой, частично еще ожидаемой любви; главная, более других занимавшая его трудность состояла тут в том, что для предвосхищения и включения в повесть ожидаемого события ему пришлось бы вести рассказ от лица по меньшей мере шестидесятилетнего старика, а это грозило бы свести на нет волнующее начало, и так уже потерпевшее ущерб из-за его, Май-Сахме, прирожденного спокойствия.

Но и собственное приключение Иосифа, приведшее его в узилище, его история с женой царедворца также была предметом беллетристического сочувствия коменданта, и когда Иосиф ее рассказывал, он всячески щадил одержимую, но не щадил себя, не смягчал собственной вины, которую ставил в связь со своей прежней виной перед братьями, а тем самым и перед отцом, царем стад, что шаг за шагом вводило Иосифа в историю его юности и его происхождения, позволяя умным, круглым глазам египтянина заглянуть в чужеродные, весьма и весьма туманные истоки такого явления, как его помощник, каторжник Озарсиф, чье странное и явно составленное из каких-то намеков имя он не оспаривал и произносил с нежностью доброго человека, хотя никогда не считал его настоящим именем нового узника, а сразу же увидел в нем псевдоним, игривую перифразу слов «Да, это я».

Историю жены Потифара он был бы рад изложить на папирусе по правилам утешительной словесности и часто беседовал с Иосифом о наилучших для этого способах и путях. Но, начиная писать, он всякий раз сбивался на образцовую историю о Двух Братьях, и на том его попытки и кончались.

Много дней успело уйти в прошлое, и уже около года минуло с тех пор, как первенец Рахили прибыл в острог Цави-Ра, когда в этой крепости случилось событие, которое было лишь частью тяжких событий в большом мире и, правда, не сразу, но несколько позже принесло Иосифу, а также его тюремщику и другу Май-Сахме необычайные перемены.

Господа

Однажды, когда Иосиф в привычный утренний час пришел с деловыми бумагами в башенное жилище начальника, чтобы с ним посоветоваться, — вообще-то эти совещания протекали совершенно так же, как у Петепра со старым управляющим Монт-кау, сводясь обычно к односложному: «Ладно, ладно, мой милый», — Майи-Сахме, даже не взглянув на счета, отстранил их рукой, и по его необычайно высоко взлетевшим бровям, а также по пухлым его губам, разомкнутым сегодня шире обычного, сразу стало видно, что он поглощен каким-то особенным происшествием и в пределах природного своего спокойствия взволнован.

— Отложим это до другого раза, Озарсиф, — сказал он, имея в виду бумаги. — Сейчас не время. Знай, что во вверенном мне остроге не все обстоит так же, как вчера и позавчера. Кое-что произошло, произошло затемно и без шума, по особым, тихонько переданным приказам. Узнай от меня, что у нас пополнение, и пополнение неприятное. Под покровом ночи доставлены два человека для предварительного заключения под стражей — это необычные люди, то есть люди высокопоставленные, я хочу сказать: высокопоставленные прежде и совсем недавно низложенные, попавшие в беду люди. Ты испытал паденье, но их паденье страшнее, потому что они стояли гораздо выше. Узнай от меня то, что я тебе говорю, а об остальном лучше не спрашивай.

— Но кто же они? — спросил все-таки Иосиф.

— Их зовут Меседсу-Ра и Бин-эм-Уазе, — робко ответил начальник.

— Вот так так! — воскликнул Иосиф. — Какие же это имена! Ведь таких имен не бывает!

У него были основания удивляться, ибо Меседсу-Ра значило «ненавистный богу Солнца», а Бин-эм-Уазе — «скверный в Фивах». Только очень и очень странные родители могли дать своим сыновьям подобные имена.

Комендант возился с какими-то отварами, не глядя на Иосифа.

— Я думал, — ответил он, — тебе известно, что совсем не обязательно и вправду носить то имя, каким ты себя называешь или тебя порой называют. Имя создается обстоятельствами. Сам Ра меняет свое имя в зависимости от своего состояния. Так, как я их назвал, этих господ называют в их бумагах, а также в приказах, которые мне вручены. Так называют их в протоколах ведущегося по их делу дознания, да и сами они называют себя так по своим обстоятельствам. Вот тебе и весь сказ.

Иосиф стал быстро думать. Он вспомнил о вращении сферы, о верхе, который становится низом и вновь поднимается в круговороте, о взаимозаменяемости противоположностей, о замыкании круга. «Ненавистный богу» было равнозначно Мерсу-Ра — «Его любит бог», а «Гнусный в Фивах» значило то же, что и «Прекрасный в Фивах» — Нефер-эм-Уазе. Но благодаря дружбе Потифара он достаточно хорошо знал двор фараона и друзей дворца Мерима'т, чтобы вспомнить, что Мерсу-Ра и Нефер-эм-Уазе были потерявшиеся среди почетных званий имена Верховного Пирожника фараона, главного пекаря, «князя Менфийского», и его Начальника Питейных Писцов, главного виночерпия, «правителя Абодского».

— Настоящие имена тех, кого отдали в твои руки, — сказал он, — звучат, по-видимому, так: «Что кушает мой господин?» и «Что пьет мой господин?».

— Ну да, ну да, — ответил комендант. — Достаточно протянуть тебе край полы, чтобы ты завладел всем плащом — или думал, что завладел им. Знай же, что знаешь, а об

остальном не спрашивай!

— Что же случилось? — спросил все-таки Иосиф.

— Оставь это, — ответил Маи-Сахме. — Говорят, — прибавил он, глядя в сторону, — что в хлебе фараона оказались куски мела, а в вине нашего доброго бога попались мухи. Что это бросает тень на главных ответственных лиц и что они переведены на положение подсудимых узников под именами, подобному положению приличествующими, — это ты и сам можешь себе сказать.

— Куски мела? Мухи? — повторил Иосиф.

— Их затемно, — продолжал комендант, — доставили сюда под сильной охраной на судне для путешествий со знаком подозрительности на носу и на парусе и передали мне под строгий, хотя и почетный надзор на время дознания, покуда не выяснится их вина или невиновность — неприятное и весьма ответственное дело! Я поместил их в домике с коршуном — направо отсюда, у задней стены, где коршун раскинул крылья на коньке крыши, благо этот домик был как раз пуст, — по их привычкам он и сейчас пуст: на простых солдатских табуретках сидят они там с раннего утра за горьким пивом, и никаких других удобств в этом домике нет. Тяжко мне с ними, и как решится их дело, — превратят ли их вскоре в бледные трупы или его величество добрый бог опять вознесет им голову, — никто не может сказать. Соответственно этой неопределенности нам и надлежит с ними обращаться, отдавая должное их прежнему чину в умеренных пределах, да и по нашим возможностям. Я, знаешь ли, назначу тебя к ним надзирателем, чтобы ты раза два в день смотрел, все ли у них в порядке, и хотя бы для формы узнавал их желания. Такие господа любят форму, и если у них спрашивают, чего они желают, они чувствуют себя уже лучше, и уж не так важно, выполняются ли эти желания. У тебя есть необходимая тонкость, необходимое *savoir vivre*, — он употребил аккадское выражение, — чтобы надлежащим образом с ними беседовать и обращаться с ними соответственно их подозрительности. Здешние мои поручики были бы с ними либо слишком грубы, либо чрезмерно подобострастны. А нужно держаться чего-то среднего. Уместна была бы, по моему, почтительность с хмурым оттенком.

— По части хмурости, — сказал Иосиф, — я не очень силен. Лучше придать почтительности оттенок насмешливый.

— И это неплохо, — отвечал комендант. — Ведь если ты таким тоном спросишь их, не угодно ли им чего-нибудь, они сразу поймут, что спросил ты их больше в шутку и что требуемого они здесь, конечно, все равно не получают или получают лишь символически, как они к тому и привыкли. Однако сидеть на солдатских табуретках среди голых стен они не должны. Нужно поставить им две кровати с подголовниками — и если не два, то, по крайней мере, одно кресло с подушечкой для ног, чтобы они хотя бы по очереди могли в нем сидеть. Кроме того, ты должен изображать их визиря — визиря «Что мой господин кушает?» и визиря «Что мой господин пьет?» и выполнять их требования с грехом пополам. Если они спросят гусяного жаркого, подай им жареного аиста. Если они спросят пирожных, дай им подслащенного хлеба. А если потребуют вина, принеси им немного виноградного сока. Во всем нужно угождать им наполовину и символически. Сходи к ним сейчас, нанеси им визит с тем или иным оттенком почтительности. С завтрашнего дня делай это один раз утром и один раз вечером.

— Слушаю и повинуюсь, — ответил Иосиф и направился из башни в сторону стены, к домику с коршуном.

Стоявшие у домика стражники с крестьянскими лицами подняли при виде Иосифа свои

кинжалы и ослабились, ибо он был им по душе. Затем они отодвинули тяжелый деревянный засов, после чего Иосиф и вошел к придворным господам, которые сидели на табуретках среди голых стен своего узилища, уставившись себе в живот и сложив руки на головах. Он приветствовал их изысканным образом, не столь, правда, замысловато, как это некогда впервые сделал у него на глазах писец великих ворот Гор-ваз, но по правилам моды — подняв в их сторону руку и выразив улыбкой формальное желание, чтобы они жили, покуда жив Ра.

Едва увидев его, они вскочили и засыпали его вопросами и жалобами.

— Кто ты, юноша? — восклицали они. — Ты пришел с добрым или с дурным умыслом? Хорошо, что ты пришел! Хорошо, что вообще кто-то пришел! Твои манеры учтивы, они позволяют заключить, что ты способен почувствовать всю невозможность, всю нестерпимость, всю несносность нашего положения! Знаешь ли ты, кто мы? Тебя уведомили? Мы — это князь Менфийский, это правитель Абоду, Верховный Смотритель Сладостей фараона и тот, кто стоит еще выше, чем Первый Писец Его Питейного Поставца, будучи главным Виночерпием, который подает Ему кубок в самых торжественных случаях, — пекарь из пекарей, верховный кравчий и владыка украшенной листьями грозди! Известно ли тебе это? Поэтому ли ты пришел? Представляешь ли ты себе, как мы жили, — в окруженных садами, сплошь облицованных лазуритом и диоритом домах, где мы спали на пуховых постелях, меж тем как искусные слуги чесали нам пятки? Что с нами станет в этой яме? Нас посадили в пустоту, где мы с ночи сидим взаперти и никто о нас не заботится! Проклятье сердца крепости Цави-Ра! Ничего, ничего, ничего здесь нет! У нас нет зеркала, у нас нет бритвы, у нас нет ларца с помадами, у нас нет купальной комнаты, у нас нет, наконец, уборной, отчего нам приходится подавлять свои нужды, которые волнение, кстати сказать, обостряет, и терпеть боль — это нам-то — архипекарю и владыке виноградной лозы! Дано ли твоей душе почувствовать вопиющую нелепость такого положения? Ты пришел, чтобы нас освободить и вознести нам голову, или же ты пришел только посмотреть, предельно ли велико наше злополучье?

— Высокие господа, — отвечал Иосиф, — успокойтесь! Я пришел с добрым умыслом, ибо я уста и помощник коменданта, уполномоченный им вершить надзор. Он назначил меня также вашим слугой, который будет ждать ваших распоряжений, а так как мой господин человек спокойный и добрый, то о моем собственном нраве вы можете судить по его выбору. Вознести голову я вам не могу; сделать это может лишь фараон — как только выяснится ваша невинность, насчет которой я почтительно полагаю, что она существует на свете, а значит, может и выясниться...

Тут он прервал свою речь и немного подождал. Они оба смотрели ему в лицо: один помутневшим от слез и горя, но храбрым взглядом, другой стеклянно вытаращив глаза, в которых боролись лживость и страх.

Пекарь, вопреки ожиданию, вовсе не походил на мешок с мукой, а виночерпий на виноградную лозу. Наоборот, дородством мог похвастаться виночерпий; он был мал ростом и тучен, и багрово алело его лицо между крыльями туго натянутого на лоб наголовника, перед которыми торчали его могучие, украшенные камешками уши. По округлым его щекам, заросшим теперь, к сожалению, колючей щетиной, было видно, что если их умастить и поскоблить, они довольно весело заблестят — да и вообще выражение замешательства и тоски на физиономии главного кравчего не могло начисто лишить ее природной веселости. Главный пекарь был, по сравнению с ним, наоборот, долговяз и стоял понуриив голову; лицо его казалось бледным, хотя, может быть, опять-таки лишь сравнительно и потому еще, что оно было окаймлено черной как смоль прической, из-под которой выглядывали широкие золотые серьги. Но в лице пекаря были и совершенно явные черты причастности к преисподней: длинноватый его нос глядел

несколько вкось, да и рот его, тоже как-то криво утолщаясь и удлиняясь, был нескладно скошен в одну сторону, а между бровями притаилось что-то зловещее.

Не следует думать, что Иосиф отметил различие в физиономиях своих подопечных с немудреным благорасположением к открытости и ясности первой и со столь же дешевым отвращением к фатальному чекану второй. Его образование и благочестие заставляли его принять к сведению приметы обоого рода, и веселые и тревожно-сомнительные, с одинаковым уважением к судьбе, более того, они требовали, чтобы к олицетворению подземной сомнительности он отнесся с еще большей внутренней вежливостью, чем к человеку жизнерадостному.

Плоеные, с большим количеством пестрых завязок придворные одежды господ в дороге измялись и загрязнились; но оба еще носили знаки своей высокой должности: кравчий — воротник из золотых виноградных листьев, а пекарь — нагрудный знак из золотых колосьев, изгибающихся внутри серпа.

— Ни я, — повторил Иосиф, — не могу вознести вам голову, ни комендант. Единственное, что мы сможем делать, — это немного, в меру своих возможностей, уменьшать тяготы, на которые вас обрекло печальное стечение обстоятельств, и начало этому, заметьте, уже положено, положено как раз тем, что в первые часы вы испытывали во всем недостаток. Впредь у вас хоть в чем-то да не будет недостатка, и после полного отсутствия чего бы то ни было вам покажется это приятнее, чем все, что у вас имелось, когда вы еще умащались елеем радости и чего это гадкое место никогда не сможет вам предоставить. Вы видите, господин правитель Абоду и князь Менфийский, с каким добрым намерением держали вас до сих пор в черном теле. Не пройдет и часа, как здесь будут стоять две, хотя и простые, кровати. К табуреткам прибавится кресло для поочередного пользования. Вы получите бритву, увы, правда, только каменную, — заранее прошу извинить, — и очень хорошую помаду для глаз, черную, но с зеленоватым отливом — ее готовит сам комендант, и по моему ходатайству он с удовольствием уделит вам некоторую толику. Что касается зеркала, то вам не дали его поначалу тоже с добрым намерением, ибо будет гораздо лучше, если оно отразит вас в опрятном виде, а не в теперешнем. У вашего слуги — так я называю себя — есть медное, довольно ясное зеркало, и он вам охотно одолжит его на время вашего здесь пребывания, которое ведь так или иначе не может не быть коротким. Вам будет приятно, что его рамка и ручка образуют знак жизни. Кроме того, по правую сторону домика вас будут ежедневно, если вы пожелаете, купать в воде два стражника, которых я для этого к вам приставлю, а по левую вы сможете отправлять свои нужды, что сейчас, видимо, и является первоочередным делом.

— Превосходно, — сказал чашник. — Превосходно для этого часа и при таких обстоятельствах! Юноша, ты явился, как утренняя заря после ночи и как прохладная тень после палящей жары. Будь счастлив! Здоровья тебе и долгих лет жизни! Тебя приветствует владыка винограда! Веди нас налево!

— А что ты хотел сказать, — спросил пекарь, — отнесся к нашему здесь пребыванию слова «так или иначе» и «не может не быть коротким»?

— Я хотел сказать, — отвечал Иосиф, — «безусловно», «во всяком случае» или «наверняка». Я хотел выразить уверенность.

И на этом он простился с обоими господами до следующего раза, поклонившись пекарю немного даже почтительнее, чем чашнику.

Позднее в тот же день он пришел опять, принес им для развлечения шашки и

осведомился, хорошо ли они кушали, на что они ответили чем-то вроде «как сказать!» и требованием гусиного жаркого, после чего он посулил им нечто вроде гуся — жареную водяную птицу — и тех своеобразных пирожных, какие только и можно в этом гадком месте найти. Кроме того, им было разрешено, когда заблагорассудится, часами стрелять под охраной в цель и играть в кегли во дворе перед домиком. Они очень благодарили Иосифа, просили его также поблагодарить коменданта за его мягкость, позволившую им почувствовать всю приятность некоторого подобия удобств после полного отсутствия таковых вначале, и, проникшись доверием к Иосифу, которого они засыпали своими речами и жалобами, никак не отпускали его от себя — и в этот день, и в следующие, всякий раз, когда он их навещал, чтобы осведомиться об их здоровье и выслушать их приказы; но при всей своей разговорчивости они обнаруживали такое же боязливое нежелание распространяться о том, что привело их сюда, какое при первых же своих словах выказал комендант.

Особенно страдали они из-за своих позорных имен и всячески просили Иосифа не верить, что это хоть в каком-либо смысле подлинные их имена.

— Это очень деликатно с твоей стороны, Озарсиф, милый юноша, — говорили они, — что ты не называешь нас навязанными нам нелепыми именами, под которыми нас препроводили в этот острог. Но мало того что они не слетают с твоих губ, ты не должен называть нас так даже мысленно, даже про себя, твердо веря, что на самом деле мы носим не эти непристойные, а совершенно противоположные имена. Тем самым ты оказал бы нам большую услугу, ибо мы все равно боимся, что эти искаженные имена, начертанные несмыслимой тушью в наших документах и в наших судебных делах письменами правды, постепенно приобретут правдивость и останутся за нами навечно!

— Не беспокойтесь, высокие господа, — отвечал Иосиф, — все пройдет, и, в сущности, это даже к лучшему, что при нынешних преходящих обстоятельствах вам дали прозвища и не опорочили в письменах правды ваших настоящих имен. Благодаря этому в бумагах и обвинительных грамотах упомянуты как бы не вы, да и сидите здесь тоже в некотором роде не вы: все ваши лишения терпят «Богомерзость» и «Отброс Фив».

— Ах, терпим их все-таки мы, хотя и инкогнито, — безутешно вздохнули они в ответ. — Ведь ты же сам по своей деликатности величаешь нас прекрасными нашими чинами и почетными званиями, которыми мы были обличены при дворе: менфийским сиятельством и князем хлеба называешь ты нас по своей учтивости, а также великим, торжественным и превосходительным давилыщиком виноградной крови. Знай же, если ты этого еще не знаешь, что все эти звания были с нас сняты перед отбытием в острог, и что по сути мы так же наги, как в тот час, когда солдаты окатывают нас водой справа от домика; ничего от нас не осталось, кроме «отброса» и «богомерзости» — вот что ужасно!

И они заплакали.

— Как же это случилось, — спросил Иосиф, глядя в сторону, точь-в-точь как комендант во время боязливых своих объяснений, — как же это случилось и как это могло случиться, что фараон стал для вас подобен верхнеегипетскому леопарду и гневному морю, а его сердце, подобно горе Востока, обрушило на вас песчаную бурю, и вы в одну ночь лишились чинов и были препровождены к нам подследственными острожниками?

— Мухи, — всхлипнул чашник.

— Куски мела, — сказал главный пекарь.

И при этом они тоже боязливо отвели глаза в сторону, один в одну, другой в другую. Но

трем парам глаз в домине было тесно, а поэтому взоры нечаянно встречались и поспешно расходились, чтобы там, куда они убегали, снова нечаянно встретиться с чужим взором — это была тягостная игра. Иосиф хотел прекратить ее своим уходом, видя, что из них ничего, кроме «мух» и «кусков мела», не вытянешь. Но они не давали ему уйти, задерживая его речами, которые должны были убедить его в неосновательности направленных против них подозрений и в нелепости того, что их называют Меседсу-Ра и Бин-эм-Уазе.

— Прошу тебя, милейший юноша из Кана-ана, дорогой ибрим, — говорил чашник, — выслушай меня и посуди, возможно ли это, могу ли я, Веселый-и-Добрый-в-Фивах, иметь какое-либо отношение к подобному делу? Это абсурдно и противоестественно; что это клевета и недоразумение, вытекает из природы вещей. Я владыка листьев жизни и ношу обвитый листьями посох перед фараоном, когда он следует к торжественной трапезе, во время которой струится кровь Озириса. Я провозглашаю здравицы, размахивая над головой этим посохом. Я человек венка, венка на голове, венка на пенном кубке! Погляди на мои щеки, вот сюда, где они вылощены — пусть дешевой бритвой! Не похожи ли они на тугую ягоду, когда солнце согревает в ней свой священный сок? Я живу и даю жить другим, желая им здоровья и долгой жизни! Разве у меня вид человека, который снимает с бога мерку для гроба? Разве я похож на осла Сета? Это животное не впрягают в плуг смеете с волом, лен не соединяют с шерстью в одежде, на виноградной лозе не растут фиги, и что не вяжется, то уж не вяжется! Прошу тебя, посуди же, призвав на помощь здравый смысл, который отличает белое от черного, одну вещь от другой, возможное от невозможного, — посуди же, могу ли я быть совиновным в этой вине и причастным к тому, к чему непричастен!

— Я вижу, — говорил затем, глядя в сторону, князь Мерсу-Ра, главный пекарь, — что слова правителя Абуду произвели на тебя, способный юноша из Захи, должное впечатление; они убедительны, и твое суждение будет несомненно в его пользу. Поэтому я тоже взываю к твоей справедливости, и я уверен, что, разбирая и мой случай, ты не окажешься неразумнее самого себя. Понимая, что подозрение, которое пало на таких благородных людей, как мы, несовместимо со священным характером должности верховного кравчего, ты должен признать, что оно столь же мало и даже еще меньше соответствует священному характеру моей должности, которая, пожалуй, намного священнее. Священность ее очень ранняя, очень древняя, очень почтенная, — может быть, и существует священность более высокая, но более глубокой нет. Она совершенна, ибо совершенна любая вещь, к которой можно отнести прилагательное, образованное от нее самой: это священная и священнейшая священность. Она подобна пещере и пропасти, куда гонят жертвенных свиней и бросают сверху факелы, чтобы поддержать пылающий там вечный огонь, который, горя, превращается в теплотворную и плодоносную силу. Поэтому я ношу перед фараоном факел, но я не размахиваю им над головой, а строго, как жрец, несу его перед собою и перед ним, когда он идет к столу, чтобы вкусить плоти погребенного бога, который вздымается навстречу серпу из клятвоприимных глубин.

Тут пекарь испугался, и вытаращенные его глаза метнулись еще дальше в сторону, к самым уголкам, один к внешнему, другой к внутреннему. Он часто пугался своих собственных слов и пытался взять их назад или хотя бы чуть-чуть изменить, но при этом только еще глубже запутывался. Ибо слова его были направлены вниз, и повернуть их назад он не мог.

— Прости, я не это хотел сказать, — начал он снова, — я хотел сказать это не так, и очень надеюсь, что ты, умный мальчик, чье знание света мы призываем в свидетели нашей невинности, не понял меня превратно. Я говорю, но, перебирая потом в уме собственные слова, я начинаю бояться, не покажется ли тебе, что направленное против меня подозрение я пытаюсь опровергнуть некоей посвященностью, которая настолько

велика и глубока, что как бы уже и опасна, а потому не способна служить защитой от этого подозрения. Прошу тебя, напряги свой разум и не впади в ошибку, полагая, будто чрезмерная сила какого-либо доказательства обрекает это доказательство на бессилие, а то и вовсе делает его доказательством противоположного! Было бы ужасно, а для непредвзятости твоего суждения просто губительно, если бы у тебя возникли такие мысли! Погляди на меня, — хоть я и не гляжу на тебя, а рассматриваю свои доказательства. Это я-то виновен? Это я-то замешан в подобном деле? Разве я не властитель хлеба, не слуга странницы-матери, что с факелом ищет свою дочь, приносящей плоды, всеблагой, согревающей, зеленеющей, которая, отвергнув дурманную кровь, отдала предпочтение мучному напитку, принесла людям семена пшеницы и ячменя и впервые взрыхлила землю изогнутым плугом, благодаря чему вместе с более мягкой пищей на земле взошли и более мягкие нравы, тогда как прежде люди питались шишками камыша или даже пожирали друг друга? Я принадлежу ей и свято ей предан, той, что ветром отметаает на току плевелы от пшеницы и отделяет почтенное от презренного, законодательнице, которая учреждает правопорядок и кладет конец произволу. Рассуди же теперь разумно, мог ли я пойти на такое мрачное дело! Выскажи свое мнение, учитывая эту несообразность, состоящую, впрочем, вовсе не в том, что названное дело мрачно, ибо так же, как хлеб, правопорядок идет от мрака и неотделим от дольного лона, где обитают богини мести, в силу чего священный закон можно назвать псом богини, тем более что пес и в самом деле ей посвящен, почему и меня, который тоже посвятил себя ей, можно было бы назвать псом...

Тут хлебник снова страшно испугался, отчего зрачки его метнулись в другую сторону, и стал уверять, что не хотел этого сказать или хотел сказать не так. Но Иосиф попросил обоих успокоиться и не тратить на него столько сил. Он ценит, сказал он, их доверие и польщен тем, что они изложили ему свое дело, или если не дело, то причины, по каким оно не могло быть их делом. Но, во всяком случае, не его дело, продолжал он, брать на себя роль их судьбы, ибо он приставлен к ним лишь служителем, который обязан выслушивать, как они к тому привыкли, их приказанья. Правда, кроме того, они привыкли, чтобы их приказанья еще и выполнялись, но это, к сожалению, уже не в его возможностях. Однако хотя бы наполовину их жизнь, таким образом, соответствует их привычкам. И он спросил, не будут ли они так любезны напутствовать его еще каким-нибудь приказаньем.

Нет, сказали они печально, приказаний не будет; никакие приказания не придут в голову, если знаешь, что они останутся без последствий. Ах, но почему он уже уходит! Пусть лучше он скажет им, как долго, по его мнению, протянется расследование их дела и долго ли придется им прозябать в этой дыре.

Он тотчас же сказал бы им всю правду, отвечал он, если бы знал это. Но он этого, понятно, не знает и может только, ни к чему себя не обязывая, прикинуть, что решения их судьбы надо ждать — самое большее и самое меньшее — тридцать и десять дней в общей сложности.

— Ах, как долго! — посетовал чашник.

— Ах, как недолго! — воскликнул пекарь, но тотчас же страшно испугался своего возгласа и стал уверять, что он тоже хотел сказать «как долго!». Но чашник подумал и заметил, что подсчет Иосифа и в самом деле основателен: ведь через тридцать дней и семь дней и три дня, считая от дня их прибытия, наступит прекрасный праздник рождения фараона, а это, как известно, день милости и суда, когда и им, всего вероятнее, вынесут приговор.

— Я об этом не задумывался, — отвечал Иосиф, — и не строил на этом свои расчеты, у меня было просто такое наитие. Но коль скоро великое рождение фараона приходится,

как нарочно, на этот день, вы должны признать, что мои слова уже начинают сбываться.

## О змие кусливом

С тем он и ушел, качая головой по поводу своих подопечных и их «дела», о котором ему уже и тогда было известно больше, чем он имел право показывать. Ибо никто в обеих странах не имел права и не осмеливался показывать, что он знает об этом больше, чем полагалось знать людям; и все же, как ни старались замять, как ни окутывали в верхах опасное это дело туманом иносказаний, «мух», «кусков мела» и неузнаваемо измененных имен «Богомерзкий» и «Отброс Уазе», о нем очень скоро заговорили по всему царству, и, пользуясь предписанными оборотами речи, каждый вскоре отлично знал, что кроется за этими преуменьшениями и прикрасами, — а крылась за ними история, при всей своей мрачности не лишенная притягательно-популярного, чтобы не сказать праздничного характера, поскольку она представляла повторением и возвратом, иными словами, сегодняшней реальностью того, что установлено и знакомо с незапамятной древности.

Говоря напрямик, посягнули на жизнь фараона — посягнули несмотря на то, что дни старого этого бога были и без того сочтены и склонности Его величества воссоединиться с Солнцем не могли, как вы знаете, воспрепятствовать ни предписания волшебников и ученых книгохранилища, ни даже, владычица дороги Иштар, которую заботливо прислал Ему с евфратских берегов Его брат и тесть, царь Ханигалбата, или Митанни, Тушратта. Что Великий Дом, Си-Ра, Сын Солнца и Владыка Венца, Неб-ма-Ра-Аменхотеп был стар и болен и едва дышал, не давало повода не посягать на его жизнь, а давало, если угодно, прекрасный повод посягать на нее, что, конечно, не делало этого замысла менее мрачным.

Все знали, что первоначально сам Ра, бог Солнца, был царем обеих стран или, вернее, даже властителем земли и человечества и правил ими во всем своем благословенном величии, покуда находился в юном, зрелом и позднезрелом возрасте и даже на протяжении значительной части старости, и в ее раннюю, и в ее уже не столь раннюю пору. Лишь когда он совсем одряхлел и к Его величеству, хотя и в самой драгоценной форме, приблизилась старческая немощь и хворь, этот бог почел за лучшее проститься с землей и вернуться на небеса. Ибо постепенно кости его превращались в серебро, мясо в золото, а волосы в чистейший лазурит; прекрасная эта форма старческого одряхления была все же сопряжена с муками и страданиями, прекратить которые не удалось даже богам, испробовавшим тысячу средств, ибо от превращения в серебро, в золото и в камень в столь позднем возрасте не спасает никакое лекарство. Но и при таких обстоятельствах дряхлый Ра по-прежнему держался за свою земную власть, хотя мог бы заметить, что из-за его старческой немощи она слабеет и вокруг него распространяется бесстрашие, даже наглость.

Тогда-то Изида, великая владычица островов, Исет, хитроумнейшая из хитроумных, решила, что ее час настал. Ее знание, как и знание самого Ра, царя-перестарка, охватывало небо и землю. Не знала она лишь одного, лишь один изъян был в ее всезнании: неведомо было ей последнее и самое тайное имя Ра, самое важное его имя, знание которого давало власть над этим богом. Ибо у него имелось очень много имен, и каждое последующее окутывала большая тайна, чем предыдущее, но выяснить их все-таки можно было. Самого же последнего и самого главного своего имени бог вообще не выдавал, и кому он это имя назвал бы, тот превзошел бы бога могуществом намного и, захвативши власть, его заставил пасть.

Поэтому-то Исет придумала, а придумав, сотворила кусливого змия, чтобы тот укусил Ра

в золотое мясо я нестерпимая боль от укуса, унять которую сможет только та, кем этот змий создан, заставила бога назвать свое имя великой Исет. Как она решила, так и совершила. Змий укусил Ра, и в тисках боли старику ничего не осталось, как выдавать одно за другим свои потаенные имена, надеясь, что на каком-то из очень уж потаенных богиня помирится. Однако она не отступалась от него до тех пор, покуда он не назвал ей и самого тайного своего имени и ее власть над ним не стала совершенной. А тогда ей уже ничего не стоило вылечить его от укуса; но выздоровел он лишь с грехом пополам, насколько вообще может выздороветь столь дряхлое существо, и вскоре затем избрал небесную долю, старикам подобающую...

Вот каково было древнее предание, известное в Кеме любому ребенку; оно говорило в пользу каких-то действий против фараона, чье состояние чрезвычайно, просто-таки до неразличимости, походило на состояние того усталого бога. Особенно же, и притом глубоко лично волновали эти давние дела некую обитательницу фараонова Дома Утех, того закрытого и тщательно охраняемого павильона, весьма изящно пристроенного ко дворцу Меримая, куда фараон еще нет-нет да и приказывал себя отнести, конечно, только затем, чтобы потрепать за подбородок ту или иную из тамошних фавориток или одержать над нею победу на тридцатипольной доске, наслаждаясь при этом плясками, игрой на лютне и пеньем ее благоуханных подруг. Часто он забавлялся шашками как раз с той, которая проявляла к старинной истории Изиды и Ра интерес чисто личный и даже загорелась желанием ее воспроизвести. Ни одна повесть, будь то и самая сведущая в мельчайших подробностях этой истории, не называет имени упомянутой женщины. Оно вытравлено и вырублено из всех преданий; ночь вечного забвения скрывает его. Между тем временами она пользовалась особым, по сравнению с другими побочными любимицами, расположением фараона и двенадцать или тринадцать лет назад, когда тот еще иной раз благоволил производить потомство, родила ему сына, Нофер-ка-Птаха, — это имя сохранилось, — который, как отпрыск божества, воспитывался самым изысканным образом и ради которого ей, побочной любимице, дано было право носить диадему с коршуном — не такую, правда, чудесную, как у самой Тейе, Великой Супруги царя, но все-таки золотую диадему. Это обстоятельство, а также материнская слабость к отпрыску божества Нофер-ка-Птаху сыграли для нее роковую роль. Ибо диадема соблазняла ее путать себя с хитроумной Исет, а поскольку в predeterminedенной такой путаницей ход мыслей вмешалась еще и честолюбиво-слепая любовь к полукровному дитятку, в ее недалеком, но находчивом и взбаламученном старинной былью уме родилось решение наслать на фараона кусливого змия, устроить дворцовый переворот и вместо и так уже хилого Гора Аменхотепа, этого урожденного преемника Солнца, посадить на престол стран плод собственного чрева, Нофер-ка-Птаха.

Подготовка к удару, целью которого было низложить династию, открыть новую эпоху и возвести эту побочную любимицу, чье имя так и нельзя назвать, в сан богини-матери, зашла и в самом деле очень далеко. Очагом заговора был Дом Утех фараона, но через нескольких желавших переворота чиновников гарема и офицеров стражи ворот поддерживалась связь, с одной стороны, с самим дворцом, где заговорщикам удалось приобрести некоторое число друзей, частью весьма высокопоставленных, таких, как один из Первых Возничих царя, как Управляющий Плодохранилищем Бога, Глава Жандармов, Смотритель Говяд, Начальник Благовоний из Казнохранилища Владыки обеих стран, и тому подобных, а с другой стороны — со столицей вне стен дворца, где через жен этих офицеров в заговор вовлекли мужскую родню фараоновых фавориток, которая подстрекательскими речами настраивала жителей Уазе против старого Ра, состоявшего только из золота, серебра и лазурита.

Всего заговорщиков, тайно вынашивавших этот замысел, было семьдесят два — число многообещающе predeterminedенное, ибо некогда заговорщиков, вместе с красным Сетом заманивших Усира в ларь, было тоже семьдесят два, да и у тех, в свою очередь, имелись

вполне космические причины составить именно это число. Ибо как раз столько пятидневных недель образуют год, складывающийся, если не считать пяти добавочных, из трехсот шестидесяти дней; и ровно семьдесят два дня длится засушливая пятая часть года, когда измерительный шест показывает самый низкий уровень потока-кормильца и бог уходит в свою могилу. И значит, если где-нибудь в мире составляется заговор, заговорщиков должно быть ровно семьдесят два. А если заговор терпит неудачу, можно не сомневаться, что при несоблюдении этого числа неудача была бы еще основательней.

Нынешний, например, потерпел неудачу, хотя следовал наилучшему образцу и все необходимые приготовления делались с величайшей осмотрительностью. Начальник Благовоний ухитрился даже похитить из книгохранилища фараона некую волшебную грамоту и, руководствуясь ею, изваять из воска фигурки, которые, будучи украдкой разбросаны там и сям, должны были содействовать успеху предприятия, ибо они вызывали повсюду магическое ослепление и замешательство. Было решено, отравив фараона хлебом или вином или тем и другим сразу, воспользоваться неизбежной суматохой для дворцового переворота, который, в сочетании с мятежом в городе, привел бы к провозглашению новой эпохи и к восхождению на престол стран рожденного вне брака Нофер-ка-Птаха. А потом все сорвалось. То ли в последний миг один из семидесяти двух решил, что верность больше пойдет на пользу его карьере и красоте изображений на его гробнице, то ли с самого начала на совещаниях соглядатайствовал провокатор — но список участников заговора, довольно неприятный список, ибо в нем значился ряд истинных друзей бога, а также посетителей Утреннего Покоя, — список этот, в общем верный, хотя и не свободный от отдельных ошибок и *qui pro quo*, попал к фараону, и ответные действия были быстрыми, тихими и решительными. Изиды Дома Утех была без проволоочки задушена евнухами, ее сына сослали в дальний конец Нубии, и куда тайная комиссия расследовала всю эту затею и вину каждого, разоблаченные заговорщики, которых, вдобавок к жестокому искажению их личных имен, собирательно называли «гносность страны», исчезли в различных узилищах, где в непривычных условиях и ждали решения своей судьбы. Вот каким образом Главный Пекарь фараона и его Чашник угодили в темницу, где томился Иосиф.

Иосиф приходит на помощь как толкователь

И вот, когда они уже просидели там тридцать и семь дней и утром их, как всегда, навестил Иосиф, чтобы осведомиться, каково они почивали, и спросить, не прикажут ли они чего-нибудь, он застал обоих господ в настроенье одновременно беспокойном, подавленном и горьком. Вообще-то они уже начали привыкать к своему опрощению и перестали жаловаться, ибо человеку совсем не нужно жить так, как они жили, среди лазурита и диорита и со слугами для чесания пяток; ведь в конце концов, если у тебя есть справа купальня, а слева уборная и ты можешь вместо великосветской соколиной охоты пострелять из лука и поиграть в чурки, это тоже не так уж плохо. Но сегодня к обоим явно вернулась прежняя избалованность, и едва к ним вошел Иосиф, они снова принялись горько жаловаться, говоря, что во всем, даже в самом необходимом, испытывают нужду и что их здешняя жизнь, сколь искренне они ни пытались к ней приспособиться, все равно оказывается на поверку собачьей жизнью.

Этой ночью, сказали они оба сразу в ответ на участливый вопрос Иосифа, каждому из них приснился свой сон; то были сны выразительнейшей живости, необычайно убедительные, незабываемые, странно глубокомысленные, подлинно вещие сны, отмеченные знаком «Пойми меня правильно» и прямо-таки требующие истолкования. Дома у каждого из них был собственный толкователь снов, опытный специалист по всяческим порождениям ночи, чуткий ко всякой подробности видения, хоть мало-

мальски значительного и пророческого, вооруженный к тому же лучшими сонниками как вавилонского, так и отечественного происхождения, с которыми он всегда мог справиться, если у него самого иссякали идеи. При нужде, в трудных и беспрецедентных случаях, они, пекарь и чашник, могли созвать консилиум храмовых прорицателей и ученых книжников, которые общими усилиями наверняка добрались бы до сути дела. А здесь, а теперь? Вот им приснились сны, каждому свой, разительные, странные, переполняющие душу сны, и в этой проклятой яме нет никого, кто разгадал бы их сновиденья и обслужил их, важных господ, так, как они привыкли к тому. Это нужда куда тяжелее, чем недоступность пуховиков, гусяного жаркого и соколиной охоты, и показывает им всю плачевность, всю невыносимую унижительность их положения.

Слушая их, Иосиф немного надул губы.

— Господа, — сказал он, — если вас для начала может утешить чье-то сочувствие, то во мне вы видите человека, который сочувствует вашему горю. Но кроме того, нужде, что вас угнетает и оскорбляет, несомненно можно помочь. Я ваш слуга и попечитель и приставлен к вам, так сказать, на все случаи — почему же, в конце концов, и не на случай сновидений? Я не совсем несведущ в этой области и могу похвастаться родственной короткостью со снами — не считите это выражение нескромным, а считите его точным, ибо в моем роду и в моей семье никогда не было недостатка в многозначительных снах. Мой отец, царь стад, увидел на определенном месте, в дороге, первостепенной важности сон, навсегда наложивший на него печать достоинства, и слушать, как отец рассказывает об этом сне, было величайшим удовольствием. Да и я сам в предшествующей своей жизни сталкивался со снами настолько часто, что братья даже дали мне кличку, добродушно намекавшую на эту мою особенность. Вы уже так наловчились довольствоваться малым — так почему бы вам не удовольствоваться мною и не рассказать мне ваши сны, чтобы я попытался их разгадать?

— Ну да, — сказали они, — все это так. Ты приятный юноша, и когда ты говоришь о снах, твои красивые и даже прекрасные глаза, устремляясь вдаль, так затуманиваются, что мы почти готовы поверить в твою способность помочь нам. Но при всем при том видеть сны и толковать сны — это разные вещи!

— Не скажите, — отвечал Иосиф, — не скажите! Сновидение означает какое-то единство сна и толкования, какую-то целостность, где сновидец и толкователь только с виду существуют отдельно, каждый сам по себе, а на деле они неразделимы и даже тождественны, ибо вместе они составляют единое целое. Кто видит сон, тот и толкует его, а кто хочет его толковать, тот должен прежде его увидеть. Вы жили в роскошных условиях избыточного разделения дел, господин хлебный князь и ваше превосходительство чашник, поэтому сны видели вы, а толковать их вы предоставляли вашим домашним пророкам. По сути же и по самой природе вещей каждый сам себе толкователь сна, и чужими услугами в этом деле он пользуется только изящества ради. Я открою вам тайну сновидений: толкование предшествует сну, и наш сон вытекает из толкования. Недаром человек отлично знает, когда толкователь неверно толкует ему его сон, недаром кричит: «Убирайся, недотепа! Я найду себе другого толкователя, который скажет мне правду!» Так вот, сделайте опыт со мной, и если я оплошаю и мое толкование не сойдется с вашим собственным знанием, прогоните меня прочь, к стыду моему и сраму!

— Я не стану рассказывать, — ответил главный пекарь. — Я привык к лучшему и предпочитаю в этом, как и во всем прочем, перебиться, чем брать в толкователи тебя, простого любителя.

— А я расскажу! — сказал виночерпий. — Ибо, честное слово, я так жажду получить

толкование, что готов довольствоваться первым встречным, а тем более если он умеет так многообещающе-туманно глядеть и может похвастаться некоторой короткостью со снами. Приготовься, юноша, слушать и толковать, но соберись с силами, и я тоже соберусь с силами, чтобы найти для своего сна надлежащие слова и не погубить его жизнь своим рассказом. Ибо в нем была такая живость, такая ясность, такая неподражаемая острота, — а ведь известно, увы, как блекнут подобные сны от слов, превращаясь в мумию, в засохшее и запеленатое подобие того, чем они были, когда они снились, когда зеленели, цвели и плодоносили, как та виноградная лоза, что предстала передо мной в этом сне, к изложению которого я, таким образом, уже приступил. Ибо мне снилось, будто я нахожусь с фараоном на его винограднике, под навесом из лоз его виноградника, где мой господин почивал. А передо мною была лоза, я и сейчас еще ее вижу, то была особенная лоза, и было на ней три ветви. Пойми меня: она зеленела, и листья ее были подобны рукам человеческим, но хотя в беседке уже повсюду висели ягоды, та лоза еще не цвела и не плодоносила, а произошло это с нею лишь у меня на глазах во сне. Понимаешь, она развилась и расцвела у меня на глазах, среди ее листьев появлялись прекрасные пучки цветов, а на трех ее ветвях грозди, которые созревали со скоростью ветра, и пурпурные их ягоды были тугими, как мои щеки, ибо налились соком, как никакие другие. И я порадовался и стал срывать ягоды правой рукой, потому что в левой у меня была фараонова чаша, наполовину наполненная охлажденной водой. Туда я старательно выжал сок из ягод, вспомнив при этом, кажется, что ты, юноша, иногда выжимал нам в воду немного виноградного сока, когда мы спрашивали вина, и подал чашу в руку фараона. И это все, — заключил он тихо, разочарованный своими словами.

— Это немало, — ответил Иосиф, открывая глаза, которые были закрыты, покуда он слушал кравчего, склонив к нему ухо. — Итак, была чаша, а в ней была прозрачная вода, и ты собственноручно выжал сок из ягод лозы с тремя ветками и подал чашу владыке венцов. Это был чистый дар, и в нем не было мух. Истолковать?

— Да, истолкуй! — воскликнул чашник. — Я сгораю от нетерпения.

— Вот тебе мое истолкование, — сказал Иосиф. — Три ростка — это три дня. Через три дня тебе дадут воду жизни, и фараон вознесет тебе голову и снимет с тебя позорные имена, так что тебя будут звать, как прежде, «Справедливый-в-Фивах», и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его, по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. И это все.

— Превосходно! — воскликнул толстяк. — Это приятное, превосходное, образцовое истолкование, меня обслужили, как никогда в жизни не обслуживали, и ты, милый юноша, оказал моей душе неоценимую услугу. Три ветви — три дня! Как ты это так сразу определил, умница!.. И снова «Честный-в-Фивах» и опять, по прежнему обыкновению, друг фараона! Спасибо тебе, дорогой, спасибо тебе от всей души.

И он сел и заплакал от радости.

Но Иосиф сказал ему:

— Правитель Абодский, Нефер-эм-Уазе! Я предсказал тебе будущее по твоему сну, — это было мне легко и приятно. Я рад, что мог дать тебе радостное истолкование. Скоро тебя начнут осаждать поздравлениями по случаю твоего очищения; но здесь, в темнице, я первый твой поздравитель. Я был вашим слугой и дворецким тридцать семь дней и буду им, по указанию коменданта, еще три дня, осведомляясь, не прикажете ли вы чего-нибудь, и создавая вам, насколько это позволяют условия, подобия удобств. Я приходил к вам в домик утром и вечером и был вам как ангел божий, если можно так выразиться, в чью грудь вы изливали свои страдания и кто утешал вас в непривычных условиях. Но я

не вызывал у вас особого любопытства. А между тем я тоже не рожден для этой дыры, я не выбирал ее, а попал в нее сам не знаю как, и бросили меня сюда узником и царским рабом за вину, которая вовсе и не вина, а чистое недоразумение пред богом. Душа у вас была слишком полна собственными страданиями, чтобы вы могли питать любопытство еще и к моим. Но не забывай меня и моих услуг, правитель-чашник, а вспоминай обо мне, когда ты будешь блистать, как прежде! Упомяни обо мне фараону, скажи ему, что я сижу здесь по чистому недоразумению, похлопочи за меня, попроси, чтобы он милостиво вывел меня из этого узилища, где я так томлюсь. Ибо меня украли, просто-напросто украли еще мальчиком с моей родной земли, чтобы доставить вниз, в землю Египетскую, и еще раз украли, чтобы доставить вниз, в эту яму, — и я, как Луна, когда некий отвратный демон задерживает ее движение, чтобы она не могла, сияя, предшествовать своим братьям-богам. Сделаешь ли ты это для меня, правитель-чашник, упомянешь ли там обо мне?

— Да, да, тысячу раз да! — закричал толстяк. — Обещаю, что упомяну о тебе при первой же возможности, как только предстану перед фараоном, и буду напоминать ему о тебе каждый следующий раз, если мои слова западут ему в душу не вдруг! Я был бы трубказубой свиньей, если бы не вспомнил тебя или не упомянул о тебе наилучшим образом, ибо независимо от того, украд ты или украден, — это мне безразлично, — ты должен быть упомянут, упомянут и помилован, милый мой мальчик!

И он обнял Иосифа и поцеловал его в губы и в обе щеки.

— А что мне тоже приснился сон, — сказал долговязый, — об этом здесь, кажется, совершенно забыли. Я не знал, ибрим, что ты такой искусный толкователь, а то бы я не отверг твоей услужливой помощи. Теперь я тоже склонен рассказать тебе свой сон, поскольку это возможно сделать словами, и ты растолкуй мне его. Приготовься же слушать!

— Я слушаю, — ответил Иосиф.

— Приснилось мне, — начал пекарь, — вот что, сейчас скажу. Мне приснилось — вот видишь, какой у меня был забавный сон, ибо как мог я, князь Менфийский, который, право же, не сует свою голову в печь, как мог я, словно какой-то мальчишка-подручный, словно какой-то разносчик пышек и кренделей... так вот, во сне я нес на голове три корзины со всякой сдобой, три мелких, ловко вставленных одна в другую корзины со всевозможными изделиями дворцовой пекарни, и в верхней печеная фараонова пицца, всякие там коржи и рогульки, лежали открыто. Тут, махая крылами, поджав на лету когти, с вытянутыми шеями и вытаращенными глазами, прилетели птицы небесные и давай каркать. И, обнаглев, эти птицы бросались на корзину и клевали пищу на моей голове. Я хотел поднять свободную руку и помахать ею над корзинами, чтобы отпугнуть эту сволочь, но мне это не удавалось, рука отнялась. И они продолжали долбить, овевая меня резким запахом гнили...

Тут пекарь, по своему обыкновению, испугался, побледнел и попробовал улыбнуться своим нескладным уголком рта.

— То есть ты не должен, — сказал он, — представлять себе этих птиц, а также их запах, их клювы, их вытаращенные глаза слишком уж мерзкими. Это были птицы как птицы, и если я сказал «они долбили» — не помню точно, сказал ли я так, но вполне мог сказать, — то для лучшего понимания моего сна оговорюсь, что это слово было выбрано несколько опрометчиво. Мне следовало бы сказать: «они поклевывали». Птички поклевывали у меня в корзине, думая, видимо, что я хочу их покормить, ведь на верхней моей корзине не было ни крышки, ни покрывала, — короче говоря, все было в моем сне довольно

естественно, за исключением того, что я, князь Менфийский, сам носил на голове булочные изделия, да еще, пожалуй, того, что мне не удавалось помахать рукой, но может быть, я этого и не хотел, потому что радовался прилетевшим птичкам. И это все.

— Истолковать и тебе? — спросил Иосиф.

— Как хочешь, — ответил пекарь.

— Три корзины, — сказал Иосиф, — это три дня. Через три дня фараон выведет тебя из этого дома и вознесет тебе голову, прикрепив тебя к дереву или к отвесному столбу, и птицы небесные будут клевать с тебя твое мясо. И это, к сожалению, все.

— Что ты говоришь! — закричал пекарь. Он сел, закрыл руками лицо, и сквозь его украшенные кольцами пальцы брызнули слезы.

Но Иосиф стал утешать его, говоря:

— Не плачь так уж горько, сиятельный хлебодар, и ты тоже не исходи слезами радости, владыка венка! Примите оба с достоинством то, что вам выпало, то, что вам суждено и дано! Мир тоже един и целостен, и если в нем есть верх и низ, добро и зло, то этой двойственности не нужно придавать слишком большое значение, ибо в сущности бык не отличается от осла, они тождественны и составляют вместе единое целое. Вы видите по слезам, которые проливаете оба, что разница между вами, господами, не так велика. Ты, преосвященный выкликатель здравий, не зазнавайся, ибо добр ты лишь до некоторой степени, и невиновность твоя, думается мне, состоит в том, что к тебе просто не обратились со злым делом, потому что ты болтлив и тебе не доверяли, так что ты о нем даже и не узнал. И хоть ты это обещал, ты не вспомнишь обо мне, когда вернешься в свой мир, говорю тебе наперед. Или вспомнишь очень нескоро, когда тебя ткнут носом в воспоминание обо мне. И вот когда ты обо мне вспомнишь, вспомни и о том, как я сказал тебе наперед, что ты не будешь обо мне вспоминать. А ты, главный булочник, не отчаивайся! Ибо ты, думается мне, посвятил себя злу, сочтя его велением чести и спутав его, как то вполне может случиться, с добром. Следовательно, ты от бога, когда бог внизу, а твой товарищ от бога, когда бог вверху. Но от бога вы оба, и вознесение главы — это вознесение главы, даже если оно происходит на крестовине Усира, на которой, вероятно, подчас появляется и осел в знак того, что Сет и Озирис — это одно и то же!

Так говорил господам сын Иакова. А через три дня после того, как он истолковал им их сны, обоих увезли из темницы и обоим вознесли голову — кравчому почетно, а пекарю позорно, ибо его прикрепили к дереву. И кравчий совершенно забыл Иосифа, потому что ему не хотелось вспоминать о темнице, а значит, и об Иосифе.

## РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

### «ПРИЗЫВ»

#### Неб-неф-незем

После этих историй Иосиф оставался в темнице и во второй своей яме еще два года, благодаря чему и достиг тридцатилетнего возраста, когда его вытащили оттуда с величайшей, поистине захватывающей дух поспешностью, так как на этот раз сновидцем

оказался сам фараон. Ибо по прошествии двух лет фараону приснился сон — точнее, два сна; но так как по сути они сводились к одному и тому же, то вполне можно сказать: фараону приснился сон, — это не важно, это пустяк, подчеркнуть нужно не это, а главное; главное же состоит в том, что если тут сказано «фараон», то слово это имеет иной личный смысл, чем в то время, когда пекарь и чашник видели свои вещие сны. Ибо «фараон» говорится всегда, и всегда есть фараон; но при этом он приходит и уходит, подобно тому как всегда есть, но тоже уходит и приходит солнце; а тем временем, то есть вскоре после того как обоим подопечным Иосифа по-разному вознесли голову, фараон как раз ушел и пришел, — мы намекаем на то, какие события, томясь в бооре острога, куда доносился лишь слабый их отголосок, пропустил Иосиф, — смену престола, плачевный закат эпохи и ликующий рассвет новой эры, от которой, даже если и прежняя, в пределах земного, была довольно счастливой, люди ждут поворота к счастью, веря, что отныне вместо несправедливости воцарится справедливость и «луна будет восходить правильно» (как будто она уже не восходила правильно раньше), короче — что отныне жизнь будет сплошным смехом и удивлением, а это для всех достаточное основание неделями прыгать и пить после дней траура, пепла и вретипа, которые объясняются, однако, не просто лицемерным приличием, а искренней скорбью об уходе старой эпохи. Ибо человек существо сложное...

Столько же лет, сколько дней провели в Цави-Ра его архикравчий и его главный булочник, то есть сорок, сидел на престоле, строил и блистал Амунов сын, сын Тутмоса и дочери Митаннийского царя, Неб-мара-Аменхотеп III Ниммуриа, затем он умер и воссоединился с солнцем, пережив напоследок мрачную историю с семьдесятю двумя заговорщиками, которые хотели заманить его в гроб. Но вот он и без того попал в гроб, гроб, разумеется, великолепный, обитый гвоздями из чистого золота, и попал туда соленым и просмоленным, увековеченным с помощью можжевельника, скипидара, кедровой смолы, стираксы и фисташковой смолки и укутанным полотняными пеленами длиною в четыреста локтей. Семьдесят дней длилось приготовление Озириса, прежде чем его на золотых, влекомых волами салазках, на которых покоилась гребная лодка, где, в свою очередь, стоял львиногогий, осененный балдахинном катафалк, в сопровождении спереди кадилыщиков и водокропильщиков, а сзади на вид совершенно убитой горем свиты, доставили к его богатому покою и благоустроенному Вечному Жилищу в горе, перед дверью которого над мертвецом был совершен богоугодный обряд «отверзания уст» копытцем посвященного Гору тельца.

Царицу и весь штат придворных уже не замуровывали вместе с царем в его многопалатной обители, чтобы они там умерли с голоду и истлели; времена, когда это считалось необходимым или просто приличным, давно прошли, этот обычай был забыт и повсюду искоренился — а почему? Чем он был плох и отчего о нем теперь никто и знать не хотел? Отдавая щедрую дань старине, над высоким мертвецом усердно колдовали, все отверстия его тела до отказа начиняли защитными амулетами, а копытцем орудовали с педантичной обстоятельностью. Но замуровывать придворный штат — нет, этого не было и в помине; мало того что от этого отказались, перестав считать прекрасным прекрасное некогда, — никто и знать не хотел, что этот обычай когда-то соблюдался и казался прекрасным, и ни у тех, кого прежде заживо хоронили, ни у тех, кто прежде их хоронил, не возникало о нем даже отдаленных мыслей. Он явно уже не выдерживал света стоявшего дня, как ни назови этот день — поздним или ранним, — и это поразительно. Многим покажется поразительным я самый этот древний обычай хоронить заживо. Но куда поразительней то, что в один прекрасный день его по общему, молчаливому, даже бездумному согласию просто-напросто перестали принимать в расчет...

Придворные сидели, уткнув головы в колени, и весь народ предавался скорби. Но потом страна поднялась от негритянской границы до устьев и от пустыни до пустыни, чтобы

восславить новую, не знающую несправедливости эру, когда луна будет восходить правильно; поднялась, чтобы, ликуя, приветствовать новое наследное солнце, приятно-некрасивого мальчика, которому, если наш расчет верен, было только пятнадцать лет, отчего на некоторое время бразды правления должны были перейти не к нему, а к вдовствующей богине и матери Гора Тейе, — поднялась, наконец, для участия в великих празднествах его вступления на престол и венчания венцами Верхнего Египта и Нижнего, справлявшихся с тяжелой истовостью отчасти во Дворце Запада в Фивах, отчасти же, и притом в наиболее священной своей части, в месте венчания Пер-Монте, куда на небесном струге «Звезда обеих стран», с ослепительной свитой, под ликование берегов, поднялись по реке молодой фараон и его величественно украшенная перьями мать. Когда он вернулся оттуда, он носил следующие титулы: «Сильный боевой бык, любимец обеих богинь, величественный на царстве в Карнаке; золотой сокол, поднявший венцы в Пер-Монте; царь Верхнего и Нижнего Египта: Нефер-Хеперу-Ра-Уанра, что значит: „Прекрасен обличьем своим Он, который Единствен и для которого он единствен“; сын Солнца, Аменхотеп; божественный властитель Фив, величественный постоянством, живущий вечно, любимый Амуном-Ра, владыкой неба; первосвященник ликующего на горизонте в силу своего имени «Жар, что пылает в Атоне».

Так назывался молодой фараон после венчания на царство, и была эта совокупность имен, как согласились Иосиф и Май-Сахме, нелегко доставшимся примирительным итогом упорных и долгих переговоров между приверженным к терпимой идее Атума-Ра двором и обременительно-воинственной храмовой державой Амуна, которая добилась нескольких низких поклонов в сторону властителя старины, но только ценой явных уступок властителю вершины треугольника Она, так что царственный мальчик объявил себя даже Верховным Смотрителем Ра-Горахте и к тому же вплел в шлейф своих титулов поучительно-враждебное старине имя «Атон»... Его мать, вдовствующая богиня, называла своего сильного боевого быка, не имевшего с таковым ни малейшего сходства, просто «Мени». Народ же, как слышал Иосиф, нашел ему другое имя, ласковое и ласкательное. «Неб-неф-незем» — называл его народ — «Владыка благоухания» — нельзя было с определенностью сказать почему. Возможно, потому, что было известно, как он любит цветы своего сада и сколь часто погружает свой носик в их аромат.

Итак, все эти дела и связанный с ними веселый угар Иосиф, томясь в дыре, пропустил, и трехдневное пьянство солдат Май-Сахме было единственным отзвуком этих событий в его, Иосифа, узилище. Он отсутствовал, его, так сказать, не было на земле, когда на смену одному дню пришел другой, день завтрашний стал нынешним днем, а тем самым высочайшая завтрашняя вершина высочайшей сегодняшней. Он знал только, что это случилось, и снизу, из своей ямы, следил за высшим. Он знал, что малолетняя сестра Неб-неф-незема во браке, опять-таки митаннийская принцесса, которую письменно высватал ему у царя Тушратты еще его, Неб-неф-незема, отец, скрылась на Западе, едва достигнув назначенной ей страны, — ну, что ж, к подобным исчезновениям Сильный Боевой Бык Мени успел привыкнуть. Вокруг него в смертях никогда не было недостатка. Все его братья и сестры умерли, частью еще до его рожденья, частью же, в том числе один брат, уже на его памяти, и осталась у него только одна, родившаяся гораздо позже, чем он, сестрица, которая, однако, обнаруживала столь сильное тяготение к Западу, что ее почти не случалось видеть. Да и сам он, судя по его изображениям, изготовленным учениками Птаха из известняка и песчаника, вовсе не должен был жить вечно и бесконечно. Но поскольку было крайне необходимо, чтобы он, прежде чем, в свою очередь, покинет землю, продолжил солнечный род, его еще при жизни Небмара-Аменхотепа обручили вторично — с дочерью знатных египтян, по имени Нефертити, которая стала теперь его Великой Супругой и Повелительницей обеих стран и получила от него лучезарное прозвище «Нефер-нефруатон», что значит «Атон прекрасней всего прекрасного».

И этот свадебный праздник, проходивший под ликование берегов, Иосиф пропустил, сидя внизу, но он знал о нем и следил за юной высочайшей вершиной. Он слышал, например, от своего коменданта Маи-Сахме, который по своему служебному положению многое узнавал, что сразу нее после того как он поднял венцы в Пер-Монте, фараон, с разрешения своей матери, отдал приказ поскорее завершить постройку карнакского дома Ра-Горахте-Атона, затеянную его ушедшим на Запад отцом, и прежде всего воздвигнуть в открытом дворе этого храма огромный, на высоком постаменте, каменный обелиск, чья солнечная идея, согласная с учением Она-на-вершине-треугольника, была явным вызовом богу Амуну. Не то чтобы Амун был вообще против соседства других богов. Ведь его карнакское великолепие находилось в окружении множества часовен и храмов: закутанного Птаха, оцепенелого Мина, сокола Монту и всяких других; причем Амун не только благосклонно терпел близ себя их культ, но, верный своей охранительной идее, даже одобрял многочисленность богов Египта, при условии, разумеется, что он, царь богов и самый богатый бог, будет над всеми над ними царем и что время от времени они будут свидетельствовать ему свое почтение, за что он даже готов был отблагодарить их при случае ответным визитом. Но тут ни о каких свидетельствах почтения не могло быть и речи, ибо в заложенном чертоге Солнца не предвиделось никаких изображений, кроме упомянутого обелиска, грозившего столь дерзко вознестись ввысь, словно все еще продолжались времена строителей пирамид, когда Амун был мал, а Ра, в светозарных своих местах, очень велик, и словно Амун не успел с тех пор вобрать в себя Ра и стать Амун-Ра, державным богом и царем богов, среди которых, как один из многих, Ра-Атум имел право или, пожалуй, для охраны устоев, даже обязан был продолжать свое существование, — но без дерзости, не называя себя новым богом Атоном и не поднимая вокруг себя философской шумихи, как то подобало только самому Амуну-Ра, а вернее сказать, не подобало и ему, поскольку думать вообще не полагалось и надлежало помириться на том, что именно Амун — государь и владыка исконного множества богов Египта.

Однако уже при жизни Небмара при дворе, отдавая дань моде, много думали и всю философовали, и похоже было, что теперь эта мода распространится. Юный фараон издал и в память сооружения обелиска велел высечь на камнях указ, свидетельствующий о мудрствующем старании определить сущность солнечного божества на новый, противотрадиционный лад, и притом с той долей четкости, которая не лишена расплывчатости. «Живет, — гласило это определение, — Ра-Гор обоих светозарных мест и ликует в светозарном месте в имени своем „Шу“, что и есть Атон»...

Это было темно, хотя говорило о свете и желало быть очень ясным. Это было сложно, хотя имело своей целью упрощение и единообразие. Ра-Горахте, как всякий бог Египта, обладал тройным обликом: животным, человеческим и небесным. Он изображался в виде человека с соколиной головой, на которой стоял солнечный диск. Но и как небесное светило он был тройствен в своем рожденье из ночи, в зените своей мужественности и в смерти на западе. Он жил жизнью, которая рождается, умирает и воспроизводит себя, то есть жизнью, идущей к смерти. Но у кого были уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы читать письма на камнях, тот понимал, что поучительное воззвание фараона разумело жизнь бога иначе, не как приход и уход, не как становление, гибель и новое становление, не как обреченную смерти, а потому фаллическую жизнь, да и вообще не как жизнь, поскольку жизнь всегда обречена смерти, а как чистое бытие, как неизменный, не знающий ни падений, ни взлетов источник света, источник, от образа которого человек и птица со временем отпадут, так что останется лишь чистый, лучащийся жизнью солнечный диск, чье имя Атон.

Это понимали или не понимали, но, во всяком случае, горячо обсуждали по городам и весям и те, у кого были какие-то предпосылки, чтобы об этом высказываться, и те, кто за полным отсутствием таких предпосылок мог только болтать. Болтали об этом повсюду,

вплоть до ямы Иосифа; даже солдаты Май-Сахме болтали об этом и узники в каменоломне, как только им удавалось перевести дух, и всем было ясно, что это неприятно Амуну-Ра, как неприятен ему сооружаемый под носом у негоobelisk, как неприятны дальнейшие действия фараона, связанные с этим философским определением имени, которые и в самом деле зашли весьма далеко. Так, например, округ, где вырастал новый дом Солнца, должен был именоваться «Блеск великого Атона»; ходил даже слух, что сама Узет, сами Фивы будут именоваться отныне «Город блеска Атона», и толкам об этом конца не было. Даже умирающие в больничном баране Май-Сахме собирали последние силы, чтобы завести об этом речь, — не, говоря уж о тех, кто страдал только от укусов насекомых или от рези в глазах, так что комендантский метод покоя оказался в серьезной опасности.

Владыка благоухания, казалось, не мог уgomониться и вершил свое дело, то есть дело своего поучительно любимого, бога, строительство храма, настойчиво в поспешно, приведя в движение всех каменотесов от слоновьего острова Джебу до самой Дельты. Однако этого всеохватывающего усердия было недостаточно, чтобы построить Атонов дом так, как то подобало Вечной Обители. Фараон настолько торопился и был настолько нетерпелив, что отказался от применения тех требовавших тщательной отделки и к тому же неудободоставляемых каменных глыб, что шли на гробницы богов, и приказал возводить храм неизменного света из небольших камней, которые можно было передавать друг другу бросками, отчего потом понадобилось большое количество известкового раствора, чтобы сгладить стены для расписных барельефов, каковыми те должны были украситься. Амун, как повсюду говорили, над этим посмеивался.

Таким образом, до отсутствовавшего сына Иакова эхо описанных событий докатывалось уже потому, что и на каменоломню Май-Сахме легло бремя спешного фараонова строительства и ему, Иосифу, приходилось проводить там много времени, держа в руках посох надсмотрщика и следя за тем, чтобы кирка и клинья ни мгновения не лежали без дела, дабы комендант не получал от начальства неприятно иносказательных писем. А в остальном, помогая спокойному своему начальнику, Иосиф по-прежнему вел сносную жизнь каторжанина, и жизнь эта была однотонна, как речь начальника, но насыщена ожиданием. Ибо многого можно было ждать, и близкого, и далекого — сначала близкого. Время шло для него так, как оно и вообще-то идет, знакомым нам образом, не так чтобы быстро, но и не так чтобы медленно; ведь оно идет медленно, особенно когда живешь ожиданием, а посмотришь назад — и кажется, что оно прошло очень быстро. Он жил там, покуда, не обратив, впрочем, на это особого внимания, не достиг тридцатилетнего возраста. А потом настал день крылатого, запыхавшегося гонца, день, который, пожалуй, научил бы Май-Сахме пугаться, если бы комендант не подозревал и раньше, что с Иосифом может случиться что-то особое.

### Спешный гонец

Пришло судно с лотосом на высоком носу и с пурпурным парусом, — легкое, оно прилетело, подгоняемое с каждого борта пятью гребцами, отмеченное знаком царского дома, скоростная ладья из собственной фараоновой флотилии. Она с изяществом причалила к пристани Цави-Ра, и с нее спрыгнул на берег человек — молодой, такой же легкий и стройный, как принесшее его судно, с худым лицом и длинными, жилистыми ногами.

Грудь его так и ходила под полотном, он запыхался или, вернее, казался запыхавшимся, то есть делал вид, что тяжело дышит. Ведь настоящей причины тяжело дышать у него не было, так как он прибыл на судне, а не прибежал пешком; тяжелое его дыхание было

притворным и показным, он тяжело дышал по долгу службы. Правда, потом он побежал или полетел через ворота и дворы Цави-Ра с такой скоростью, безостановочно прокладывая себе путь короткими, негромкими возгласами, сразу же приводившими часовых в бездеятельное замешательство, и требуя во что бы то ни стало самого начальника, — потом, повторяем, он побежал или полетел к указанной ему цитадели настолько стремительно, что, несмотря на его стройность, поддельная затрудненность дыхания вполне могла смениться у него подлинной. Ибо крылышки из листового золота, прикрепленные сзади к его сандалиям и к его шапочке, разумеется, не помогали ему передвигаться, а были лишь внешним знаком его торопливости.

Иосиф, занимавшийся в писарской, заметил прибытие судна, спешку и беготню, но не придал им значения, даже когда ему на все это указали. Он продолжал просматривать ведомости с начальником канцелярии, куда, тоже уже запыхавшись, не прибежал кто-то из солдат и не передал ему приказа бросить все дела, даже самые важные, и немедленно явиться к коменданту.

— Не премину, — сказал он, но прежде все-таки вместе с канцеляристом просмотрел до конца ведомость, которую держал в руках, а потом уже, конечно, не шажком, но и не стремглав — предчувствуя, наверно, что вскоре всякое быстрое и свободное движение будет ему уже не к лицу, — направился к комендантской башне.

Кончик носа Май-Сахме был беловат, когда Иосиф вошел в аптечное помещение, его густые брови были вскинута выше обычного, а округлые губы разомкнуты.

— Вот и ты, — сказал он Иосифу притихшим голосом. — Тебе следовало бы уже быть здесь. Сейчас тебе объяснят, в чем дело!

И он указал рукой на крылоносца, который стоял рядом с ним — собственно даже, не стоял, то есть не стоял спокойно, а все время шевелил руками, головой, плечами и ногами, словно бежал на месте, чтобы отдышаться или, пожалуй, верней, запыхаться.

— Твое имя Озарсиф? — спросил он тихо и торопливо, направив на Иосифа свои быстрые, близко посаженные глаза. — Ты тот помощник коменданта, который занят надзором и кому был доверен уход за некими жителями здешнего домика с коршуном два года назад?

— Да, это я, — сказал Иосиф.

— Тогда ты без всяких сборов отправишься со мной, — отвечал тот, еще быстрее двигая ногами и руками. — Я Первый Скороход фараона, я его Спешный Гонец и прибыл на его быстроходной ладье. Ты обязан немедленно взойти на нее вместе со мной, чтобы я доставил тебя ко двору, ибо ты должен предстать перед фараоном!

— Я? — спросил Иосиф. — Как это может быть? Я для этого слишком ничтожен.

— Ничтожен или нет, — но такова прекрасная воля фараона, таков его приказ. Не переводя дыхания доставил я этот приказ твоему начальнику, и не переводя дыхания ты должен явиться на зов.

— Я брошен в эту темницу, — возразил Иосиф, — правда, по недоразумению и, так сказать, украден, отчего и нахожусь здесь внизу. Но я здесь каторжанин, и хотя моих оков не видно, они на мне. Как мне выйти за эти ворота и стены к твоей скоростной ладье?

— Все это ровным счетом ничего не значит, — зачастил скороход, — по сравнению с

прекрасным приказом. Он все это мгновенно уничтожает и одним махом разрывает любые оковы. Нет ничего, что устояло бы перед чудесной фараоновой волей, но будь спокоен, это более чем невероятно, что ты устоишь перед ней, и более чем вероятно, что тебя вскоре вернут сюда, на твою каторгу. Не думаю, чтобы ты оказался умнее величайших ученых и чародеев из фараонова книгохранилища и посрамил ясновидцев, пророков и толкователей из дома Ра-Горахте, которые изобрели солнечный год.

— Это зависит от бога, будет ли он со мной или нет, — ответил Иосиф. — А что, фараону приснился сон?

— Твое дело не спрашивать, а отвечать, — сказал гонец, — и горе тебе, если ты не сумеешь ответить. Тогда ты, по-видимому, упадешь еще ниже, чем просто в это узилище.

— Почему меня подвергают такому испытанию, — спросил Иосиф, — и откуда узнал обо мне фараон, чтобы затребовать меня своим прекрасным приказом?

— Тебя назвали, упомянули и указали в этом затруднительном положении, — ответил тот. — Подробности ты сможешь узнать только в дороге. Теперь ты должен не переводя дыхания следовать за мной, чтобы незамедлительно предстать перед фараоном.

— Уазе далека, — сказал Иосиф, — и далек отсюда дворец Мерима'т. Как ни быстроходна твоя скоростная ладья, скороход, фараону придется подождать, прежде чем воля его исполнится и прежде чем я предстану перед ним для испытанья, и возможно, что ко времени моего прибытия он уже забудет свой прекрасный приказ и перестанет считать его таким прекрасным.

— Фараон близко, — возразил гонец. — Прекрасному солнцу мира угодно сиять в Оне-на-вершине-треугольника; туда оно направилось на струге «Звезда обеих стран». Через несколько часов моя скоростная ладья прилетит и примчится к цели. Вперед, и ни слова больше.

— Но мне нужно прежде постричься и надеть лучшее платье, коль скоро я должен стоять и устоять перед фараоном, — сказал Иосиф. В остроге он носил свои собственные волосы, а одежда его была из самого простого холста.

Но гонец ответил:

— Это можно сделать на судне, куда мы будем лететь и мчаться. Обо всем позаботились. Если ты думаешь, что из-за одного спешного дела позволительно отложить другое и что их не следует укладывать вместе во времени, чтобы таковое сберечь, ты просто не знаешь, что значит не переводя дыхания исполнять прекрасный приказ фараона.

Тогда призванный обратился с прощальными словами к начальнику и назвал его при этом «мой друг».

— Ты видишь, мой друг, — сказал он, — как обстоит дело и что я отбываю по истечении трех лет. Меня поспешно выпускают из ямы и вытаскивают из колодца по старому образцу. Этот гонец полагает, что я снова упаду к тебе, но я этого не думаю, а раз я этого не думаю, то этого и не будет. А потому прощай и прими мою благодарность за доброту и спокойствие, которыми ты скрасил этот застой моей жизни, эту покающую беспросветность, и еще за то, что я был твоим братом по ожиданью. Ибо ты ждал третьего появления Нехбет, а я ожидал своей судьбы. Прощай, однако же, ненадолго! Кто-то вспомнил меня, после того как надолго забыл, и вспомнил, когда его ткнули носом в

память обо мне. А я буду, не забывая, помнить тебя, и если бог моего отца со мной, в чем я не сомневаюсь, чтобы его не обидеть, я вытащу тебя из этой дыры и скуки. Есть три прекраевых образа, которые живут в мыслях твоего каторжника; они называются «отрешение», «возвышение» и «переселение и продолжение рода». Когда бог возвысит меня, — а я опасался бы обидеть его, если бы не ждал этого с уверенностью, — обещаю помочь тебе последовать за мной, в более живительные условия, в которых твое спокойствие не выродится в сонливость и к тому же улучшатся виды на третье появление Нехбет. Хочешь, это будет договор между тобой и мной?

— Спасибо тебе, что бы ни случилось! — сказал Май-Сахме и обнял Иосифа, чего до сих пор ни разу не позволял себе и насчет чего у него было предчувствие, что и позднее, по противоположным причинам, у него тоже не будет такого права. — На мгновение, — сказал он, — мне показалось, будто я испугался, когда прибежал этот гонец. Но на самом деле я не испугался, ибо как может лишиться нас самообладания то, к чему мы готовы? Спокойствие в том лишь и состоит, что мы ко всему готовы, и когда это приходит, не пугаемся. Другое дело — растроганность, — для нее остается место даже когда самообладание не поколеблено, и я очень тронут тем, что ты обещаешь вспомнить меня, придя на свое царство. Да пребудет с тобой мудрость владыки Хмуну! Прощай!

Едва комендант произнес последнее слово, гонец, переступавший все время с ноги на ногу, схватил Иосифа за руку, и, нарочито тяжело дыша, побежал с ним из башни через закоулки и дворы Цави-Ра вниз к ладье, помчавшейся, как только они в нее прыгнули, с огромной скоростью, и в этой быстроте, под крышей маленькой, в виде павильона, каюты на кормовой палубе, Иосиф был не только пострижен, припомажен и переодет, но вдобавок еще услышал от крылатого о том, что произошло в Оне, городе солнца, и почему послали за ним, Иосифом: он узнал, что фараону действительно приснился весьма важный сон, но призванные гадатели не оказали царю никакой помощи, чем вызвали у него смятение и навлекли на себя немилость, так что в конце концов Нефер-Эм-Уазе, Владыка Питейного Поставца, представ перед фараоном, упомянул о нем, Иосифе, в том смысле, что уж он-то, может быть, и найдет выход из этого затруднительного положения и что попытка не пытка. Что именно приснилось фараону, гонец мог сообщить лишь в той явно искаженной и очень сумбурной форме, в какой это и дошло до слуха челяди из, зала для совещаний, где потерпели поражение ученые толкователи: один раз величеству этого бога приснилось будто бы, что семь коров сожрали семь колосьев, а другой раз — что семь коров были, наоборот, сожраны семью колосьями, — короче говоря, такие вещи, которые и во сне-то никому не привидятся, но это все же послужило Иосифу каким-то указаньем, и его мысли стали играть образами пищи, голода и предусмотрительности.

О свете и черноте

А на самом деле произошло и заставило призвать Иосифа следующее.

Годом раньше — к концу второго года, что Иосиф провел в темнице, — Аменхотеп, четвертый царственный носитель этого имени, достиг шестнадцатилетнего возраста, а тем самым и совершеннолетия, так что регентство его матери Тейе истекло и управление странами само собой перешло к преемнику Великолепного Небмара. Пришел конец положению, которое в глазах народа и всех заинтересованных лиц было отмечено знаком раннего, утреннего солнца, юного, вышедшего из лона ночи дня, когда светозарный сын еще больше сын, чем мужчина, когда он еще послушен матери и прячется под ее крылом, прежде чем подняться к зенитной полноте своей мужественности. Тут мать Исет отступает назад и отказывается от владычества, хотя ей и остается вся честь родившей и предшествовавшей, вся честь источника жизни и

власти, а мужчина навсегда остается ей сыном. Она передает ему власть; но он властвует ради нее, как она властвовала ради него.

Тейе, мать-богиня, что правила и берегла жизнь стран уже в те годы, когда на ее супруга напала дряхлость Ра, сняла с себя плетеную бороду Усира, которую она носила, как грудастый фараон Хатшепсут, и передала ее едва возмужавшему сыну Солнца, на чьем лице эта борода производила почти такое же странное впечатление, когда он привязывал ее в особо торжественных случаях, — одновременно, кстати сказать, обязывавших его появляться хвостатым, то есть прикреплять к своему набедреннику сзади шакалий хвост, эту животную принадлежность, по каким-то забытым, но таинственно-священным и древним причинам входившую в исконное облачение царя, принадлежность, о которой двор знал, что она ненавистна юному фараону, поскольку ношение первобытного хвоста неблагоприятно сказывалось на его желудке и вызывало у его величества приступы тошноты, заставлявшие его бледнеть и даже порой зеленеть, — но это уже имело прямое отношение к припадкам, которым он был и без того, совершенно независимо от хвоста, по самой природе своей, подвержен...

Никак нельзя было ожидать, чтобы переход царской власти от матери к сыну не сопровождался сомнениями в его своевременности, да и в дальнейшей необходимости лишать юное солнце защиты родительского крыла. Были эти сомненья у самой матери бога, были они у высших ее советчиков, и всячески старался раздуть их один уже знакомый нам важный сановник — суровый Бекнехонс. Великий Пророк и Верховный Жрец бога Амуна. Да не подумают, что Бекнехонс был слугой царского венца и, по примеру многих своих предшественников, занимал одновременно с должностью первосвященника должность визиря, главы управления странами. Уже царь Небмара, Аменхотеп Третий, почел за благо отделить духовную власть от светской и назначить визирями Юга и Севера мирян. Но как уста державного бога, Бекнехонс имел право на ухо регентши, и она склоняла таковое к нему с предписанной вежливостью, хоть и отлично знала, что слышит голос политического соперничества. Она принимала деятельное участие в упомянутом решении своего супруга разделить то, что было так грозно объединено; ей казалось необходимым ограничить власть несговорчивого карнакского синклита и помешать тому давно уже грозившему засилью, борьба с которым издревле была наследственной царской обязанностью. Что Тутмос, дед Мени, увидел у ног сфинкса вещий сон и освободил сфинкса от песка, назвав своим отцом, которому он обязан престолом, владыку этого древнего исполина, Гармахиса-Хепере-Атума-Ра, это, как все понимали и как научился понимать Иосиф, было не чем иным, как иероглифической аллегорией этой борьбы, религиозным обоснованием политического самоутверждения. И всем было ясно, что становление нового светозарного бога Атона, которое началось еще при дворе сына Тутмоса и вызывало такой сочувственный интерес у его внука, имело целью лишить Амуна-Ра его насильственного союза с солнцем, обеспечивавшего Амуну общепринятость, и низвести этого могучего бога до уровня местного божества, градохранителя Уазе, каковым тот и был до своего политического шахматного хода.

Считать, что религия и политика — вещи совершенно разные, ничего общего между собой не имеющие и иметь не смеющие, что примесь политики обесценивает и уличает в фальши религию, и наоборот, — это значит не видеть единства мира. На самом деле они меняются платьем, подобно тому как попеременно носят свое покрывало Иштар и Таммуз, и когда одно говорит языком другого, это глаголет целостность мира. Глаголет она и на других языках, например, через произведения Птаха, через украшающие мир творения вкуса и мастерства, творения, которые тоже глупо считать чем-то особым, выпадающим из единства мира, не связанным с религией или политикой. Иосиф прекрасно знал, что юный фараон — даже по собственному почину и без поучающего вмешательства матери — относился к изобразительному украшательству мира с

ревностным и даже рьяным вниманием — в полном соответствии с теми усилиями, которых ему стоило создание правдивого и чистого мысленного образа бога Атона, — и что он был сторонником поразительной новизны в этой области, ибо отказ от косности отвечал, по его мнению, желаниям и духу возлюбленного его божества. Это явно было его, фараона, любимым делом, которым он занимался ради него самого, исходя из своих понятий о правдивом и о веселом в мире изображений.

Но разве поэтому оно не имело никакого отношения к политике и религии? Сколько люди себя помнили, или, как любили говорить дети Кеме, миллионы лет, мир изображений подчинялся священно-обязательным и, если угодно, довольно-таки окостенелым законам, защитником и блюстителем которых был Амун-Ра, или, от его имени, его несговорчивое жречество. Ослабить, а тем более вовсе порвать эти оковы образов ради новой правды и нового веселья, открытых фараону богом Атоном, значило нанести сокрушительный удар Амуну-Ра, чья политика и религия были неразрывно связаны с определенными изобразительными канонами. В либеральных суждениях фараона, поучавшего, как надо изображать, целостность мира говорила языком прекрасного вкуса, одним из языков, на которых она выражает себя. Ибо с целостностью мира, с его единством человек имеет дело всегда и на каждом шагу, знает он о том или нет.

Что же касается малолетнего царя Аменхотепа, который мог о том знать, то для него целостный мир был явно слишком велик, мальчик был слишком слаб для этого бремени. Он часто бывал бледен и зелен даже тогда, когда ему хвоста не навязывали, — не навязывали ни в прямом, ни в переносном смысле, и голова болела у него так, что иной раз он не мог открыть глаза, а то и удержаться от рвоты. Тогда ему приходилось целыми днями лежать в темноте — это ему-то, чьей любовью были свет и оканчивающиеся животворно-ласковыми руками лучи, лучи его отца Атона, золото, соединяющее небо с землей. Разумеется, это вызывало тревогу, если подобные приступы то и дело мешали правящему царю не только представлять, как он был обязан, например, участвуя в церемониях жертвоприношений и освящений, но даже принимать вельмож и пришедших с докладом советников. Увы, более того: никогда нельзя было сказать наперед, что произойдет с его величеством при исполнении этих обязанностей, на виду у его вельмож и советников или даже у столпившегося народа. Не раз при этом случалось, что фараон, сжимая большие пальцы рук четырьмя другими и закатывая под полузакрытыми веками глаза, впадал в какое-то странное забытие, которое длилось, правда, недолго, но все же прерывало начатую церемонию или совещание самым затруднительным образом. Сам он объявлял эти приступы внезапными приходами своего отца, бога, и не столько боялся, сколько ждал их, ждал довольно-таки нетерпеливо и жадно! Ибо от них он возвращался к действительности, обогащенный поучениями и откровениями из первых рук, прояснявшими истинную и прекрасную природу Атона.

Нет, следовательно, ничего удивительного или неправдоподобного в возникшем было намерении оставить достигшее совершеннолетия юное солнце в прежнем, утреннем состоянии осененности материнским ночным крылом. Намеренье это, однако, так и не созрело, от него, несмотря на возражения Амуна, в конце концов отказались. Против него были такие же веские доводы, как и в его пользу. Не следовало признаваться миру, что фараон болен или настолько немощен, что не может править; это было не в интересах наследственно царствующего солнечного рода и могло вызвать опасные недоразумения внутри державы и в обложенных данью областях. Но кроме того, хворь фараона носила характер, не позволявший видеть в ней уважительную причину для дальнейшей опеки над ним, — характер священный, скорее способствовавший, чем вредивший его популярности и, значит, куда выгодней было не объявлять этот недуг причиной неправомочности, а использовать в борьбе против Амуна, чье тайное стремление соединить двойной венец со своим головным убором из перьев и основать собственную династию только и ждало удобного случая.

Потому-то мать-ночь и предоставила сыну всю полноту могущества полуденной его мужественности. При очень пристальном взгляде, однако, оказывается, что сам он, Аменхотеп, принял это событие с двойственным чувством — что он испытывал тогда не только гордость и радость, но также и некоторую подавленность и, в общем, пожалуй, предпочел бы по-прежнему пребывать под крылом. По одной частной причине он ждал своего совершеннолетия даже с ужасом: дело в том, что по обычаю в начале своего правления фараон, как верховный военачальник, лично предпринимал грабительский поход в азиатские или негритянские земли, по успешном завершении которого его торжественно встречали у границы, после чего, вернувшись в столицу, он не только приносил в жертву сильному Амуну-Ра, бросившему к его ногам князей Захи и Куца, добрую часть своей военной добычи, но и собственноручно закалывал ему полдюжины пленников — по возможности знатных, а на худой конец и нарочито повышенных в званье.

На выполнение всей этой процедуры «владыка благоухания» чувствовал себя совершенно неспособным и сразу же менялся в лице, бледнел и зеленел, как только о ней заходила речь и стоило ему лишь подумать о ней. Он испытывал отвращение к войне, которая была, может быть, делом Амуна, но никак не «моего отца Атона», недвусмысленно представшего своему сыну в одном из тех священо-тревожных приступов забытья «Владыкою мирной жизни». Мени не мог ни мчаться на колеснице, ни грабить, ни одаривать Амуна добычей, ни закалывать ему пленников княжеского или якобы княжеского рода. Он не мог и не хотел делать этого даже символически, даже только для вида, и запрещал изображать себя на стенах храмов и проезжих воротах стреляющим с колесницы в испуганных врагов или схватившим их одной рукой за вихры, а другой заносящим над ними увесистую дубинку. Все это было ему, то есть его богу, а потому и ему, нестерпимо и чуждо. Двор и государство не сомневались, что кровопролитный дебют ни в коем случае не состоится и что в конце концов от него придется отделаться под благовидным предлогом. Можно было объявить, что окрестные страны земного круга и так уже настолько покорно лежат у ног фараона и выплачивают ему дань настолько исправно и в таком изобилии, что ни в каком военном походе нет надобности и свой приход к власти фараон решил прославить именно отказом от подобных действий. Так оно и случилось.

Но и после этой поблажки вступление в полуденную полосу по-прежнему вызывало у Мени смешанные чувства. Он понимал, что как самодержец должен соприкоснуться со всей полнотой единого мира, со всеми его языками и говорами, тогда как до сих пор ему, Мени, дозволено было видеть мир только под одним определенным, и притом облюбованным углом зрения — религиозным. Не занятый земными делами, он мог среди цветов и диковинных деревьев своего сада мечтать о своем преисполненном любви боге, создавая его мыслью и размышляя о том, как лучше определить именем и воплотить в изображении его сущность. Это было весьма ответственное и трудоемкое занятие, но он любил его и готов был терпеть головную боль, которую оно у него вызывало. А теперь он должен был заниматься и занимать свои мысли тем, что вызывало у него головную боль отнюдь не желанную. Ежеутренне, когда его голова и тело пребывали еще в полусне, к нему являлся визирь Юга, рослый человек с бородкой и двумя золотыми нашейными кольцами, Рамос по имени, и после вступительного, раз навсегда установленного, похожего на литанию витиеватого приветствия в течение многих часов, во всеоружии великолепно изготовленных свитков, докучал ему текущими административными делами — судебными приговорами, налоговыми ведомостями, сооружением каналов, закладкой новых зданий, вопросами снабжения строевым лесом, вопросами устройства каменоломен и рудников в пустыне и тому подобным, сообщая фараону, какова его, фараона, прекрасная воля во всех этих делах, и затем восхищаясь его прекрасной волей с воздетыми вверх руками. То была прекрасная воля фараона —

проехать по такой-то и такой-то дороге в пустыне, чтобы указать удобные для колодцев и стоянок места, заранее уже определенные другими, более сведущими в этих вопросах людьми. То была его восхитительно прекрасная воля — призвать к ответу эль-кабского городского голову и спросить у него, почему он так неисправно и даже не сполна поставляет причитающиеся с него золото, серебро, крупный рогатый скот и холсты фиванской казне. То была также высочайшая его воля — не далее как послезавтра отправиться в горемычную Нубию, чтобы там торжественно заложить или открыть храм, посвященный чаще всего Амуну-Ра и, значит, на его взгляд, совершенно не стоивший той усталости и головной боли, которую приносила ему эта утомительная поездка.

Вообще обязательная храмовая служба и громоздкий церемониал державного бога отнимали большую часть времени и сил фараона. Внешне на то была его прекрасная воля, но внутренне он никак не мог желать того, что мешало ему думать об Атоне и вдобавок навязывало ему, Мени, общество сурового наместника Амуна — Бекнехонса, которого он терпеть не мог. Тщетно пытался он назвать свою столицу «Город блеска Атона»; к народу это название не пробивалось, жречество не пропускало его, и Узет была и оставалась Новет-Амуном, городом великого Овна, который рукою царственных своих сыновей покорил чужие страны и сделал богатой землю Египетскую. Уже тогда фараон втайне подумывал о том, чтобы перенести свою резиденцию из Фив в другое место, где ему бы не кололо глаза изображение Амуна, светившееся в Фивах на всех стенах, воротах, колоннах и обелисках. Он, однако, еще не думал об основании нового, собственного, целиком посвященного Атону города, а только имел в виду переселить двор в Он-на-вершине-треугольника, где чувствовал себя гораздо лучше. Там, неподалеку от храма Солнца, у него был приятный дворец, не такой блестящий, как Мерима'т на западе Фив, но предоставлявший все удобства, в каких нуждалась его изнеженность; и придворным летописцам часто случалось отмечать отбытие Доброго Бога на судне или в коляске в Он. Там, правда, сидел визирь Севера, в чьих руках находилась исполнительная и судебная власть над всеми округами между Сиутом и устьями и который тоже спешил вызвать у него головную боль. Но уж зато от кажденья Амуну, да еще под надзором Бекнехонса, Мени был здесь избавлен и мог в свое удовольствие беседовать с учеными плешивцами из дома Атума-Ра-Горахте о природе этого великолепного бога, своего отца, и о его внутренней жизни, каковая, несмотря на огромный его возраст, была еще настолько кипуча и деятельна, что оказалась способна прекраснейше измениться, очиститься и преобразиться, и что, если можно так выразиться, из старого бога благодаря работе человеческой мысли медленно, но все совершеннее, выступал новый, несказанно прекрасный бог, чудесный, светящий всему миру Атон.

Хорошо бы целиком отдаться ему и быть только его сыном, родовспомогателем, провозвестником и последователем, а не быть, кроме того, еще и царем Египта и преемником тех, кто так далеко продвинул пограничные камни Кеме и сделал ее мировой державой. Перед ними и перед делами их ты был в долгу; ты должен был держать равнение на них и на их дела, и можно было подозревать, что Амунова наместника Бекнехонса, который это неустанно подчеркивал, ты потому и терпеть не мог, что тут он был прав. Иначе говоря, юный фараон и сам это подозревал; это было подозрение тайной его совести. Он подозревал, что основание мировой державы и помощь при рождении мирового бога не только разные вещи, но что второе, возможно даже, находится в каком-то противоречии с царской обязанностью хранить и охранять полученное наследие. Также и головная боль, закрывавшая ему глаза, когда визири Юга и Севера донимали его государственными делами, была связана с подозрением, или, собственно, даже не с настоящим подозрением, а с тенью подозрения, что она, то есть головная боль, коренится не столько в усталости и скуке, сколько в смутном, но тревожном понимании противоречия между уходом в любимую атоновскую теологию и обязанностями царя земли Египетской. Другими словами, то была головная боль от беспокойной совести, боль к тому же именно так и понимаемая, что отнюдь не успокаивало, а, наоборот,

обостряло эту боль и усугубляло тоску по утраченному состоянию утренней осененности материнским крылом ночи.

Несомненно, не только ему снилось тогда лучше, но и стране. Ибо земной стране всегда живется лучше, и она все равно расцветает пышнее при матери, если даже для небесных дел больше толку от мыслей сына. Таково было тайное убеждение Аменхотепа, внушенное ему, наверно, самим духом земли Египетской, самой верой Черной Земли в Изиду. В мыслях своих он не отождествлял вещественного, земного, естественного благополучия мира с его духовно-религиозным благополучием, смутно опасаясь, что они не только не совпадают одно с другим, но и в корне противоречат друг другу, отчего так трудно, так до головной боли тяжко, неся ответственность за то и за другое сразу, быть одновременно царем и жрецом. Вещественно-естественное благополучье и процветание было делом царя, хотя вообще-то лучше бы оно было делом и заботой царицы, чтобы жрец-сын мог на свободе, не отвечая за вещественное благополучье, радеть о духовном и предаваться своим солнечным мыслям. Царская ответственность за материальный мир угнетала юного фараона. Его царство образно рисовалось ему черной полосой египетской пашни между двумя пустынями — черной и плодородной от животворной влаги. А он предавался мечтам о чистом свете, о золотом, солнечном юноше высоты — и совесть его была неспокойна. Неукоснительно являлся к нему визирь Юга, которому докладывали обо всем, даже о раннем восходе звезды Пса, показывающем, что начала прибывать вода, — неукоснительно осведомлял его этот Рамос о состоянии Нила, о видах на разлив, на оплодотворенье, на урожай, и Мени, хотя он внимательно, даже озабоченно слушал визиря, казалось, что тому следовало бы с этими делами обращаться, как прежде, к матери, к Изиде-царице, которой они были ближе и под чьим присмотром они лучше устраивались. Однако и для него, так же как для страны, было важнее всего, чтобы черные дела плодородия находились в благословенном порядке и чтобы тут не было никаких неполадок и срывов; если бы что-нибудь такое случилось, вина была бы на нем. Недаром держал народ царя, который был сыном бога, а значит, надо полагать, от имени бога обеспечивал бесперебойность священно-насушных процессов, никому, кроме него, не подвластных. Просчеты и бедствия в области черноты непременно заставили бы народ разочароваться в том, кто своим существованием должен был бы предотвратить их, и поколебали бы его авторитет, который был нужен ему, чтобы добиться победы прекрасного ученья, ученья об Атоне и о его небесно-светозарной природе.

Получалось каверзное положение. Он был чужд дольней черноте и любил только горний свет. Но если бы в кормящей черноте что-то разладилось, погибла бы его репутация учителя света. Вот почему чувства юного фараона были такими двойственными, когда мать-ночь сняла с него свое крыло и доверила ему царство.

## Сны фараона

Итак, фараон снова подался в ученый Он-на-вершине, уступая непреодолимой потребности выйти из сферы Амуна и побеседовать с плешивцами храма Солнца в Гармахисе-Хепере-Атуме-Ра, об Атоне. Согнувшись и ласково вытянув вперед губы, придворные летописцы записали, как сообщил Его величество царь об этом прекрасном решении, после чего сел в большую коляску из электра, сел вместе с Нефертити, по прозвищу Нефернефруатон, царицей стран, чье тело было плодоносно и которая обнимала его величество одной рукой, — и как он, светясь, помчался в прекрасный свой путь, а за ним, в других колясках, мать бога Тейе, сестра царицы Неземмут, собственная его сестра Бакетатон и множество придворных особ обоюго пола с опахалами из страусовых перьев за спинами. Не пустовал на отдельных участках пути и небесный струг

«Звезда обеих стран», и летописцы не преминули отметить, что под его балдахинном фараон скушал жареного голубя и протянул косточку царице, которая и отдала ей должное, а также вкладывал, в рот царице сладости, предварительно окуная таковые в вино.

В Оне Аменхотеп остановился в своем дворце близ храма и первую ночь, устав с дороги, проспал там без сновидений. Следующий день он начал с жертвоприношения Ра-Горахте, которого одарил хлебом и пивом, вином, птицами и ладаном, затем выслушал многословного визиря Севера, а потом, несмотря на разыгравшуюся из-за его многословия головную боль, посвятил весь остаток дня вожделенным разговорам со слугами бога. Главным предметом этих совещаний, сильно занимавшим как раз тогда Аменхотепа, была птица бенну, называемая также «Отпрыск огня», так как считалось, что у нее нет матери и что она приходится себе же, собственно, и отцом, поскольку смерть и возникновение для нее равнозначны, и сжигая себя в гнезде из мирры, она встает из пепла молодой. Это происходит, утверждали некоторые учителя, раз в пятьсот лет, и происходит в онском храме Солнца, куда эта птица, похожая будто бы и на орла и на цаплю, но с пурпурно-золотым оперением, прилетает в таких случаях с Востока, из Аравии или даже из Индии. Другие считали, что она приносит туда сделанное из мирры яйцо самого большого размера, какое она только может поднять, куда прячет умершего своего отца, то есть, собственно, себя самое, и кладет это яйцо на алтарь Солнца. Обе точки зрения вполне могли сосуществовать — многое сосуществует на свете, и разные вещи могут быть одинаково справедливы, как разные формы выражения одной и той же правды. Но фараон хотел, во-первых, узнать или, по крайней мере, исследовать, какая уже прошла часть пятисотлетия, протекающего между рожденьями и яйценосными появлениями потомка огня, то есть сколь далеки последний прилет бенну, с одной стороны, и ближайшее прибытие этой птицы, с другой, — короче говоря, какой стоит на дворе месяц фениксовского года. Мнение жрецов преимущественно склонялось к тому, что прошло около половины этого промежутка; ведь если бы начало его было близко, то сохранилась бы память о последнем появлении бенну, а ее-то как раз не сохранилось. Если бы, наоборот, приближались конец и новое начало этого периода, то следовало бы принять в расчет скорое или даже непосредственно предстоящее возвращение времячислительной птицы. Однако никто не рассчитывает повидать ее на своем веку, а потому, считали жрецы, напрашивается такой срединный вывод. Некоторые шли еще дальше и предполагали, что эта срединность постоянна и что тайна феникса в том-то и заключается, что расстояния от его последнего возвращения, с одной стороны, и от следующего, с другой, всегда одинаковы и всегда друг другу равны. Но не эта тайна была для фараона главным, насущным вопросом. Насущным вопросом, выяснение которого занимало его главным образом и который он полдня выяснял с зеркальноголовыми жрецами, было положение, что мирровое яйцо огненной птицы, куда та прячет тело своего отца, не становится от этого тяжелее. Ибо она и так делает яйцо самого большого размера и веса, какое только может поднять, а если она способна поднять его и после того, как туда спрятан отец, то ясно, что тело отца не прибавило яйцу веса.

На взгляд юного фараона, это был замечательный, поразительный факт, факт мировой важности, достойный самого кропотливого выяснения. Если к одному телу прибавляли другое и оно не делалось тяжелее, это значило, что существуют невещественные тела или, лучше сказать, бесплотные реальности, нематериальные, как солнечный свет, или, еще лучше сказать, существует духовность; и духовность эта была эфирно воплощена в бенну-отце, — ибо, вобрав его в себя, мирровое яйцо самым замечательным и самым многозначительным образом меняло свою природу яйца. Яйцо вообще было предметом исключительно женской сферы, у птиц клали яйца только самки, и не было более яркого выражения материнско-женского начала, чем большое яйцо, из которого некогда вышел мир. А бенну, солнечная птица, не имея матери и доводясь сама себе отцом, создавала свое яйцо сама, яйцо антимира, мужское, отцовское яйцо, и клала его как выражение

отцовства, духа и света на алавастровый стол солнечного божества.

Фараон готов был без конца разбирать это обстоятельство и его значение для постигаемой мыслью природы Атона с хранителями солнечного календаря из храма Ра. Он предавался этому занятию до поздней ночи, до самозабвения, он упивался золотой нематериальностью отцовского духа, и когда жрецы, выбившись из сил, уже опустили свои блестящие головы, он все еще никак не мог насытиться разговором и все не отпускал их, словно боялся остаться один. В конце концов он все-таки отпустил шатавшихся и клевавших носом жрецов и ушел в свою спальню, где при свете лампы его давно уже дождался особый раб для раздевания и одевания, пожилой человек, который был приставлен еще к мальчику и называл его просто «Мени», не забывая, однако, о прочих формальных изъявлениях благоговения. Тот быстро и ласково помог ему приготовиться ко сну, пал ниц и удалился, чтобы спать за порогом. А фараон, улегшись на подушки своей кровати, которая стояла на помосте посреди комнаты и была настоящим произведением искусства, так как спинку ее украшали тончайшие инкрустации из слоновой кости, изображавшие шакалов, козерогов и божка Беса, — фараон сразу же уснул сном усталого человека — но ненадолго. Ибо после нескольких часов глубокого покоя он стал видеть сны, такие странные, жуткие, нелепые в своих живых подробностях сны, какие снились ему только в детстве, когда у него болело горло и его лихорадило. Но сны его были отнюдь не о невесомом отце бенну и о нематериальном луче солнца, а о вещах совершенно противоположного рода.

Во сне он стоял на берегу Хапи-кормильца, на пустынном месте, среди болота и кочек. На нем был красный венец Нижнего Египта и привязная борода, а с набедренника у него свисал хвост. Он стоял в полном одиночестве, с тяжестью на сердце, опираясь на посох. Вдруг что-то заплескалось неподалеку от берега и семиглаво вылезло из воды: на сушу вышли, семь коров, которые, видимо по примеру буйволиц, лежали в реке, и выходили они одна за другой, цепочкой, без быка, всемером; быка не было, было только семь коров. Чудесные коровы, белая, черная, со светлой спиной, еще серая, да со светлым животом, да две пятнистых, цветом нечистых, — прекрасные, гладкие, тучные коровы, с полным выменем, с моргающими глазами Хатхор и высокими, изогнутыми, как лира, рогами, они начинали спокойно пастись в камышах. Царь никогда не видел такого дивного скота, не видел нигде в стране; лоснящаяся пышность их плоти была просто великолепна, и сердце Мени хотело порадоваться их виду, но не порадовалось, а осталось таким же тяжелым и озабоченным, — чтобы вскоре наполниться даже страхом и ужасом. Ибо цепочка на этих семи не кончилась. Новые коровы выходили из воды, и не было перерыва между этими и прежними: еще семь коров вышли на сушу, и тоже без быка, но какой бык пожелал бы таких коров? Фараон содрогнулся, когда они показались, — это были самые безобразные, самые худые, самые истощенные коровы, каких он когда-либо видел, под сморщенной кожей у них выпирали кости, вымя у каждой напоминало пустой мешок, а соски походили на нитки; ужасен и удручающ был их вид, несчастные, казалось, едва держались на ногах, но вдруг они обнаружили бесстыжий, наглый, назойливо-жестокый нрав, который как бы и не вязался с их слабостью, но, с другой стороны, как нельзя лучше к ней подходил, ибо это был дикий нрав голода. Фараон видит: убогое стадо подбирается к гладкому, гнусные коровы вскакивают на прекрасных, как то иногда делают коровы, изображая быка, и при этом жалкие животные пожирают, проглатывают, начисто и бесследно уничтожают великолепных, — но потом стоят на том же месте такие же тощие, как прежде, нисколько не пополнев.

На этом сон кончился, и фараон проснулся в поту и в тревоге. Он сел, оглядел с сильно бьющимся сердцем мягко освещенную спальню и понял, что это был сон, но такой красноречивый, задевающий за живое, что его назойливость, похожая на назойливость изголодавшихся коров, заставила сновидца похолодеть. Его больше не тянуло в постель, он поднялся, надел белошерстный халат и стал расхаживать по комнате, размышляя об

этом назойливом, хоть и нелепом, но до осязаемости четком, виденье. Он был бы рад разбудить раба-спальника, чтобы, рассказать ему этот сон, вернее, чтоб испытать, удастся ли облечь увиденное в слова. Однако он был слишком деликатен, чтобы беспокоить старика, которого заставил ждать себя до поздней ночи, и он сел в стоявшее возле кровати кресло с коровьими ножками, поплотнее закутался в свой лунно-серебристый халат и, прижавшись спиной к уголку кресла, а ноги положив на скамеечку, незаметно задремал снова.

Но, едва забывшись, он снова увидел сон — ничего нельзя было поделаться, он опять, или все еще, одиноко стоял на берегу в венце и с хвостом, а перед ним лежало вспаханное поле черной земли. И вот он видит: плодородная земля взморщивается и немного вздымается, и из нее вырастает стебель, а на стебле, один за другим, поднимаются семь колосьев, все семь на одном стебле, тучные и тугие, полные зерен, золотисто клонящиеся от тяжести. Тут сердце хочет повеселеть, но повеселеть не может, ибо колосья на стебле не перестают подниматься: появляется еще семь колосьев, безотрадных, пустых, сухих и мертвых колосьев, опаленных восточным ветром, черных от изгарины и ржавчины, и когда они убого показываются среди тучных, те исчезают, словно поглощенные этими новыми, и похоже на то, что жалкие колосья действительно поедают своих тучных собратьев, точно так же как раньше семь тощих коров сожрали семь гладких, но и тощие колосья не становятся от этого полней и тучнее. Фараон увидел это воочию, до осязаемости отчетливо, но, встрепенувшись в кресле, обнаружил, что это снова был сон.

Еще раз до смешного удивительный, полный тихого безумия сон, но он так назойливо бередил душу каким-то предостережением и указанием, что до самого утра, по счастью уже недалекого, фараон больше не мог, да и не хотел уснуть, и все время, то в кресле, то в кровати, размышлял о еще не разъясненной ясности этих двух, выросших на одном стебле снов, — теперь уже твердо решив ни в коем случае не обходить их молчанием и не хоронить в собственной памяти, а поднять по их поводу шум и забить тревогу. Он был в венце, с посохом и хвостом, это были царские сны, сны, без сомнения, государственной важности, очень примечательные, напоенные заботой сны, нужно было во что бы то ни стало предать их широкой огласке и сделать все для того, чтобы надлежаще к ним подступиться и разглядеть их явно угрожающий смысл. Мени был прямо-таки возмущен своими снами, он ненавидел их, чем дальше, тем больше. Царь не мог примириться с такими снами, — хотя, с другой стороны, присниться они могли, пожалуй, только царю. При нем, при Нефер-Хеперу-Ра-Уанра-Аменхотепе, такого не должно было быть, чтобы какие-то мерзкие коровы пожирали прекрасных, тучных, а безотрадные, покрытые ржой колосья съедали колосья золотисто-упругие; при нем не должно было происходить ничего, что соответствовало бы этим отвратным картинам в мире событий. Ибо в противном случае вина пала бы на него, пошатнулся бы не чей-нибудь, а его авторитет, сердца и уши не вняли бы провозглашенью Атона, и в барыше был бы Амун. Свету грозила опасность со стороны черноты, невесомой духовности она грозила со стороны материи, это не подлежало никакому сомнению. Тревога фараона была велика; она приняла вид гнева, а гнев то и дело сгущался в решение разгадать и узнать эту опасность, чтобы достойно встретить ее.

Первым, кому фараон изложил свои сны, насколько они вообще поддавались изложению, был старик, который ночью спал у порога, а утром явился, чтобы одеть и причесать своего господина и обвязать ему голову повязкой. Раб лишь удивленно покачал головой, а потом заявил, что все это оттого, что Добрый Бог так поздно отходит ко сну, да еще возбужденный бесконечными «спекуляциями», как он не совсем грамотно выразился. Он, видимо, невольно воспринимал эти тревожные сны как некое наказание за то, что Мени заставляет старого своего слугу так долго ждать и не спать. «Ах, барашек!» — с досадливой усмешкой сказал фараон, легонько хлопнув его ладонью по лбу, и пошел к царице, но царицу из-за ее беременности тошнило, и она слушала мужа

с пятого на десятое. Затем он навел Тейе, мать-богиню, которую застал за косметическим столиком, в окружении хлопотавших над ней камеристок. Ей он тоже рассказал свои сны и сделал при этом наблюдение, что рассказывать их с каждым разом трудней, а не легче, — но и у нее тоже он не нашел утешения и поддержки... Тейе всегда бывала немного насмешлива, когда он приходил к ней с царскими своими заботами, — что в данном случае дело шло о такой заботе, он не сомневался и заранее ждал той иронической улыбки, которая тотчас же появилась на лице матери. Хотя вдова царя Небмара сложила с себя регентство и передала сыну всю полноту его полуденной власти добровольно и по тщательном размышлении, она не могла скрыть своей ревности к этой власти, а Мени обладал мучительным свойством все замечать, и поэтому от него не ускользала та горечь, проявлениям которой он как раз и способствовал своими попытками смягчить ее детскими просьбами о помощи и совете. «Зачем твое величество обращается ко мне, которая ушла на покой? — говорила Тейе. — Ты фараон, так будь же им и стой на собственных ногах, а не на моих. Спрашивай своих слуг, визирей Юга и Севера, если тебе что-нибудь невдомек, и пусть они объявляют тебе твою волю, если ты не знаешь ее, а я старуха и свое отслужила».

Так же отнеслась она к его снам и сейчас.

— Я слишком отвыкла от власти и от ответственности, мой друг, — ответила она, улыбаясь, — чтобы судить, по праву ли придаешь ты этим историям такой вес. Недаром сказано: «Тьма сокрывается перед обилием света». Позволь же матери скрыться. Позволь мне даже скрыть свое мнение по поводу того, достойные ли это сны и подобают ли они твоему положению? Сожрали? Поглотили? Одни коровы других? Пустые колосья — полные? Это не сновиденье, ибо такого нельзя ни увидеть, ни представить себе, ни бодрствуя, ни, по-моему, во сне. Наверно, твоему величеству приснилось что-то другое, но ты позабыл свой сон и сейчас заменил его невероятной картиной невообразимой прожорливости.

Напрасно уверял Мени, что он ясно видел глазами сна именно это, а не что-то другое и что эта ясность была полна смысла, нуждающегося в срочном истолкованье. Напрасно говорил он ей о своем страхе перед уроном, который понесет «учение», то есть Атон, если сны беспрепятственно растолкуют себя сами, иными словами, сбудутся, станут той самой действительностью, какую они облекли в одежду виденья. Он снова убедился, что, в сущности, мать равнодушна к его богу и держит его сторону только разумом, только по политическим и династическим причинам. Она всегда укрепляла сына в его сердечной нежности, в его духовной страсти к богу Атону; но сегодня он лишней раз заметил, — как давно замечал и как, из-за своей чуткости, замечал, увы, все, — что делала она это только по расчету, используя его сердце как женщина, которая смотрит на мир лишь с политической, а не, как он, прежде всего с религиозной точки зрения. Это обидело Мени и причинило ему боль. Он покинул мать, посоветовав ему, если он действительно считает свой сон о коровах и о колосьях государственно важным, обратиться по этому поводу во время утренней аудиенции к Птахемхебу, визирю Юга. Да и вообще, по ее мнению, в толкователях снов здесь не было недостатка.

За учеными гадателями он послал давно и ждал их с нетерпением. Но их приему предшествовал прием Великого Деловода, который пришел доложить фараону о делах «Красного Дома», то есть нижнеегипетского казнохранилища, но был прерван уже после приветственного гимна, чтобы выслушать сначала рассказанные дрожащим голосом, с запинками и поисками слов сны, а затем предложение высказаться по двум вопросам: во-первых, считает ли и он, как его господин, эти сны государственно важными, и, во-вторых, если да, то в каком отношении. Тот не знал, что сказать, или, вернее, очень складно и длинно сказал, что затрудняется что-либо сказать и в снах ничего не смыслит, — после чего попытался вернуться к делам казны. Но Аменхотеп все

задерживал его на вопросе о снах, явно не желая и не будучи в состоянии говорить или слушать о чем-либо другом, и свои попытки объяснить ему, какие это были выразительно-убедительные или убедительно-выразительные сны, оставил только тогда, когда доложили о прибытии ученых и предсказателей.

Озабоченный, даже одержимый ночным своим переживанием, царь сделал перворазрядную церемонию из их приема — который потом, по существу, так жалко прошел. Он не только приказал остаться Птахемхебу, но и распорядился, чтобы на аудиенции толкования присутствовали все придворные чины, сопровождавшие его в поездке в Он. Знатных этих лиц был добрый десяток: Великий Домоправитель, Смотритель Царских Нарядов, Главный Белильщик и Мойщик Дворца, так величаемый Сандалиеносец Царя, очень важный сановник, Главный Цирюльник Бога, он же «Хранитель Исполненных Волшебства», то есть обоих царских венцов, и Тайный Советник царского убранства, Смотритель всех лошадей фараона, новый Главный Пекарь и «князь Менфийский», по имени Аменемопет, Главный начальник Писцов Питейного Поставца, Нефер-эм-Уазе, которого одно время звали Бин-эм-Уазе, и много носителей опахала одесную. Все они прибыли в Палату Совета и Ответа и разместились двумя равными группами по обе стороны прекрасного фараонова престола, стоявшего на высоте одной ступеньки под балдахин с тонкими, в лентах, столбиками. К престолу подвели специалистов по снам и пророков, — их было шестеро, все они имели более или менее близкое отношение к храму Жителя Горизонта, и некоторые из них участвовали во вчерашнем совещании о птице фениксе. Люди их звания уже не падали, как то было принято в прежние времена, перед престолом на живот, чтобы поцеловать землю. Престол был еще такой же, как при строителях пирамид и как еще много раньше, — похожее на ящик кресло с низкой спинкой, перед которой стояла подушка; на нем было только чуть больше резных украшений, чем в седой древности. Но хотя престол стал наряднее, а фараон могущественнее, землю перед ними уже не целовали, — чего не было, того не было. С этим дело обстояло так же, как с обычаем заживо хоронить в царской могиле придворных, — это уже не было хорошим тоном. Чернокнижники только молитвенно воздели руки и вразнобой, довольно нескладно пробормотали длинную формулу верноподданнического приветствия, в которой уверяли царя, что обликом он походит на своего отца Ра и освещает обе страны своей красотой. Ибо лучи его величия проникают и в подземелья, и нет места на свете, которое укрылось бы от его всевидящего глаза и от всеслышащих миллионов его ушей, — он слышит и видит все, и все, что слетает с его уст, подобно речам Гора-на-горизонте, ибо его язык — это весы стран, а его губы точнее, чем язычок на верных весах Тота. Он Ра всем своим телом (говорили они не в лад, голосами неодинаковой громкости) и Хепре в истинном своем облике, живой образ своего отца, нижеегипетского Атума Онского — «о Нефер-Хеперу-Ра-Уанра, владыка красоты, благодаря которому мы дышим!»

Кое-кто управился раньше других. Наконец все умолкли и стали слушать. Поблагодарив их, Аменхотеп, сначала в общих словах, сказал им, по какому поводу он их созвал, а затем принялся рассказывать собранию, состоявшему из двадцати примерно знатных или ученых лиц, свои несуразные сны — в четвертый раз. Для него это была пытка, рассказывая, он то и дело краснел и заикался. Придать этой истории такую гласность заставило его неотвязное чувство ее грозной значительности. Теперь он в этом раскаивался, видя, как все, что было исполнено смысла и, на его внутренний взгляд, оставалось исполненным смысла, оказывалось внешне довольно нелепым. И правда, с чего бы это вдруг такие прекрасные и сильные коровы позволили проглотить себя таким несчастным и слабым? И как это и чем это могли одни колосья сожрать другие? Но снилось ведь ему это, это, а не иное! Сны были свежи, естественны и убедительны ночью; днем и на словах они выглядели, как плохо препарированные мумии с истлевшими лицами; с этим нельзя было выходить на люди. Ему было стыдно, и он с трудом довел свой рассказ до конца. Затем он робко и с надеждой взглянул на ученых гадателей.

Они многозначительно кивали головами, но постепенно, сначала у одного, потом у другого, задумчивое это движение сменилось удивленным покачиванием головы из стороны в сторону. Это особые и едва ли когда-либо встречавшиеся сновидения, заявили они через своего старосту; разгадка снов затруднительна. Нет, они не отчаиваются в ней, — не снились еще такие сны, которых они не смогли бы истолковать. Но они просят дать им время подумать и милостиво разрешить им удалиться на совещание. К тому же нужно доставить необходимые справочники. Нет такого ученого, который помнил бы все разновидности снов. Быть ученым, осмеливались они заметить, не значит держать все знания в голове, — в голове для этого не хватит места, — а значит обладать книгами, где знания записаны. А они ими обладают.

Аменхотеп разрешил им уйти на совещание. Двор получил приказ быть наготове. Полных два часа — столько времени продолжался консилиум — царь провел в большой тревоге. Затем собрание было возобновлено.

«Да живет миллионы лет фараон, любимый владычицей правды Маат в ответ на его любовь к этой богине, не терпящей лжи!» Сама Маат пособляет им, ученым экспертам, когда они оглашают итог и приносят свое толкование фараону, покровителю правды. Во-первых: семь прекрасных коров — это семь принцесс, которых Нефернефруатон-Нофертити, царица стран, постепенно родит. А то, что тучный скот был съеден хилым, означает, что эти семь дочерей еще при жизни фараона умрут. Это, однако, не значит, поспешили они добавить, что царские дочери умрут в молодые годы. Просто фараону суждено жить так долго, что он переживет всех своих детей, какого бы возраста те ни достигли.

Аменхотеп глядел на них с открытым ртом. О чем они говорят, спросил он их притихшим голосом. Они ответили, что им было дозволено истолковать первый сон. Но это толкование, возразил он по-прежнему слабым голосом, никак не связано с его сном, оно не имеет вообще никакого отношения к этому сну. Он не спрашивал их, родит ли ему царица сына и престолонаследника или дочь и еще дочерей. Он спрашивал их об истолковании красивых и безобразных коров. — Дочери, отвечали они, как раз и есть истолкование. Не следует ожидать, что в истолковании сна о коровах появятся снова коровы. В истолковании коровы превратились в царских дочерей.

Фараон успел уже закрыть рот и даже довольно плотно его сжать, и он только слегка приоткрыл его, приказывая им перейти ко второму сну.

Ко второму, сказали они. Семь полных колосьев — это семь цветущих городов, которые фараон построит; семь же сухих и взъерошенных — это развалины этих городов. Известно, пояснили они поспешно, что все города со временем превращаются в развалины. Так вот, фараон будет жить столь долго, что сам еще увидит развалины городов, им же построенных.

Тут уж терпение Мени лопнуло. Он не выспался, рассказывать увядающие сны снова и снова было мучительно, и, два часа ожидая заключения ученых, он достаточно истомился. И теперь он так вознегодовал на то, что их истолкования оказались чистейшим вздором и никаким боком не коснулись истинного смысла его видений, что больше не стал сдерживать свой гнев. Он спросил еще, сказано ли то, что сообщили ему мудрецы, в их книгах. Когда же они ответили, что их заключения надежно соединяют книжные сведения с выводами их собственной сообразительности, он вскочил с кресла, чего во время аудиенций никогда не случалось, так что придворные втянули головы в плечи и закрыли ладонями рты, и со слезами в голосе назвал смертельно испуганных пророков шарлатанами и невеждами.

— Прочь! — закричал он, почти рыдая. — И вместо золота, которым мое величество щедро наградило бы вас, если бы услышало из ваших уст правду, возьмите фараонову немилость! Ваши истолкования ложны, фараон это знает, потому что сны снились ему, и хотя смысл снов ему неизвестен, он способен отличить правдивое истолкование от такого неполноценного. Прочь с глаз моих!

Два дворцовых офицера выпроводили бледных гадателей. А Мени, так и не садясь, объявил своему двору, что эта неудача отнюдь не заставит его махнуть на такое дело рукой. Господа были, к сожалению, свидетелями постыдной несостоятельности, но — порукой тому его скипетр! — не далее как завтра он призовет других знатоков снов, на этот раз из храма Джхути, писца Тота, девятикратно великого владыки Хмуну. От жрецов белого павиана можно ждать более достоверного истолкования того, что, как говорит ему его внутренний голос, нужно истолковать любой ценой.

Новый опрос состоялся на следующий день при тех же обстоятельствах. Он прошел еще более убого, чем предыдущий. Снова, с теми же внутренними затруднениями и затруднениями речи, фараон выставил напоказ мумии своих снов, и снова светила науки кивали и качали головами в ответ. Не два, а три долгих часа пришлось царю и двору ждать результатов тайного совещания, разрешения на которое испросили и сыновья Тота; а потом эти специалисты не пришли даже к соглашению между собой, их мнения относительно снов разделились. На каждый сон, заявил их староста, имеется по два истолкования, которые только и можно принимать в расчет; никакие другие, сказал он, просто немыслимы. По одной теории, семь тучных коров — это семь царей фараонова семени, а семь безобразных — это семь князей горемычной чужбины, которые на них ополчатся. Но произойдет это в далеком будущем. С другой стороны, прекрасные коровы могут означать такое же число цариц, которые будут взяты в гарем фараоном или каким-нибудь его поздним преемником и (на что указывают истощенные коровы) умрут, к несчастью, одна за другой.

А колосья?

Семь золотых колосьев обозначали, по убеждению одних, семерых героев Египта, которые позднее падут на войне от рук семи вражеских и, как на то указывали обуглившиеся колосья, гораздо менее могучих бойцов. Другие считали, что семь полных колосьев и семь пустых подобны четырнадцати детям, которых родят фараону те чужеземные царицы. Но между детьми вспыхнет ссора, и семеро слабых, как более хитрые, погубят семерых сильных...

На этот раз Аменхотеп даже не вскочил с кресла. Он продолжал сидеть в нем, только согнулся и закрыл лицо руками, и стоявшие справа и слева от балдахина придворные склонили к фараону уши, чтобы услышать, что он бормочет себе в ладони. «О портачи, портачи!» — прошептал он несколько раз, а потом сделал знак стоявшему ближе других визирю Севера, чтобы тот наклонился к нему и получил какое-то тихое приказание. Птахемхеп выполнил это приказание, громким голосом объявив экспертам, что фараон хотел бы знать, не стыдно ли им.

Они сделали все, что в их силах, отвечали они.

Визирю пришлось еще раз наклониться к царю, и на этот раз выяснилось, что он получил приказание сообщить волшебникам, чтобы они покинули зал. Они удалились в великом смущении, недоуменно переглядываясь, как будто один хотел спросить другого, случалось ли с ним когда-нибудь что-либо подобное. Оставшийся на месте двор пребывал в испуге и замешательстве, ибо фараон по-прежнему сидел согнувшись,

закрыв рукою глаза. Когда он наконец отнял ее от глаз и выпрямился, лицо его было искажено горем, а подбородок дрожал. Он сказал придворным, что был бы рад их пощадить и что, лишь преодолевая себя, повергает их в скорбь и печаль, но что он не может скрывать от них правду, а правда заключается в том, что их господин и царь глубоко несчастен. Его сны, несомненно, носили государственно важный характер, и их истолкование — это вопрос жизни. Полученные же объяснения никуда не годятся; они совершенно не подходят к его снам, и те не узнают себя в них, как должны узнавать себя друг в друге сон и его истолкование. После этих двух неудачных, поставленных с таким размахом опытов он вообще сомневается в том, что получит когда-либо действительно верное истолкование, которое он сразу бы признал верным. По это значит, что он вынужден предоставить снам истолковать себя самим, то есть сбыться, и сбыться, возможно, на горе государству и религии, без каких-либо предупредительных мер. Страны в опасности; а фараона, которому это открылось, оставляют на престоле одного, без помощи и совета.

Лишь один миг длилось после этих слов тягостное молчанье. Затем Нефер-эм-Уазе, главный чашник, который долго боролся с собой, выступил из хора друзей и попросил милостивого дозволения говорить перед фараоном. «Грехи мои вспоминаю я ныне», — начал он, согласно преданию, свою речь; эти слова так и повисли в воздухе, они слышны и сегодня. Великий виноградарь не имел в виду грехов, которых он не совершал; ибо в темницу он угодил некогда незаслуженно и не участвовала замысле, согласно которому змий Исет должен был укунить одряхлевшего Ра. Он имел в виду другой грех — что, твердо пообещав одному человеку упомянуть его, он не сдержал своего слова, потому что забыл этого человека. А теперь он вспомнил о нем и говорил о нем перед балдахинном. Он напомнил фараону (едва ли о том помнившему) об «епнии» (он употребил это смягчающее заимствование), которое случилось с ним, чашником, два года назад, еще при царе Небмара, когда он, Нефер-эм-Уазе, вместе с одним богомерзким преступником, чье имя лучше не называть и чья душа и тело разрушены, нечаянно попал в островной острог Цави-Ра. Там к ним был приставлен один юный азиат, хабир, помощник коменданта, носивший чудное имя Озарсиф, сын одного боголюбивого восточного царя стад, рожденный тому некоей миловидной красавицей, что заметно было и по облику юноши. Так вот, этот юноша — самый одаренный специалист по снам, какого он, Превосходный-в-Фивах, когда-либо в жизни встречал. Ибо им обоим, его виновному товарищу и ему, незапятнанно-чистому, одновременно привиделись сны — сложнейшие, многозначительнейшие сны, каждому свой, и надлежаще истолковать эти сны было в высшей степени трудно. Но упомянутый Озарсиф, который дотоле никогда не хвастался своим даром, истолковал им их сны с необыкновенной легкостью, предсказав пекарю, что того ждет дерево, а ему самому, чашнику, — что благодаря своей сверкающей чистоте он снова войдет в милость и будет восстановлен в должности. Так оно в точности и случилось, и сегодня он, Нефер, вспоминает свой грех — что он гораздо раньше не обратил внимания и не указал пальцем на этот безвестный талант. Он спешит выразить уверенность, что если кто-либо способен истолковать столь важные фараоновы сны, то это юноша, вероятно все еще прозябающий в Цави-Ра.

Движенье среди друзей царя, движенье на лице и в позе фараона. Еще несколько вопросов и ответов, которыми быстро обменялись царь и толстяк чашник, — и вот уже отдан прекрасный приказ, чтобы первый спешнокрылый гонец немедленно отправился на многоспешной ладье в Цави-Ра и с величайшим спехом доставил гадателя-чужеземца в Он, перед лицо фараона.

## РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

## Введение

Когда Иосиф прибыл в тысячелетний город моргающих глаз, стояла опять пора посева, пора погребенья бога, как стояла она тогда, когда он совершил второе свое падение в яму, где прожил три больших дня, прожил в сносных условиях под началом спокойного коменданта Май-Сахме. Все шло правильно: миновало ровно три года, мир вернулся к той же, что и тогда, точке круговорота, и дети Египта только что снова справили тот праздник вспаханной земли и воздвиженья позвоночного столпа бога, что приходился на неделю между двадцать вторым и последним днями месяца хойака.

Иосиф был рад увидеть снова золотой Он, где когда-то, три года и еще десять лет назад, он мальчиком останавливался с измаильтянами, останавливался на пути, которым они вели его, и вместе с ними внимал учению о прекрасной фигуре — треугольнике и о кроткой природе владыки широкого горизонта Ра-Горахте. Теперь Иосиф снова держал путь через треугольное пространство ученого города, чьи солнечные иглы сверкали по обоим бортам ладьи, к вершине, то есть к большому, высившемуся в конце и на пересеченье боковых сторон обелиску, который еще издали, затмевая золотым блеском все остальное, приветствовал их граненым своим колпаком.

Сыну Иакова, так долго не видевшему ничего, кроме стен своего узилища, было недосуг дать волю глазам и насладиться картиной хлопотливого города, — недосуг уже и по внешним причинам, ибо его проводник, крылатый гонец, не давал ему ни минуты роздыха; но и внутренне, по его, Иосифа, настроению, ему было недосуг глазеть по сторонам. Ибо замыкался еще один круг, и приближалось еще одно повторенье: он снова должен был стоять перед самым высоким. Когда-то самым высоким лицом в ближайшем его окружении был Петепра, перед которым ему привелось говорить в пальмовом саду, и тогда постараться стоило. Теперь говорить ему предстояло с самим фараоном, с самым высоким лицом здесь внизу, и постараться стоило того больше. Постараться же надо было ради господя, чтобы помочь ему в осуществлении его замыслов, а не загубить их своей неуклюжестью, что значило бы совершить величайшую глупость и по нехватке веры надругаться над законами жизни. Только нетвердо веруя в желание бога высоко его вознести, можно было оплошать и упустить случай, который сейчас представился; а потому Иосиф с волнением ждал будущего и не замечал окрестной суеты города, хотя его ожидание было уверенностью и страха в нем не было, ибо в наличии веры, которая была началом всякой благочестивой удачливости, — веры в то, что бог относится к нему с веселой любовью и уготовил ему важную роль, — в ее наличии он нисколько не сомневался.

Следуя за ним тоже с волнением, хоть нам и известно, что было дальше, мы не станем упрекать его за эту уверенность, а примем его таким, каким он был и каким мы уже давно его знаем. Есть избранники, которые из-за какого-то самоуничижительного, вечно сомневающегося смирения никак не могут поверить в свое избранничество и, не доверяя своим чувствам, отвергают его с гневом и скорбью, — более того, чувствуют себя даже несколько уязвленными в своем неверии, если в конце концов все же возвысятся. И есть другие, для которых на свете нет ничего более естественного, чем их избранность, — сознательные любимцы богов, никаким своим возвышеньям и успехам не удивляющиеся. Какому роду избранников ни отдавай предпочтения, не верящему в свой дар или самоуверенному, — Иосиф принадлежал ко второму, и хорошо еще, что не к третьему, который также существует на свете: не к тем, кто, лицемеря перед богом и перед людьми, притворяется недостойным даже перед самим собой и в чьих устах слово

«милость» таит в себе все же больше чванства, чем вся самоуверенность  
неудивляющихся...

Путевой дворец фараона в Оне находился восточнее храма Солнца и соединялся с ним аллеей смоковниц и сфинксов, по которой и следовал бог, когда благоволил покадить своему отцу. Дом жизни был сооружен легким и веселым, без применения камня, подобавшего только Вечным Обителям, — это был дом, как все дома жизни, кирпичный и деревянный, но, конечно, такой красоты и такого изящества, какие только могла вообразить себе богатая культура Кеме, и стоял он среди садов, огражденных ослепительно белой стеной, перед высокими воротами которой на золоченых шестах колыхались от слабого ветра пестрые вымпелы.

Было за полдень, время обеда уже миновало. Хотя быстроходная ладья не останавливалась и ночью, ей потребовалось еще и утро, чтобы достигнуть Она. На площади перед воротами стены была сутолока, ибо туда, только чтобы постоять в ожидании зрелища, пришли из города толпы народа, и множество полицейских, привратников и возниц, которые, судача, стояли возле своих бывших копытами, фыркавших, а иногда и залиvisto ржавших упряжек, преграждая Дорогу этим зевакам, а кроме того, тут не было недостатка в разносчиках и лоточниках, торговавших подкрашенными сладостями, пряжеными лепешками, скарабеями на память и дюймовыми статуэтками царя и царицы. Не без труда прокладывали себе путь спешный гонец и тот, кого он доставил. «Приказ! Приказ! На прием, на прием!» — кричал то и дело крылатый, пытаясь нагнать на людей страху своей профессиональной одышкой, которой он в пути все-таки поступился. Прокричав это и во внутреннем дворе выбежавшим навстречу слугам, после чего те понимающе подняли брови, он провел Иосифа к подножию парадной лестницы, вверху которой, перед входом в приподнятый помостом павильон, вырос и опустил на них усталый взгляд какой-то дворцовый чин, — видимо, один из младших придворных. Вот, доставлен прорицатель из Цави-Ра, — на лету бросил через ступени гонец, — прорицатель, которого ведено было привезти как можно скорее; тогда чин столь же устало смерил Иосифа сверху донизу испытующим взглядом, словно после этого объяснения от его воли еще хоть как-то зависело, допустить Иосифа или нет, а потом кивнул опять-таки с видом человека, принявшего самостоятельное решение, как будто он мог и вернуть доставленного. Гонец еще наскоро наставил Иосифа, чтобы тот, представ перед фараоном, дышал тоже учащенно и через силу, создавая у царя прекрасное впечатление, будто он, Иосиф, бежал к нему всю дорогу без отдыха, но Иосиф не принял этого наставленья всерьез. Поблагодарив длинноногого за то, что он прибыл за ним и доставил его сюда, Иосиф поднялся по ступенькам к придворному, который в знак приветствия не кивнул, а покачал головой, а потом приказал ему следовать за собой.

Миновав красочно расписанную картинами переднюю с четырьмя изящными, в лентах, колоннами, они вошли в фонтанный, также поблескивавший округлыми колоннами прекрасного лощеного дерева зал, где стояли вооруженные часовые и который открывался вперед и в стороны широкими проходами между опорами. Придворный повел Иосифа напрямик в проходные сени с тремя углубленными, одна возле другой, дверями и провел его через среднюю дверь. Они оказались в очень большом зале, насчитывавшем чуть ли не двенадцать колонн, с небесно-голубым потолком, расписанным летящими птицами. Посреди зала стоял открытый, красно-золотой домик, похожий на садовый бельведер, и в нем видны были стол, а вокруг стола кресла с разноцветными подушками. Слуги в набедренниках опрыскивали и подметали там пол, выносили тарелки для фруктов, наполняли курильницы и светильники на треногах, чередовавшихся с широкоухими алавастровыми вазами, расставляли золотокованные кубки по полкам поставца и взбивали подушки. Было ясно, что фараон здесь откушал и удалился куда-то на покой, — то ли в сад, то ли в глубину дома. Иосифу все это было

далеко не так ново и удивительно, как, по-видимому, полагал его проводник, время от времени испытующе поглядывавший на него сбоку.

— Умеешь ли ты вести себя? — спросил он, когда они вышли из зала направо и оказались в домовом саду, где в узорчатый каменный пол были вделаны четыре бассейна.

— С грехом пополам, и то если уж нужда придет, — усмехаясь, ответил Иосиф.

— Ну, так нужда пришла, — сказал придворный. — Значит, ты сумеешь хотя бы для начала приветствовать бога?

— Лучше бы я не умел это делать, — отвечал Иосиф, — ибо, наверно, всего приятнее научиться этому у тебя.

Чин сперва сохранял суровость, а потом вдруг рассмеялся, чего никак нельзя было ожидать, но сразу же, правда, придал расплывшемуся своему лицу прежнее, сухое и суровое выражение.

— Ты, как я погляжу, — сказал он, — плут и шутник, этакий жулик-скотокрад, умеющий смешить людей своими штучками. Наверно, твое ясновиденье и гаданье — это тоже чистейшее жульничество и шарлатанство?

— О, в ясновиденье и гаданье я не силен, — возразил Иосиф. — Это не по моей части и от меня не зависит, просто иной раз у меня это как-то само собой получается. Да я никогда и не обольщался на этот счет. Но когда фараон срочно вызвал меня именно ради этого, я и сам стал более высокого мнения о своих способностях.

— Это сказано, видимо, мне в назидание? — спросил придворный. — Фараон молод и милостив. Если кого-то осветит Солнце, то это еще не доказательство, что он не мошенник.

— Оно нас не только освещает, оно позволяет нам и показать себя, — ответил на ходу Иосиф, — одному так, а другому иначе. Желая тебе, чтобы ты нравился себе на солнце!

Провожатый поглядел на него сбоку, и поглядел не один раз. В промежутках он смотрел вперед, но вдруг, не без поспешности, словно забыв на что-то взглянуть или же решив еще раз быстро проверить увиденное, снова поворачивал голову к своему спутнику, так что тому в конце концов пришлось ответить на такие упорные взгляды сбоку. Иосиф сделал это с улыбкой и кивнул головой, как бы говоря: «Да, да, так оно и есть, не удивляйся, глаза тебя не обманывают». Быстро и словно бы испуганно придворный повернул голову снова вперед.

После домового сада они оказались в освещенном сверху коридоре, одна стена которого была расписана сценами жатвы и жертвоприношений, а другая, благодаря проемам между пилястрами, открывала вид на различные покои, в том числе на Палату Совета и Ответа, где возвышался балдахин и назначение которой дворецкии объяснил Иосифу, когда они проходили мимо нее. Он стал разговорчивей. Он даже сообщил своему спутнику, где тот найдет фараона.

— После второго завтрака, — сказал он, — его величество направилось в критский садовый зал, — критский потому, что его разукрасил один заморский художник. У его величества получают сейчас наставления главные царские ваятели Бек и Аута. Там же и Великая Мать. Я передам тебя в передней дежурному камердинеру, чтобы он доложил о твоём прибытии.

— Так мы и сделаем, — сказал Иосиф, и никакого другого смысла слова его не имели.

Но, снова покачав головой, шагавший рядом с ним провожатый вдруг разразился беззвучным, судорожно-затяжным смехом, от которого у него мелко дрожала одежда на животе, и, кажется, не вполне совладал с этим приступом даже тогда, когда они, пройдя коридор, вошли в переднюю, где от вышитой золотыми пчелами дверной занавески, у которой он подслушивал, отделился маленький, сгорбленный придворный в великолепном набедреннике, с опухавшим под мышкой. У дворецкого все еще как-то жалобно дрожал голос от внутреннего смеха, когда он стал объяснять угодливо засеменившему к ним камердинеру, кого он привел.

— А, званый и долгожданный всезнайка и умник, — зашепелявил коротышка высоким голосом, — который умнее всех ученых книгохранилища. Отлично, отлично, великолепно, — говорил он, так и не разгибаясь, то ли потому, что был горбат от рождения и не мог выпрямиться, то ли потому, что церемонная придворная служба приучила его к этой позе. — Я доложу о тебе, я тотчас же доложу о тебе, как же иначе? Тебя ждет весь двор. Фараон, правда, занят, но о тебе я все равно доложу немедля. Я перебую фараона, прервав ради тебя на полуслове его наставления художникам, чтобы уведомить его о твоём прибытии. Наверно, это тебя несколько удивляет. Смотри, чтобы твоё удивление не перешло в замешательство, а то ты наговоришь глупостей, хотя для этого тебе, может быть, никакого замешательства вовсе не требуется. Заранее предупреждаю тебя, что фараон очень раздражается, когда ему говорят глупости по поводу его снов. Поздравляю тебя. Итак, тебя зовут?..

— Меня звали Озарсиф, — ответил Иосиф.

— Тебя так зовут, ты хочешь сказать, тебя так зовут! Довольно странно, что тебя всегда так зовут. Пойду доложу и назову твоё имя. *Merci beaucoup*, друг мой, — сказал он, пожимая плечами, дворецкому, который тотчас же удалился, а сам, не разгибая спины, шмыгнул за занавеску.

Оттуда глухо доносились голоса, особенно один, юношески нежный и ломкий, который потом умолк. Вероятно, горбун угодливо шепелявил что-то на ухо фараону. Потом он вернулся с поднятыми бровями и прошептал:

— Фараон зовет тебя!

Иосиф вошел.

Он оказался в лоджии, не настолько большой, чтобы по праву носить название «садовый зал», которое ей дали, но на редкость красивой. Опираясь на две колонны, выложенные цветным стеклом и сверкающими камнями и обвитые листьями винограда, написанными так живо, что их можно было принять за настоящие, с полом, на плитах которого были изображены то дети верхом на дельфинах, то каракатицы, эта лоджия выходила тремя большими открытыми окнами в сады, чью красоту она целиком вбирала в себя. Там видны были светящиеся клумбы тюльпанов, какие-то чужеземные, с удивительными цветами кусты и посыпанные золотым песком дорожки, которые вели к лотосовым прудам. Глазам открывалась глубокая перспектива островков, мостиков и беседок, а вдали сверкали изразцы, которыми был облицован летний домик. Сама веранда сияла красками. Её боковые стены были покрыты росписью, совершенно непохожей на обычную египетскую. Эта роспись являла глазу людей и нравы нездешних мест, явно островов моря. Сидели и шествовали какие-то женщины в роскошных, пестрых и твердых юбках, с обнаженной над узким корсажем грудью, и волосы их,

завитые выше начальника, ниспадали на плечи длинными косами. Им прислуживали пажи в невиданных нарядах, держа в руках остроконечные кружки. Какой-то маленький царевич с осиной талией, в двухцветных панталонах и барашковых сапожках, с украшенной лохматыми перьями короной на кудрях, самодовольно шагал по сказочно пышным травам, стреляя из лука в бегущих животных, движение которых художник передал тем, что они не касались земли копытами, а парили над ней. На других картинах над спинами беснующихся быков кувыркались в воздухе акробаты, забавляя взиравших на них с балконов и из окаймленных пилястрами окон дам и мужчин.

Такая же печать чужеземного вкуса лежала и на художественных изделиях, служивших здесь услугой для глаз, на глиняных, расписанных мерцающими красками вазах, на инкрустированных золотом барельефах слоновой кости, на великолепных, чеканной работы кубках, на чернокаменной голове быка с золотыми рогами и глазами из горного хрусталя. Когда вошедший поднял руки, взгляд его сосредоточенно и скромно обошел открывшуюся перед ним сцену и лиц, о присутствии которых его уведомили.

Вдова Аменхотепа-Небмара восседала прямо напротив него на высоком, с высокой скамеечкой кресле, против света, перед средним из сводчатых, доходивших чуть ли не до пола окон, так что ее лицо, бронзовость которого и без того подчеркивалась одеждой, казалось в тени еще темнее. Однако Иосиф узнал ее своеобразные черты, уже знакомые ему по нескольким царским выездам: изящно изогнутый носик, толстые, окаймленные морщинами горькой умудренности губы, дугообразные, подведенные кисточкой брови над маленькими, глянцевиито-черными, глядевшими холодно и внимательно глазками. На матери не было золотой коршуновой диадемы, в которой сын Иакова видел ее во время официальных церемоний. Ее несомненно уже поседевшие волосы — ибо ей было под шестьдесят — окутывала, не закрывая золотой скобки, охватывавшей лоб и виски, серебристая сетка, с макушки которой, извиваясь, спускались две вздыбившиеся на лбу золотые змеи — сразу две, словно она унаследовала и змею своего слившегося с богом супруга. Круглые пластинки из тех же драгоценных камней, из каких был изготовлен ее воротник, украшали уши Тейе. Эта маленькая энергичная женщина сидела очень прямо, очень осанисто и степенно, так сказать, на старый, иератический лад, утвердив руки на подлокотниках кресла, а ноги, вплотную одна к другой, на высокой скамеечке. Ее умные глаза встретились с глазами почтительно вошедшего Иосифа, но, бегло скользнув по нему вниз, с понятным и даже предписанным равнодушием тотчас же снова повернулись к сыну, причем горькие борозды вокруг ее толстогубого рта сложились в насмешливую улыбку по поводу того ребяческого волнения и любопытства, с какими фараон глядел на этого хваленного и долгожданного толкователя.

Молодой царь земли Египетской сидел слева у расписной стены на львиногом, обильно обложенном подушками кресле с косой спинкой, от которой он оторвался, с живостью подавшись вперед, засунув под сиденье ноги и охватив подлокотники своими тонкими, в скарабеех руками. Нужно прибавить, что эта похожая на стойку перед прыжком, полная напряженного внимания поза, в какой Аменхотеп, повернувшись направо, причем его серые, с поволокой глаза раскрылись как только могли широко, — что эта поза, в какой Аменхотеп разглядывал новоприбывшего толкователя своих сновидений, возникла не вдруг, а складывалась постепенно, рывками, в течение целой минуты, — вот как долго это длилось, — и дошла до того, что в конце концов фараон и в самом деле приподнялся с кресла и передал всю свою тяжесть вцепившимся в подлокотники рукам, пясти которых выдавали его напряженье своей игрой. При этом предмет, лежавший у него на коленях, какой-то струнный инструмент, упал с тихим и глухим звоном на пол, но тотчас был поднят и подан фараону одним из стоявших перед ним художников, которых он поучал. Поднявшему пришлось несколько мгновений держать инструмент в протянутых к фараону руках, прежде чем тот, закрывая глаза, взял его, и, откинувшись на подушки кресла, принял, по-видимому, снова ту позу, в которой он

дотоле совещался с художниками: позу чрезвычайно небрежную, расслабленную и удобную, ибо в сиденье его кресла имелась впадина для подушки, слишком мягкой для того, чтобы фараон в ней не утонул, и поэтому он сидел не только откинувшись в сторону, но и очень глубоко, бессильно свесив с подлокотника одну руку, а большим пальцем другой тихо теребя струны чудесной маленькой лютни, что лежала у него на коленях, и закинув ногу на ногу, отчего его обтянутые полотном колени высоко задралась, а кончик одной ноги покачивался тоже на довольно большой высоте. Золотая застежка сандалии проходила между большим и вторым пальцем.

## Дитя пещеры

Нефер-Хеперу-Ра-Аменхотепу было тогда столько лет, сколько было тридцатилетнему сейчас Иосифу, когда он «пас скот вместе с братьями своими», то есть семнадцать. Однако казался он старше, причем не только потому, что в его местах люди быстрее созревают, и не только из-за слабого здоровья, но также из-за ранней необходимости соприкоснуться со всей полнотой единого мира, из-за разнообразных впечатлений, отовсюду осаждавших его душу, из-за своего фанатически ревностного, наконец, радения о божестве. При описании его лица, глядевшего из-под круглого синего парика с царской змеей, который был на нем сейчас поверх полотняной шапочки, никакие тысячелетия не отпугнут нас от того точного сравнения, что оно походило на лицо молодого английского аристократа из несколько уже отцветшего рода: длинное, надменно-усталое, с тяжелым, значит, отнюдь не срезанным и все-таки слабым подбородком, с узкой, немного вдавленной переносицей, делавшей еще заметнее широкие, чуткие ноздри, и с непроглядно-мечтательными, всегда полузакрытыми глазами, утомленность которых поразительно не вязалась с краснотой его очень толстых губ, краснотой не искусственной, а природной, болезненной. Таким образом, в этом лице была смесь мучительно запутанной духовности и чувственности — с оттенком ребячливости и, возможно даже, озорства и распущенности. Красивым и прекрасным его никак нельзя было назвать, но какой-то тревожно-притягательной силой оно обладало; не приходилось удивляться, что народ Египта относился к фараону с нежностью и давал ему цветистые имена.

Не красивым, а скорее необычным и местами немного несуразным казалось и едва достигавшее среднего роста фараоново тело, когда оно, очень отчетливо вырисовываясь под легкой, хотя и изысканно драгоценной одеждой, с небрежностью, которая шла, однако, не от невоспитанности, а от оппозиционного стиля жизни, возлежало в подушках: длинная шея, узкая и дряблая грудь, наполовину прикрытая великолепным воротником из каменных лепестков, тонкие, в чеканных браслетах руки, с малолетства несколько вздутый живот, которого не прятал открытый спереди гораздо ниже пупа, но зато сзади высокий, облежавший почти всю спину набедренник с украшенным змейками и бахромой передним клапаном. К тому же ноги его были не только слишком коротки, но и вообще непропорциональны из-за чрезмерно полных бедер и очень худых, чуть ли не куриных голеней. Аменхотеп требовал, чтобы скульпторы не только не приукрашивали этой его особенности, но даже преувеличивали ее, дорожа правдой. Никак не верилось, что главной страстью этого избалованного мальчика, явно принимавшего драгоценное свое происхождение как нечто само собой разумеющееся, было познание высшего, и, стоя в стороне, Авраамов потомок дивился, в сколь разных, в сколь чужих и чуждых друг другу людях живет на земле забота о боге.

Итак, Аменхотеп вновь повернулся, чтобы отпустить их, к обоим художникам — простоватым крепышам, один из которых был занят тем, что закрывал влажным полотнищем поставленную на постамент, но еще не законченную глиняную статуэтку,

каковую он и показывал заказчику.

— Сделай это, любезный Аута, — услышал Иосиф снова тот нежный и ломкий, несколько высоковатый, то медлительно-торжественный, то, наоборот, торопливый голос, к которому он прислушивался еще снаружи, — сделай это, как указал тебе фараон, сделай ее милой, живой и прекрасной, как того хочет отец мой на небесах! В твоей работе еще есть погрешности, погрешности не ремесленного, — ты очень искусен, — а духовного свойства. Мое величество указало тебе на них, и ты их исправишь. Ты изобразил мою сестру, сладчайшую принцессу Бакетатон в слишком еще старой, мертвой манере, наперекор Отцу, чью волю я знаю. Сделай ее милой и легкой, изобрази ее в согласии с истиной, а истина — это свет, и фараон в ней живет, ибо он вобрал ее в себя! Пусть одной рукой сестра подносит ко рту какой-нибудь плод сада, например, гранат, а другая рука пусть свободно повиснет — не с плоской, повернутой к бедру ладонью, а с согнутыми пальцами, ладонью назад, — так угодно богу, что живет в моем сердце и которого я знаю, как никто другой, потому что из него я и вышел.

— Этот раб, — отвечал Аута, одной рукой закутывая глиняную фигуру, а другую воздев к царю, — сделает все в точности так, как велит и как научил меня, к счастью моему, фараон, единственный сын Ра, прекрасное дитя Атона.

— Спасибо тебе. Аута, большое и дружеское спасибо. Это важно, ты понимаешь? Ибо подобно тому как отец мой находится во мне, а я в нем, все должны слиться в одно целое в нас, такова цель. А твое произведение, если оно будет создано в надлежащем духе, может немного помочь тому, чтобы все слилось воедино в нем и во мне... А ты, любезный Бек...

— Помни, Аута, — раздался тут низкий, почти мужской голос вдовствующей богини с ее высокого кресла, — помни всегда, что фараону трудно добиться от нас понимания и что порой он говорит несколько больше, чем хочет сказать, дабы сделать для нас понятнее то, что он хочет сказать. Он вовсе не хочет сказать, чтобы ты изобразил, как сладчайшая принцесса Бакетатон ест, как она надкусывает плод; ты только вложи ей этот гранат в руку, а руку слегка приподними, чтобы можно было предположить, что она собирается поднести плод ко рту; такой новизны будет достаточно, и именно это хочет сказать тебе фараон, говоря, чтобы ты показал, как она ест. Кое-что нужно убавить и в словах его величества о том, что висящая рука должна быть повернута согнутой ладонью решительно назад. Отверни ее только немного, только на пол-оборота от бедра, это как раз то, что он имеет в виду и что сулит тебе достаточное количество похвал и порицаний. Это для ясности.

Сын ее одно мгновенье помолчал.

— Ты понял? — спросил он потом.

— Я понял, — ответил Аута.

— В таком случае ты поймешь, — сказал Аменхотеп, опустив взгляд на лежавший у него на коленях лироподобный инструмент, — что, смягчая мои слова. Великая Матерь говорит, конечно, несколько меньше, чем она хочет сказать. Руку с плодом ты можешь поднести ко рту уже довольно близко, а что касается свободной руки, то ведь и так получится только пол-оборота, если ты отвернешь ее от бедра ладонью назад, ибо совсем наружу ладонями руки никто не держит и ты погрешил бы против светозарной истины, если бы изобразил сестру в такой позе. Теперь ты видишь, сколь мудро смягчила Матерь мои слова.

С лукавой улыбкой поглядев на инструмент и обнажив при этом маленькие, слишком бесцветные и прозрачные при таких толстых губах зубы, он бросил взгляд на Иосифа, который в ответ улыбнулся. Улыбались, впрочем, также царица и ваятели.

— А ты, любезный Век, — продолжал фараон, — поезжай туда, куда я тебе велел! Поезжай в Иабу, поезжай в Страну Слонов и привези оттуда побольше красного гранита, что там родится, самого лучшего, с зернами кварца и с черноватым блеском, ты же знаешь, какой я люблю. Фараон хочет украсить карнакский дом своего отца так, чтобы он превосходил дом Амуна если не размерами, то хотя бы благородством камня и чтобы название «Блеск Атона» закрепилось за храмовым округом, подготавливая тот день, когда, может быть, сама Узет, вся целиком, станет в устах людей «Городом блеска Атона». Ты знаешь мои мысли, и я уповаю на твою любовь к ним. Поезжай, мой любезный, поезжай тотчас! Фараон будет сидеть здесь среди подушек, а ты отправишься в далекие края, вверх по реке, и претерпишь все тяготы, каких стоит получение красного камня, а затем доставка его на судно и перевозка в Фивы в прекрасном обилии. Вот как обстоят дела, и пусть они так обстоят. Когда ты отправишься?

— Завтра утром, — отвечал Бек, — устроив дела жены и дома. А любовь к нашему Сладчайшему Господину, прекрасному отпрыску Атона, сделает мое путешествие и мои труды такими легкими, как будто я усядусь в мягчайшие подушки.

— Отлично, отлично, а теперь ступайте, художники! Идите и приступите каждый к своему труду. У фараона важные дела, он только внешне покоится в подушках, внутренне же он напряжен, занят и озабочен. Ваши заботы, как они ни прекрасны, ничтожны в сравнение с его заботами. Прощайте, идите!

Он подождал, покуда мастера почтительно удалятся, но тем временем уже глядел на Иосифа.

— Подойди поближе, друг! — сказал он, когда занавеска с пчелами закрылась за ними. — Пожалуйста, подойди поближе, любезный хабир из Ретену, не бойся и не пугайся своих шагов, подойди совсем близко! Это Матьер Бога, Тейе, которая живет миллионы лет. А я фараон. Но ты не думай больше об этом, чтобы не бояться. Фараон — бог и человек, но второе для него столь же важно, сколь и первое, и ему даже радостно, радостно порой до гнева и до упрямства, показывать себя человеком и стоять на том, что одной своей стороной он такой же человек, как все; ему приятно дать щелчок по носу брызгам, которые хотят, чтобы он всегда вел себя только как бог.

И он в самом деле щелкнул в воздухе тонкими пальцами.

— Но я вижу, что ты не боишься, — продолжал он, — и не пугаешься собственных шагов, а шагаешь ко мне со спокойным изяществом. Это приятно, ибо у многих, когда они стоят перед фараоном, душа уходит в пятки, их покидает отвага, колени у них подгибаются, и они уже не отличают жизни от смерти. У тебя голова не кружится?

Иосиф, улыбаясь, покачал головой.

— Это может быть по трем причинам, — сказал юный царь. — Либо потому, что твое происхождение по-своему благородно, либо потому, что ты видишь в фараоне человека, как то нравится ему, если при этом не забывают и о его божественности, либо же потому, что ты чувствуешь отсвет божества на себе самом, ибо ты поистине писанный красавец — мое величество заметило это сразу, как только ты вошел, и хотя я не удивился, поскольку мне уже сказали, что ты сын некоей миловидной красавицы, это все-таки привлекло мое внимание. Ведь это же доказывает, что тебя любит тот, кто сам же и придает внешности

красоту, кто благодаря Своей красоте и ради Своей красоты наделяет глаза жизнью и зрением. Красивых можно назвать любимцами света.

Он благосклонно оглядывал Иосифа, скосив голову.

— Разве он не чудо как красив, разве он не прекрасен, как светозарный бог, маменька? — спросил он Тейе, которая подпирала щеку тремя пальцами своей маленькой, смуглой, сверкавшей каменьями руки.

— Ты призвал его к себе ради приписываемой ему мудрости и способности толковать сны, — возразила она, глядя в пустоту.

— Одно с другим связано, — быстро и запальчиво ответил Аменхотеп. — Об этом фараон много размышлял и многое узнал, беседуя с гонцами, которые прибывали к нему из чужих и далеких стран, с чародеями, жрецами и посвященными, которые приносили ему вести о мыслях людей с востока и запада. Ибо чего только ему не приходится слушать и узнавать, чтобы проверить, выбрать и использовать все полезное для совершенствования учения и познания образа истины по воле его небесного отца! Красота, маменька, и ты, милейший аму, связана с мудростью, и связана посредством света. Ибо свет — это средство, это средоточие роднящих лучей, которые расходятся на три стороны — к красоте, к любви и к познанию истины. Все они в нем едины и свет — это их триединство. Чужеземцы познакомили меня с учением об изначальном, рожденном из пламени боге, прекрасном боге любви и света, и имя ему было «Блеск первородный». Это прекрасное, полезное учение, ибо из него явствуется тождество света и любви. Но свет — это и красота, так же как истина и знание, и если вы хотите узнать средство достижения истины, то это любовь... Правду ли говорят о тебе, что, услышав сон, ты способен его истолковать? — спросил он Иосифа, краснея, ибо устыдился собственной пылкости.

— Не обо мне, господин, следует говорить в этой связи! — ответил Иосиф. — Способен на это не я. Способен на это один бог, а он делает это порой через меня. Всему свое время, есть время видеть сны, и есть время их толковать. Когда я был мальчиком, я видел сны, и братья, мои враги, бранили меня сновидцем. Теперь, когда я стал мужчиной, пришло время толковать сны. Мои собственные сны теперь истолковываются, а истолковывать чужие сны бог меня сподобляет.

— Значит, ты юноша-прорицатель, так называемый вдохновенный агнец? — осведомился Аменхотеп. — Кажется, тебя можно отнести к этой категории. Испустишь ли ты дух с последними своими словами, в самозабвенном восторге предсказав царю будущее, чтобы царь торжественно похоронил тебя и записал твои пророчества на память потомству?

— Нелегко, — сказал Иосиф, — ответить на вопрос Великого Дома, на него нельзя ответить ни «да», ни «нет», а можно разве только «и да, и нет». Твой раб удивлен и до глубины сердца тронут тем, что ты благоволишь видеть в нем агнца, вдохновенного агнца. К этому имени я приучен с детства моим отцом, другом бога, называвшим меня «агнец» потому, что мою милovidную мать, ради которой он служил в Синеаре, за попятным потоком, звездную красавицу, что родила меня под знаком Девы, звали Рахиль, что значит «объягнившаяся овца». Это, однако, еще не дает мне права решительно подтвердить твое. Великий Господин, предположение, сказавши: «Да, это я», или «Да, таковым я являюсь»; ибо таковым я являюсь и вместе с тем не являюсь, поскольку являюсь им я как таковой, иными словами, поскольку, осуществляясь в частном, общая форма до неузнаваемости видоизменяется, так что знакомое становится незнакомым. Не жди, что с последним своим словом я испущу дух, потому что так положено. Твой раб, вызванный тобою из ямы, этого не ждет, ибо это имеет отношение

только к форме, но не ко мне, в котором она видоизменяется. Не стану я, в отличие от образцового юноши-прорицателя, впасть и в самозабвенный восторг, если бог сподобит меня предсказать фараону будущее. Когда я был мальчиком, мне действительно ничего не стоило прийти в восторг, и я доставлял много забот отцу, закатывая глаза точь-в-точь как это делают всякие там рогатые и голые ведуны и гадатели. С годами сын от этого отучился и, даже толкуя сны, он верен разуму бога. В самом истолковании снов есть уже достаточная доля восторга; так незачем еще и бесноваться. Толкование должно быть толковым и ясным, а не какой-то авласавлалакавлый.

Говоря, Иосиф не глядел на мать, но краешком глаза он увидел, что она одобрительно кивает головой со своего высокого кресла. Раздался даже почти мужской, низкий и энергичный голос ее изящного тела:

— Чужеземец говорит фараону дельные и достойные внимания слова.

Иосифу ничего не осталось, как продолжать, ибо царь промолчал и повесил голову, надув губы, как мальчик, которого слегка отчитали.

— А спокойствие при толкованье и гаданье, — продолжал он после похвалы, — связано, по мнению этого ничтожного раба, с тем, что форма и традиция осуществляются не иначе как через «я», не иначе как через единично-частное, которое, по-моему, и накладывает на них печать божьего разума. Ибо традиционные образцы идут из глубины, что внизу, и нас связывают. А «я» от бога и принадлежит духу, а дух свободен. Для цивилизованной жизни связывающие нас дольные образцы должны преисполниться божественной свободой нашего «я», и не может быть цивилизации без того и другого.

Аменхотеп, высоко подняв брови, взглянул на мать и стал аплодировать, похлопывая двумя пальцами одной руки по ладони другой.

— Ты слышишь, маменька? — заговорил он. — Мое величество пригласило очень рассудительного и одаренного молодого человека. Вспомни, пожалуйста, что именно я, и притом по собственному усмотрению, призвал его ко двору! Фараон тоже очень одарен и развит для своих лет, но он не уверен, что сумел бы так складно сопоставить вяжущий образец глубины с достоинством небес. Ты, значит, — спросил он, — не связан вяжущим образцом беснующегося агнца и не станешь надирать фараону сердце традиционными предсказаниями ужасной беды и вторжения чужеземных народов, когда все, что было внизу, окажется наверху?

Он вздрогнул.

— Это известно, — сказал он бледнеющими губами. — Но мое величество должно щадить себя, оно плохо переносит все дикое и нуждается в приятном и нежном. Страна погибла, она охвачена мятежом, бедуины рыщут по ней, богатые стали бедными, а бедные богатыми, законов больше нет, сын убивает отца, а брат — брата, звери пустыни пьют из водоотводов, люди смеются смехом смерти, Ра отвернулся, никто не знает, когда полдень, ибо не видно тени солнечных часов, нищие поедают жертвенные дары, царя волокут в плен, и остается только одно утешение, что придет спаситель и все поправит! Так вот, этой песни фараон не услышит? Можно ли надеяться, что обновление традиционного единично-особенным исключит подобные страсти?

Иосиф улыбнулся. Именно сейчас он произнес те запечатленные слова, которые так часто хвалили как пример вежливости и находчивости:

— Бог даст ответ во благо фараону.

— Ты говоришь «бог», — продолжал допытываться фараон. — Ты уже много раз говорил «бог». Какого бога ты имеешь в виду? Поскольку ты родом из Аму и Захи, ты, по видимому, имеешь в виду быка полей, которого на Востоке называют Баалом, господом?

Улыбка Иосифа стала загадочной. Он покачал головой.

— Мои отцы, мечтатели бога, — ответил он, — заключили союз с другим господом.

— Тогда это может быть только Адонаи, — быстро сказал царь, — воскресающий жених, о котором плачет флейта в ущельях. Ты видишь, фараон хорошо разбирается в богах человеческих. Он должен все испытать и узнать, он должен, как золотоискатель, добывать из груды нелепиц крупы истины, чтобы они помогли ему усовершенствовать учение о его достопочтенном отце. Фараону тяжело, но ему и хорошо, очень хорошо, и такова доля царя. Я понял это благодаря своей одаренности. Кому тяжело, тому должно быть и хорошо, но только ему. Ибо если тебе только хорошо, то это тошнотворно; но если тебе только тяжело, то это тоже не годится. Так же как во время большого праздника дани мое величество сидит рядом со своей Сладчайшей супругой в прекрасном Павильоне Присутствия, а посланцы народов — мавры, ливийцы и азиаты — проходят мимо меня нескончаемой вереницей с приношениями со всего мира, с золотом в слитках и кольцах, со слоновой костью, серебром в виде ваз, страусовыми перьями, коровами, виссоном, гепардами и слонами, — точно так же сидит Владыка Венцов в прекрасном своем дворце посреди мира, с подобающими ему удобствами, принимая в дар мысли всей населенной земли. Как мне было уже угодно упомянуть, певцы и пророки чужих богов, сменяя друг друга, прибывают к моему двору отовсюду — из славной своими садами Персии, где считают, что земля станет некогда плоской и ровной, а у всех людей будут одинаковые обычаи, законы и язык; из Индии, страны, где родится ладан, из сведущего в звездах Вавилона и с островов моря. Они все навещают меня и проходят мимо моего престола, и мое величество беседует с ними, как сейчас оно беседует с тобой, недюжинным агнцем. Они докладывают мне о раннем и о позднем, о старом и о новом. Иногда они оставляют на память замечательные подарки и божественные регалии. Видишь эту штуку?

И он поднял с колен выпуклый струнный инструмент и показал его Иосифу.

— Лютня, — определил тот. — Фараону и впрямь подобает держать в рунах знак прелести и доброты.

А сказал он это потому, что письменным знаком египетского слова «ноферт», которое переводится как «прелесть» или «доброта», служит лютня.

— Я вижу, — ответил царь, — что ты разбираешься в искусствах Тота и что ты писец. Я думаю, что это связано с достоинством «я», в котором осуществляется вяжущий образец глубины. Но эта штука обозначает не только прелесть и доброту, но и нечто другое, а именно лукавство одного чужеземного бога, который доводится не то братом, не то другой ипостасью Ибисоголовому и еще ребенком изобрел этот инструмент, встретившись с одним животным. Ты знаешь, что это за раковина?

— Это панцирь черепахи, — сказал Иосиф.

— Верно, — подтвердил Аменхотеп. — С этим мудрым животным и встретился в детстве этот хитрый, родившийся в пещере среди скал бог, и оно пало жертвой его хитроумия. Дерзко отняв у него полый панцирь, он натянул на панцирь струны и прикрепил к нему, как видишь, два рога: так получилась лира. Я не говорю, что это именно тот инструмент,

который был изготовлен лукавым богом. Не утверждал этого и тот, кто привез его мне и подарил, один мореплаватель с Крита. Просто, наверно, в шутку и в знак благочестивой памяти эта лютя сделана по образцу той, да и была она лишь придачей ко множеству историй, которые критянин рассказал фараону об этом младенце пещеры. Ибо малыш то и дело выпрастывался из пеленок и убегал из пещеры, чтобы выкинуть какую-нибудь штуку. Так, например, хоть в это и не верится, он увел с холма, где они паслись, говяд своего брата, бога Солнца, когда тот закатился. Их было пятьдесят, и он гонял их во всех направлениях, чтобы их следы спутались; а собственные свои следы он изменил, подвязав к ногам огромные, из плетеных веток сандалии, — он оставил исполинские следы и в то же время вообще не оставил следов, и это, видимо, правомерно; ибо он был хоть и ребенком, но богом, и детству его вполне подобали какие-то непонятные следы исполинских размеров. Угнав говяд, он укрыл их в пещере, — не в той, где родился, а в другой, благо пещер там множество, — но двух коров он по дороге зарезал и зажарил у реки на сильном огне. Он съел их, грудной младенец, и эта исполинская трапеза ребенка вполне подходила к его следам.

— Сделав все это, — продолжал в той же, более чем удобной позе Аменхотеп, — вороватый младенец улизнул в свою родную пещеру и улегся в пеленки. Когда же бог Солнца снова взошел и хватился своих говяд, он принялся гадать себе, ибо он был богом-гадателем, и узнал, что это мог натворить только его новорожденный брат. Он вошел к нему в пещеру, пылая гневом. При звуке его шагов разбойник сжался в комок в своих божественно благоухавших пеленках и притворился, что спит сном невинности, обняв одной рукой лиру. И как ловко лгал этот лицемер, когда его солнечный брат, которого никакие уловки не могли ввести в заблуждение, с угрозами призвал его к ответу за воровство! «У меня, — лепетал он, — совсем другие заботы: сладкий сон, материнское молоко, пеленки, чтобы укутать плечи, да теплые омовенья». А потом, по словам мореплавателя, он поклялся великой клятвой, что о говядах и знать не знает. — Я тебе не наскучил, маменька? — прервал себя царь, повернувшись к восседавшей на престоле богине.

— С тех пор как я избавилась от заботы об управлении странами, — отвечала она, — у меня много лишнего времени. Я могу убить его на истории чужеземных богов с таким же толком, как на что-либо другое. Только мир, кажется мне, вывернулся наизнанку: обычно царь слушает рассказы, а твое величество рассказывает само.

— А почему бы и нет? — возразил Аменхотеп. — Фараон должен учить. И если он чему-то научился, ему не терпится научить этому других. Моя матушка недовольна, конечно же, тем, — продолжал он с движением пальцев, как бы объясняя ей ее же слова, — что фараон не спешит рассказать этому разумно-вдохновенному агнцу свои сновиденья, чтобы услышать наконец правду о них. Ибо в том, что я получу от него правдивое истолкование, меня уже почти уверили его утешительная внешность и некоторые его высказывания. Кроме того, мое величество не боится его прорицаний, ибо он обещал мне, что гадать будет не по образцу бесноватых юношей, не ужасая меня пророчествами вроде того, что нищие станут пожирать жертвенные дары. И разве ты не знаешь удивительного свойства души человеческой добровольно оттягивать исполнение самого большого желания, когда это желание должно наконец-то сбыться? Оно и так исполняется, говорит себе человек, и окончательное его исполнение зависит лишь от меня; поэтому я с таким же успехом могу еще немного помешкать, ибо само желанье и ожиданье мне как-то даже полюбились, и его до некоторой степени жаль. Такова человеческая природа, и поскольку фараон считает важным быть человеком, он поступает так же.

Тейе улыбнулась.

— Как бы твое дорогое величество ни поступило, — сказала она, — мы найдем это прекрасным. Поскольку этот прорицатель не имеет права задавать тебе вопросы, задам вопрос я: сошло ли с рук злокозненному младенцу его клятвопреступление или дело на этом не кончилось?

— Не кончилось, — отвечал Аменхотеп, — не кончилось, если верить моему рассказчику. Связав вора, солнечный брат привел его к отцу, великому богу, чтобы младенец признался в содеянном, а отец его наказал. Но и там этот хитрец стал отрицать свою вину в лукавых, мнимоблагочестивых речах. «Я, — лепетал он, — высоко чту Солнце и всех других богов, я люблю тебя и боюсь брата... А ты защити младшего, помоги мне, ребенку!» Так притворялся он, хитро выпячивая прекрасные преимущества младшего, но при этом одним глазом подмигивал отцу, который в конце концов громко рассмеялся и только приказал наглецу показать и выдать брату украденных говяд, чем тот и удовлетворился. Правда, когда старший обнаружил недостачу двух коров, гнев его вспыхнул с новой силой. Но куда он угрожал и бранился, младший играл на своей черепахе — вот на этой — и под бряцанье струн его песни звучали так сладостно, что брань утихла и солнечный бог загорелся одним желаньем: завладеть лирой. И она досталась ему; ибо они заключили между собой договор: говяды остались разбойнику, а лиру получил его брат — и получил навеки.

Фараон умолк и с улыбкой поглядел на памятный дар, лежавший у него на коленях.

— Весьма поучительным образом, — сказала мать, — отсрочил фараон исполнение самого заветного своего желания.

— Поучительно это постольку, — отвечал царь, — поскольку доказывает, что боги-дети только притворяются детьми, и притворяются из озорства. Ведь и этот сын пещеры, стоило лишь ему захотеть, оказывался ловким и сведущим юношей, находчивым помощником богов и людей. Каких только неведомых прежде вещей он не изобрел: письмо и счет, маслоделие и убедительно-хитроумную речь, которая не чурается и лжи, но лжет с обаяньем! Мой знакомец, мореплаватель, почитал его как своего покровителя. Ибо это, по словам критянина, бог благоприятного случая и счастливой находки, даритель благословения и благоденствия, полученного тем честным или даже немного нечестным путем, какой предоставит жизнь, вожатый и устроитель, который ведет людей извилистыми дорогами мира, с улыбкой оглядываясь назад и подняв жезл. Даже мертвых, сказал мореплаватель, он уводит в их лунное царство и управляет даже сновиденьями, ибо ко всему прочему он владыка сна, закрывающий этим своим посохом глаза людей, и в общем, при всей своей хитрости, добрый волшебник.

Взгляд фараона упал на Иосифа — тот стоял перед ним, откинув назад и одновременно немного склонив к плечу свою красивую и прекрасную голову, и глядел наискось вверх, на расписную стену, с ненапряженной и рассеянной улыбкой, как бы говорившей, что всего этого ему можно и не слушать.

— Известны ли тебе истории этого плутоватого бога, прорицатель? — спросил Аменхотеп.

Иосиф поспешно переменял позу. В виде исключения он вел себя неподобающим при дворе образом и теперь показал, что отдает себе в этом отчет. Показал он это даже несколько подчеркнуто, так что у фараона, который всегда все замечал, создалось впечатление, что испуг спохватившегося Иосифа был наигранным и что именно этого впечатления Иосиф и добивался. Фараон продлил свой вопрос, направив на Иосифа свои серые, с поволокой, как можно шире раскрытые глаза.

— Известны ли, высочайший государь? — отозвался тот. — И да, и нет — разреши твоему

рабу ответить надвое!

— Ты довольно часто просишь о таком разрешении, — заметил фараон, — вернее, ты его даешь себе сам. Все твои речи содержат утвердительный и вместе с тем отрицательный ответ. Должно ли это мне нравиться? Ты являешься Бесноватым Юношей и вместе с тем не являешься им, потому что им являешься ты. Бог проделок известен тебе и вместе с тем неизвестен, потому что — что? Известен он тебе или нет?

— И тебе, владыка венцов, — отвечал Иосиф, — он в известном смысле известен издавна, поскольку ты назвал его далеким братом и даже другой ипостасью Джхути, ибисоголового писца и друга Луны. Так что же, известен он тебе или нет? Он тебе знаком. А это больше, чем известен, и благодаря знакомству мои «да» и «нет» тоже взаимно уничтожаются и становятся равнозначны. Нет, я не знал сына пещеры. Владыки проделок. Никогда мудрый Елиезер, Старший Раб моего отца и мой учитель, который вправе был говорить о себе, что земля скакала ему навстречу, когда он отправился за невестой для отвергнутой жертвы, отца моего отца... прости! Это долгая история, сейчас твоему слуге не время рассказывать тебе обо всем на свете. И все же ему запомнились, у него стоят в ушах слова божественной матери: так уж ведется в мире, что царь слушает рассказы, а не рассказывает сам. Я знаю множество проделок, которые доказали бы тебе, тебе и Великой Владычице, что дух плутоватого бога всегда был присущ людям и мне знаком.

Аменхотеп шутливо кивнул головой матери, словно бы говоря: «Ну и ну!»

— Богиня разрешает тебе, — сказал он затем, — поведать нам о какой-нибудь проделке, если ты думаешь, что сумеешь позабавить нас этим перед толкованием снов.

— Ты даруешь людям дыхание, — с поклоном сказал Иосиф. — Я воспользуюсь им, чтобы тебя развлечь.

И со скрещенными руками, выпрастывая порой одну кисть для большей живости описаний, он принялся рассказывать фараону:

— Космат был Исав, мой дядя, горный козел, близнец отца моего, заставивший его пропустить себя вперед при рождении, — это был увалень красношерстный, а тот был гладок и тонок, шатролюбивый баловень матери, радетель бога, пастух, а не зверолов, как Исав; Иаков всегда был благословен, задолго до того часа, когда мой дед, отец обоих, решил передать дальше наследственное благословение, ибо жизнь его шла на убыль: старик был слеп, старые глаза уже не хотели его слушаться, никак не хотели, и видел он уже только руками, ощупью, а не взглядом. Вот он и призвал к себе своего старшего. Красного, любить которого себя заставлял. «Возьми, — сказал он, — свой лук, добротный мой сын, косматый мой первенец, и настреляй мне дичи, и свари мне из своей добычи острое кушанье, чтобы я поел и благословил тебя, на славу подкрепившись для благословенья едой!» Тот к пошел охотиться. А тем временем мать обложила гладкие члены младшего шкурой козленка и дала ему кушанье из мяса козленка, остро приправленное. И с этим кушаньем он вошел в шатер к господину своему и сказал: «Вот и я, отец мой, Исав, твой космач, который настрелял и наварил тебе дичи; поешь и благослови первенца своего!» — «Дай мне оглядеть тебя зрячими моими руками, — сказал слепец, — действительно ли ты космач мой Исав, ибо сказать это может каждый!» И он ощупал его и нащупал шкуру — повсюду, где не было платья, Иаков был космат, как Исав, хотя и не красен — но руки этого не могли видеть, а глаза не хотели. «Да, сомнений нет, это ты, — сказал этот старик, — я узнаю твою шерсть. Важно знать, гладок ты или космат, и как хорошо, что не нужно глаз, чтобы определить эту разницу: достаточно рук. Ты Исав, а потому накорми меня, и я тебя благословлю!» И он понюхал сына и поел и дал

не тому, но именно тому, кому следовало, всю полноту не подлежащего отмене благословения. С ним Иаков и удалился. А потом пришел с поля Исав, он кичился и хвастался великим своим часом. У всех на виду сварил и приправил он свою дичь и понес ее отцу, но не в добрый час вошел этот простофиля в шатер, ибо его, несправедливо праведного, незаконно заслуженного наследника, встретили как обманщика, потому что благодаря материнской хитрости его давно опередил наследник законно незаслуженный. Исав получил только проклятие, он был обречен жить в пустыне, ибо ничего другого, после того как Иаков унес благословение, для него не осталось. Ну и смех это был, ну и потеха, когда он сидел и вопил с высунутым языком, роняя в пыль крупные слезы, пентюх несчастный, которого околпачил дух многоопытности и ловкости.

Сын и родительница засмеялись: она — звучно, альтом, он — пронзительно и даже, пожалуй, фальцетом. Оба при этом качали головами.

— Подумать только, какая гротескная история! — воскликнул Аменхотеп. — Варварская побасенка — превосходная по-своему, хотя и несколько удручающая, так что даже не знаешь, как к ней и отнестись, и тебя разбирает и смех и сочувствие. Незаслуженно законный, говоришь ты, и незаконно заслуженный? Это, право, недурно, это замысловато и остроумно. Не дай бог никому обладать незаслуженно законными правами, чтобы ему в конце концов не пришлось вопить с высунутым языком, роняя в пыль крупные слезы! А как тебе нравится мать, маменька? Козлиные шкурки на гладкие места — вот как она помогла старику и его зрячим рукам, чтобы он благословил не того, но именно того, кого следовало! Признай, что я призвал ко двору весьма оригинального агнца!.. Еще об одной проделке, хабир, тебе разрешается рассказать моему величеству, дабы я мог судить, не была ли первая хороша лишь случайно и действительно ли дух ловкого бога тебе не только известен, но и близок. Говори же!

— Фараон молвит слово, — сказал Иосиф, — и дело готово. Благословенному пришлось бежать от ярости околпаченного, ему пришлось уехать, уехать в Нахараим, в страну Синеар, где у него жили родственники: Лаван, персть земная, хмурый деляга, и его дочери, одна красноглазая, а другая миловиднее, чем звезда, и она стала единственным, кроме бога, сокровищем беглеца. Но суровый дядя заставил его служить за звездную свою дочь семь лет, и они промелькнули для него как семь дней, а когда он отслужил их, Лаван подсунил ему в темноте сначала другую свою дочь, которой тот не хотел, но потом, правда, отдал ему и обещанную, Рахиль, объегнившуюся овцу, ту, что родила меня в сверхъестественных муках, и меня назвали Думузи, праведным сыном. Это между прочим. Когда же звездная дева оправилась от родов, отец захотел уйти со мной и с десятью сыновьями, рожденными ему несправедливой женой и служанками, — или, вернее, притворился, что хочет уйти, притворился перед дядей, которому это не улыбалось, потому что ему шло на пользу благословение Иакова. «Отдай мне весь крапчатый скот своего стада! — сказал Иаков Лавану. — Пусть он будет моим, а весь одноцветный твоим — таково мое скромное условие». На том они и порешили. Но что сделал Иаков? Он взял прутьев от деревьев и кустов и вырезал в их коре белые полосы, отчего прутья стали пятнистыми. Он положил их в водопойные корыта, куда приходил пить и возле которых, напившись, зачинал скот. Иаков неизменно заставлял овец глядеть во время совокупленья на пестрое, и это, через глаза, влияло на них таким образом, что они приносили пятнистый приплод. Так он сделался весьма и весьма богат, а Лаван остался ни с чем, одураченный духом хитроумного бога.

Снова донельзя веселились, качая головами, мать и сын. У царя от смеха болезненно вздулась жилка на лбу, а в его полузакрытых глазах сверкали слезы.

— Маменька, маменька, — сказал он, — моему величеству очень смешно и весело! Он взял прутья с пестрой нарезкой и повлиял на овец через глаза! Недаром, видно,

существует выражение «веселая пестрота»! Фараона такая пестрота веселит. Жив ли он еще, твой отец? Это был, скажу я тебе, ловкач. Значит», ты сын плута и миловидной красавицы?

— Красавица тоже была плутовкой и воровкой, — уточнил Иосиф. — Прodelок не чуралась и ее миловидность. Ведь украла же она, в угоду супругу, идолов хмурого своего отца и, спрятав их в верблюжьей соломе, села на них и сладкоголосо сказала: «Я нездорова, у меня месячные, поэтому я не могу встать». А Лаван искал до изнеможения.

— Одно другого лучше! — воскликнул, раздражаясь смехом, Аменхотеп. — Нет, послушай, маменька, ты должна признать, что я призвал действительно оригинального агнца, красивого и забавного... Теперь пора, — определил он внезапно. — Фараон расположен услышать от этого разумного юноши толкование своих затруднительных снов. Я хочу услышать его, прежде чем на моих глазах окончательно высохнут эти слезы задушевной беседы! Ибо покуда глаза мои влажны от непривычного смеха, я не боюсь ни снов, ни их истолкования, чего бы оно ни сулило. Ведь этот потомственный плут не напророчит фараону всяких глупостей, вроде тех, что напророчили ему педанты из книгохранилища, и всяких ужасов. И даже если правда, которую он скажет, печальна, то не так она прозвучит в этих веселых устах, чтобы мои слезы сразу же совершенно изменили свой смысл. Прорицатель, нужно ли тебе какое-нибудь орудие или приспособление для твоей работы? Может быть, котел, который принимает сны и откуда выходит истолкование?

— Решительно ничего, — отвечал Иосиф. — Между землей и небом нет ничего, что понадобилось бы мне, чтобы сделать свое дело. Я гадаю бесхитростно, скромно и честно, как уж положит на душу бог. Фараону стоит только рассказать.

Царь откашлялся, поглядел несколько смущенно на мать и с легким поклоном извинился перед ней за то, что ей придется еще раз выслушать его сны. Затем, сверкая влажными глазами, в которых медленно высыхали слезы смеха, он добросовестно рассказал свои потускневшие видения в шестой раз — первое и второе.

Фараон пророчествует

Иосиф слушал без напускного напряжения, спокойно и скромно. Он, правда, не открывал глаз, когда фараон говорил, — но только этим он и обнаружил свою сосредоточенную углубленность в его рассказ; больше того, он еще несколько мгновений не открывал глаз, когда фараон кончил и выжидательно затаил дух. Он даже заставил его еще немного подождать, не открыв глаз и тогда, когда, как он знал, на него уставились в ожиданье глаза царя. Очень тихо было в критской лоджии. Только, звонко кашлянув, побренчала своими подвесками мать-богиня.

— Ты спишь, агнец? — спросил наконец Аменхотеп нерешительным голосом.

— Нет, вот я, — ответил Иосиф, не слишком поспешно открывая глаза перед фараоном. Впрочем, взглянул он скорее, так сказать, сквозь него, чем на него, или, вернее, взгляд его задумчиво оттолкнулся от царя и снова ушел в себя, что очень и очень украшало черные глаза Рахили.

— Что же ты скажешь по поводу моих снов?

— Твоих снов? — отвечал Иосиф. — Ты хочешь сказать — твоего сна. Видеть сон дважды не значит видеть два сна. Тебе снился один и тот же сон. Если же он снился тебе дважды,

сначала в одном виде, а потом в другом, то это только подтверждает, что твой сон непременно исполнится, и притом скоро. К тому же вторая его форма лишь объясняет и уточняет смысл первой.

— Так ведь мое величество сразу и подумало! — воскликнул Аменхотеп. — Маменька, ведь это как раз и была моя первая мысль, что, как говорит это агнец, оба сна представляют собой по сути один! Мне приснился цветущий скот и убогий, а потом словно бы кто-то сказал мне: «Ты меня верно понял? Вот что имелось в виду!» И тогда мне приснились колосья, пышные и горелые. Ведь и человек, бывает, скажет что-нибудь, а потом объяснит еще раз, другими словами: мол, так-то и так. Маменька, этот вещий и вовсе не бесноватый юноша положил хорошее начало гаданью. Портachi из книгохранилища сразу же начали не с того, и ничего путного от них не приходилось и ждать. Ну, что ж, продолжай, прорицатель, толкуй! Каков единый смысл моего двойного царского сна?

— Смысл его един, как едины обе страны, а сон двойствен, как твой венец, — ответил Иосиф. — Разве не это хотел ты сказать последними своими словами и не это ли ты хоть и неточно, но не случайно сказал? То, что ты имел в виду, ты выдал словами «царский сон». Во сне на тебе были венец и хвост, я это услышал в темноте. Ты был не Аменхотепом, а Нефер-Хеперу-Ра, царем. Бог говорил с царем через его сны. Он поведал фараону свои намерения, чтобы тот знал их и принял сообразные этому указанию меры.

— Именно! — воскликнул Аменхотеп снова. — Это мне было яснее ясного! Маменька, с самого начала мне было ясно, как день, то, что говорит это недюжинный агнец, — что сны снились не мне, а царю, — если только одно можно отделить от другого и если для того, чтобы царь видел сны, не нужен именно я. Разве фараон этого не знал, разве он не клялся тебе в то же утро, что его двойной сон важен для государства и потому должен быть во что бы то ни стало разгадан? Но послан он был царю не как отцу, а как матери стран; ведь царь двоякого пола. Сон мой касался житейских потребностей и дольней черноты — я знал это и знаю. Но ничего больше я покамест не знаю, — опомнился он внезапно. — В чем дело, почему мое величество совершенно забыло, что больше оно ничего покамест не знает и что толкованье еще впереди? У тебя есть способность, — повернулся он к Иосифу, — создавать отрадное впечатление, будто все уже наилучшим образом решено и устроено, а ведь покамест ты нагадал мне лишь то, что я и без того знал. Но что значит мой сон и что он хотел мне сказать?

— Фараон ошибается, — ответил Иосиф, — думая, что он этого не знает. Этот раб способен предсказать ему только то, что он уже знает. Разве ты не видел, как вылезали из воды коровы — одна за другой, цепочкой, гуськом, сначала упитанные, а потом тощие, без перерыва, без остановки? Что выходит вот так же из вместилища вечности, друг за дружкой, не бок о бок, а гуськом, и нет промежутка между идущими, и нет разрыва в цепи?

— Годы! — воскликнул Аменхотеп, подавшись вперед и щелкнув пальцами.

— Разумеется, — сказал Иосиф. — Не нужно никакого котла, не нужно закатывать глаза и бесноваться, чтобы сказать, что коровы — это годы, семь лет и семь. Ну, а колосья, что затем выросли, один за другим, в таком же количестве, — это, по-твоему, что-то совсем иное и никак не поддается разгадке?

— Нет! — воскликнул фараон и щелкнул пальцами снова. — Это тоже годы!

— Так, во всяком случае, говорит разум божий, а с ним никак нельзя не считаться. Но что касается колосьев, семи полных и семи пустых, которыми обернулись коровы во втором

обличье твоего сна, то уж в этом случае, наверно, понадобится котел, и притом большой, как луна, чтобы оттуда вышло на свет, в чем тут дело и при чем тут красота семи первых коров и уродство семи последующих. Не соблаговолит ли фараон приказать, чтобы сюда доставили котел на треножнике?

— Да ну тебя с твоим котлом! — воскликнул царь снова. — Разве сейчас время говорить о каком-то котле и разве нам нужен котел? Тут все ясно, как на ладони, и прозрачно, как драгоценный камень чистой воды! Красота и уродство коров связаны с колосьями, с урожаем и неурожаем. — Он замолчал и широко открыл глаза, уставившись в пустоту. — Будет семь сытых лет, — проговорил он рассеянно, — и семь лет голода.

— Непременно и вскорости, — сказал Иосиф, — ибо это было тебе объявлено дважды.

Фараон направил свой взгляд на него.

— Ты не испустил дух после пророчества, — сказал он с некоторым восхищением.

— Если бы это не звучало так крамольно и мерзко, — отвечал Иосиф, — следовало бы подивиться, что не испустил дух фараон, ибо произнесено пророчество им.

— Нет, это ты только так говоришь, — возразил Аменхотеп, — ты, как истый потомок плутов, просто внушил мне, будто я сам предсказал будущее, истолковав свои сны. Почему же я не смог сделать это до твоего прихода, почему я тогда только знал, что неверно, но верной отгадки не знал? А в том, что это толкование верно, я нисколько не сомневаюсь, и в этом толковании единый мой сон себя узнает. Ты поистине вдохновенный агнец, но совершенно недюжинный. Ибо ты не раб вяжущего образца глубины, ты не стал предсказывать мне сперва проклятую, а потом благословенную пору, наоборот, ты предсказал мне сперва благоденствие, а потом наказание, и в этом твоя оригинальность!

— Твоя, властелин стран, — отвечал Иосиф, — все дело в тебе. Ведь это ты увидел во сне сначала тучных коров, а потом жалких и сначала прекрасные колосья, а потом ржавые; значит, оригинален единственно ты.

Аменхотеп выбрался из углубления своего кресла и спрыгнул на пол. Быстро шагая своими странными, толстыми и одновременно тонкими ногами, бедра которых просвечивали сквозь батист, он подошел к престолу своей матери.

— Итак, матушка, — сказал он, — царские мои сны мне истолкованы, и правду я знаю. Теперь мне смешно и вспомнить всю ту ученую дребедень, которую моему величеству хотели выдать за правду, весь этот вздор насчет дочерей, городов, царей и четырнадцати детей, а ведь раньше он приводил меня в отчаяние своей нелепостью. Зная благодаря этому вещему юноше правду, я могу смеяться над галиматьей болтунов. Однако правда сурова. Моему величеству предсказано, что во всей земле Египетской наступит семь лет великого изобилия, а после них семь лет такого голода, что прежнее изобилие совершенно забудется и голод поглотит землю, как тощие коровы поглотили тучных коров и как колосья горелые поглотили золотые колосья, ибо одновременно это было предсказание о том, что никто не будет помнить о предшествовавшем голоду изобилии, что память об изобилии будет поглощена ужасом голода. Вот что поведано фараону его снами, представлявшими собой один сон и посланными ему как матери стран. Не могу понять, почему мне это до сих пор не было ясно. Но теперь все открылось с помощью этого хоть и своеобразного, но неподдельного агнца. Ибо если для того, чтобы царь увидел сон, нужен был я, то для того, чтобы агнец предсказал будущее, нужен был он, и бытие наше — это только стык небытия и вечного бытия, и наша временность — это

только проявление вечности. Только, но все-таки и не только! Это еще вопрос, и я хотел бы предложить его мыслителям из храма отца моего — придает ли вечное особую ценность временно-единичному или, наоборот, единично-частное вечному. Это вопрос из прекрасной категории неразрешимых вопросов, которые можно бесконечно разбирать ночи напролет...

Увидев, что Тейе качает головой, он запнулся.

— Мени, — сказала она, — твое величество неисправимо. Ты приставал к нам со своими снами, считая их государственно важными и желая во что бы то ни стало истолковать их, чтобы они не истолковали без помех сами себя. А теперь, получив или думая, что получил наконец разгадку, ты ведешь себя так, как будто этим уже все сделано, ты забываешь свое пророчество, не успев его произнести, и уходишь в прекрасные неразрешимости и далекие отвлеченности. Разве это по-матерински? Едва ли, впрочем, и по-отцовски, и я жду не дождусь, чтобы этот раб отправился на свое место, а мы остались одни, ибо тогда я смогла бы высказать тебе свое недовольство с престола матери. Возможно, что этот прорицатель знает свое ремесло, и то, что он пророчит, вполне возможно. Что после каких-то богатых или хотя бы сносных времен Кормилец вдруг артачился и по нескольку раз подряд отказывал в благословении полям, отчего в странах воцарялись нужда и голод, это случалось; это действительно случалось, и даже семь раз подряд, как о том свидетельствуют летописи прежних поколений царей. Это может случиться опять, и потому тебе это приснилось. Но возможно, что приснилось это тебе потому, что случиться должно. Если и ты, дитя мое, такого же мнения, то матери придется удивляться, что, радуясь получению разгадки и даже в известном смысле самостоятельно до нее додумавшись, ты, вместо того чтобы тотчас же созвать на совет всех своих вельмож и советчиков и вместе с ними изыскать меры предупреждения грозящей беды, ты вместо того тотчас пускаешься в такие роскошные рассуждения, как это, например, о стыке небытия и бытия вечного.

— Но, маменька, у нас есть время! — воскликнул Аменхотеп с пылким жестом. — Когда нет времени, тогда, конечно, нельзя не спешить, но мы можем не спешить, ибо времени у нас предостаточно. Семь лет! Вот что замечательно, вот из-за чего впору плясать и потирать руки от радости, что этот самобытный агнец не держался гадкой схемы и не предсказал сначала проклятую, а уж потом благословенную пору, а предсказал сначала благословенную, и притом продолжительностью в семь лет! Ты бранила бы меня по праву, если бы засуха и пора тощих коров началась завтра. Тогда и правда надо было бы, не теряя ни мгновения, искать выхода и предупредительных мер, — хотя, если честно признаться, мое величество не представляет себе, какими мерами можно предотвратить недород. Поскольку, однако, в царстве черноты нам отпущено сначала семь тучных лет, а тем временем любовь народа к фараонову материнству будет расти как дерево, сидя под которым он сможет провозглашать ученье отца, я не вижу причин в первый же день... Твои глаза, прорицатель, — прервал он себя, — говорят, и взгляд твой настойчив. Ты хочешь что-то прибавить к нашему с тобой толкованию?

— Ничего, — отвечал Иосиф, — кроме просьбы отпустить теперь твоего раба на его место, в темницу, где он отбывал каторгу, и в яму, откуда ты вытащил его ради своих снов. Ибо его дело закончено, и ему не подобает присутствовать долее в месте величия. Он будет жить в дыре, питая душу воспоминаниями о том золотом часе, когда он стоял перед прекрасным Солнцем стран — фараоном и перед Великой Матерью, ее я называю во вторую очередь только из-за несовершенства слова, которое принадлежит времени и связано последовательностью, тогда как изображение наслаждается одновременностью. И поскольку словесные упоминания повинуются времени, то первое из них причитается фараону, однако второе не является вторым, ибо мать жила раньше, чем сын. Это по поводу очередности. Что же касается моего ничтожества, то в том месте,

куда оно сейчас возвратится, оно будет мысленно продолжать этот разговор великих, вмешаться в который в действительности было бы преступлением. Фараон, стану я говорить себе молча, был, разумеется, прав, когда радовался перемене и прекрасной поре, которая должна предшествовать проклятому времени засухи. Но куда как права была и мать, что жила раньше, чем он, заметившая, что с первого же дня благословенной поры, сразу же со дня истолкования, нужно думать и совещаться о предстоящей беде — не для того, чтобы ее предотвратить, нет, ведь предотвратить решенного богом нельзя, — а чтобы предусмотрительно принять меры предосторожности. Ибо обещанное нам благодатное время — это не только отсрочка тяжкого наказания, не только передышка перед ним, но и единственная возможность принять меры предосторожности, чтобы подрезать крылья черной птице беды и ослабить, отразить надвигающееся злополучье, стараясь не только ограничить его, но еще и извлечь из него какое-то благо. Так или примерно так буду я говорить в своем узилище с самим собой, поскольку мне совершенно не подобает вставлять замечания в беседу великих. Какая великая и чудесная вещь предусмотрительность, буду твердить я тихонько, способная обратить во благо даже беду! И как милостив бог, позволяющий царю, благодаря его снам, так далеко видеть во времени — не только на семь, но сразу на четырнадцать лет вперед, — ведь это же позволяет и обязывает проявить предусмотрительность! Ибо четырнадцать лет — это хоть и дважды по семи лет, но один временной отрезок, и начинается он не с середины, а с начала, то есть сегодня, и, значит, сегодня можно обозреть все. А обозреть значит осведомленно предусмотреть.

— Это поразительно, — заметил Аменхотеп. — Ты высказался или не высказывался? Ты высказался, не высказываясь, а только дав нам подслушать твои думы, причем думы, которые ты только думаешь думать. А получается так, словно ты высказался. Мне кажется, ты сделал некое плутовское открытие и выкинул штуку еще невиданную.

— Все бывает когда-нибудь в первый раз, — ответил Иосиф. — Но давно уже существуют на свете осведомленная предусмотрительность и умение использовать срок с толком. Если бы бог предпослал благословенной поре проклятую и если бы начиналась эта проклятая пора завтра, помочь ничем нельзя было бы, и бед, которых наделали бы людям эти мякинные годы, не поправило бы и дальнейшее изобилие. Но, к счастью, все обстоит иначе, и время есть — не для того, чтобы его проматывать, а для того, чтобы восполнить недостаток благодаря изобилию и установить равновесие между изобилием и недостатком, приберегши избыток, чтобы им прокормиться в нужде. Вот на что указывает порядок появления коров — сначала тучных, а потом тощих, и тот, кому дано это обозреть, хозяин обобщающего обзора, призван и обязан быть кормильцем в нужде.

— По-твоему, хлеб нужно копить и собирать в амбары? — спросил Аменхотеп.

— Самым решительным образом! — с уверенностью сказал Иосиф. — В совершенно иных количествах, чем когда-либо за все время существования стран! Хозяин обобщающего обзора должен быть надсмотрщиком изобилия. Пусть он строжайше угнетает его и, пока оно длится, отнимает у него долю за долей, чтобы стать потом и хозяином нужды. Фараон — это источник изобилия, и любовь народа легко примирится с тем, что он управляет изобилием с угнетающей строгостью. Но зато, когда он сможет раздавать хлеб в голод, исполненная веры любовь народа возрастет так, что ему останется только сидеть в ее тени и учить! Пусть хозяин обобщающего обзора будет тенистой сенью царя.

Тут глаза Иосифа случайно встретились с глазами Великой Матери, маленькой, смуглой, все еще божественно-прямо, нога к ноге, восседавшей на высоком своем престоле, — с ее умными, пронизательными глазами, которые, отливая в темноте темным блеском, глядели на него, Иосифа, в то время как складки вокруг ее толстых губ образовали насмешливую улыбку. Он строго опустил веки при виде этой улыбки, скромно

зажмурившись.

— Насколько я понял тебя, — сказал Аменхотеп, — ты, как и Великая Матерь, считаешь, что я должен безотлагательно созвать совещание своих вельмож и советчиков, которые определили бы, как обуздать изобилие, чтобы справиться с голодом.

— Фараону, — возразил Иосиф, — не очень-то везло с совещаниями, когда требовалось истолковать его двойной венценосный сон. Он истолковал его сам — и нашел правду. Только ему ниспосланы предсказание и дар обобщающего обзора, — только ему, стало быть, и подобает вершить обобщающий обзор и управлять изобилием, которое предстоит перед засухой. Меры нужно принять необычные и размаха невиданного, а совещания обычно склоняются к умеренным и привычным. Кто видел и разгадал сон, тот пусть принимает и выполняет решения.

— Фараон не выполняет того, что он решает, — холодно сказала Матерь Тейе, глядя в пространство между Иосифом и сыном. — Это невежественное представление. Даже если предположить, что он самостоятельно решит все, что можно решить после этих снов — и то при условии, что после этих снов решать что-то нужно, — исполнение он все равно поручит вельможам, которые на то и поставлены: визирям Юга и Севера, управляющим житницами и скотными дворами и смотрителям казначейства.

— Именно так, — с удивлением сказал Иосиф, — я и собирался говорить с самим собою в пещере узилища, мысленно продолжая беседу великих, и точь-в-точь этими словами, включая «невежественное представление», хотел я себе возразить, вложив их в уста Великой Матери себе в наказание. Я расту в собственных глазах, слыша, как она говорит буквально то, что у себя в дыре, в одиночестве, я заставил бы ее сказать. Ее речь я возьму с собой, и когда я буду жить там внизу, питая душу воспоминаниями об этом возвышенном часе, я про себя отвечу ей и скажу: «Да, все мои представления невежественны, но одно исключение все-таки есть: я не думаю, будто фараон, прекрасное Солнце стран, сам исполняет свои решения, а не предоставляет исполнять их испытанным слугам такими словами: „Я фараон! Ты будешь как я, и я даю тебе полную власть в этом деле, ибо в нем ты испытан, и ты будешь посредничать между мной и людьми, как посредничает луна между солнцем и землей, и обратишь во благо и мне, и странам волю судьбы“, — нет, этого я не думаю, невежество мое не настолько обширно, с этим исключением она должна примириться, и мысленно я отчетливо слышу, как фараон все это говорит — говорит не многим слугам, а одному». И еще я скажу, когда меня никто не будет слышать: «Много слуг в этом случае не нужно; пусть будет один, как одна под Солнцем Луна, посредница между верхом и низом, которая знает сны Солнца. Чрезвычайные меры начинаются уже с выбора того, кто должен их принимать, — иначе они будут не чрезвычайными, а привычно-умеренными и недостаточными. А почему? Потому что тогда их будут принимать не с полной верой и не из осведомленной предусмотрительности. Расскажи свои сны многим людям — они им поверят и не поверят, у каждого будет только какая-то доля веры, только какая-то доля предусмотрительности и если все эти доли сложить, никак не получится ни полной веры, ни полной предусмотрительности, которые тут нужны и которые могут быть только у одного. Поэтому пусть фараон найдет разумного и мудрого мужа, проникшегося духом снов, духом обобщающего обзора и предусмотрительности, и поставит его над всею землею Египетской, повелев ему: „Будь как я“, — чтобы о нем можно было сказать словами песни: „Он видел все до самых рубежей дальних, он изобилье умерял, как никто прежде, чтоб тенью царя осенить во дни недорода“. Таковы мои будущие слова, которые я буду молча говорить в яме, ибо было бы грубейшей нескромностью произнести их сейчас перед лицом богов. Дозволит ли фараон рабу своему удалиться с его глаз и уйти с солнца в тень?»

И, повернувшись к пчелиной занавеске, Иосиф протянул к ней руку, он как бы спрашивал, можно ли ему выйти. Что на него пристально глядели глаза богини-матери и что борозды, которые житейский опыт провел около ее губ, углубились в насмешливой улыбке, этого он нарочно не замечал.

«Не верю!»

— Останься, — сказал Аменхотеп. — Побудь еще немного, мой друг! Ты довольно мило играл на своем изобретении, на открытии, что можно говорить, не говоря, или не говорить и все-таки говорить, заставляя других подслушивать свои мысли, и очень порадовал меня этим новшеством, мало того что ты навел мое величество на истолкование державных снов. Фараон не может отпустить тебя без награды, ты сам понимаешь. Спрашивается только, чем ему тебя наградить — это моему величеству еще неясно; подари я тебе, например, эту черепаховую лиру, изобретение Владыки проделок, награда была бы, по-моему, да и по-твоему, конечно, слишком мала. Все же, пока суд да дело, возьми ее, друг мой, возьми ее под мышку, она тебе к лицу. Маленький ловкач отдал ее брату-прорицателю, а ты тоже прорицатель, правда, и ловкач тоже. Но кроме того, мне очень хотелось бы оставить тебя при своем дворе, если ты пожелаешь, и присвоить тебе какое-нибудь прекрасное звание, скажем: «Первый Толкователь Сновидений Царя» или другое, такое же пышное, чтобы скрыть и предать забвению твое настоящее имя. Как, кстати сказать, тебя зовут! Бен-эзне, наверно, или Некатиджа, вероятно?

— Как меня зовут, — отвечал Иосиф, — так меня не звали, и ни моя мать, звездная дева, ни мой отец, друг бога, не называли меня так. Но когда враги мои братья бросили меня в яму и я умер для отца, ибо меня похитили в эту страну, тогда то, что из меня стало, приняло другое имя и называется Озарсиф.

— Это любопытно, — отозвался Аменхотеп, откинувшись на подушки своего сверхудобного кресла, меж тем как Иосиф, с подарком мореплавателя под мышкой, стоял перед ним. — Значит, по-твоему, не следует носить всегда одно и то же имя, а нужно приспособлять его к обстоятельствам, считаясь с тем, что с тобой стало и в каком ты положении? Что ты на это скажешь, маменька? Моему величеству это, пожалуй, нравится, ибо мне нравятся неожиданные суждения, такие, от которых человек, живущий в плену избитых суждений, лишь рот разинет, хотя если послушать его, тоже разинешь рот — только от зевоты. Фараона слишком уж долго зовут так, как его зовут, и его имя давно уже не в ладу с тем, чем он стал, и с его обстоятельствами, и втайне он уже некоторое время носится с мыслью принять новое, более верное имя и сложить с себя старое, сбивающее с толку. Я еще не говорил тебе, маменька, об этом намерении, ибо было бы неловко сообщить тебе это с глазу на глаз. Но в присутствии этого прорицателя Озарсифа, которого тоже некогда звали иначе, я сообщаю это тебе, пользуясь подходящим случаем. Разумеется, я не хочу поступать опрометчиво, это произойдет не завтра. Но произойти это вскоре должно, ибо с каждым днем мое имя становится все более лживым, все более оскорбительным для небесного моего отца. Это позор, и терпеть его долго не смогу, — что мое имя заключает в себе имя Амуна, похитителя престола, бога, который утверждает, будто он поглотил Ра-Горахте, владыку Она и родоначальника царей Египта, и теперь правит сам как державный бог и как Амун-Ра. Пойми, маменька, что моему величеству становится невольно называться его именем, вместо того чтобы носить имя, угодное Атону; ибо я вышел из него, в ком соединено то, что было, и то, что будет. Амун, видишь ли, — это настоящее, а моему отцу принадлежит прошлое и будущее, и мы оба одновременно стары и молоды, с незапамятных времен и во веки веков. Фараон — гость в мире, ибо он дома в тех первобытных временах, когда

цари воздевали руки к своему отцу Ра, во временах сфинкса Гор-эм-ахета. Дома он и во временах, что наступят и которые он предсказывает — когда все люди обратят свои взоры к Солнцу, единственному богу, своему благому отцу, вняв наконец учению сына, который знает его заповеди, потому что вышел из него и потому что в жилах сына течет отцовская кровь. Ну-ка, погляди сюда! — сказал он Иосифу. — Подойди поближе и погляди! — И, отстранив закрывавший его худую руку батист, он показал Иосифу синие жилки на внутренней стороне предплечья. — Это кровь Солнца!

Рука заметно дрожала, хотя Аменхотеп поддерживал ее другой рукой. В том-то и дело было, что и та рука тоже дрожала. Иосиф внимательно рассмотрел то, что ему показывали, после чего снова немного отошел от царского кресла. Богиня-мать сказала:

— Ты волнуешься, Мени, это не на пользу здоровью твоего величества. После гаданья и всех этих разговоров тебе следовало бы отдохнуть, воспользовавшись отпущенным тебе временем, чтобы дать созреть твоим решениям как по поводу мер против возможного злополучья, так и по весьма важному вопросу перемены имени, тобою затронутому, а также, между прочим, относительно надлежащей награды этому прорицателю. Ляг в постель!

Но царь не захотел лечь в постель.

— Маменька, — воскликнул он, — от всего сердца прошу тебя, не требуй этого от меня сейчас, когда я так многообещающе разошелся! Уверяю тебя, мое величество полно сил, и ни малейшего признака усталости я не замечаю. Я взволнован прекрасным самочувствием и благодаря волнению прекрасно себя чувствую. Ты говоришь в точности так, как няньки в детские мои годы, — стоило мне развеселиться, они говорили: «Ты переутомился, наследник стран, тебе пора в постель». Тогда я приходил от этого в бешенство и начинал брыкаться от ярости. А теперь я большой и почтительно благодарю тебя за твою заботу. Но чутье мне говорит, что эта аудиенция может принести и другие прекрасные плоды и что куда лучше, чем в постели, мои решения созреют в беседе с этим ловким гадателем, которому я благодарен уже за одно то, что он представил мне случай поведать тебе о своем намерении принять более правдивое имя, включающее в себя имя Единственного, и называться Эхнатоном, чтобы мой отец был доволен тем, как меня зовут. Все должно называться его именем, а не именем Амуна, и если госпожа стран, которая наполняет дворец красотой, сладчайшая Тити, счастливо разрешится вскоре от бремени, то царское дитя, независимо от того, будет ли это принц или принцесса, следует назвать Меритатон, чтобы его любил тот, кто олицетворяет любовь, — хотя бы я и накликал этим неприятный визит карнакского владыки, который явится ко мне с жалобой и начнет нудно стращать меня гневом овна, — как-нибудь вынесу. Все вынесу из любви к отцу моему небесному.

— Фараон, — сказала мать, — ты забываешь, что мы не одни и что эти вещи, требующие ума и выдержки, лучше было бы обсуждать не при этом прорицателе из народа.

— Ничего, маменька! — ответил Аменхотеп. — Он из семьи по-своему благородной, это он сам дал нам понять, — сын плута и миловидной красавицы, в чем есть, по-моему, какая-то привлекательность, а то, что его уже в детстве называли агнцем, свидетельствует и об известной изысканности. Детей из низших слоев так не называют. Кроме того, мне кажется, что он способен многое понять и на многое ответить, но прежде всего — что он любит меня и готов мне помочь, как уже помог мне в истолковании снов, а также своим оригинальным мнением, что имя должно зависеть от обстоятельств и самочувствия. Все было бы чудесно, если бы мне только больше нравилось имя, которым он себя называет... Не хочу быть нелюбезным и огорчать тебя, — повернулся он к Иосифу, — но

меня лично огорчает имя, тобою принятое — Озарсиф, ведь это же имя мертвеца: умершего быка, например, зовут Озар-Хапи, оно содержит в себе имя Усира, страшного властелина мертвых, сидящего с весами на судейском кресле, который только справедлив, но безжалостен и перед чьим приговором дрожит запуганная душа. Вообще вся эта старая вера — сплошное запугивание, а сама она мертва, это, так сказать, Озарвера, и сын моего отца не верит в нее!

— Фараон, — слышался снова голос матери, — мне опять приходится призывать тебя к осторожности, и я не стесняюсь сделать это в присутствии чужеземного толкователя, коль скоро ты удостоил его такого продолжительного приема и только на основании его слов, что в детстве его называли агнцем, сделал вывод о его высоком происхождении. Так пусть он услышит, что я призываю тебя к мудрости и умеренности. Довольно того, что ты всячески стараешься ослабить Амуна и противишься его всевластию, постепенно и по возможности отделяя его от Ра, от единственного жителя горизонта — Атона, уже для этого нужен величайший ум, нужно политическое чутье, нужно, наконец, хладнокровье, ибо запальчивая опрометчивость не доведет до добра. Но да остережется твое величество посягать и на веру народа в Усира, царя преисподней, к которому он привязан как ни к какому другому божеству, потому что перед ним все равны и каждый надеется войти в него со своим именем. Пощади пристрастие большинства, ибо все, что ты дашь Атону, умалив Амуна, ты сам же и отнимешь у него, оскорбив Усира!

— Ах, маменька, уверяю тебя, народ только воображает, что он так привязан к Усиру! — воскликнул Аменхотеп. — Что хорошего в том, что, держа путь к судейскому креслу, душа должна пройти семижды семь полей ужаса, осаждаемых демонами, которые на каждом шагу спрашивают с нее одно из трехсот шестидесяти неудобозапоминаемых заклинаний, — бедная душа должна знать их наизусть и назвать каждое в положенном месте, иначе ее не пропустят и сожрут прежде, чем она доберется до престола, где ее, впрочем, опять-таки вполне могут сожрать, если весы покажут, что у нее слишком легкое сердце, ибо в этом случае она будет передана чудовищному псу Аменте. Что тут, скажи на милость, хорошего — это же не имеет ничего общего с любовью и добротой небесного моего отца! Перед Усиром, царем преисподней, все равны, — да, равны в страхе! А перед Ним все будут равны в радости. Так же обстоит дело и с всеобщностью Амуна и Атона. Амун тоже хочет стать с помощью Ра всеобщим богом и объединить мир в своем культе. В этом они сходятся. Амун хочет добиться единства мира властью нерушимого страха, а это ложное и мрачное единство, которого отец мой не хочет, ибо он хочет объединить своих детей в радости и в нежности!

— Мени, — сказала мать приглушенно, — было бы лучше, если бы ты поберег себя и твое величество не говорило так много о радости и о нежности. Я по опыту знаю, что такие речи опасны для тебя, они выводят тебя из равновесия.

— Я же говорю, маменька, только о вере и неверии, — ответил Аменхотеп, снова выпрастываясь из подушек и становясь на ноги. — О них веду я речь, и мой дар говорит мне, что неверие, пожалуй, еще важнее, чем вера. Для веры нужно большое неверие, ибо где возьмешь истинную веру, куда ты веришь во всякий вздор? Если я хочу научить народ истинной вере, я должен отнять у него иные поверья, к которым он привязан, — это, может быть, и жестокость, но жестокость из любви, и мой небесный отец мне эго простит. Да, что прекраснее, вера или неверие, и чему отдать предпочтение? Верить — это великое блаженство для души. Но не верить — это, пожалуй, еще восхитительнее, — я это открыл, мое величество изведало это, и ни в какие поля страха, ни в каких демонов, ни в какого Усира с его носителями ужасных имен, ни в каких пожирательниц там внизу я не верю! Не верю! Не верю! — пропел и продолжал напевать фараон, приплясывая и кружась на странных своих ногах и щелкая пальцами разведенных в стороны рук.

Он тяжело дышал.

— Почему ты дал себе такое мертвецкое имя? — спросил он, останавливаясь возле Иосифа и переводя дух. — Если отец считает тебя мертвым, то это ведь не значит, что ты мертв.

— Я должен молчать для него, — ответил Иосиф, — и своим именем я посвятил себя молчанию. Кто посвящен и сбережен, тот посвящен и сбережен дольным богам. Дольнее неотделимо от посвященных и избранных, — они его принадлежность, — и именно поэтому на нем лежит отсвет небесного царства. Все жертвы приносятся дольным богам, но в том-то и тайна, что тем самым они по-настоящему и приносятся небесным богам. Ибо бог — это все вместе.

— Бог — это свет и милый солнечный диск, — сказал Аменхотеп растроганно, — лучи которого обнимают страны и опутывают их узами любви, — а от любви слабеют руки, и только у злых, чья вера направлена вниз, руки сильны. Ах, насколько больше было бы в мире любви и добра, если бы исчезла вера в дольнее царство и в пожирательщиц с лязгающими зубами! Никто не разуверит фараона в том, что люди многого не делали бы и не считали приятным делать, если бы вера их не была направлена вниз. Ты, наверно, знаешь, что у деда моего земного отца, у царя Ахеперура, были очень сильные руки и он мог натянуть ими лук, которого больше никто во всей стране натянуть не мог. Он пошел войной на царей Азии и захватил семерых живьем; их он повесил на носу своего корабля вниз головой, — волосы их свисали, и все они глядели на мир выкатившимися, окровавленными глазами. Но это было лишь началом всего, что он с ними сделал; мне и говорить об этом не хочется, а он это сделал. То была первая история, которую рассказали ребенку мои прислужники, чтобы влить в него царский дух, — а я кричал во сне после этих вливаний, и врачам из книгохранилища пришлось вливать в меня нечто другое, какое-то противоядие. Так вот, неужели, по-твоему, Ахеперура обошелся бы так со своими врагами, если бы он не верил в поля страха, в призраки, в Усировых носителей ужасных имен и в собаку Аменте? Люди, скажу я тебе, беспомощные создания. Сами они ни до чего не додумываются и своей головой ничего не решают. Они всегда только подражают богам, сообразуя свои поступки со своими представлениями о богах. Очисти божество, и ты очистишь людей.

Прежде чем ответить на эту речь, Иосиф взглянул на мать и по ее направленным на него глазам прочел, что она рада была бы услышать его возражения.

— Труднее трудного, — сказал он потом, — возразить фараону, ибо одарен он сверх меры и все, что он сказал, настолько верно, что впору только качать головой и бормотать «правильно, правильно», а то и вовсе умолкнуть, не добавив ни слова к высказанной им правде. Известно, однако, что фараон не любит, чтобы беседа прекращалась, застряв на каком-то верном положении, а желает, чтобы она, оторвавшись от него, шла дальше, еще дальше, чем это верное положение, и привела, может быть, к более далекой истине. Ибо то, что верно, не есть истина. Истина бесконечно далека, и любой разговор бесконечен. Он представляет собой странствие в вечность и без передышки или после короткой передышки и нетерпеливого «правильно, правильно!» отрывается от каждой стадии правды, как отрывается Луна от стадий своего вечного странствия. А это, совершенно независимо от моей воли и от уместности подобных воспоминаний, наводит меня на мысль о деду моего земного отца, деду, которого мы дома называли не совсем земным именем, лунным странником, отлично зная, впрочем, что в действительности его звали Авирам, что значит «мой отец величав» или, может быть, «отец величавого», а прибыл он из Ура, из Халдеи, страны башни, где ему не понравилось и он не ужился, — нигде он не уживался, отсюда и прозвище, которое мы дали ему.

— Ты видишь, матушка, — вставил тут царь, — что мой предсказатель по-своему высокого рода? Мало того что его самого называли агнцем, у него был еще прадед, которому давали неземные имена. Люди из низших слоев и из гущи народа обычно вообще не знают своих прадедов... Значит, он странствовал в поисках истины, твой прадед?

— Настолько деятельно, — ответил Иосиф, — что в конце концов открыл Бога и заключил с Ним союз, чтобы они освятились один в другом. Но и вообще это был человек деятельный, человек сильных рук, и когда с Востока, сжигая и грабя страну, напали цариразбойники, когда они увели в плен брата его Лота, он, не долго думая, двинулся на них с тремястами восемнадцатью воинами и Старшим своим Рабом Елиезером, то есть с тремястами девятнадцатью, и, разбив их наголову, отогнал их за Дамашки и отнял у них брата своего Лота.

Мать кивнула головой, а фараон опустил глаза.

— Он отправился в поход, — спросил Аменхотеп, — перед тем как он открыл бога или после того?

— Он как раз был занят этой работой, — ответил Иосиф, — занят ею, не давая ей ослабить себя. Что поделаться с царями-разбойниками, которые грабят и жгут? Божественному миру их не научишь, для этого они слишком глупы и злы. Только побив их, можно научить их той истине, что у божественного мира сильные руки. Ведь и перед богом тоже отвечаешь за то, чтобы на земле хоть как-то исполнялась его воля, а не все было во власти разбойников и убийц.

— Я вижу, — сказал Аменхотеп, по-детски приуныв, — будь ты одним из моих пестунов, когда я был ребенком, ты тоже рассказывал бы мне истории о свисающих волосах и выкатившихся кровавых глазах.

— Неужели так бывает, — спросил Иосиф, задавая этот вопрос самому себе, — что фараон ошибается, а его предположения, несмотря на его чрезвычайную одаренность и раннюю зрелость, не оправдываются? Этого никак не ждешь, но, видимо, порой это случается, показывая, что, помимо божественной, у него есть и человеческая сторона. Ведь люди, надоедавшие ему рассказами о пресловутых подвигах, — продолжал Иосиф беседу с самим собой, — были, конечно, сторонниками войны ради войны и всяческого бранелюбия; а его прорицатель, поздний потомок лунного странника, пытается напомнить войне о божественном мире, а среди мира, как истинный посредник между сферами, между верхом и низом, замолвить слово за боевую силу. Меч глуп, но и Кротость я не назвал бы умной. Умен посредник, который советует ей быть сильной, чтобы в конце концов не оказаться в глупом положении перед богом и перед людьми. Как мне хотелось бы высказать фараону эти мои мысли!

— Я слышал, — сказал Аменхотеп, — что ты говорил самому себе. Это еще одна твоя хитрость, еще одно изобретение — говорить с самим собой, как будто у других нет ушей. У тебя под мышкой подарок критского мореплавателя — может быть, поэтому тебе и приходят в голову всякие уловки и дух плутоватого бога передается твоим речам.

— Может быть, — ответил Иосиф. — Слово фараона — слово этого часа. Может быть, очень может быть, отнюдь не исключено, — и с этим надо считаться, — что ловкий этот бог сейчас здесь и хочет напомнить о себе фараону, сказать, что это он привел снизу сны к его царскому ложу и что он же, при всей своей веселости, друг луны, провожающий вниз души умерших. Он умеет замолвить слово за дольнее перед горним и за горнее перед дольным, услужливый посредник между землей и небом. Разобщенность ему претит, и, в отличие от всех других, он знает, что можно быть правым и в то же время

неправым.

— Ты возвращаешься к своему дяде, — спросил Аменхотеп, — к несправедливо правому, незаслуженно законному наследнику, который на посмешище миру ронял в пыль крупные слезы? Оставь эту историю! Она забавна, но удручающа. Ведь почему-то забавное нас всегда удручает, а золотая серьезность окрыляет и радует.

— Это сказал фараон, — ответил Иосиф, — и пусть он будет вправе это сказать! Свет серьезен и строг, и сила, которая устремляется снизу к его чистоте, должна быть действительно силой, и силой мужественной, а не сплошной нежностью, — иначе она ложна и слишком поспешна, и дело кончится слезами.

Он не стал после этих слов глядеть на мать в упор, но украдкой он взглянул на нее, только чтобы увидеть, кивает ли она одобрительно головой или нет. Кивать она не кивала, но ему показалось, что она на него пристально смотрит, а это было, пожалуй, еще лучше.

Аменхотеп не слушал. Он развалился в кресле в одной из своих сверхвольных поз, тенденциозно направленных против старого стиля и амуновской чинности: положив локоть на спинку, а другую руку на выпяченное бедро, закинув ногу на ногу и вытянув носок верхней ноги, — и перебирал в уме собственные слова.

— Кажется, — сказал он, — мое величество сделало очень талантливое замечание, заслуживающее того, чтобы к нему прислушались, — о забавном и серьезном, о гнетущем и радостном. Забавно, странно и жутковато также посредничество луны между землей и небом. Но исполнены золотой серьезности и неложны лучи Атона, которые воистину соединяют их, оканчиваясь добрыми руками, ласкающими творенье отца. Единственный бог — это круг Солнца, откуда в мир изливаются истина и надежная любовь.

— Весь мир прислушивается к речам фараона, — отвечал Иосиф, — и никто не пропускает мимо ушей ни одного его слова, когда он учит. Это бывает с другими, даже если их речи в виде исключения достойны такого же внимания, как фараоновы, но ни в коем случае не с владыкой венцов. Его золотая речь напоминает мне одну из наших историй, а именно о том, как Адам и Ева, первые люди, пришли в ужас при наступлении первой ночи. Они в самом деле подумали, что земля станет снова пустынной и дикой. Ибо свет обособляет вещи и ставит каждую на ее место, — он создает пространство и время, а ночь вносит беспорядок, неразбериху и тохувабоху. Несказанно испугались они, когда день стал угасать и отовсюду начала подступать мгла. Они пали ниц. Но бог дал им два камня: один от непроглядного мрака, другой от мертвенной тени. Он потер для них камни один о другой, и на тебе, появился огонь, огонь недр, внутренний, древнейший огонь, юный, как молния, и более старый, чем Ра, и огонь этот стал гореть, сжигая хворост и внося в ночь лад и порядок.

— Отлично, превосходно! — сказал царь. — Я вижу, у вас в запасе не только плутовские истории. Жаль, что ты не рассказал мне еще и о счастье первых людей в то утро, когда бог, прогнав прочь мрачное чудище, воссиял перед ними снова весь целиком, ибо, наверно, радость их была несказанна. Свет, свет! — закричал он, выйдя из своей небрежной позы, и рывками стал бегать по залу, то поднимая выше головы украшенные браслетами руки, то вдруг прижимая их ладонями к сердцу. — Блаженная ясность, сотворившая глаз, чтобы он ее встретил, зренье и зримость, самопознание мира, который узнает себя только благодаря тебе, свет, любовно отделяющий одно от другого! Ах, маменька и ты, дорогой прорицатель, как беспримерно великолепен, как единствен в мире отец мой Атон и как бьется у меня сердце от гордости и волнения, потому что я из него вышел и он сподобил меня раньше, чем кого бы то ни было, понять его красоту и

любовь! Ведь если нет равных ему в величье и доброте, то в любви к нему никто не может сравниться со мною, с его сыном, которому он доверил свое учение. Когда он восходит на небосклоне, когда он поднимается с божественного востока, сверкая венцом царя богов, ликуют все твари земные, павианы благоговейно приветствуют его поднятыми руками, и все зверье на свете начинает во славу его бегать и прыгать. Ибо каждый день — это пора благодати, это радостный праздник после проклятой поры ночи, когда он отворачивается от нас и мир погрязает в самозабвенье. Ужасно, когда мир забывает себя самого, даже если это и нужно для его освежения. Люди лежат по своим каморкам, с закутанными головами, они дышат через рот, и один глаз не видит другого. Незаметно забирает у них из-под головы их добро вор, бродят львы, кусаются змеи. Но он приходит и закрывает людям рты, и снимает веки с зениц, и поднимает людей на ноги, чтобы они умылись, оделись и занялись своим делом. Светла земля, идут под парусами суда вверх по реке и вниз, и все дороги открыты при его свете. Рыбы прыгают перед ним в море, ибо и к ним проникают его лучи. Он далеко, ах, он далеко безмерно, но, несмотря на это, лучи его и на море и на суше, и они связывают все твари земные узами его любви. Ведь не будь он так высоко и далеко, как мог бы он быть надо всем и везде в Своем мире, который им расчленен и благодаря ему так разнообразно прекрасен: страны Сирия, Нубия, Пунт и страна Египет; чужедальние страны, где Нил смыкается с небом, отчего он обрушивается на их людей и, как море, вздымает на их горах волны, орошая поля их городов, тогда как у нас он поднимается из земли и удобряет пустыню, чтобы мы ели. Да, разнообразны дела твои. Господи! Ты сотворил времена года и населил пространство и время несметными множествами живых существ, чтобы они жили в тебе, коротая век, отпущенный им тобою, в городах, деревнях и селениях, на проезжих дорогах и возле рек. Ты разделил их и дал им разные языки, и у всех у них своя речь и свои обычаи, но все они объяты тобой. Одни коричневые, другие красные, третьи черные, а четвертые как кровь с молоком — вот сколь несходными предстают они в тебе, а ты предстаешь нам в них. Носы у них крючковатые, или приплюснутые, или даже вовсе торчком; одеваются они в пестрое или белое, в шерсть или в лен, кто как умеет и считает нужным; но все это не основание для взаимных насмешек и ненависти, а просто интересно и основа только для любви и поклонения. О бог, добрый в своей основе, как полно радости и здоровья все, что ты создал и кормишь, и какой восторг, какой разрывающий сердце восторг перед всем этим внушил ты фараону, своему любимому сыну, который провозглашает тебя. Ты сотворил семя в мужчине, и благодаря тебе дышит мальчик во чреве женщины. Ты успокаиваешь его, чтобы он не плакал, добрая нянька и внутренняя кормилица! Ты создаешь то, чем живут комарики, а также блошка, червячок и сын червячка. Довольно, и даже более чем довольно, сердцу того, что скот резвится на твоём пастбище, что деревья и растения налились соками что они благодарят и славят тебя цветами, а бесчисленные птицы благоговейно кружат над болотами. Но стоит мне подумать о мышке, что сидит в своей норке, где ты припас ей все, что ей нужно, и, маленькая, с жемчужными глазками, чистит свой носик обеими лапками, — стоит мне подумать о ней, и я не могу удержаться от слез. И уж совсем нельзя думать мне о цыпленке, что пищит уже в скорлупе, из которой он выйдет на свет, когда бог сотворит его окончательно — тут он вылупится из яйца и запищит что есть сил, бегая на своих лапках перед яйцом с величайшей поспешностью. О нем мне и вовсе лучше не вспоминать, чтобы не пришлось вытирать лицо тонким батистом, ибо оно будет залито слезами любви... Мне хочется поцеловать царицу, — воскликнул он вдруг и остановился, задрав голову кверху. — Сейчас же позвать Нофертити, которая наполняет дворец красотой, госпожу стран, милую мою супругу!

Слишком блаженно

От стоянья перед фараоном сын Иакова устал уже почти так же, как в тот раз, когда ему довелось исполнять обязанности Немого Слуги при стариках в увеселительном домике.

Именно этого при всей своей чуткости к комарикам, цыплятам, мышонку и сыну червячка юный фараон, по-видимому, не замечал — то была царская, несколько забывчивая чуткость. Ни ему, ни подавно богине-матери на ее высоком престоле не приходило и, видимо, не могло прийти в голову предложить Иосифу сесть, в чем его тело испытывало большую потребность и к чему так и призывали многочисленные, весьма удобные табуреты критской лоджии. Стоять было довольно тяжело, но если знаешь, что дело стоит того, на многое закрываешь глаза и стараешься выстоять, — вряд ли это слово было когда-либо более к месту, чем в этом, хотя и столь давнем и раннем случае.

Вдовствующая богиня потрудились хлопнуть в ладоши, когда ее сын изъявил свою волю. Согнувшись в три погибели, с угодливыми ужимками, вышмыгнул из-за пчелиной занавески подслушивавший в передней придворный. Он закатил глаза, когда Тейе бросила ему: «Фараон зовет Великую Супругу», — и удалился. Аменхотеп стоял спиной к залу перед одним из сводчатых окон, и учащенно, всей грудью дыша после своих славословий солнцу, смотрел на уходившие вдаль сады. Мать глядела на него озабоченно, повернувшись к нему лицом. Не прошло и нескольких минут, как появилась та, кого он потребовал, — она была, по-видимому, неподалеку. Отворилась вместе с росписью неприметная дотоле дверь в стене справа, две служанки припали к ее порогу, и между ними, осторожно ступая, со слабой улыбкой и опущенными веками, мило и робко вытянув вперед длинную шею, всплыла в лоджию носившая плод солнца госпожа стран. Она не сказала ни слова во время своего краткого выхода. В синей скуфейке на волосах, округло удлинявшей ее затылок и оттенявшей ее большие, тонкие, изящной вылепки уши, в эфирном плиссе обтекавшего ее платья, сквозь которое виднелись пупок и бедра, тогда как грудь ее была прикрыта наплечником и блестящим лепестковым воротником, она нерешительно приблизилась к своему молодому супругу, который, все еще не отдышавшись, взволнованно к ней повернулся.

— Вот и ты, золотая голубка, милая моя сестрица постельная, — сказал он дрожащим голосом, обнял ее и поцеловал в глаза и губы, отчего поцеловались также и змеи у них на лбу. — Мне захотелось увидеть тебя и хотя бы походя выразить тебе свою любовь, это как-то вдруг нашло на меня во время беседы. Не обременителен ли тебе мой зов? Не тошнит ли тебя сейчас из-за твоего священного состояния? Наверно, моему величеству не следовало бы спрашивать тебя об этом, ибо своим вопросом я задеваю твое нутро, напоминая ему о тошноте, а тем самым, может быть, и вызывая ее. Видишь, как тонок царь, как он все понимает. Я был бы так благодарен Отцу, если бы тебе удалось сегодня удержать при себе наш изысканный завтрак. Но довольно об этом... Вон там, ты видишь, сидит на престоле Вечная Матерь, а этот вот с лирой — чужеземный волшебник и прорицатель, который истолковал мне мои государственно важные сны и знает множество плутовских историй, так что я, вероятно, оставлю его при дворе, назначив его на какую-нибудь высокую должность. Он был брошен в темницу явно по ошибке, как это случается. Мой чашник, Нефер-эм-Уазе, тоже был брошен в темницу ошибочно, тогда как его товарищ, умерший князь печева, был виноват. Из двоих, брошенных в темницу, один, по-видимому, всегда невиновен, а из троих двое. Это я говорю как человек. А как бог и царь я говорю, что темницы тем не менее нужны. Опять-таки как человек я сейчас снова целую тебя, священная моя любимица, в глаза, щеки и губы, и ты не удивляйся, что я делаю это не только при матери, но и при гадателе-чужеземце, ведь ты же знаешь, что фараон любит подчеркнуто показывать свою человечность. Я думаю в этом отношении пойти еще дальше. Ты этого еще не знаешь, и маменька тоже еще не знает, поэтому я пользуюсь случаем и ставлю вас в известность. Я собираюсь, я ношусь с мыслью назначить увеселительную прогулку на царском струге «Звезда обеих стран», прогулку на глазах у народа, который отчасти из любопытства, отчасти же по приказу столпится на берегах. И я хочу, не спросясь у первопророка Амуна, сидеть с тобой, священное мое сокровище, под балдахином, держать тебя у себя на коленях и то и дело при всем народе горячо целовать. Это рассердит карнакского владыку, но зато вызовет ликование у

народа и прекрасно поведает ему не только о нашем счастье, но, что важнее, о сущности, духе и доброте небесного моего отца. Я рад, что рассказал наконец о своем намерении. Но не думай, что я позвал тебя из-за этого! Это сообщение вырвалось у меня как-то случайно. Позвал я тебя единственно потому, что мною вдруг овладело неодолимое желание выразить тебе свою нежность. Я ее выразил. Ступай же, сокровище моего венца! Фараон безмерно занят, он должен посоветоваться о делах величайшей важности со своей любимой, бессмертной маменькой и с этим юношей-мужем, который, да будет это тебе известно, не больше не меньше как вдохновенный агнец. Ступай и будь осторожна, избегай толчков и испуга! Пусть тебя развлекут плясками и игрой на лютне! Его нужно в любом случае назвать Меритатон, если ты благополучно родишь и если это тебе по душе. Я вижу, это тебе по душе. Тебе всегда по душе все, чего фараон хочет. Если бы всему миру было по душе то, чего фараон хочет и чему он учит, дела мира обстояли бы лучше. Прощай, лебединая шея, утреннее облачко с золотым краем, — пока!

Царица уплыла. Расписная дверь закрылась за ней и сразу неразличимо слилась со стеной. Растроганный и смущенный Аменхотеп вернулся на свое кресло с подушками.

— Счастливы страны, — сказал он, — которым досталась такая госпожа и такой счастливый, благодаря ей, фараон! Вправе ли я сказать это, маменька? Согласен ли ты со мной, предсказатель? Если ты останешься при моем дворе толкователем царских снов, я женю тебя, это мое решение. Я сам выберу тебе невесту сообразно твоему чину, из высших кругов. Ты не знаешь, как приятно быть женатым. Как показали тебе мои замыслы относительно публичной прогулки, это для моего величества наглядный символ моего человеческого начала, к которому я несказанно привязан. Ведь фараон, да будет тебе известно, не высокомерен, — а уж кому тогда и пристало высокомерие? В тебе, друг мой, при прочих твоих приятных повадках, есть какое-то высокомерие, — я говорю «какое-то», потому что не знаю характера твоего высокомерия, но оно, как я подозреваю, связано с твоими словами о том, что ты неким образом не то сохранен, не то посвящен молчанью и дольнему царству, словно ты жертва и на лбу у тебя венчик из растения под названием «Не-Тронь-Меня» — поэтому-то мне и пришло в голову тебя женить.

— Я в руках Самого Высокого, — отвечал Иосиф. — Как он ни поступит со мной, все будет благодеянием. Фараон не знает, как необходимо было мне высокомерие, чтобы удержать меня от недоброго дела. Сохранен я только богу, он жених нашего племени, а мы невеста его. Но если о звезде говорят: «Вечером женщина, а утром мужчина», — то, вероятно, и невеста, когда приходит срок, становится женихом.

— Сыну плута и миловидной красавицы, — оказал царь светским тоном, — такая двойственность, пожалуй, к лицу. Однако, — прибавил он, — шутки в сторону, поговорим о самом важном! Ваш бог — кто он таков и как обстоит с ним дело? Ты забыл или не пожелал просветить меня на этот счет. Его открыл, ты говоришь, праотец твоего отца? Это звучит так, словно он нашел истинного и единственного бога. Возможно ли, чтобы так далеко от меня и так задолго до меня кто-то узнал, что истинный и единственный бог — это солнечный диск, создатель зренья и зримости, мой вечный небесный отец?

— Нет, фараон, — с улыбкой отвечал Иосиф. — Он не остановился на солнечном диске. Он был странник, и даже солнце было только стоянкой на его трудном пути. Он был беспокоен и полон неудовлетворенности — если ты назовешь такие качества высокомерием, ты отметишь это осуждающее слово печатью почета и безусловной необходимости. Ибо высокомерие моего предка состояло во мнении, что человек должен служить только самому высшему. Поэтому его помыслы и желанья пошли дальше Солнца.

Аменхотеп изменился в лице. Он сидел, наклонившись вперед, выпятив к тому же вперед

украшенную синим париком голову, и сжимал подбородок концами пальцев.

— Теперь, маменька, слушай! Слушай, заклинаю тебя! — произнес он тихо, но при этом даже не повернул голову к матери: серые его глаза, не моргая, вперились в Иосифа с таким напряжением, словно хотели прорвать туманную свою пелену.

— Ну, дальше! — сказал он. — Хватит! Хватит, и дальше! Он, значит, не остановился? Он пошел за пределы Солнца? Говори! Не то я буду говорить сам, хотя и не знаю, что я окажу.

— У него нашлось необходимое высокомерие, чтобы создать себе трудную жизнь, — сказал Иосиф, — поэтому он и оказался миропомазанником. Он не раз испытывал искусительнейший соблазн поклонения, ибо поклоняться хотел, но достойным поклонения он считал только самое высокое и самого высокого. Его искушала мать-земля, приносящая плоды и творящая жизнь. Но он увидел ее жажду, удовлетворить которую способно лишь небо, и его взор направился кверху. Его искушали толкотня туч, бешенство бури, стремительность ливня, синяя молния, притягиваемая влагой, грохочущий голос грома. Но он лишь качал головой в ответ на их призывы, ибо душа его твердила ему, что все они только второстепенны. Они, говорила ему его душа, были ничуть не лучше, чем он сам, — и может быть даже еще ничтожнее при всем их могуществе. Он тоже, думал он, по-своему могуществен, и может быть, даже еще могущественнее, и если они возвышаются над ним, то только в пространстве, но никак не духом. Поклоняться им, говорил он себе, значит поклоняться чему-то слишком низкому и слишком близкому, а это ужасно, и тогда уж лучше не поклоняться вообще ничему.

— Хорошо, — сказал Аменхотеп почти без голоса, теребя свой подбородок. — Хорошо, хватит, нет, дальше! Матушка, слушай!

— Да, какие только величественные картины не искушали моего праотца! — продолжал Иосиф. — Среди них было и скопище звезд, пастух и стадо. Они-то были и далеко и высоко, и жизнь их была величественна. Но они, он видел, рассеивались по манию утренней звезды — та была, спору нет, и красива, и двуснастна, и богата историями, но, увы, слаба, слишком слаба для того, чье появление она возвещала, и поэтому она бледнела перед ним и гасла. Бедная утренняя звезда!

— Оставь при себе свое соблезнование! — приказал Аменхотеп. — Тут впору торжествовать! Ведь перед кем она бледнела и кто появлялся по ее предсказанью? — спросил он как только мог гордо и грозно.

— Ну, конечно, солнце, — ответил Иосиф. — Какой соблазн для того, кто жаждет поклоняться! Перед добротой и жестокостью солнца повсюду, куда ни глянешь, сгибались в три погибели народы земли. Как славно, как это отдохновение и покойно присоединить к их поклонению свое собственное и согнуться заодно с ними! Однако осторожность моего предка была безгранична, а его требовательность неисчерпаема. Важен, сказал он, не отдых и не покой, единственное, что важно — это избежать величайшей опасности для чести человека, которая заключена в том, что он согнется слишком рано и не перед самым высоким. «Ты могуществен, — сказал он баалу Шамашу-Мардуку, — и огромна сила твоего благословения и твоего проклятья. Но что-то во мне, черве, превосходит тебя и не велит мне принимать свидетельство за то, о чем оно свидетельствует. Чем больше свидетельство, тем больше моя ошибка, если я, соблазнившись, буду поклоняться ему, а не тому, о чем оно свидетельствует. Свидетельство божественно, но оно не бог. Свидетельством являюсь и я с моими мечтами и помыслами, идущими дальше солнца и устремленными к тому, о чем они свидетельствуют еще убедительнее, чем даже оно, и чей жар сильнее, чем жар солнца».

— Матушка, — прошептал Аменхотеп, не отрывая глаз от Иосифа, — что я сказал? Нет, нет, я этого не сказал, я это лишь знал, это было сказано мне. Когда на меня в последний раз нашло и мне открылось, как улучшить учение, — ведь оно не доведено до конца, и я никогда не утверждал, что оно совершенно, — я услышал голос отца моего, который сказал мне: «Я жар, заключенный в Атоне. Но своим жаром я мог бы напитать миллионы солнц. Именуя меня Атоном, знай, что это наименование нуждается в улучшении и что ты не называешь меня моим последним именем. Последнее мое имя: „Владыка Атона“. Вот что услышал фараон, любимое дитя отца, вот что он вынес из своего наития. Но он молчал об этом и благодаря молчанию забыл. Фараон вложил истину в свое сердце, ибо отец — это истина. Но фараон ответствен за торжество учения, он хочет, чтобы оно было принято всеми людьми, и он опасается, что довести совершенство и чистоту какого-либо учения до совершенства и чистоты голой истины значит сделать это учение неудобопреподаваемым. Это большая опасность, ее не поймут те, кто не несет такой ответственности, как фараон, и легче всего сказать ему: „Ты вложил в свое сердце не истину, а учение“. Но ведь учение — это единственное средство приблизить людей к истине. Совершенствовать его, разумеется, нужно; но если усовершенствовать его настолько, что оно уже не будет средством приближения к истине, не станет ли как раз тогда-то — я спрашиваю отца и вас — и в самом деле основателен упрек в том, что в сердце вложено было учение в ущерб истине? Поймите, фараон показывает людям изготовленный художниками образ достопочтенного своего отца — золотой диск, откуда выходят лучи, которые, оканчиваясь добрыми руками, ласкают тварей земных, и говорит: „Молитесь! Это Атон, мой отец, чья кровь течет в моих жилах и который открылся мне, но хочет быть отцом всем вам, чтобы вы стали в нем добры и прекрасны“. И прибавляет: „Простите, дорогие, что я суров с вашими мыслями! Я был бы рад пощадить вашу простоту. Но так уж суждено. Поэтому я говорю вам: не образу молитесь, когда ему молитесь, не ему пойте гимны, когда поете их, а тому, чьим образом он является, — понятно ли вам? — настоящему диску солнца, отцу моему небесному, Атону, ибо образ еще не есть он“. Это и так довольно жестоко; и так этим людям предъявлено нелегкое требование, и понятно оно десятку из сотни. А уж если учитель скажет: „Я должен потребовать от вас еще одного усилия истины ради, как мне ни жаль вашей простоты. Образ есть образ образа и свидетельство свидетельства. Не к настоящему солнечному диску на небе надлежит вам устремляться мыслью, когда вы кадите и воздаете хвалу его образу, — и не к нему тоже, а к владыке Атона, к его жару, к тому, кто направляет его пути“, — если учитель скажет так, то учение пойдет слишком далеко, из десятка человек его уже не поймет ни один. Поймет это только сам фараон, который остается за пределами любого числа, но тем не менее должен учить многочисленных своих подопечных. Твоему праотцу, предсказатель, было легко, хотя он и создал себе трудную жизнь. Он мог создавать себе трудную жизнь, когда заблагорассудится, и стремился к истине ради самого себя и собственной гордости, ибо он был всего-навсего странник. А я царь и учитель, я не вправе думать о том, чему я не могу научить. Зато учитель быстро научается не думать о неудобопреподаваемом.

Тут мать Тейе откашлялась, забренчала подвесками и, глядя прямо вперед, в пустоту, сказала:

— Фараон заслуживает похвалы, если он проявляет в делах веры государственную мудрость и бережно щадит простоту многочисленных своих подданных. Поэтому я и советовала ему не оскорблять привязанности народа к Усири, царю преисподней. К тому же между бережностью и знанием нет никакого противоречия, и, поучая, вовсе не нужно притуплять знание. Никогда жрецы не учили толпу всему, что они знали. Они сообщали ей полезное, мудро не выпуская из священных пределов того, от чего ей не было проку. Поэтому в мире одновременно существовали знание и мудрость, правда и бережность. Мать считает, что так и должно остаться.

— Спасибо, маменька, — оказал Аменхотеп, скромно ей поклонившись. — Спасибо за совет. Это очень ценный совет, и он будет вечно в чести. Однако мы говорим о разных вещах. Мое величество говорит об узах, которыми сковывает мысли о боге учительство. А твое — о государственной мудрости, разграничивающей ученье и знание. Но фараон не хочет быть высокомерным, а ничего высокомернее, чем такое разграничение, нет. Да, нет на свете большего высокомерия, чем разделять детей Отца на посвященных и непосвященных и учить двояко: толпе на потребу мудро, а в узком кругу соответственно знанию. Мы должны говорить то, что знаем, а свидетельствовать о том, что мы видели. Фараон хочет одного — улучшить учение, а эта задача затрудняется необходимостью учить. И все-таки мне было сказано: «Не называй меня Атоном, ибо это наименование нуждается в улучшении. Называй меня Владыкой Атона». А я забыл это из-за молчания. Погляди, однако, что делает Отец для своего любимого сына! Он посылает ему гонца, гадателя снов, чтобы, истолковав ему его сны, сны, пришедшие снизу, и сны, пришедшие сверху, сны, важные для государства, и сны, важные для неба, разбудить в нем то, что он знает, и растолковать ему то, что ему уже было сказано. Да, как любит Отец родное свое дитя, царя, если ниспосылает ему прорицателя, которому исстари заповедано помнить, что человеку подобает стремиться к предельно высшему!

— Насколько мне известно, — холодно сказала Тейе, — твой прорицатель прибыл снизу, из ямы острога, а вовсе не сверху.

— Ах, это, по-моему, просто-напросто плутовство, что он прибыл снизу, — воскликнул Аменхотеп. — А кроме того, верх и низ мало что значат для Отца, который заходит и делает нижнее верхним, ибо где он светит, там и верх. Поэтому-то его гонцы разгадывают дольные и горние сны с одинаковой ловкостью. Дальше, прорицатель! Разве я сказал: «Хватит»? Я сказал: «Дальше!» Когда я сказал «хватит», я хотел сказать «дальше»! Так, значит, тот странник с Востока, от которого ты ведешь свой род, не остановился, дойдя до Солнца, а пошел еще дальше?

— Да, духовно, — ответил Иосиф с улыбкой. — Ведь во плоти он был всего лишь червь на земле, слабее, чем многое рядом с ним и над ним. И все-таки он не стал сгибаться и преклоняться ни перед одним из этих явлений, ибо они были такими же творениями и свидетельствами, как и он. Всякое бытие, говорил он, это творение, а творению предшествует дух, о котором оно свидетельствует. Неужели я сотворю такую глупость и стану кадить какому-то творению, хотя бы и самому мощному, коль скоро я сам творение, и притом сознательное, а другие, хоть и суть творения, но не знают об этом? Разве нет во мне частицы того, о чем свидетельствует все сущее, частицы бытия того бытия, которое больше своих творений и вне их? Оно вне мира, и если оно составляет пространство мира, то мир не составляет его пространства. Солнце далеко, до него, наверно, триста шестьдесят тысяч миль, но лучи его с нами. А тот, кто указал ему путь, дальше, чем далеко, и все же в такой же мере близко — ближе, чем близко. Далеко или близко — это для него безразлично, ибо у него нет ни пространства, ни времени, и если в нем сразу весь мир, то сам он не в мире, а в небе.

— Ты слышала, мама? — спросил Аменхотеп тихим голосом, со слезами на глазах. — Ты слышала весть, посланную мне моим небесным отцом с этим юношей-мужем, который сразу же, как только вошел, показался мне каким-то особенным, и теперь толкует мне мои сны? Я хочу сказать, что сказал не все, что было сказано мне в наитии: умолчав об этом, я это забыл. После слов «Называй меня не Атоном, а Владыкой Атона» я услышал еще и такие слова: «Не зови меня своим отцом на небе, это наименование нужно улучшить. Своим отцом в небе должен ты величать меня!» Вот что я услышал, но я замкнул это в себе, ибо из страха за учение боялся правды. Но тот, кого я вытащил из темницы, открыл темницу правды, чтобы она вышла оттуда, светлая и прекрасная, и учение обнялось с правдой, подобно тому как я обнимаю этого предсказателя.

И с мокрыми ресницами, выбравшись из своего углубленного кресла, он обнял Иосифа и поцеловал его.

— Да, — восклицал он, забежав опять с прижатыми к сердцу руками по критскому залу, от занавески с пчелками к окнам и снова назад, — да, да, в небе, а не на небе, дальше, чем далеко, и ближе, чем близко, бытие бытия, которое не знает смерти, не родится и не умирает, а всегда существует, постоянный свет, который не восходит и не заходит, неиссякаемый источник жизни, света, красоты и истины, — вот каков Отец мой, вот каким открывается Он фараону, своему сыну, что припал к Его груди и которому Он показывает все, что Он сотворил. А Он сотворил все, и Его любовь живет в мире, хоть мир и не знает Его. Но фараон — свидетель Его света и Его любви, и своим свидетельством он даст блаженство и веру всем людям, хотя покамест они любят темноту больше, чем пробивающийся сквозь нее свет. Они поступают дурно, потому что не понимают света. Но Сын, вышедший из Отца, научит их понимать Его. Свет — это золотой дух, отцовский дух, и сила вздымается к Нему из материнских глубин, чтобы очиститься в его пламени и стать духом в Отце. Бог невеществен, как Его солнечный свет. Он — дух, и фараон учит вас почитать Его в духе и в истине. Сын знает Отца, как Отец Сына, и по-царски вознаградит всех, кто любит Его, верит в Него и чтит Его заповеди, — он возвысит их при дворе и озолотит, ибо они любят Отца в Сыне, что из Него вышел. Да и мои слова не мои, а Отца моего, который послал меня сюда, чтобы все стали едины в любви и свете, как едины я и Отец...

Он улыбнулся слишком блаженно, смертельно при этом побледнев, прислонился, заложив руки за спину, к расписной стене, закрыл глаза и, хотя он не переставал держаться на ногах, его уже явно здесь не было.

Муж разумный и мудрый

Мать Тейе, сойдя со ступеньки, спустилась со своего кресла в зал и мелкими твердыми шагами приблизилась к унесенному забытьем фараону. Поглядев на него и небрежно-ласково, тыльной стороной пальцев погладив его по щеке, чего он, вне всяких сомнений, не почувствовал, она повернулась к Иосифу.

— Он возвысит тебя, — сказала она с горькой усмешкой. Но таковы уж, видно, были толстый ее рот и его складки, что усмешка у нее всегда получалась горькая.

Иосиф испуганно глядел на Аменхотепа.

— Не беспокойся, — сказала сана, — он нас не слышит. Он священно нездоров и отсутствует, это не страшно. Я знала, что этим кончится, очень уж много он говорил о радости и о нежности. Такие речи всегда этим кончаются, а иногда и священно-худшим. Когда он заговорил о мышке и о цыпленке, я поняла, что так случится, а уж когда он поцеловал тебя, у меня и вовсе не осталось сомнений. Ты должен приписать этот поцелуй священной его болезни.

— Фараон любит целовать, — заметил Иосиф.

— Да, чересчур, — отвечала она. — Я полагаю, ты достаточно умен, чтобы понять, какая в этом опасность для царства, имеющего внутри сверхмогущественного бога, а за рубежами — притаившихся завистников и мечтающих о мятеже данников. Поэтому я была довольна, когда ты рассказывал ему о своем предке, которого размышленья о боге

не сделали слабым.

— Я не воин, — сказал Иосиф, — да и предок мой был им только при крайней нужде. Мой отец был житель шатров и охотник до глубоких раздумий, а я его сын от праведной и любимой. Правда, из братьев, которые меня продали, многие оказались способны на весьма грубые дела. Воителями были близнецы, которых мы называем так, несмотря на то что между ними год разницы. Впрочем, и Гаддиил, сын побочной жены, тоже ходил, по крайней мере в мои времена, с более или менее воинственным видом.

Тейе покачала головой.

— У тебя есть привычка, — сказала она, — ссылаться чуть что на свою родню, — как мать, я назвала бы это избалованностью. В общем, ты, кажется, много о себе мнишь и примешь любое возвышение как должное?

— Позволь мне. Великая Госпожа, — сказал Иосиф, — ответить на это, что никакое возвышение не застанет меня врасплох.

— Тем лучше для тебя, — заметила она. — Я ведь сказала, что он возвысит тебя, и возвысит, вероятно, весьма неумеренно. Он этого еще не знает, но когда он вернется, он это будет знать.

— Фараон возвысил меня, — ответил Иосиф, — уже тем, что удостоил меня этой беседы о боге.

— Та-та-та-та! — сказала она нетерпеливо. — Ты на это рассчитывал и подводил его к ней с первого же слова! Передо мной нечего прикидываться ребенком или агнцем, как называли тебя те, кем ты избалован. Я женщина хитрая, передо мной не стоит напускать на себя невинность. «Сладкий сон и материнское молоко, пеленки да теплые омовенья» — это твои заботы, так, что ли? Не морочь мне голову! Я ничего не имею против хитрости, я ценю ее и не упрекаю тебя за то, что ты не упустил своего часа. Ваша беседа о боге была, кстати, беседой и о богах, и ты недурно рассказал о боге-плуте, об этом лукавом пройдохе, владыке выгоды.

— Прости, Великая Матерь, — ответил Иосиф, — это фараон о нем рассказал.

— Фараон, — возразила она, — восприимчив и чуток. То, что он рассказывал, внушило ему твое присутствие. Он говорил об этом боге, ощущая тебя.

— Я не лукавил перед ним, царица, — сказал Иосиф, — и не стану лукавить, как бы он насчет меня ни решил. Клянусь жизнью фараона, я никогда не предам его поцелуя. Много воды утекло с тех пор, как меня поцеловали в последний раз. Это было в Дофане, мой брат Иегуда поцеловал меня там на глазах у детей Измаила, моих покупателей, чтобы показать им, как дорог ему этот товар. Тот поцелуй милый твой сын погасил своим поцелуем. А мое сердце наполнилось желанием служить ему и помогать изо всех сил и в полную меру полученных от него на то полномочий.

— Да, служи и помогай ему! — сказала она и, подойдя к нему вплотную, маленькая, решительная, положила руку ему на плечо. — Обещаешь ли ты это матери? Знай, этот ребенок доставляет много хлопот и тревог — впрочем, ты это знаешь. Ты мучительно умен и даже говорил о неправедной праведности, приписав изворотливому брату мнение, будто можно иметь на что-либо право и все-таки его не иметь.

— До сих пор этого еще не знали, — отвечал Иосиф. — Таков новый закон судьбы, что

можно идти праведным, то есть верным, путем, и быть неправедным, то есть неподходящим для этого пути, путником. Доселе так не было, а отныне будет всегда. Ко всякому новому закону подобает относиться с благоговением. И с любовью, если он так обаятелен, как твой прелестный сын.

Оттуда, где стоял фараон, донесся вздох, и мать повернулась к сыну. Он шевельнулся, поморгал глазами, оторвал спину от стены, и его щеки и губы стали снова обычного своего цвета.

— Решения, — слышался его голос. — Сейчас нужно принять здесь решения. Мое величество сослалось там на то, что мне некогда, что я должен вернуться, чтобы немедленно принять решения и объявить свою царскую волю. Простите мне мое отсутствие, — сказал он с улыбкой и, добравшись с помощью матери, до своего кресла, погрузился в подушки. — Прости, маменька, прости и ты, милый гадатель! Фараон, — прибавил он, задумчиво улыбаясь, — мог бы и не извиняться, ибо он ни в чем не ограничен, а кроме того, он не сам ушел, его увели. Но он все-таки извиняется, из любезности. Ну, а теперь за дела! У нас есть время, но мы не можем позволить себе терять его. Сядь в свое кресло, Вечная Мать, почтительно тебя об этом прошу! Тебе не пристало быть на ногах, если твой сын возлежит. А юноша с дольным именем пусть еще немного постоит перед фараоном, ибо мы займемся делами, вытекающими из моих снов, — они тоже пришли снизу, из дольной обители, и рождены заботой о высшем, — а он, как мне кажется, благословен и снизу, и сверху... Итак, ты считаешь, Озарсиф, — спросил он, — что нужно умерять изобилие для восполнения последующей нехватки и всюду запастись хлебом, чтобы раздавать его в годы засухи, благодаря чему низшее не причинит вреда высшему?

— Совершенно верно, милый мой господин, — ответил Иосиф, и от этого чуждого этикету обращения на глазах фараона тотчас же засверкали слезы. — Таково безмолвное указание снов. Никаких имеющихся амбаров и зернохранилищ не хватит, их много в стране, но их слишком мало. Повсюду надо строить новые житницы, чтобы их было столько же, сколько звезд на небе. И везде надо посадить чиновников, которые будут умерять изобилие и взysкивать оброк, причем взysкивать не по произвольной оценке, не брезгающей порою и взяткой, а по твердым, священным правилам, — и сыпать надо хлеб в житницы фараона, чтобы запастись им в городах столько, сколько песку морского, и хлеб этот надо хранить, чтобы, имея готовую пищу в годы дороговизны, страна не погибла от голода на благо Амуну, который стал бы жаловаться народу на фараона и говорить: «Виноват царь, это наказание за новое учение и новую веру». — Если же я говорю: «раздавать», то я за то, чтобы именно раздавать хлеб, а не раздать его сразу, и раздавать его нужно маленьким людям и бедным, а богатым и важным хлеб нужно продавать. Ведь годы мякины — это годы дороговизны, и если Нил низок, то цены высоки, и продавать богатым нужно по дорогой цене, чтобы согнуть богатство, чтобы согнуть всех в стране, кто еще важничает при фараоне, — пусть только он будет богат в земле Египетской, и пусть он станет золотым и серебряным!

— Кто должен продавать? — воскликнул Аменхотеп испуганно. — Сын бога, царь?

Но Иосиф ответил:

— Ни в коем случае! Тут я как раз и имею в виду того разумного и мудрого мужа, которого фараон должен выбрать из своих слуг, того исполненного духа предусмотрительности владыку обобщающего надзора, что видит все до самых границ страны и даже дальше того, потому что границы страны ему не границы. Пусть фараон поставит его главным, пусть он поставит его над землею Египетскою, сказавши ему: «Будь как я», чтобы тот умерял изобилие, покуда оно будет длиться, и восполнял нехватку, когда она появится.

Пусть он будет как Луна между фараоном, нашим прекрасным Солнцем, и дольной Землей. Он должен возводить житницы, управлять полчищами чиновников, устанавливать меру оброка. Пускай он высчитывает и определяет, когда нужно раздавать и когда продавать, пускай заботится о том, чтобы маленькие люди ели и внимали учению фараона, и пускай прижимает богатых на благо венцам, чтобы фараон становился все более золотым и серебряным.

Мать-богиня засмеялась у себя в кресле.

— Ты смеешься, маменька, — сказал Аменхотеп. — А мое величество находит прорицания этого прорицателя действительно интересными. Фараон глядит свысока на эти дольные дела, но его очень и очень интересует эта причудливая игра Луны на Земле. Расскажи мне, прорицатель, поскольку мы держим совет, подробней о том, как должен, по-твоему, действовать этот посредник, этот веселый и находчивый юноша, если я назначу его владыкой надзора!

— Я не дитя Кеме и не сын Иеора, — ответил Иосиф, — я прибыл сюда издалека. Но давно уже одежда моего тела сделана целиком из египетского материала, ибо уже семнадцати лет я спустился сюда с посланными мне богом проводниками-мидианитами и прибыл в твой город, в Но-Амун. Хотя родом я издалека, я кое-что смыслю в делах этой страны и в ее историях, я знаю, как все сложилось, как из отдельных округов образовалось царство, а из старого новое, в котором еще упорно, вопреки веку, отстаивают свои права остатки старого и отжившего. Отцы фараона, князя Узет, побившие и прогнавшие чужеземных царей и сделавшие Черную Землю достоянием венца, вынуждены были платить окружным правителям и царькам, которые помогали им в этой борьбе, земельными наделами и высокими званиями, отчего иные из них и поныне называют себя царями наряду с фараоном и упрямо держатся за свои земли, не принадлежащие, вопреки духу времени, фараону. Поскольку эти обстоятельства и истории достаточно хорошо мне известны, мне легко предсказать, как будет действовать фараонов посредник, хозяин обобщающего надзора и цен, как он воспользуется этим случаем. Когда наступят семь лет мякины, когда у этих гордых князьков, у этих переживших свой век царьков не будет ни хлеба, ни семян, а у него будет в изобилие и то и другое, он заломит такие цены, что у них на глаза навернутся слезы, он выжмет из них все соки, и земля их в конце концов отойдет, как и подобает, к венцам, а они превратятся из незамирных царей в оброчников.

— Хороша — низким и твердым голосом сказала мать-богиня.

Фараон очень развеселился.

— Ну и плут же твой юноша, твоя посредница Луна, волшебник! — засмеялся он. — Мое величество до этого не додумалось бы, но оно находит это великолепным. Но ты ничего не сказал относительно храмов, которые так непомерно богаты у нас в стране, — не должен ли мой наместник прижать и порастрасти, как того требуют справедливость и плутовской нрав, также и храмы? Прежде всего я хотел бы порастрасти богатства Амуна, который никогда не платил оброка, пускай бы мой поверенный сразу же обложил его данью на общих основаниях!

— Если этот человек будет очень умен, что я и предвижу, — отвечал Иосиф, — он пощадит храмы и в годы изобилия не станет взимать оброка с богов Египта, поскольку старинный обычай велит освобождать от налогов имущество божье. Мерами предосторожности не нужно раздражать прежде всего Амуна, чтобы он не настраивал народ против засыпки хлеба в амбары, уверяя его, что все это направлено против богов. Когда придет голод, храмы вынуждены будут платить по ценам хозяина цен, этого достаточно, от царских

доходов они ничего не получают, и поэтому фараон будет более богатым и золотым, чем они все, если его посредник мало-мальски смыслит в своих обязанностях.

— Мудро! — кивнула головой мать-богиня.

— Если я в этом человеке не ошибусь, — продолжал Иосиф, — а как я могу ошибиться в избраннике фараона? — он направит свой взгляд и за рубежи страны и постарается подавить изменников и связать с престолом фараона колеблющихся. Когда мой предок Аврам спустился в Египет со своей женой Сарой (что значит «царица» и «героиня») — когда они спустились сюда, у них дома был голод, и дороговизна стояла в странах Ретену, Амор и Захи. А в Египте царило изобилие. Но разве это не может повториться? Когда для нас наступит время тощих коров — кто поручится, что и там не наступит время мякины? Сны фараона были так предостерегающе яркие, что их смысл может относиться ко всей земле, и дело тут вполне может обстоять так же, как и с потопом. А тогда народы станут приходить на поклон в землю Египетскую, чтобы добыть здесь хлеба и семян, ибо у фараона будут запасы. Придут люди, люди отовсюду и неведомо откуда, люди, которых никто не чаял увидеть здесь; они придут, гонимые нуждой, явятся к твоему поверенному, владыке надзора, и скажут ему: «Продай нам, иначе будем проданы и преданы мы, ибо мы и дети наши умираем от голода и не знаем, как жить дальше, если ты не продашь нам хлеба из твоих житниц!» И тогда продавец даст им ответ и обойдется с ними сообразно тому, что это будут за люди. Как обойдется он с иными сирийскими и фенехийскими князьями, я осмелюсь, пожалуй, и предсказать. Ведь я же знаю, что некоторые из них не любят, как то подобало бы им, господина своего фараона, и на верность их положиться нельзя: эти двурешники клянутся в преданности фараону, а сами заигрывают с хетитами и, заботясь о собственной выгоде, служат и вашим и нашим. Таких, видится мне, владыка надзора приберет, когда придет время, к рукам. Он заставит их заплатить за хлеб и за семена не только серебром и не только лесом: если они хотят жить, им придется в уплату или в залог доставить в землю Египетскую своих сыновей и дочерей, и это привяжет их к престолу фараона достаточно прочно, чтобы впредь можно было полагаться на их верность.

Фараон от удовольствия запрыгал в кресле, как маленький.

— Маменька, — воскликнул он, — ты тоже думаешь об ашдодском царе Милькили, который более чем ненадежен и держится настолько ужасных взглядов, что любит фараона не всей душой и склонен, как мне писали, к измене? Я думаю все время о нем. Все хотят, чтобы я послал войско против Милькили и обагрил свой меч, — Горемхеб, главный мой военачальник, требует этого два раза в день. Но я этого не хочу, ибо владыка Атона не хочет крови. Так вот, ты слыхала, как этот сын плута предсказал нам, что скоро мы, может быть, сумеем принуждать таких злых царей к верности и привязывать их к престолу без всякого кровопролитья, просто торговыми сделками? Превосходно, превосходно! — восклицал он, похлопывая подлокотник ладонью. Вдруг он стал серьезен и торжественно встал с кресла, но, в чем-то усомнившись, сел снова.

— Есть, маменька, одно затруднение, — сказал он досадливо, — связанное со званием и должностью, которые я хочу дать моему другу и посреднику, владыке предусмотрительности и раздачи. Где для него вакансия? Штат, к сожалению, укомплектован, и все лучшие должности замещены. У нас есть оба визиря, есть смотрители зернохранилищ и говяд, есть Великий Писец казначейства и все такое прочее. Где же взять должность, на которую я смог бы посадить своего друга, и подобающий ему чин?

— Это пустяки, — небрежно ответила мать, равнодушно отвернув голову. — И в древности, и в более поздние времена было принято, — и этот обычай, если твоему величеству

угодно, можно в любой день восстановить, — чтобы между фараоном и вельможами стоял посредник, Верховные Уста, начальник начальников и смотритель смотрителей, через которого передавалась воля царя, наместник бога. Верховные Уста — это вполне традиционно. Не надо находить затруднения там, где их нет, — сказала она и отвернула голову еще дальше.

— И правда ведь! — воскликнул Аменхотеп. — Я это знал, да забыл, потому что уже давно не было у нас Верховных Уст, Луны между Небом и Землей, и выше всех стояли визири Юга и Севера. Спасибо тебе, маменька, большое-пребольшое спасибо!

И он снова встал с кресла с очень торжественным видом.

— Подойди ближе к царю, — сказал он, — Озарсиф, посланец и друг! Подойди ко мне вот сюда и слушай, что я тебе скажу! Добрый фараон боится тебя испугать. Поэтому я прошу тебя, возьми себя в руки, чтобы выслушать фараона! Возьми себя в руки заранее, еще до того, как я скажу свое слово, чтобы потом не упасть в обморок от ощущения, будто тебя уносит на небо крылатый бык! Ты взял себя в руки? Ну, тогда слушай: этот человек — ты! Ты мною избран, и никто другой, тебя я приближаю к себе и назначаю владыкой надзора, дав тебе величайшие полномочия, чтобы ты умерял изобилие и восполнял нехватку в годы мякины. Можешь ли ты этому удивляться, может ли по-настоящему поразить тебя такое решение? Ты истолковал мне мои дольные сны без книги и без котла, в точности так, как, по-моему, и нужно было их толковать, и после пророчества ты не испустил дух, как то обычно делают вдохновенные агнцы, а это для меня знак того, что ты сбережен, чтобы принять меры, вытекающие, как ты ясно увидел, из твоего толкования. Ты истолковал мне и мои горние сны в полном соответствии с известной моему сердцу правдой, ты объяснил мне, почему отец мой просил меня, чтобы я называл его не Атоном, а Владыкой Атона, ты открыл моей душе разницу между отцом на небе и отцом в небе. Но ты не только мудрец, ты и плут, и ты показал мне, как можно, благодаря дороговизне, обобрать окружных правителей и привязать к фараонову престолу колеблющихся князей Сирии. И поскольку всему этому бог тебя вразумил, мужа более разумного и мудрого, чем ты, нет, и мне нет никакого смысла долго искать другого поблизости или на стороне. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Ты очень испуган?

— Я долго жил, — отвечал Иосиф, — рядом с человеком, который не умел пугаться, потому что он был воплощенным спокойствием, — я говорю о своем осторожном начальнике. Он учил меня, что спокойствие — это только способность быть ко всему на свете готовым. Я в руках фараона.

— А в твоих руках будут страны, и ты будешь перед людьми как я! — сказал Аменхотеп с волнением. — Возьми для начала вот это! — сказал он и, порывисто вращая его на сгибе пальца и дергая, снял с руки перстень и надел его на руку Иосифа. В широкое кольцо был вправлен овальный, редкой красоты, светившийся, как ясное небо в солнечный день, камень лазурит, на котором в царской картуши было вырезано имя Атона. — Пусть он будет знаком, — разволновался Мени и сразу же побледнел снова, — наместнических твоих полномочий, и всякий, кто увидит его, пусть трепещет и знает, что каждое слово, сказанное тобой любому из моих рабов, будь то высшему или низшему, — это все равно что собственное мое слово. У кого бы ни была просьба к фараону, пусть всякий идет с ней к тебе и говорит сначала с тобой, ибо ты мои Верховные Уста и слову твоему все обязаны повиноваться и следовать, потому что с тобой пребывает мудрость и разум. Я фараон! Я ставлю тебя над всей землею Египетскою, и без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей в обеих странах. Разве что престолом я буду выше тебя, но я приобщу тебя к блеску и пышности моего трона! Ты будешь ездить на второй из моих колесниц, сразу же за моей, и скороходы будут бежать рядом с тобой и провозглашать:

«Внемлите и трепещите, это отец стран!» Ты будешь стоять перед моим престолом, и у тебя будет верховная, неограниченная власть... Я вижу, ты качаешь головой, маменька, ты отворачиваешь ее, бормоча что-то похожее на «это уж через край». Но хватить через край иногда ах как чудесно, и фараону сейчас как раз и хочется хватить через край! Ты, агнец божий, получишь такое званье, какого еще никогда не слышали в Египте, и пусть в этом титуле мертвецкое твое имя бесследно исчезнет. У нас уже есть два визиря, но я установлю для тебя неслыханное доселе званье «Великий Визирь». Но это еще далеко не все, ты будешь именоваться также «Друг Урожая Божьего», «Пища Египта» и «Тенистая Сень Царя», а кроме того, «Отец фараона» и как мне еще придет в голову, — только сейчас мне больше ничего не приходит в голову от радостного волнения... Не качай, маменька, головой, дай мне один-единственный раз насладиться, ведь я же хватил через край сознательно и по собственной воле! Ведь это же чудесно, что все произойдет так, как в той чужеземной песне, в которой поется: «Отец Инлиль назвал свое имя „Владыка стран“ — пусть возьмет он мои полномочья, пусть вершит он всеми делами моими — пусть и земля его будет обильна, и сам процветает — слово его нерушимо, приказ его свят — и слова его ни один бог не изменит». Как поется в этой песне, в этом чужеземном гимне, так пусть и будет! — это доставляет мне бесконечное наслаждение! «Князь внутренних дел» и «Наместник бога» — вот как ты будешь назван при введении в должность... Здесь мы тебя никак не можем озолотить, здесь нет даже более или менее приличной сокровищницы, из запасов которой я наградил бы тебя золотом, цепями и воротниками. Нам нужно немедленно вернуться в Узет, это можно сделать только там, во дворце Мерима'т, во дворе под балконом. Да и жену ведь надо найти тебе, и притом из высших слоев общества, — то есть, конечно, множество жен, но прежде всего первую и праведную. Мое решение женить тебя остается в силе. Ты увидишь, как это приятно!

Он энергично, по-мальчишески резко хлопнул в ладоши.

— Эйе, — крикнул он, учащенно дыша, вышмыгнувшему из-за занавески горбуну. — Мы едем! Фараон и весь двор возвращаются сегодня же в Новет-Амун! Поторопитесь, это прекрасный приказ! Сейчас же приготовьте мой струг «Звезда обеих стран», на котором я поеду с Вечной Матерью, со Сладчайшей Супругой и с этим Аденом моего дома, избранником, который отныне, будет как я в земле Египетской. Расскажи это другим! Предстоит великое озлащение!

Горбун все время подслушивал за занавеской, но до сих пор он не верил своим ушам. Сейчас он поверил им, и что тут он растаял, изошел по-кошачьи в истоме, поцеловал кончики всех своих пальцев, — это вполне можно себе представить.

## РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

### «ПОРА ДОЗВОЛЕНИЙ»

Семь или пять

Хорошо, что беседа между фараоном и Иосифом, беседа, приведшая к возвышению умершего и, значит, сделавшая его великим на Западе, — что эта знаменитая и вместе с тем почти неизвестная беседа, которую Великая Мать не без основания определила как беседу о боге и о богах, воспроизведена теперь от начала и до конца, во всех ее изгибах, поворотах и отступлениях и подробнее раз навсегда запечатлена на бумаге, так что каждый может теперь проследить ее действительный ход, а если кто какое-

нибудь место забудет, ему достаточно заглянуть в книгу и восстановить в памяти то, что из нее выпало. Лаконизм имевшегося доселе изложения этой беседы граничит с почтенным неправдоподобием. Что после истолкования Иосифом снов и его совета царю найти разумного, мудрого и предусмотрительного мужа фараон сразу ответил: «Нет столь разумного и мудрого мужа, как ты; тебя я ставлю над всей землею Египетской!» — и самым восторженным, скажем даже: самым необузданным образом осыпал его почестями и званиями, — это всегда представлялось нам слишком сокращенным, скупым и засушенным изложением событий, выпотрошенным, забальзамированным и закутанным трупом правды, а не ее живым телом; нам недоставало тут слишком многих мотивов восторга и безудержной милости фараона, и когда мы, преодолев страх своей плоти, решились спуститься в ад, добраться через пучину тысячелетий до колодезного луга жизни Иосифа, в наши намерения входило прежде всего подслушать эту беседу и вынести ее наверх во всей ее полноте, такой, какой она тогда действительно была в Оне, в Нижнем Египте.

Разумеется, мы не против пропусков. Они полезны и необходимы, ибо долго совершенно невозможно рассказывать жизнь так, как она когда-то рассказывала себя самое. К чему это привело бы? Это привело бы к бесконечности и было бы выше человеческих сил. Кто задался бы такой целью, тот не только никогда не кончил бы, но, обезумев от подробностей, увяз бы уже в начале. На прекрасном празднике повествования и воспроизведения пропуски играют важную и непререкаемую роль. Мы тоже мудро прибегаем к ним на каждом шагу, разумно намереваясь довести до конца затею, и так уже отдаленно напоминающую попытку выпить море, но все-таки не настолько нелепую, чтобы мы и буквально, и в самом деле пытались выпить море подробностей.

Что случилось бы с нами без пропусков, когда Иаков служил у беса Лавана семь, тринадцать и пять, то есть двадцать пять лет, — каждый мельчайший отрезок которых был заполнен богатой подробностями и, в сущности, достойной повествования жизнью? И что случилось бы с нами без разумного этого правила теперь, когда наше суденышко, влекомое мерным теченьем рассказа, снова дрожит на краю водопада глубиной в семь и семь предсказанных лет? Говоря между нами и забегаая вперед — с числом этим дело обстояло не совсем так скверно и не совсем так прекрасно, как утверждало пророчество. Пророчество исполнилось — это сомнению не подлежит. Но исполнилось оно с живой неточностью, а не точь-в-точь. Подлинная жизнь всегда проявляет известную самостоятельность, порой настолько большую, что пророчество в ней невозможно или как раз в ней-то и можно узнать. Разумеется, жизнь связана пророчеством; но в пределах связанности она движется свободно, и это почти всегда вопрос доброй воли — считать или не считать, что пророчество сбылось. Ну, а мы имеем дело со временем и с людьми, которые, конечно же, полны доброй воли даже при неточностях признать пророчество исполнившимся и, ради его исполнения, допустить, что дважды два — пять, если эта поговорка уместна в данном случае, когда число пять требовалось скорей приравнять к чуть большему числу, а именно к семи, что было нетрудно, поскольку пять — число по меньшей мере столь же уважаемое, как семь, и ни одному разумному человеку не пришло в голову увидеть в замене семи пятью хотя бы неточность.

В действительности предсказанная семерка имела вид, скорее, пятерки. Но ни тому, ни другому числу живая жизнь не отдала решительного предпочтения, тем более что тучные и тощие годы выходили из своего лона совсем не с такой аккуратностью и не так резко отличаясь друг от друга, как тучные и тощие коровы в фараоновом сне. Тучные и тощие годы, которые потом пришли, были, как то свойственно всему живому, не все одинаково тучны и тощи. Среди тучных попадался год-другой, который, конечно, нельзя было назвать тощим, но при некотором критицизме вполне можно было назвать умеренно тучным. Тощие, правда, были все достаточно тощи, их было наверняка пять, если не семь; но выпадали среди них годы, не достигавшие последней степени убожества и более или

менее близкие к сносным, в которых, не будь предсказания, может быть, вовсе и не распознали бы мякинно-голодных. А так их, благодаря доброй воле, тоже засчитывали.

Следует ли из всего этого, что предсказание не исполнилось? Отнюдь нет. Его исполнение неоспоримо, ибо налицо факты — факты нашей истории, факты, из которых она состоит, факты, без которых ее не существовало бы в мире, факты, без которых за отрешением и возвышением не могло бы последовать переселение рода. В земле Египетской и окрест нее бывали и в самом деле достаточно тучные и достаточно тощие времена — годы тучные и годы более или менее тощие, так что у Иосифа была полная возможность умерять изобилие и унимать вопиющий голод, ведя себя, как Утнапиштим-Атрахасис, как многомудрый Ной, как муж предусмотрительный и заботливый, чей ковчег лишь покачивается на волнах потопа. При этом Иосиф был верным слугой самого высокого, его министром, и он озлащал фараона своими делами.

### Озлащение

Но покамест озлащен был он сам — ибо выражением «стать человеком из золота» дети Египта обозначали именно то, что произошло с Иосифом, когда после прекрасного приказа фараона он вместе с этим богом, с Великой Матерью, со Сладчайшей Супругой и с принцессами Неземмут и Бакетатон совершил на царском струге «Звезда обеих стран», и притом под ликование берегов, путешествие в Уазет, в столицу, где вместе с солнечной семьей направился во Дворец Запада Мерима'т, расположенный со своими садами и с озером своих садов у подножья яркоцветных гор пустыни. Здесь он получил жилье, слуг, наряды и все, что ему угодно было, и уже на другой день над ним был произведен прекрасный обряд введения в должность и озлащения, начавшийся торжественным выездом двора, во время которого проданный в рабство ехал и в самом деле на второй фараоновой колеснице, сразу же за самим царем, в окружении его сирийской и нубийской охраны, отделенный от повозки бога только отрядом скороходов, кричавших: «Абрек!», «Поберегись!», «Великий Визирь!» и «Глядите на Отца Страны!» — чтобы народ знал, что происходит и кто это сидит во второй колеснице. Народ глядел и понимал, что фараон кого-то очень вознес, на что у него, вероятно, имелись свои причины, ибо даже его прекрасная прихоть была для того причиной вполне достаточной. А так как с подобными возвышеньями и назначеньями всегда как-то связывалась идея новой ары и лучшей жизни, люди Уазет ликовали на крышах и прыгали на одной ноге у обочин проспектов. Они кричали: «Фараон! Фараон!» и «Неб-неф-незем!» и «Велик Атон!», и если прислушаться, то Многие выкрикивали это имя с более звонким звуком — «Адон, Адон!», что, несомненно, относилось к Иосифу. По-видимому, распространился слух об его азиатском происхождении, и потому некоторые — особенно женщины — считали уместным приветствовать Иосифа именем сирийского «господа» и жениха, не в последнюю очередь, впрочем, и потому, что вознесенный был так красив и молод. Заметим, кстати, что из всех его титулов это имя особенно привилось, и по всей земле Египетской его всю жизнь называли Аденом — и когда говорили о нем, и когда говорили с ним.

После этого великолепного выезда процессия, переправившись через реку на стругах, вернулась на западный берег и ко дворцу, где и началось неизменно чудесное, а потому и на этот раз неотразимое для взора и для сердца празднество озлащения. Оно проходило так: фараон и та, что наполняла дворец любовью, царица Нефернефруатон, показывались у так называемого «окна появления», — это было, собственно, не окно, а подобие балкона, обращенная к одному из внутренних дворов замка веранда-портик перед большой приемной, особенно богато выстроенная из лазурита и малахита и украшенная бронзовыми уреями, с выступом из прекрасных, лотосоподобных, обвитых вымпелами

колонн и с обложенным пестрыми подушками парпетом. На него-то и опирались их величества, осыпая всякого рода подарками, которые подавали им чиновники казначейства, стоявшего внизу, под террасой, дароприимца, каковым сейчас являлся, стало быть, сын Иакова. То было зрелище, навсегда оставшееся в памяти у каждого, кто его видел. Все утопало в пестроте и блеске, в щедрой милости и благочестивом восторге. Ажурное великолепие архитектуры; вымпелы на изящных деревянных столбах, расписных или в позолоте, колыхавшиеся под солнечным небом на легком ветру; синие и красные опахала и веера заполнявшей двор знатной челяди, которая, красуясь роскошно оттопыренными набедренниками, прислуживала, приветствовала, ликовала, благоговела; женщины, бьющие в тамбурины; мальчики с так называемой детской прядью, нанятые специально для того, чтобы непрестанно прыгать в знак радости; толпа писцов, которые с самым, как обычно, ласковым видом, записывали тростинками все, что происходило; видневшийся через трое открытых ворот, полный упряжек наружный двор, где приплясывавшие лошади покачивали высокими пестрыми султанами, а сзади, лицом к внутреннему двору, в почтительном поклоне высоко поднимали руки возницы; взиравшие на все это извне желто-красные фиванские горы с синими и фиолетовыми тенями скал, а на великолепном балконе, стало быть, нежная, улыбающаяся с усталым изяществом, божественная чета в высоких, с матерчатыми затыльниками венцах, которая непрерывно и с явным удовольствием осыпала счастливица обильным и благодатным дождем драгоценностей: нитками золотых бус, золотыми львами, золотыми запястьями, золотыми кинжалами, начальниками, воротниками, скипетрами, вазами и топорами из чистого золота, — а так как всего этого он один, конечно, не мог подхватить, к нему было приставлено несколько рабов, которые под громкое изумленье толпы нагромоздили на земле перед ним целую кучу сверкавшего на солнце золота, — все это было действительно зрелищем, не имеющим себе равных по красоте, и если бы не неумолимый закон пропусков, мы описали бы увиденное гораздо подробней.

Когда-то в Стране, Откуда Нет Возврата, у беса Лавана, собирал сокровища Иаков; так же поступал в этот день и его любимец в веселой стране мертвых, куда его продали и где он умер. Ведь столько золота бывает, разумеется, лишь в преисподней, и только благодаря этому золоту славы Иосиф стал сразу же состоятельным человеком. Правда, выпрашивая при меновой торговле золото у фараона, чужеземные цари утверждали, как правило, что в земле Египетской этот металл дешевле пыли дорожной. Но ведь это же экономическая ошибка — думать, что даже самые богатые запасы золота способны уменьшить его ценность.

Да, для отрешенного, отторгнутого от семьи Иосифа то был большой день, исполненный благодати житейской, и нам хотелось бы только, чтобы Иаков, старый его отец, на все это поглядел, — поглядел, конечно, со смесью тревоги и гордости, но все-таки больше с гордостью, чем с тревогой. Иосифу этого тоже хотелось; недаром сказал он впоследствии: «Скажите отцу моему о моей славе!»... Еще получил он от фараона грамоту, написанную хоть и не самим, конечно, царем, но все же по его указанию «Истинным Писцом», его Тайным Секретарем, грамоту несколько, правда, неуклюже-казенную, но как произведение каллиграфического искусства просто восхитительную, а по содержанию самого милостивого свойства. Она гласила:

«Приказ царя Озарсифу, начальнику того, что дает небо, родит земля и производит Нил, начальнику всего во всей стране и Действительному Начальнику Поручений! Мое Величество с большим удовольствием выслушало твои речи о небесных и о земных делах, произнесенные тобой несколько дней назад в Оне, в Нижнем Египте, во время беседы, которую соблаговолил вести с тобой царь. В этот прекрасный день ты воистину порадовал сердце Нефер-Хеперу-Ра тем, что он воистину любит. Твои речи были Моему Величеству, чрезвычайно приятны, ибо, соединив в них земное с небесным, ты заботой о первом одновременно проявил большую заботу и о втором, а кроме того, способствовал

совершенствованию учения о Моем Отце в небе. Поистине ты умеешь говорить вещи, чрезвычайно приятные Моему Величеству, и то, что ты говоришь, веселит Мое сердце. Мое Величество знает также, что ты говоришь все, что Моему Величеству нравится. О Озарсиф, Я бесконечно твержу тебе: Возлюбленный своего господина! Дароприимец своего господина! Любимец и наперсник своего господина! Поистине владыка Атона любит Меня, коль скоро он дал тебя Мне. Вечная жизнь Нефера-Хеперу-Ра тому порукой: стоит тебе, письменно или устно, высказать Моему Величеству какое-либо желание. Мое Величество тотчас исполнит его».

И, предвосхищая самое главное, по здешним понятиям, из возможных желаний, грамота заканчивалась уведомлением, что фараон приказал немедленно приступить к выдалбливанию, а также к архитектурной отделке и разрисовке Вечной Обители, то есть могилы для Иосифа, в западных горах.

После того как Иосиф прочел это послание, в большой колонной палате, находившейся позади «окна появления», в присутствии всего двора, состоялась великая церемония введения в должность, и вдобавок к перстню уполномочения и ко всему дарованному уже золоту фараон, в знак милости, повесил на шею своему фавориту, поверх его белоснежного придворного платья, конечно, не шелкового, как утверждают иной раз по неосведомленности, а из тончайшего царского полотна, тяжелую золотую цепь, а кроме того, приказал визирю Юга прочитать длинный перечень пожалованных Иосифу титулов, которые должны облекать отныне его мертвецкое имя. Большинство этих озлащений уже знакомо нам по предварительным высказываниям фараона и по почетной грамоте, где обращения «Начальник того, что дает небо» и ему подобные были официальными. Самыми яркими среди прочих были, пожалуй, «Тенистая Сень Царя», «Друг Урожая бога» и «Пища Египта» («Ка-не-Ка-ме» на тамошнем языке). «Великий Визирь», хотя и неслыханное дотоле звание, и «Исключительный друг царя» (в отличие от «Единственных») в сравнении с ними просто меркли. Но этим дело не ограничилось, ибо фараону, как мы знаем, захотелось хватить через край. Иосиф именовался «Адон царского дома» и «Адон надо всю землю Египетскою». Он именовался «Верховные Уста», «Князь посредничества», «Множитель учения», «Добрый пастырь народа», «Двойник царя» и «Наместник Гора». Ничего подобного дотоле вообще не бывало, да и впоследствии никогда не случалось, и случиться могло, видимо, только в правление такого порывистого и склонного к сумасбродным решениям молодого монарха. Был и еще один титул, ставший, скорее, именем собственным и призванный не столько прикрыть, сколько заменить мертвецкое имя Иосифа. Потомство толковало этот титул и вкривь и вкось, да и наиболее почтенное предание тоже дает неправильный перевод, способный вызвать только недоразумения. Там сказано, что Фараон назвал Иосифа «тайным советником»<sup>[1 - В немецкой Библии; в русской Библии (изд. 1956 г.) соответствующее место (Бытие, 41, 45) переведено так: «И нарек фараон Иосифу имя: Цафнафпанеах»].</sup> Это некомпетентное переложение. У нас на письме это имя имело бы такой вид: «Дже-п-нута-эф-онх», что проворными устами детей Египта произносилось как «Джепнутаэфонех», с небным звуком «х» в конце. Наиболее броская составная часть этого сочетания — «онх» или «онех», слово, изображаемое крестом с петлей, знаком жизни, который боги подносили к носу людям, особенно своим сыновьям — царям, чтобы продлить их дыхание. Имя, полученное Иосифом в придачу ко множеству титулов, было именем жизни. Оно значило: «Говорит бог (Атон, его не нужно было называть): „Да будет с тобою жизнь!“ Но этим смысл его не исчерпывался. Для всякого уха, которое слыхало его тогда, оно означало не только „Живи сам“, но и „Дари жизнь, распространяй жизнь, дай людям пищу для продления жизни!“». Одним словом, то было имя, связанное с насыщением, ибо владыкой насыщения Иосиф был назначен прежде всего. Все его имена и званья, бели они не затрагивали его отношения к фараону лично, говорили так или иначе о сохранении жизни, о питании стран, и все они, включая это главное, вызвавшее столько толков и пересудов, могли быть переданы одним прозвищем

„Кормилец“.

## Утопленное сокровище

Когда сын Иакова был облачен во все эти имена, его, разумеется, окружили, и вам самим вольно представить себе подобострастно-восторженные поздравления окруживших его льстецов. Людям свойственно воодушевляться и восхищаться прихотью произвола, непостижимым выбором, категорическим и безапелляционным «Кому хочу, потокаю», сводящими на нет даже зависть и делающими угодничество чуть ли не искренним. Никто толком не знал, почему, собственно, фараон так невероятно возвысил и обласкал какого-то юного чужеземца, но никто этого и знать не желал. Впрочем, прорицательское искусство было в чести, и если Иосифу посчастливилось отличиться и побить местные рекорды, то этим уже кое-что объяснялось. Кроме того, известна была слабость фараона к людям, которые «внимали его словам», то есть способны были вникнуть в его богословские идеи и показать свою восприимчивость к «учению», и все знали, что такое понимание — не важно, подлинное или притворное, — всегда вызывает у него живейшую благодарность. Видимо, и тут этому малому повезло, да и какой-то природный ум, какой-то опыт у него, конечно, тоже нашлись. Как бы то ни было, не приходилось сомневаться, что с фараоном он повел дело как величайший пройдоха, если в мгновение ока опередил их всех; и перед удачливой хитростью, не меньше чем перед произволом, так гнули спину, так угодничали, так заискивали, так лебезили, так расшаркивались, так расстилались, так рассыпались мелким бесом вокруг Иосифа, что только держись. Один из друзей, поэт, сочинил в его честь даже хвалебную песнь, которую сам же, под тихий аккомпанемент арфы, исполнил, и слова ее были такие:

Ты, жив, ты цел и невредим,  
Ты не беден, ты не убог.  
Ты долговечен, как течение часов,  
Твои замыслы надежны, твоя жизнь длинна.  
Твоя речь изысканна.  
Твое око видит, что хорошо.  
Ты слышишь то, что приятно.  
Ты видишь хорошее, ты слышишь приятное.  
Тебя хвалят в среде советников.  
Ты стоишь твердо, а враг твой пал.  
Кто язвит тебя словом, того больше нет.

Мы находим этот гимн посредственным. Но как произведение одного из них придворные находили его довольно хорошим.

Иосиф принимал все это как человек, которого никакое возвышение не застанет врасплох, с приветливой серьезностью, отдававшей рассеянностью и болью. Ибо мысли его были не здесь, не в фараоновом зале. Они были у волосяного дома на далеких высотах, в соседней роще господней, с маленьким, в блестящем шлеме волос, братом правой руки, которому он рассказывал сны; или в поле во время уборки, под навесом, с товарищами, от которых он тоже не утаивал снов; или же в долине Дофана, у колодца, куда он отнюдь не мирно попал. В своей отрешенности он чуть не проглядел одной пары глаз, подмигивавших ему из толпы стоявших вокруг, а между тем, если бы он не ответил на это приветствие, подмигивавший не на шутку встревожился бы.

Дело в том, что среди поздравителей был владыка венка Нефер-эм-Уазе, носивший некогда противоположное имя. Можно представить себе, как смущен, как потрясен был

игрою судьбы этот толстяк, когда он в столь неожиданных, столь неправдоподобно изменившихся обстоятельствах приносил поздравления молодому своему служителю скверных времен. Он имел право надеяться, что новый фаворит будет к нему расположен и не станет «язвить его словом», — ведь ему, Неферу, он обязан призывом фараона и благоприятнейшим в жизни случаем. Но эта надежда немного ослаблялась сознанием, что он слишком поздно указал на него пальцем, вспомнив о нем, в точности как было предсказано, только тогда, когда его, Нефера, ткнули носом в это воспоминание. Кроме того, виночерпий опасался, что новому фавориту напоминания об узилище так же неприятны, как ему самому; поэтому во время церемонии поздравления он ограничился тем, что с осторожной фамильярностью прищурил один глаз, ибо это могло означать все, что угодно, и был удовлетворен, когда Адон ответил на это подмигиванье.

Кстати о встречах: тут невольно приходит мысль еще об одной, тоже возможной и даже более пикантной, однако сейчас время подтвердить и признать справедливым молчание, которое не всем изложениям и версиям иосифовской истории удалось сохранить. Имеется в виду Потифар или Путифера, правильнее Петепра, великий скопец, купивший Иосифа, его господин и судья, доброжелательно бросивший его в темницу. Присутствовал ли он при процедуре озлащенья и окруженья, почтил ли и он Иосифа при дворе — выразив ему, скажем, признательность человека, который, будучи сам неспособен на какое-то дело, высоко ценит того, кто от этого дела отказался, хоть и был на него куда как способен? Расписать встречу такого рода весьма соблазнительно; но расписывать тут нечего, ибо ничего подобного не было. Щемяще прекрасный мотив свидания после разлуки играет в нашей истории триумфальную роль, и в этом отношении впереди у нас много чудес, которых мы ждем не дождемся. Сейчас, однако, этот мотив умолкает, и молчание, хранимое относительно царедворца Солнца и особенно относительно его достойной сожаления почетной жены Мут-эм-энет в этом месте рассказа авторитетной на Западе версией, — это молчание не является пропуском, а если является им, то лишь постольку, поскольку опущено отрицание, то есть недвусмысленное утверждение, что чего-то не было, то есть что после ухода из дома Петепра Иосиф не встречался ни с господином, ни с госпожой.

Народ и ему в угоду поэты, племя чрезмерно угодливое, на все лады разукрашивали историю об Иосифе и жене Потифара, этот очень, правда, весомый, но все-таки лишь эпизод в жизни сына Иакова, они дополняли ее трогательными продолжениями, хотя катастрофой она вполне исчерпала себя, и отводили ей непомерно большое место внутри повести, превращая таковую в слащавый роман со счастливым концом. Если бы все шло так, как в этих поэмах, то, упрятав Иосифа в темницу, искусительница, которую обычно именуют «Зюлейка», по поводу чего можно только пожалть плечами, в раскаянье удалась бы в «хижину», где жила бы лишь для искупленья своих грехов, а кроме того, стала бы, ввиду смерти мужа, вдовой. А когда Юсуфа (то есть Иосифа) освобождали бы из темницы, он не велел бы снимать с себя «цепи» до тех пор, покуда все знатные женщины страны не подтвердят перед фараоновым троном его невинности. Поэтому у престола и в самом деле собрали бы всю женскую часть египетской знати, и в числе прочих, покинув хижину своего покаяния, прибыла бы «Зюлейка». Весь цветник дам единодушно объявил бы Иосифа князем невинности и украшением чистоты. А затем взяла бы слово «Зюлейка» и в глубоком униженье, во всеуслышанье, признала бы себя преступницей, а Иосифа ангелом. Она — заявила бы она без утайки — совершила позорное преступление, но теперь она очищена и готова нести бремя стыда и позора. Таковое она и несла бы в своей хижине еще долгие годы, седея и старясь. И только в тот праздничный день, когда в землю Египетскую помпезно прибывал отец Иаков, — то есть когда в действительности у Иосифа было уже два сына, — эта пара встретилась бы опять; Иосиф простил бы старуху, и в награду за это силы небесные восстановили бы ее прежнюю прельстительную красоту, после чего Иосиф, к величайшему своему блаженству, женился бы на ней, так что в конце концов они, по давнему желанью, все-

таки «соединили бы ноги и головы».

Все это мускус и персидская розовая вода. К фактам это не имеет ни малейшего отношения. Во-первых, Потифар не так скоро умер. С чего бы безвременно умирать человеку, избавленному особой своей статью от расточительной траты сил, сосредоточенному на себе, живущему только для себя и часто подкрепляющемуся охотой по перу? Если о нем со дня домашнего суда наша история умалчивает, то это, конечно, означает некое исчезновение со сцены, но вовсе не смерть. Нельзя забывать, что за время заточения Иосифа произошла смена престола, а таковая обычно влечет за собой смену двора или хотя бы части двора. После похорон Небмара Великолепного Петепра, которому, как мы знаем, положение мнимого, без настоящих полномочий полководца доставляло немало неприятностей, ушел в звании Единственного Друга в частную жизнь. Он больше не являлся ко двору, во всяком случае мог не являться, и в дни озлащения Иосифа, из очень и очень свойственного ему, Петепра, чувства такта, по-видимому, уклонился от этого. Если он не встречался с ним и впоследствии, то причина заключалась отчасти в том, что резиденция Иосифа, как Владыки Предусмотрительности и Насыщения, находилась, как мы увидим, не в Фивах, а в Мемфисе, отчасти все в той же тактичной уклончивости. Если же с годами, по какому-нибудь торжественному случаю, их встреча все-таки состоялась, то можно быть уверенным, что она прошла без подмигиванья, при полном самообладании обеих сторон, игнорировавших прошлое с одинаковой выдержкой: именно такое поведение и отразилось в молчанье авторитетнейшего источника.

То же относится к Мут-эм-энет, и по столь же веским причинам. Что Иосиф не встречал ее больше, это уж несомненно, но столь же несомненно и то, что ни в какие хижины она на покаяние не удалялась и в бесстыдстве во всеуслышанье не обвиняла себя, что к тому же было бы ложью. После краха отчаянной попытки уйти от своего почетного существования в человеческое житье-бытье важная эта дама, орудие испытания Иосифа, — испытания, которое он выдержал не так уж блестяще, но все-таки выдержал, — вынуждена была навсегда вернуться к тому образу жизни, что казался ей до ее беды вполне естественным, ибо никакого другого она и не знала; она даже закоснела в нем еще прочнее, еще более гордо, чем когда-либо прежде. Благодаря замечательной мудрости, проявленной Петепра при катастрофе, отношение жены к нему скорее стало теплей, чем ухудшилось. Благодарная ему за то, что суд он вершил, как бог, возвысившись над человеческим сердцем, она была ему с той поры безупречно верной почетной супругой. Возлюбленного она не проклинала за страдания, которые он ей причинил или которые она из-за него себе причинила; ведь любовные страдания — это страдания особого рода, и никто еще не сожалел о том, что их испытал. «Ты сделал мою жизнь богатой, — она в цвету!» Так молилась Эни в муке своей, и из этого видно, каковы эти особенные, настраивающие даже на благодарственную молитву муки любви. Как бы то ни было, она жила и любила, — любила, правда, несчастливо, но какое это, собственно, имеет значение и не будет ли тут жалость глупой назойливостью? Эни не требовала жалости и была слишком горда, чтобы жалеть себя самое. Но жизнь ее уже отцвела, отцвела решительно и окончательно. Формы ее тела, ставшего было телом ведьмы любви, быстро преобразились опять — но к ним не вернулась лебединая красота ее юности, в них появилось что-то схимническое. Да, холодной лунной схимницей с девственно преобразившейся грудью была отныне Мут-эм-энет, неприступно изящная и — надо прибавить — изуверски набожная. Мы все помним еще, как однажды, во время мучительного расцвета ее жизни, она вместе со своим возлюбленным кадила доброжелательному ко всему миру и к чужеземцам Атуму-Ра, владыке широкого горизонта, надеясь на благосклонность онского бога к ее страсти. Это прошло. Теперь горизонт ей снова был узок, суров и ограничен отечественными пределами; больше, чем когда-либо, была она теперь предана говядолюбивому владыке Эпет-Эсовета и его охранительной солнечной природе, только духовным наставлениям главного его

плешивца, заклятого врага всяких новшеств и рассуждений великого Бекнехонса открыт был теперь доступ к ее душе, и уже одно это отдаляло ее от двора Аменхотепа Четвертого, где хорошим тоном становилась религия нежного, всеобъемлющего восторга, вообще ничего общего не имевшая в ее глазах с набожностью. Она оправляла теперь праздник священной твердости, постоянного равновесия, каменноглазой вечности, когда в узком платье Хатхор, с трещоткой в руке, плыла перед Амуном в размеренном танце и все еще сладостным даже при плоской уже груди голосом запевала в хоре благородных его наложниц. И все-таки на дне ее души лежало сокровище, которым она втайне гордилась больше, чем всей своей религиозной и светской славой, и которого, признавалась ли она себе в том или не признавалась, не отдала бы ни за какие блага на свете. Сквозь глубину утопленное это сокровище озаряло пасмурный день ее схимы и, несмотря ни на какую примесь поражения, незаменимо дополняло ее религиозную, ее светскую гордость гордостью человеческой, гордостью жизни. То было воспоминание — не столько даже о нем, который, как ей довелось услышать, стал владыкой над землею Египетской. Он был только орудием, как орудием была и она, Мут-эм-энет. То было, почти независимо от него, сознание своей оправданности, сознание, что она цвела и горела, любила и страдала.

### Владыка над землею Египетской

Владыка над землею Египетской — мы пользуемся этим выражением в духе общепринятой неумеренности апофеоза и в смысле того прекрасного «хватить через край», которое позволил себе фараон ради истолкователя своих сновидений. Но пользуемся мы им не на авось, не с краснобайской бездумностью, а с той разумной оглядкой, к которой обязывает нас верность действительности. Ведь наше дело не врать, а повествовать, а это занятия все же очень и очень разные, какому из них ни отдавай предпочтение. Поначалу вранье производит, конечно, всегда больший эффект, но настоящую пользу приносит слушателям только вдумчивое, осмысленное повествование.

Иосиф стал очень важным лицом при дворе и в стране, это, несомненно, и личное доверие, которое связывало его после беседы в Критском Садовом Покое с монархом, то есть его положение фаворита, делало границы его власти неопределенно широкими. Но настоящим Владыкой над землею Египетской или, как то выражают иногда преданье и песня, «Начальником стран», он никогда не был. При всем его сказочном возвышении, при всех его громких титулах главные отрасли управления в стране его отрешенности оставались по-прежнему в руках царских сановников, часть которых ведала ими еще при царе Неб-ма-ра, и было бы чистой фантазией полагать, будто сыну Иакова подчинялись, например, судопроизводство, искони находившееся в ведении верховного судьи и визиря, а ныне — обоих визирей, или, скажем, внешняя политика, — последствия которой были бы, вероятно, счастливее известных историку, если бы за нее взялся Иосиф. Нельзя забывать, что хотя по внешней своей культуре он и стал египтянином, по сути величие царства Египетского нисколько его не трогало, и каких благодеяний ни оказывал он туземцам, как ни считался он с их общественным мнением, внутреннее его внимание было всегда приковано к религиозно-личному, к всемирно-кровному, к осуществлению замыслов и намерений, имевших весьма и весьма мало общего с благоденствием и горестями Мицраима. Можно не сомневаться, что сны фараона и их разгадку он тотчас связал с этими замыслами и намерениями, с идеей ожидания и прокладыванья пути, и явная доля целеустремленности в его поведении перед фараоновым тронном могла бы, пожалуй, подействовать охлаждающе и нанести ущерб той симпатии, которую и нам хочется сохранить за сыном Рахили, если бы слушатели не учитывали, что Иосиф считал своим долгом содействовать этим намерениям и помогать

богу в их исполнение из всех сил.

Чего бы ни означали его титулы, назначен он был министром съестных припасов и земледелия и в этой должности провел важные реформы, из которых особенно запомнился закон о земельной ренте. Но за круг этих обязанностей он никогда не выходил, и даже если принять во внимание, что дела казначейства и управление зернохранилищами были слишком тесно связаны с его ведомством, чтобы его, Иосифа, власть не распространялась и на них, то все равно такие эпитеты, как «Владыка над землею Египетской» и «Начальник стран», остаются неправдоподобной прикрасой истинного положения. Нужно, правда, учесть и другое. При обстоятельствах, царивших в первые решающие десять или четырнадцать лет его власти, — обстоятельствах, в ожидание которых его и облекли чином, — значение именно его должности могло и вправду возрасти чрезвычайно и затмить значение всех остальных должностей. Голод, свирепствовавший в течение пяти или семи — скорее, пяти — лет после возвышения Иосифа как в Египте, так и в соседних странах, делал человека, знавшего о его приближении и принявшего необходимые меры предосторожности, благодаря чему люди как-никак выживали, практически важнейшим лицом в государстве, а его распоряжения более существенными, чем любые другие. И, помня, что критика, если только она достаточно глубока, в конечном счете часто приводит к подтверждению народной молвы, мы не станем возражать против того, что положение Иосифа, по крайней мере несколько лет, и в самом деле было равносильно положению «Владыки земли Египетской», без которого никто не мог шевельнуть ни рукой, ни ногою в обеих странах.

А на первых порах, непосредственно после вступления в должность, он совершил на судне и в коляске в окружении целого штаба писцов, набранного им преимущественно из молодых, еще не закосневших в служебной рутине людей, инспекционное путешествие по всему Египту, чтобы узнать обо всех делах Черной Земли из первых рук и, прежде чем принимать какие-либо меры, стать вправду владыкой обобщающего надзора. Имущественные отношения были там внизу странно неопределенны и двусмысленны. По идее, любая земля, как и вообще все, принадлежала фараону. Страны, включая завоеванные или обложенные данью, до «горемычной страны Нубии» и до границы Митании, были, в сущности, его частной собственностью. Но при этом подлинно государственные земли, «имения фараона», были особым царским имуществом, отличным как от латифундий, подаренных прежними царями своим вельможам, так и от небольших поместий и крестьянских наделов, считавшихся личной собственностью своих хозяев, хотя, строго говоря, налицо были откуп и аренда, правда, со свободным наследованием. Исключение составляли лишь храмовые земли, угодья Амуна, действительно свободные от всяких оброков, и остатки более древней системы особых привилегий, владения отдельных, все еще сильных или независимо ведущих себя князей, родовые именья, выступавшие там и сям островками патриархального уклада и, подобно угодьям бога, желавшие, чтобы их рассматривали как неограниченную собственность владельцев. Но принципиально оставляя в покое угодья бога, Иосиф очень сурово обходился с упорствующими баронами, земли которых он с самого начала, не церемонясь, включил в свою систему оброков и заготовок, а со временем и вовсе конфисковал в пользу венца. Неверно было бы утверждать, что своеобразные аграрные отношения так называемого нового царства, то есть то поразительное для других народов положение, что в стране Нила все земли, кроме земель жрецов, принадлежали царю, — сложились благодаря мероприятиям сына Иакова. В действительности он лишь завершил уже и без того далеко зашедший процесс, закрепив, юридически выяснив и полностью прояснив существовавшие и до него отношения.

Хотя во время своего путешествия он не побывал в негритянских и сирийско-кенаанитских землях и ограничился посылкой уполномоченных в эти края, на инспекцию ушло все же дважды, если не трижды семнадцать дней, ибо многое нужно было взять на заметку и

подчинить обобщающему надзору. Затем он вернулся в столицу, где вместе со своими чиновниками занял на улице Сына казенное здание, и там-то, заблаговременно, еще до нового урожая, был издан тот знаменитый, сразу же громко объявленный по всей стране земельный закон, который именем фараона предписывал всем, невзирая на лица и независимо от урожая, сдавать пятую его часть, в срок и без напоминаний — или же после весьма внушительных напоминаний — в царские амбары. Одновременно дети Египта могли заметить, что по всей стране, в больших и малых городах и в их окрестностях, хранилища эти, с большой затратой рабочей силы, умножаются и расширяются в невиданной мере — даже, в пору было подумать, в избытке; ведь поначалу многие из них, естественно, пустовали. Тем не менее их строили и строили, ибо избыток их был рассчитан на тот избыток, который, как говорили, предсказал новый Адон Заготовок и Друг Урожая Бога. Повсюду, куда ни падал взгляд, высились густые, часто в виде просторных, образующих дворы четырехугольников, ряды конусообразных хранилищ с отверстиями для засыпки зерна сверху и надежными дверями для разгрузки внизу; и сооружены они были особенно прочно: на террасоподобных площадках из утрамбованной глины — для защиты от сырости и мышей. Кроме того, было еще множество подземных ям для зерна, тщательно вырытых, с почти незаметными входами, с которых, однако, не спускала глаз полицейская стража.

Приятно оказать, что оба мероприятия — и закон о налоге, и такое усиленное строительство ссыпных складов — пользовались несомненной популярностью. Налоги, разумеется, существовали всегда, в различных видах. Не зря любил старик Иаков, который ни разу там не был, но составил себе некий патетический образ этой страны, говорить о «служильне Египетской», хотя его неодобрение и недостаточно учитывало особые условия преисподней. Рабочая сила детей Кеме принадлежала царю, это было главное, и ею пользовались для возведения огромных усыпальниц и невероятно пышных зданий — конечно, и для этого тоже. Но прежде всего она нужна была для земляных работ, насущно необходимых в этой сверхсамобытной стране оазисов, для содержания в порядке водных путей, для рытья канав и каналов, для укрепления плотин, для ухода за шлюзами — то есть для дел, исполнение которых, поскольку от этого зависело общее благополучие, нельзя было доверить недостаточной рассудительности и случайному личному прилежанию подданных. Поэтому государство заставляло своих детей заниматься этими делами, они должны были выполнять для него эту работу. А сделав — платить налоги за сделанное. Они должны были платить налоги за каналы, озера и канавы, которыми они пользовались, за оросительные машины и рукава для поливки, которые им служили, и даже за смоковницы, которые росли на их оплодотворенной земле. Они платили налоги за дом и усадьбу и за все, что производили дом и усадьба. Они платили налоги мехами и медью, лесом, веревками, папирусом, полотном и, конечно, испокон веков хлебом. Оброк, однако, взимался неравномерно, по усмотрению окружных начальников и деревенских старост, в зависимости, правда, и от того, велик или мал был Кормилец, то есть Хапи, поток, — это тоже, спору нет, разумно принималось в расчет; но не было недостатка и в несправедливых побряжках, с одной стороны, и жестоких поборах, с другой, и сплошь да рядом процветали лихоимство и кумовство. Так вот, можно сказать, что в этом отношении администрация Иосифа с первого же дня туго натянула вожжи — с одной стороны, и приотпустила — с другой, сосредоточив все внимание на хлебе и весьма снисходительно относясь к прочим повинностям. Свое полотно высшего, среднего и низшего качества, свое масло, свой папирус и свою медь можно было оставить себе, если только ты на совесть выполнил хлебную разверстку, отдав пятую часть урожая зерна. Эта успокаивающе ясная и одинаковая для всех норма не могла восприниматься как тяжкое бремя в стране, где средний урожай сам-тридцать. Кроме того, эта норма обладала известным духовным очарованием, в ней был отголосок мифа, ибо в основу ее было умышленно положено священное число дополнительных, то есть сверх трехсот шестидесяти, дней года. И наконец, народу нравилось, что Иосиф смело взыскивал ее и со все еще строивших из

себя независимых правителей удельных князьков, которых он, кроме того, для пользы государства обязывал произвести в их имениях отвечающие требованиям времени усовершенствования. Ибо царивший там дух упрямой отсталости выражался и в том, что в их поместьях, причем не только по лености хозяев, но также в угоду их принципам и тенденциям, орошение оставалось на низком, старинном уровне, отчего земли не давали того, что могли бы дать. Таким землевладельцам Иосиф вменил в обязанность улучшение каналов и водоемов, памятуя при этом об одном из внуков Евера — Салефе, который, как рассказывал ему, Иосифу, Елиезер, первым «отвел воду на поле свое» и был изобретателем орошения.

Что же касается чрезвычайных заготовительных мероприятий, то есть строительства амбаров, то нужно еще раз напомнить о свойственной Египту идее осторожности и заботливой предусмотрительности, чтобы стало понятно, почему и это распоряжение Иосифа пришлось по душе детям Кеме. Его наследие, предание о потопе и о мудром сооружении ковчега, спасшем от полной гибели род человеческий и некоторые роды животных, соединилось тут с охранительно-оборонительным инстинктом старой, легко ранимой цивилизации, старость которой пришлось пережить на трудные времена. Дети этой цивилизации были склонны видеть в зернохранилищах Иосифа даже что-то волшебное; ведь они привыкли страховать себя от дремлющей зловредности демонов как можно более надежной системой магических знаков и заклинаний; поэтому идеи «осторожность» и «волшебство» вполне могли сойти в их уме одна за другую, окружая даже такую трезвую меру, как иосифовское амбаростроительство, ореолом волшебства.

Одним словом, преобладало мнение, что, введя в должность этого молодого отца урожая и Владыку Тенистой Сени, фараон, при всей своей молодости, сделал удачный ход. С годами авторитет Иосифа значительно вырос, но и вначале ему пошло на пользу то, что уже и в этом году Нил был очень велик, благодаря чему при новой администрации удалось снять значительно более высокий, чем обычно, урожай — особенно пшеницы, полбы и ячменя — и начесать с метелок дурры большое количество проса. Мы сомневаемся в том, что год, благополучье которого было уже обеспечено к тому дню, когда Иосиф стоял перед фараоном, позволительно подвести под пророчество и присчитать к годам тучных коров. Но позднее это случилось, — видимо, из-за стремления довести число благодатных лет до семи, чего, однако, и таким путем не вполне удалось добиться. Во всяком случае, Иосифу повезло, что он принял дела в пору довольства и изобилия. Ум народа всегда был почтенно-нелогичен, и таким он остался. Он способен заключить, что министр сельского хозяйства, назначенный министром в урожайный год, — хороший министр.

Поэтому, когда сын Иакова проезжал по улицам Узет, народ приветствовал его поднятыми руками и кричал ему: «Адон! Адон!», «Ка-не-Кеме!», «Живи бесконечно долго. Друг Урожая Бога!» Многие кричали даже «Хапи! Хапи!», поднося при этом ко рту сложенные большой и указательный пальцы правой руки, что было уже, пожалуй, лишним и объясняется главным образом их детским восхищением его красотой.

Выезжал он, однако, редко, потому что был очень занят.

## Урим и Туммим

Шаги и решения нашей жизни определены склонностями, симпатиями, строем и опытом души, которые окрашивают все наше естество и накладывают отпечаток на всякое наше действие, так что оно гораздо правдивее объясняется ими, чем теми разумными доводами, какие мы приводим в его пользу не только другим, но и самим себе. Что

вскоре после своего вступления в должность Иосиф — вопреки желанию фараона, предпочитавшего держать его всегда вблизи от себя, чтобы беседовать с ним о своем отце в небе и с его помощью улучшать учение, — что, стало быть, Верховные Уста Царя и Владыка Его Запасов очень скоро перенес свою резиденцию и все свое письмоводство из столичного Новет-Амуна в северный Менфе, Дом Закутанного, — это произошло по той поверхностно правдивой и, видимо, уважительной причине, что толстостенный Менфе был «Весами Стран», их серединой, символом устойчивого равновесия земли Египетской, а следовательно, городом, которому самой судьбой назначено быть местом обобщающего надзора, где владыке надзора всего удобней и полезней расположиться. Правда, с «Весами Стран» и центром тяжести дело было не совсем чисто, ибо Мемпи находился довольно-таки далеко на севере, поблизости от Она, города моргающих глаз, и от городов семи устьей, и даже если за южный рубеж земли Египетской принять остров Слонов и остров Пилак и не включать в нее страну негров, то и тогда город царя Мира, где была погребена его красота, отнюдь не был Весами Стран, ибо находился для этого слишком далеко на севере, подобно тому как Фивы — слишком далеко на юге. Но такова уж была слава древнего Менфе, так уж принято было считать, что он сохраняет равновесие земли Египетской и образует ее середину; что оттуда удобней всего глядеть в обе стороны, и в ту, откуда течет река, и в ту, куда она течет, было аксиомой, на которую, принимая свое решение, опирался египтянин Иосиф, и сам фараон не мог возразить против того, что торговать с сирийскими приморскими городами, которые посылают суда за зерном в «житницу», как именовали они страну черноты, гораздо легче, находясь в Менфе, а не в Пер-Амуне. Все это было совершенно верно, и, однако, то были только разумные доводы, оправдывавшие решение Иосифа жить в Менфе и просить на то согласия фараона. Настоящие, решающие доводы таились в его душе. Они были настолько глубоки, что касались его отношения к смерти и жизни. Можно сказать так: то были доводы светлой приязни, но с темною подоплекой.

Давно это было, но все мы помним еще, как однажды мальчиком, в одиночестве, огорченный разладом с братьями, глядел он с холма близ Кириаф-Арбы на белевший в лунном свете город в долине и на махпелах, двойную пещеру, могилу в скалах, которую купил Азрам и где покоились кости предков. Мы хорошо помним, какие чувства своеобразно смешались тогда в его душе при виде того и другого, могилы и уже уснувшего многолюдного города: молитвенное благоговение перед смертью и перед прошлым соединилось у него с немного насмешливой, но все же искренне-дружеской тягой к «городу», ко всей той человеческой массе, что день-деньской наполняла кривые переулки Хеврона чадом и криком, а теперь, храпя, свернувшись калачиком, покоилась в каморках домов. Рискованной натяжкой покажется попытка не только связать этот ранний порыв, охвативший его в короткие минуты созерцания, с теперешним его поведением, но и прямо вывести второе из первого. И все же у нас есть доказательства, что эта ссылка верна — слова, сказанные Иосифом однажды, между тем временем и нынешним, купившему его старику, когда они вместе были в могильной столице Меифе. Если он невзначай сказал тогда, что ему нравится это поселение, чьим мертвецам незачем было переправляться через реку, потому что оно само находилось на западном берегу, и что из всех египетских поселений ему, Иосифу, подошло бы, пожалуй, именно оно, — то это, хоть он и сам о том не подозревал, было чрезвычайно характерно для первенца Рахили, и его радость по поводу того, что тамошние жители, настроенные однообразной своей множественностью на насмешливый лад, благодушно и лихо упростили древнее могильное имя города «Мен-нефру-Мира» в «Менфе», — эта радость была чуть ли не его сутью, она открывала глубочайшие глубины его естества, нечто и в самом деле безусловно глубокое, хотя оно и определяется лишь явно веселым словом — «симпатия». Ведь симпатия — это встреча смерти и жизни: истинная симпатия возникает только тогда, когда чувство смерти уравнивается чувством жизни. Чувство одной лишь смерти родит оцепенение и мрачность; чувство одной лишь жизни родит плоскую обыденность, в которой тоже нет остроумия. Остроумие и симпатия возникают лишь в

том случае, когда благоговение перед смертью окрашено и проникнуто приветливостью к жизни, а приветливость к жизни углублена и облагорожена благоговением перед смертью. Так и обстояло дело с Иосифом; таковы были его остроумие и его приветливость. Двойное благословение, которое было ему дано, благословение небесное свыше и благословение бездны, лежащей долу, о котором Иаков говорил и на смертном одре, говорил чуть ли не с таким видом, словно он его и давал, тогда как в действительности он его лишь констатировал, — это и был Иосиф. Исследуя нравственный мир, — а это мир запутанный, — нельзя обойтись без некоторой учености. Об Иакове всегда было известно, что он «тум», то есть «честен» и живет в шатрах. Но «тум» — слово на редкость многозначное и словом «честный» переводится лишь с грехом пополам, ибо смысл его охватывает оба начала, положительное и отрицательное, «да» и «нет», свет и тьму, жизнь и смерть. Оно встречается в примечательной формуле «урим и туммим», где, в противоположность светлomu, утвердительному «урим», явно обозначает темную, омраченную смертью сторону мира. «Тум» или «туммим» — это одновременно и попеременно светлое и мрачное, горнее и дольнее, а «урим» только веселое в чистом виде. По сути, значит, «урим и туммим» не выражает противоречия, а показывает тот загадочный факт, что если, взяв нравственный мир за целое, выделить из него некую часть, этой части по-прежнему будет противостоять целое. Не так-то легко разобраться в нравственном мире, нелегко хотя бы потому, что солнечное здесь сплошь да рядом отдает преисподней. Исава, например, Красный, степняк и охотник, был, несомненно, человеком солнца и преисподней. Но хотя Иаков, младший его близнец, будучи пастухом и человеком луны, отличался от него кротостью, нельзя забывать, что главную часть своей жизни он провел в преисподней, у Лавана, и способы, какими он стал там золотым и серебряным, определяются словом «честные» более чем неточно. Он был, конечно, не «урим», а именно «тум», человеком боли и радости, как Гильгамеш. Им же был и Иосиф, чье умение быстро приспособиться к солнечной преисподней земли Египетской равным образом не говорит о сплошном «урим» его натуры. «Урим и туммим» можно перевести, пожалуй, как «да — да, нет», то есть как «да — нет», но с коэффициентом второго «да». Поскольку одно «да» и одно «нет» взаимно уничтожаются, то с чисто математической точки зрения остается, правда, только дополнительное «да», но чистая математика бесцветна, и темный оттенок итогового «да», этот явный след уничтоженного математикой «нет», уж во всяком случае, пропадает при такой калькуляции... Все это, как мы сказали, запутанно. Лучше всего повторить, что в Иосифе результатом встречи жизни и смерти была та симпатия, которая прежде всего и побудила его испросить у фараона разрешения жить в могильном, радующем игрою ума городе Менфе.

Позабывшись в первую очередь о Вечной Обители для своего «Исключительного Друга» (она строилась), царь подарил ему там, в самом богатом квартале, чудесный дом для жизни — с садом, приемной, фонтанным двором и всеми удобствами той поздней ранней поры, не говоря уж о множестве слуг для кухни, передней, конюшни и зала, нубийцев и египтян, которые эту виллу подметали, опрыскивали водой, чистили и украшали цветами и состояли — под чьим же началом? Это отгадает, наверно, и самый тупой тугодум в нашей аудитоидии. Иосиф сдержал слово честней и точней, чем это сделал по отношению к нему чашник Нефер-эм-Уазе; он полностью выполнил обещанное им при прощанье одному человеку — что вызовет его и возьмет к себе, если будет возвышен, и уже из Фив, когда был еще там, сразу по возвращенье из инспекционной поездки, написал, с согласия фараона, Май-Сахме, начальнику Цави-Ра, и пригласил его быть своим экономом и домоправителем, чтобы заниматься всеми делами в доме, за которые человек в теперешнем чине Иосифа браться никак не мог. Да, у того, кто некогда, став преемником управляющего, осуществлял обобщающий надзор в доме Петепра и на кого возложили ныне надзор куда более важного свойства, у того имелся теперь свой вершитель надзора за всем, что ему принадлежало, за повозками и лошадьми, за кладовыми, кухней и челядью, и был им Май-Сахме, спокойный муж, который, получив письмо бывшего своего каторжника, не испугался просто потому, что ему вообще не

было дано пугаться, и, не дожидаясь даже прибытия новоназначенного начальника темницы, большими перегонами поспешил в Менфе, этот несколько устаревший и отставший от верхнеегипетских Фив, но, по сравнению с Цави-Ра, все же невероятно интересный город, где когда-то подвизался многосторонний мудрец Имхотеп и где его поклоннику досталось ныне такое прекрасное место. Здесь он сразу же стал во главе дома Иосифа, собрал слуг, сделал необходимые закупки и приготовления, и когда Иосиф прибыл из Уазе и был встречен у прекрасных ворот виллы своим управляющим, он нашел свою резиденцию уже благоустроенной, и благоустроенной наилучшим образом, как то подобает прижизненному дому вельможи. Оборудованы были даже лазарет на случай появления болящих и страждущих и фармацевтическая комнатка, где его домоправитель мог вволю толочь и смешивать всякие снадобья.

Встреча была очень сердечной, хотя никаких объятий на виду у выстроившейся в знак приветствия челяди, разумеется, не состоялось. Они состоялись раз и навсегда при прощанье, в тот единственный подходящий для этого час, когда Иосиф уже не был подчиненным Маи-Сахме, а тот еще не был его подчиненным. Управляющий оказал:

— Добро пожаловать, Адон, вот твой дом. Он дан тебе фараоном, а тот, кого ты устроил на должность, тщательно устроил его. Тебе остается только выкупаться, умаститья и сесть за еду. А я от души благодарю тебя за то, что ты вспомнил обо мне и вывел меня из скуки, как только возвысился и все вышло так, как раб твой всегда предчувствовал, благодарю тебя за то, что ты поставил меня в такие живительные условия, за которые я буду каждодневно на совесть служить.

А Иосиф ответил:

— Спасибо и тебе, добрый муж, за то, что ты явился на мой зов и согласен быть моим домоправителем в моей новой жизни! Все вышло так, как вышло, потому что я не обидел бога отца моего ни малейшим сомнением в том, что он будет со мной. Но не называй себя моим рабом, ибо мы будем друзьями, как прежде, когда я ходил под тобой, и вместе переживем добрые и недобрые часы жизни, спокойные и волнующие, — особенно ты понадобишься мне в волнующие, в которых, во всяком случае, недостатка не будет. Благодарю тебя заранее за верную службу. Но она не должна поглощать тебя настолько, чтобы у тебя не оставалось времени взять в руки тростинку, как ты это любишь, у себя в комнате и поискать для истории трех любовных влечений утешительную и отрадную форму. Писательство — великое дело! Но, пожалуй, это еще более великое дело, если сама твоя жизнь есть история, а что мы находимся в истории, и притом в превосходной, в этом я убеждаюсь чем дальше, тем больше. Ты тоже в ней, потому что я взял тебя к себе, в эту историю, и если в будущем люди услышат или прочтут о домоправителе, который был со мною и помогал мне в волнующие часы, пусть они знают, что домоправителем этим был ты, спокойный муж Маи-Сахме.

## Девушка

В начале когда-то бог навел крепкий сон на человека, которого поместил в саду Востока, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотию. А из ребра бог создал женщину, рассудив, что негоже человеку быть одному, и привел ее к человеку, чтобы она была около него спутницей его и помощницей. И сделано это было от чистого сердца.

Привод женщины расписан учителями куда как подробно — все происходило так-то и так-то, учат они, делая вид, будто они это знают, — возможно, впрочем, что они знают это и вправду. Бог, уверяют они, вымыл женщину, отмыл ее дочиста (ведь как бывшее ребро,

она была, вероятно, немного липкой), умастил, подрумянил ей лицо, завил волосы и по сильному желанию ее украсил ей голову, шею и руки жемчугами и драгоценными камнями, в том числе сердоликом, топазом, алмазом, яшмой, бирюзой, смарагдом и ониксом. В таком приукрашенном виде, в сопровождении тысяч ангелов, под песнопенья и звуки лютен, привел он ее к Адаму, чтобы вверить ее человеку на будущее. Тут начался праздник и пир, вернее сказать, праздничный пир, в котором, кажется, и сам бог участвовал запросто, и планеты водили хоровод под собственную же музыку.

То было первое свадебное торжество, хотя нигде не сказано, что это была уже и свадьба. Бог создал женщину помощницей Адаму, просто чтобы она была около него, и ни о чем другом явно не помышлял. Родить в муках детей он обрек ее лишь после того, как она вместе с Адамом поела от дерева и у них обоих открылись глаза. Между праздником привода жены и тем, что Адам познал ее и она родила ему хлебопашца и овчара, по чьим стопам ходили Исав и Иаков, — в этом промежутке очередь еще истории о дереве, о плодах и о змее, о познании добра и зла, — и для Иосифа она была тоже раньше на очереди. Он тоже познал женщину лишь после того, как узнал, что хорошо и что дурно, — узнал от змеи, которая рада была научить его очень и очень хорошему, но все же дурному. Он устоял перед ней и сумел дождаться поры, когда хорошее перестало уже быть злом.

Никак нельзя снова не вспомнить о бедной змее и теперь, когда солнечные часы показывают час свадьбы Иосифа, свадьбы, которую он сыграл с другой, так что ноги и головы он соединил с ней — а не с той. Чтобы не было так грустно, мы нарочно упомянули о той, другой, уже раньше, в подходящем для этого месте, сообщив, что она снова стала холодной лунной схимницей и что ей давно уже ни до чего не было дела. Пусть гордая набожность, вновь ею овладевшая, прогонит ту горечь, которая иначе мучила бы сегодня при мысли о ней нас всех. Душевному ее покою способствовало и то, что свадьба Иосифа происходила не рядом, в Фивах, а в далеком его доме, в Менфе, куда фараон, который с самого начала горячо взялся за это дело, специально пожаловал, чтобы лично участвовать в праздничном пире и в хороводе планет. Он довольно точно сыграл роль бога в этом деле, начиная с рассуждения, что негоже человеку быть одному; ведь он сразу же сообщил Иосифу, как это приятно быть женатым, хотя, правда, в отличие от бога, мог сослаться на собственный опыт, ибо у него была Нофертити, утреннее его облачко с золотым краем. А бог всегда был одинок и заботился только о человеке. Зато заботился фараон об Иосифе совсем как бог и, едва возвысив его, стал искать ему достаточно представительную партию, то есть очень благородную и политически выгодную, но при этом приятную, а такие сочетания встречались не так уж часто. Но как бог Адаму, он подобрал своему созданию невесту, привел ее к нему под звуки арф и кимвалов и принял сам участие в свадьбе.

Кто же была эта невеста, супруга Иосифа, и как ее звали? Все это знают, но это несколько не уменьшает удовольствия, доставляемого нам нашим сообщением, и, как мы уверены, не может уменьшить радости слушателей по поводу того, что им сообщают об этом снова. К тому же многие, вероятно, это забыли и, не зная, что знают это, не смогут ответить на поставленный нами вопрос. То была девушка Аснат, дочь онского жреца Солнца.

Вот как высоко хватил фараон, делая выбор, — выше он не смог бы хватить. Жениться на дочери первосвященника Ра-Горахте считалось чем-то неслыханным, чуть ли не святотатством, — хотя, с другой стороны, ни брак, ни материнство не были этой девушке, конечно, заказаны и никто не хотел, чтобы она век вековала безмужней девственницей. Тем не менее тот, кому она доставалась, казался каким-то, пусть необходимым и желанным, но все-таки темным, близким к злодейству разбойником. Ее не отдавали, ее умыкали — так верилось, так думалось, если дело касалось ее, даже тогда, когда все

происходило самым законным, самым любовным образом, и не было на свете родителей, которые, выдавая свое дитя замуж, поднимали бы столько шума, сколько ее родители. Особенно, искренне или притворно, отчаивалась и выходила из себя мать; она неустанно подчеркивала непостижимость происходящего, ломала руки и с таким видом, словно ее самое не то изнасиловали, не то собираются изнасиловать, по обычаю пересыпала свои жалобы клятвенными обещаниями мести — больше, правда, ритуальными, чем искренними.

А происходило это все оттого, что девичество солнечной дочери облекалось особой броней святости и неприкосновенности — неприкосновенности, по сути, однако, ждущей прикосновенья. Храня девственность строже, чем любая другая, она была девой из дев, девушкой в первую очередь, воплощением девичества. Наричательное имя «девушка» стало даже собственным ее именем: так звали и называли ее всю жизнь, и, лишая ее девственности, супруг, по всеобщему понятию, совершал божественное преступление — причем существительное в этом словосочетании смягчалось, облагораживалось и в какой-то степени стиралось прилагательным. Однако отношения между зятем и родителями девушки, особенно ее ломающей руки матерью, даже будучи в частной жизни самыми дружескими, оставались внешне всегда напряженными; в известном смысле те так никогда и не признавали принадлежности их дочери мужу, и в брачном договоре, как правило, оговаривалось, что дочь не обязана находиться при мрачном своем умыкателе безотлучно, а может на определенную, не такую уж малую часть года возвращаться к солнечным своим родителям, чтобы снова жить у них девой, — условие это выполнялось не всегда буквально, чаще лишь символически, когда супруга, как то и вообще водится, гостила в родительском доме.

Если у первосвященнической четы было несколько дочерей, то все это относилось по преимуществу к старшей и в меньшей мере к младшим. Шестнадцатилетняя же Аснат была единственной дочерью, и можно себе представить, какое это было божественное кощунство, какое злодейство — жениться на ней! Отцом ее. Великим Пророком Ра-Горахте, был, конечно, уже не тот кроткий старик, что в первый, вместе с измаильтянами, приезд Иосифа в Он занимал золотой престол у подножья большого обелиска перед крылатым солнечным диском. Отцом ее был избранный его преемник, человек тоже добродушно-веселый — таковым каждый служитель Атума-Ра обязан был быть по своей должности, и если в его натуре этого не было, то благодаря необходимому притворству это постепенно становилось его натурой. Как известно, по воле случая его звали так же, как того царедворца света, что когда-то купил Иосифа, то есть Потифаром, или Петепра, — и какое имя могло бы больше подойти человеку его положения, чем это, означавшее «Его подарило Солнце»? Имя его свидетельствует о том, что он был рожден для этой должности и что его заранее готовили к ней. Вероятно, он был сыном того старика в золотой скуфейке, а Аснат, следовательно, его внучкой. Что касается ее имени, которое она писала «Нс-нт», то оно было связано с богиней Нейт из Саиса, города в Дельте; оно значило «Принадлежащая Нейт», и следовательно, «девушка» была явно подопечной этой воительницы, чей фетиш представлял собой щит с двумя крест-накрест пригвожденными к нему стрелами и которая также в человеческом облике носила на голове связку стрел.

Носила ее и Аснат. Ее волосы или искусно стилизованный парик, выделка которого в этой стране всегда оставляла немного неясным, платок это или прическа, были всегда украшены стрелами, либо прикрепленными сверху, либо воткнутыми; что же касается щита, точного образа ее чрезвычайной девственности, то он часто встречался в ее украшениях, которые на шее, на кушаке и на руках изображали этот знак неприступности со скрещенными стрелами.

Но при всей этой внешне подчеркнутой готовности к боевому отпору Аснат была не только очаровательным, но и очень благонравным, кротким и послушным ребенком, до

безволия покорным воле своих знатных родителей, фараона, а потом и супруга, и отличительной чертой ее характера было как раз это сочетание священно-чопорной замкнутости с явной уступчивостью и терпимым приятием женского своего жребия. Лицо у нее было типично египетской вылепки, тонкокостное, с несколько выдающейся вперед нижней челюстью, но и не лишенное своеобразных черт. Щеки ее еще сохраняли детскую полноту, полными были и губы с плавным углублением между подбородком и ртом, лоб у нее был чистый, носик несколько полноватый, а большие, красиво подведенные глаза глядели каким-то странно пристальным, словно она прислушивалась, взглядом, похожим немного на взгляд глухих, хотя глуха она отнюдь не была: взгляд этот выражал лишь внутреннюю сосредоточенность, настороженное ожидание приказа, который, может быть, скоро раздастся, смутно-внимательную готовность услышать зов судьбы. Оправдывающе противоречила этому выражению глаз ямочка на щеке, всегда появлявшаяся, когда Аснат говорила, — и в общем лицо ее было неповторимо приятно.

Приятным и в известной мере неповторимым было и сложенье ее тела, проглядывавшего сквозь тканый воздух одежды и отличавшегося необычайно тонкой от природы, поистине осиной талией при соответственно широком тазе и удлиннном животе, то есть лоне, вполне способном родить. Тугая грудь и равномерно тонкие, с большими кистями, руки, которые она обычно держала вытянутыми во всю их длину, довершали этот девичий, янтарного цвета портрет.

Среди цветов и жизнью цветов жила девушка Аснат до того, как ее похитили. Любимым ее местопребыванием был берег Священного Озера в округе отцовского храма, холмистые, богатые цветами луга. Как ковер, росли там нарциссы и анемоны, и ничего на свете она так не любила, как бродить со своими подругами, дочерьми онских жрецов и сановников, по этим лугам у зеркальной воды, рвать цветы, сидеть в траве, плести венки, устремив из-под высоко поднятых бровей прислушивающийся взгляд вдаль, отчего на щеке у нее появлялась ямка, и ждать того, что должно было прийти. И это пришло; однажды явились гонцы фараона и потребовали от тяжело кивавшего головой отца Потифара, от ломавшей руки и совсем обезумевшей матери, чтобы они отдали щитоносную деву в жены Джепнутеэфонеху, наместнику Гора, Тенистой Сени царя. Покорная идее своего существования, она сама воздела руки к небу, призывая его на помощь, словно похититель схватил ее за ее тонкую талию и тащит в колесницу.

Все это было лишь маскарадом, лишь данью условностям; мало того что воля и сватовство фараона были приказом, брак с его фаворитом, с Верховными Устами Царя, считался почетным, желанным браком; родители невесты не могли бы сделать для своей дочери большего, чем то, что сделал для Иосифа фараон, не могли бы хватить выше, чем хватил царь, и не было никаких причин не то что для отчаяния, но даже для огорчения, выходящего за пределы естественной грусти родителей, выдающих замуж единственное дитя. Просто так полагалось — поднять по поводу девичества Аснат и ее похищения как можно больше шума и выставить жениха в самом темном свете, хотя родители могли радоваться и, вероятно, действительно радовались тому совпадению (об этом недвусмысленно уведомил их фараон), что девственность встречалась тут с девственностью и что жених был тоже по-своему девой, сберегшим себя предметом упорной ревности, невестой, из которой теперь грядет жених. Свое жениховство он должен был согласовать с богом своего отца, женихом своего племени, с богом, чью ревность он так долго щадил, а теперь, Значит, перестал щадить или щадил лишь постольку, поскольку вступал в особый, образцово девственный брак — если это можно считать ограничением. Пожалуй, нам незачем тревожиться по поводу этого шага, несмотря ни на какие осложнения, которыми он был чреват; ведь Иосиф вступал в брак с египтянкой, в брак с Шеолом, в брак измаиловского толка, имевший, стало быть, прецедент, хотя и прецедент сомнительный, требующий всяческого снисхождения, на которое он, Иосиф, видимо, твердо рассчитывал. Учители и толкователи неоднократно на

это досадовали и пытались замолчать этот факт. Чистоты ради они представляли дело так, будто Аснат была не родная дочь Потифара и его жены, а найденный, брошенный в корзине и потом прибывшее к берегу дитя Дины, поруганной некогда дочери Иакова, и значит, женою Иосифа оказывалась его же племянница, но это не ахти как поправляло дело, поскольку племянница-то была кровью и плотью вертлявого Сихема, поклонявшегося баалам ханаанитянина. Кроме того, никакое почтение к учителям не мешает нам считать историю о найденном в камышах ребенке Дины тем, чем она является, а именно — благочестиво-хитроумной интерполяцией. Девушка Аснат была родной дочерью Потифара и его жены, чистокровной египтянкой, и сыновья, которых она потом подарила Иосифу, его наследники Ефрем и Манассия, были самыми обыкновенными полуегиптянами, — и пусть думают об этом все, что угодно. Но и это еще не все. Благодаря своей женитьбе на дочери Солнца сын Израиля приблизился к храму Атума-Ра, приблизился как жрец, что тоже входило в намерения фараона, когда он затевал этот брак. Было почти невыносимо, чтобы человек, занимающий такой высокий, как у Иосифа, государственный пост, не подвизался одновременно в качестве высокопоставленного жреца и не получал доходов от храма, и как супруг Аснат, Иосиф тоже делал то и другое, что бы там ни говорили по этому поводу: он стал, грубо выражаясь, владельцем идолопоклоннического прихода. В парадном его гардеробе была теперь леопардовая шкура, и при случае, как лицу официальному, ему приходилось кадить кумиру, соколу Горахте с солнечным диском на голове.

С тех пор мало кто вникал в эти вещи, и многие, наверно, поразятся, услышав, как их называют своими именами. Но для Иосифа явно наступила пора дозволений, и можно не сомневаться, что он сумел уладить все это с тем, кто отторг его от семьи, переселил в Египет и там вознес. Может быть, Иосиф предполагал в нем приверженность к философии треугольника, согласно которой жертва, принесенная на алавастровый стол предупредительного Горахте, не наносит ущерба никакому другому божеству. В конце концов речь шла не о первом попавшемся храме, а о храме владыки широкого горизонта, поэтому Иосиф мог повернуть дело так, что, мол, ошибкой и глупостью, то есть грехом, было бы как раз навязывать богу его отцов более узкий горизонт, чем Атому-Ра. И наконец, нельзя забывать, что из этого бога недавно вышел Атон, которого, — как соглашался Иосиф с фараоном, — молясь, нужно было называть не Атоном, а владыкой Атона и не «отче наш на небесах», а «отче наш в небесах». Вот на что мог сослаться отторгнутый от дома и вознесшийся на чужбине Иосиф, когда в определенных, не частых, впрочем, случаях надевал свою леопардовую шкуру и шел кадить.

Своеобразен был жребий первенца Рахили, отчужденного любимца Иакова. Дарованная ему индульгенция была уступкой мирским обстоятельствам, которые, со своей стороны, помешали образоваться «колону Иосифа», как образовались колена Иссахара, Дана и Гада. Его роль и задача в замысле были ролью и задачей перенесенного в большой мир хранителя, кормильца и спасителя рода, как мы увидим, и все говорит за то, что он сознавал или, во всяком случае, чувствовал эту миссию, видя в мирской своей отчужденности не отверженность, а лишь целенаправленную обособленность, и что на этом-то и основывалась его вера в снисходительность владыки замыслов.

## У Иосифа свадьба

Итак, девушка Аснат была послана с двадцатью четырьмя особо отобранными рабынями вверх в Менфе, в дом Иосифа, на девственную свадьбу, куда из Она поднялись и ее высокопреподобные, убитые непостижимым разбоем родители и куда из Новет-Амуна спустился сам фараон, чтобы, участвуя в таинствах этого бракосочетания, собственноручно передать своему фавориту его редкостную невесту и, как опытный

супруг, снова заверить его, что женитьба сулит много приятного. Надо заметить, что из двадцати четырех молодых и красивых служанок, прибывших с Аснат и вместе с ней перешедших в собственность Темного Жениха, что невольно наводит на мысль о приближенных царя, которых прежде заживо с ним хоронили, — что двенадцать из них обязаны были ликовать, рассыпать цветы и играть на музыкальных инструментах, а другие двенадцать — плакать и колотить себя в грудь; ибо свадебные церемонии, происходившие в доме славы Иосифа и особенно в освещенном факелами квадрате фонтанного двора, куда выходили все комнаты, — эти обряды очень смахивали на похороны, и если мы не описываем их во всех подробностях, то причиной тому некая оглядка на старого Иакова, который так ошибочно считал своего любимца, навек семнадцатилетнего, сокрытым смертью и при виде многого из того, что сейчас учинялось на его свадьбе, всплеснул бы руками. Это подтвердило бы его достопочтенные предубеждения против «Мицраима», Страны Ила, и их-то мы и надеемся до некоторой степени пощадить, описывая эти обряды без обстоятельности, которая была бы равнозначна их одобрению.

За его спиной можно признать, что между свадьбой и смертью, брачным ложем и могилой, лишением девственности и убийством существует известное родство — отчего в каждом женихе есть что-то от умыкающего свою жертву бога смерти. Сходства между судьбой девушки, закутанной жертвы, переступающей важный жизненный рубеж между девичеством и замужеством, и судьбой зерна, брошенного в недра земли, чтобы оно там истлело и вышло из тленья на свет таким же девственным, как прежде, зерном, — сходства этого, конечно, нельзя отрицать; и срезанный серпом колос — это печальная аллегория насильственной оторванности дочери от матери, — которая, впрочем, тоже когда-то была девой и жертвой и тоже была срезана серпом, так что в судьбе дочери оживает заново ее собственная судьба. Поэтому в продуманном управляющим Маи-Сахме убранстве дома, вернее, окаймленного колоннадой фонтанного двора, серп играл заметную роль; столь же значительную роль играли в зрелищах, показанных гостям перед свадебным пиром и после него, зерно, семена: мужчины высыпали его на каменные плиты и под определенные возгласы поливали из заранее приготовленных кувшинов водой; женщины носили на голове сосуды, один отсек которых был наполнен семенами, тогда как в другом горела свеча. Ведь праздник этот протекал вечером, и что в увешанных пестрыми тканями и украшенных миртовыми ветками помещениях горело много факелов, было в порядке вещей. Но этих огней, почти неизбежно создающих представление, будто они должны освещать покои, куда дневному свету нет доступа, было здесь такое подчеркнутое обилие, что оно, конечно же, не вызывалось практической необходимостью и находилось в прямой связи с упомянутым представлением. В каждой руке по факелу или в одной руке два носила время от времени мать невесты, жена Потифара, если ее можно назвать так, не вызвав недоразумения, трагического вида женщина, с головы до ног закутанная в темно-фиалковую одежду, и факельщиками были все мужчины и женщины, участвовавшие в большом шествии, главном акте праздника, которое следовало сначала через все комнаты дома, а затем, в фонтанном дворе, где как высочайший гость, в самой небрежной позе, между Иосифом и закутанной в такое же, как у матери, фиалковое покрывало Аснат, сидел фараон, — развертывалось или, вернее, свертывалось в искусную и действительно достопримечательную факельную пляску; двигаясь налево девятью витками спирали, хоровод дымящих огней кружился вокруг фонтана; и то, что через руки пляшущих, повторяя все изгибы вращающегося лабиринта, пробегала красная лента, не помешало им увенчать свой выход подлинным фейерверком ловкости, когда они стали перебрасывать факелы из центра винта к его краям и обратно, без единого промаха.

Нужно увидеть это воочию, чтобы представить себе весь соблазн поведать об этом подробнее, чем того требует наше намерение соблюдать при описании свадьбы Иосифа сдержанность — из бережного уважения к старику, которого, окажись он здесь, многое,

конечно, повергло бы в ужас. Но ведь он был далеко и был защищен представлением о вечной семнадцатилетности Иосифа. К тому же с чисто зрелищной стороны ловкая игра факелами, несомненно, доставила бы ему удовольствие, если бы даже остальное и не пришлось ему по душе. Его склад ума был отцовским, и он, мягко сказать, не одобрил бы той заметной роли, которую играло на свадьбе его сына начало материнское, мнимоограбленная и сама в лице своей дочери похищенная, гневная и грозная мать девушки Аснат. Сказывалось это, в числе прочего, и в том, что мужчины и юноши, участвовавшие в спиральной пляске и в шествии, по крайней мере большинство их, были одеты по-женски, точнее говоря, так же, как невеста-мать, — а это в благочестивых глазах Иакова было бы, конечно, бааловской мерзостью. Они явно отождествляли себя с ней, мысленно перевоплощались в нее; закутанные в такие же фиалковые покрывала, как негодующая родительница, они тоже изображали негодование, время от времени беря факел в левую руку и грозно размахивая кулаком правой руки, что казалось особенно страшным из-за надетых ими масок, непохожих, правда, на почтенное лицо супруги Потифара, но леденивших сердце выражением злости и скорби — а тут еще размахиванье кулаками. Кроме того, у многих под покрывалом были поддельные, большие, как у беременных, животы — что изображало не то мать, все еще или снова уже носящую под сердцем девушку-жертву, не то дочь с новой девушкой-жертвой под сердцем, — они, наверно, и сами толком не знали, кого именно.

Мужчины и юноши с поддельными животами — это, конечно, было не для Иакова бен Ицхака, да и мы не хотим, чтобы в обстоятельности нашего отчета об этом усматривали одобрение подобных обрядов. Но для Иосифа, обособленного и пущенного в мир Иосифа, наступило время вольностей; сама его свадьба была одной из больших вольностей, и в определяющем этот час духе дозволения и снисходительности повествуем мы о ее подробностях.

А они были, таким образом, отчасти веселого и озорного, отчасти же похоронного свойства — подобно тому как листья мирта, которыми, помимо покоев, были украшены все участники праздника (у иных были целые пучки миртовых веток в руках) — это принадлежность богов любви и мертвецов одновременно. Ликовавших и веселившихся под звуки кимвалов и бубнов в большом шествии было столько же, сколько таких, которые по всем правилам изображали горе и скорбь, ведя себя в точности так, словно они шагали в похоронной процессии. Надо, однако, добавить, что радость и скорбь участников праздника имели определенную градацию. Что касается скорби, то некоторые группы ограничивались, например, намеком на состояние неприкаянности и скитальчества: с заплечными мешками, опираясь на посохи, довольно-таки безутешно ковыляли они мимо царского кресла, мимо новобрачных и мимо высокопреподобных родителей, но при этом не голосили и не выжимали из себя слез. Различные степени наблюдались и в изображении веселья. Оно принимало отчасти импозантные, полные достоинства формы, и приятно было глядеть, например, как люди расставляли перед почетными креслами прекрасные глиняные кувшины и торжественно опрокидывали их на восток и на запад, хором выкликая при этом — одни: «Излейся!», другие: «Восприми благодать!» Это было прекрасно. Но очень часто, и в течение вечера все больше и больше, радость и смех приобретали иную окраску, где задняя мысль всякого свадебного торжества, мысль о естественно-предстоящем, грубо прибавалась наружу; иными словами, идея мерзостного разбоя и убийства и идея плодородия смыкались друг с другом в своем непристойном аспекте, так что не было недостатка ни в прозрачных намеках, ни в подмигиваньях, ни в скользких недомолвках, ни в громком смехе над негромкими сальностями. Были в свадебном шествии и животные: лебедь и конь, при виде которых невеста-мать плотнее закутывалась в пурпуровое свое покрывало. Но что сказать по поводу того, что среди этих тварей имелась и супоросая свинья, к тому же со всадницей — толстой, полуобнаженной старухой самого двусмысленного вида, не перестававшей отпускать бесстыдные шутки? Неприличная эта наездница играла в

свадебной церемонии хорошо знакомую, популярную и важную роль, да и раньше она уже играла ее, поскольку прибыла с матерью Аснат из Она и уже в дороге, чтобы развеселить убитую горем, прожужжала ей уши непристойными шутками. Такова были ее роль и обязанность. Она звалась «утешительницей» — этим прозвищем, выполняя обычай, величали ее со всех сторон, и она отвечала на него грубыми жестами. В течение всего вечера она почти не отходила от принципиально безутешной матери, стараясь ее все же утешить, то есть нашептывая скабрёзности, запас которых был поистине неистощим, рассмешить. И это ей удавалось, потому что должно было удаваться: слушая ее шепот, оскорбленная, охваченная отчаянием и гневом мать нет-нет да и прятала смех в складках своего скорбного покрывала, и когда это случалось, все раздражались смехом и шумно приветствовали искусную «утешительницу». Но поскольку горе и гнев матери были в основном лишь традиционно-показными, то надо полагать, что и смех ее был всего-навсего уступкой обычаю и что, дай она волю своим чувствам, нашептыванья «утешительницы» вызвали бы у нее лишь отвращенье. Непритворной веселостью ее могла быть разве только в той мере, в какой непритворна естественная, а не мифически преувеличенная грусть матери, отдающей замуж дочь.

После всего этого, во всяком случае, понятно наше намерение не слишком распространяться насчет подробностей свадьбы Иосифа. Если мы своему намерению не верны, то вовсе не потому, что одобряем такие обряды. Да и на самих молодых, подавших друг другу руки на коленях у фараона, весь этот спектакль почти не произвел впечатления, и они куда больше глядели друг на друга, чем следили за неизбежным ритуалом праздника. Иосиф и Аснат очень понравились друг другу и прониклись взаимным расположением с первого взгляда. Разумеется, при таком, решенном другими представительном браке любовь отнюдь не первое дело; она должна прийти, и со временем, при доброй воле обеих сторон, приходит. Ей очень помогает уже одно сознание заданной связанности, но в этом случае условия для ее возникновения были просто на редкость благоприятны. Не только по терпеливому своему безволию с готовностью принимала Аснат свой жребий, то есть похитителя и убийцу ее девственности, который, схватив ее за специально для этого созданную тонкую талию, уносил ее в свое царство. Темно-прекрасный, умный и приветливый фаворит фараона внушал ей приязнь, способность которой перерасти в более глубокую близость не вызывала у нее сомнений, и мысль, что он должен стать отцом ее детей, была подобна раковине, выращивающей жемчужину любви. Так же обстояло дело и с обособленным от своего клана Иосифом в его состоянии чрезвычайной вольности. Он восхищался богом, поражаясь щедро мирской непредубежденности этого повеленья — как будто вечная мудрость не отдавала просто-напросто должного его собственной открытости миру — и предоставлял Ему уладить вытекающий из этого повеленья щекотливый вопрос об отношении детей Шеола к избранному народу. Но не нужно сетовать на вышедшего из девы жениха за то, что мысли его были заняты не столько ожидаемыми детьми, этой смесью бога и мира, сколько запретными доселе неизведанностями, которым они, во всяком случае, должны быть обязаны своим появлением на свет. Что было некогда злом и не могло состояться, было ныне добром. Но погляди на существо, благодаря которому зло становится добром, погляди на него, когда у него такие прислушивающиеся глаза и такое милое, янтарного цвета лицо, как у девушки Аснат, и ты почувствуешь, что полюбишь, нет, что ты уже любишь его.

Фараон шагал между ними, когда в конце праздника новообразованное факельное шествие, к которому присоединились теперь все гости, направилось под ликованье и плач масок, рассыпавших миртовые ветки и размахивавших кулаками, к спальне, где новобрачным были постелены цветы и тонкие ткани. Когда родители, бормоча заклинания, прощались у порога с Аснат, всадница-утешительница стояла позади жены Потифара, чуть наискось от нее, и шептала через плечо охваченной отчаянием и гневом матери такое, что та и сквозь слезы смеялась. И разве действительно не смешно и не

грустно то, чего по шаблону требует от людей телесное естество — скрепить любовь печатью, а в случае представительного брака — научиться любить? Колеблющимися тенями при свете лампы сливались смешное и возвышенное и в эту брачную ночь, когда девственность встретилась с девственностью и венец и покрывало наконец порвались — не без труда порвались. Ибо щитоносицей, упрямой девственницей была та, кого обнимали темные руки, «девушка», как ее называли, и с кровью и болью зачат был первенец Иосифа, Манассия, что значит: «Бог заставил меня забыть все мои узы и отчий дом».

## Омрачающие обстоятельства

То был первый год тучных коров и пышных колосьев — вообще-то счет годам велся от вступления на престол бога, но теперь среди детей Египта распространилось и это летосчисление. Исполнение началось еще до пророчества, но убедительно заявило оно о себе тогда, когда следующий год, значительно превзойдя богатством и благодатью прошлый, поднявшийся лишь над средним уровнем, оказался поистине обильным, счастливым, чудесным годом избыточных урожаев; Нил был очень высок и прекрасен — не слишком высок и совсем не так дик, чтобы уносить с собою поля земледельца; но и ни на одно деление глубиномерного шеста не ниже, чем надо бы, стоял он над нивами, тихо опуская на них свой тук, и на диво хороши были поля к концу посевной трети года, и на диво богатые хлеба были убраны в его третьей трети. Последовавший затем год выдался уже не такой роскошный; более или менее близкий к среднему уровню, вполне удовлетворительный, даже достойный похвал, он отнюдь не был поразительным годом. Но поскольку пятый год снова почти сравнялся со вторым и, во всяком случае, не уступал первому, а четвертый тоже заслуживал оценки «отлично», если не высшей, можно представить себе, как росла популярность Иосифа, начальника всего, что дает небо, и с какой радостной добросовестностью исполнялся всеми, не только его чиновниками, но и самими плательщиками, его закон о земельном налоге, отнимавший у хозяина прекрасную пятую часть урожая. «В каждом городе, — читаем мы, — он положил хлеб полей, окружающих его», — это значит, что зерно, собранное в окрестностях, из года в год стекалось в амбары волшебной предусмотрительности, которые во всех городах и на их окраинах построил Адон, — построил в не слишком большом, как оказалось, количестве; они наполнялись, и ему приходилось строить еще и еще — вот как прибывал оброк и вот как добр был тогда кормилец Хапи к своей стране. И скоплено было хлеба действительно столько, сколько песку морского, этим своим утверждением сказанье и песня ничуть не грешат против истины. Но когда они добавляют, что хлеб перестали считать, ибо не стало счета, то это уже восторженное преувеличение. Дети Египта никогда не переставали считать, писать и учитывать, — это было не в их натуре и произойти не могло. Даже запасы, обильем своим не уступающие морскому песку, были для этих поклонников белого павиана прекраснейшим поводом всласть испещрять папирус бесконечными слагаемыми, и что касается подробных ведомостей, которых Иосиф требовал от своих сборщиков и начальников житниц, — то их он получал самым неукоснительным образом.

Было пять лет избытка; но некоторые и даже многие насчитывали целых семь. Спорить из-за этого разнобоя бесполезно. Если часть наблюдателей высказалась в пользу пяти — это основывалось, возможно, на соответствии цифры пять священному числу избыточных дней года, а заодно и приспособленной к этому числу норме Иосифова налога. С другой стороны, пять лет тучности одним махом — праздник такой редкий, что хочется, не долго думая, украсить его числом семь. Возможно, стало быть, что семь приравняли к пяти, но даже чуть-чуть вероятней, что пять называли семью — рассказчик честно признается тут в своей неуверенности, так как не в его нраве говорить с видом

знатока о том, чего он толком не знает. Поэтому нельзя, конечно, с уверенностью сказать, сколько лет было Иосифу в определенный момент последовавшей затем поры голода — тридцать семь или уже тридцать девять. Несомненно лишь то, что ему было тридцать, когда он стоял перед фараоном — несомненно для нас и по существу; ведь сам он едва ли мог дать на этот счет точную справку; и было ли ему, значит, в тот более поздний, волнующий момент далеко за тридцать или уже почти сорок — об этом он, как дитя своих широт, конечно, не очень задумывался, или даже вообще не задумывался, что и примиряет нас с собственной неосведомленностью.

Во всяком случае, он достиг тогда зрелого возраста, и если бы его мальчиком похитили не в Египет, а в Вавилонию, он давно бы уже носил черную, завитую и умощенную бороду — которая пришлась бы ему весьма кстати при некоей игре в прятки. Тем не менее мы, пожалуй, благодарны египетскому обычаю, оставившему лицо Рахили без бороды. Если упомянутая игра могла длиться так долго, то это показывает, как все же преобразили резец времени, новизна материи, наконец, чужое солнце неизменный чекан.

До того как Иосифа вытащили из второй ямы и он предстал перед фараоном, внешность его оставалась более или менее юношеской. Теперь, после женитьбы, в тучные годы, когда бог дал ему с девушкой Аснат детей и та, на женской половине его менфийского дома, родила ему сперва Манассию, а после Ефрема, он немного отяжелел, вернее, несколько раздался, но отнюдь не обрюзг: рост его был достаточно высоким, чтобы сгладить эту прибавку в весе, а властность его осанки, смягченная веселым лукавством глаз и приятным выражением спокойно, как у Лавановой дочери, улыбающихся губ, тоже способствовала тому, чтобы о нем всегда говорили: «Редкостной красоты мужчина! Чутьочку, может быть, полноват, но определенно хорош!»

Его полнота вполне отвечает духу этой эпохи изобилия, склонность которой к поразительно повышенной жизнедеятельности сказывалась во всем. Дала она себя знать, в частности, в животноводстве, где резко возросла плодовитость, напоминая человеку образованному древние слова песни: «Дважды в году будут козы с приплодом, овцы твои приносить будут двойню». Но и женщины Египта, и в городах, и на ровной земле, вероятно, просто благодаря хорошему питанию — рожали гораздо чаще обычного. Правда, природа, пользуясь невнимательностью переобремененных обязанностями матерей и насылая на грудных младенцев неведомые дотоле болезни, ответила на это повышением детской смертности, чтобы предотвратить перенаселенность. Но уж зато жизнь была теперь ключом.

Отцом стал и фараон — владычица стран была беременна уже и в день толкования снов, но ее счастливые роды угодно было отнести к исполнению пророчества. На свет появилась дорогая принцесса Меритатон — красоты ради врачи, едва не переусердствовав, удлинители ей сзади податливый еще череп, и ликованье во дворце и по всей стране было тем громче, что за ним скрывалась разочарованность приобретением принцессы, а не престолонаследника. Этим путем он так никогда и не был приобретен, всю жизнь у фараона рождались только дочери, всего их было шесть. Никто не знает, каким законом определяется пол живого существа; налицо ли он у зародыша сразу или только позднее, после некоторой неопределенности, перевешивает та или другая чаша весов, — об этом мы ничего резонного не можем сказать, что неудивительно, поскольку даже мудрецы Вавилона и Она не имели на этот счет никаких, ну хотя бы тайных сведений. Но трудно избавиться от чувства, что исключительно женское, так сказать, отцовство Аменхотепа не было чистой случайностью, а в какой-то мере соответствовало натуре этого привлекательного правителя.

Оно, если даже в этом и не признавались, не могло не омрачать его супружеского счастья, хотя тон, разумеется, задавала бережная взаимная неясность, поскольку и в

самом деле оба могли сказать друг другу то, что сказал когда-то Иаков нетерпеливой Рахили: «Разве я бог, который не хочет дать тебе того, чего ты так жаждешь?» Одну из сладчайших принцесс, четвертую, назвали даже из чистой нежности прозвищем царицы стран — Нефернефруатон. Но то, что пятую назвали почти так же, а именно Нефернефрура — это свидетельствует уже об известном ослаблении наскучившей, видимо, изобретательности. Имена остальных, придуманные в иных случаях очень любовно, мы знаем тоже как нельзя лучше; но, разделяя легкую досаду на женское однообразие их вереницы, мы не испытываем никакого желания их приводить.

Если учесть, что во главе солнечного дома все еще стояла Великая Мать Тейе; что у царицы Нофертити была сестра Незенмут; что у царя тоже была сестра, Сладчайшая Принцесса Бакетатон и что к ним с годами прибавилось шесть дочерей царя, то получится картина настоящего бабьего царства, где единственным мужчиной был болезненный Мени и которое как-то не соответствовало его фениксовским мечтам о нематериальном отцовском духе света. Невольно вспоминается одно из лучших замечаний, сделанных Иосифом во время Великой Беседы, — что сила, устремляющаяся снизу вверх в чистоту света, должна быть действенной силой, мужским началом, а не сплошной нежностью.

Царское счастье Аменхотепа и его «золотой голубки», Сладчайшей Владычицы стран, слегка омрачалось, таким образом, тем, что у них не было сына. Счастливы был и разбойничий брак Иосифа с девушкой Аснат, счастлив и гармоничен — с одним, однако, ограничением противоположного свойства. Им суждено было иметь только сыновей: одного, двух, а потом и больше, на которых уже не падает свет нашей истории; но все шли сыновья, и если у похищенной это вызывало огорчение и разочарование, то как же было не огорчаться и ее супругу, который с радостью сотворил бы ей хотя бы одну дочь, когда бы человеку дано было творить, а не только производить на свет. Аснат была просто помешана на дочери, вернее, на дочерях, ибо предпочла бы иметь одних дочерей. Ей страстно хотелось родить заново щитоносную деву, которой она была; ничего она так горячо не желала, как воскресения девушки из смерти своей девственности, и поскольку в этом желании ее упорно и непрестанно укрепляла ограбленная и гневная мать, — как тут было не появиться пусть легкому, но непреходящему, хотя, конечно, сдерживаемому в границах приязни и уваженья, недовольству браком?

Сильнее всего оно сказалось, пожалуй, в самом начале, когда родился старший сын Иосифа, — разочарование было безмерно, его можно смело назвать преувеличенным, и возможно, что какая-то доля раздраженности Иосифа обрушившимися на него упреками вкралась в имя, которое он дал мальчику. «Я забыл, — как бы говорило оно, — отчий свой дом и все, что у меня позади, а ты и твоя обиженная мать — вы ведете себя не только так, словно тебя постигла полная неудача, но и так, словно я во всем виноват!» Таков примерно был, по-видимому, смысл поразительного имени «Манассия», но слишком серьезного значения этому имени и тому, что оно утверждало, не следует придавать. Если бог заставил Иосифа забыть все его связи с прошлым и отчий дом, почему тот же Иосиф вздумал дать своим родившимся в Египте сыновьям еврейские имена? Потому что считал, что в дурацкой стране внуков такие имена покажутся изящными? Нет! А потому, что сын Иакова, даже если он давно жил в совершенно египетской оболочке, не только ничего не забыл, но неизменно носил в душе именно то, в забвенье чего он себя упрекал. Имя «Манассия» было не чем иным, как словесным знаком вежливости и того противоположного глупости такта, который Иосиф с успехом проявлял всю свою жизнь. То было членораздельное признание отрешенья, обособленья и переселенья в мир, назначенного ему богом по двум причинам. Первой была ревность, второй — план спасенья. Насчет второй Иосиф мог только строить догадки; зато первая была ему при его уме совершенно ясна, и ума у него хватило даже настолько, чтобы разглядеть, что причина это действительно первая, а вторая — лишь подвернувшаяся возможность

соединить страсть и мудрость. Слово «разглядеть» может показаться неприличным — имея в виду объект. Но есть ли занятие более религиозное, чем изучение душевной жизни бога? Нельзя прожить, не идя навстречу высшей политике политикой земной. Если все эти годы Иосиф, словно мертвец, нет, будучи мертвецом, не подавал отцу голоса, то руководствовался он продуманной политикой, тонким проникновением в вышеупомянутую душевную жизнь; точно так же обстояло дело и с именем его первенца. «Если нужно забыть, — как бы говорит это имя, — изволь, я забыл!» Но он не забыл.

На третьем году изобилия появился на свет Ефрем... Мать, то есть девушка, сначала не хотела даже взглянуть на него, да и теща была больше чем недовольна. Но Иосиф совершенно спокойно дал ему имя, которое значило: «Бог позволил мне вырасти в стране моего изгнания». Это он мог и в самом деле сказать. В сопровождение скороходов, под славословья величавших его Аденом жителей Менфе, разъезжал он в легкой повозке между роскошным особняком, которым управлял Май-Сахме, и своим служебным помещением в центре города, где трудились триста писцов, и собирал в амбары зерно в таком количестве, что его уже и сосчитать было почти невозможно. Он был великим начальником и Исключительным Другом Великого Царя. Аменхотепу Четвертому, который, успев, к злобной досаде карнакского храма, сложить с себя свое амуновское имя и принять взамен имя Эх-н-Атон («Это благоугодно Атону»), подумывал уже о том, чтобы вообще покинуть Фивы и, самочинно основав новый, целиком посвященный Атону город, сделать его своей резиденцией, — фараону хотелось видеть Тенистую Сень ученья как можно чаще, чтобы обсуждать с ним горние дела и дела дольные, и если великому сановнику Иосифу приходилось по многу раз в году, то по суше, то по воде, ездить в Новет-Амун на доклад к Гору, во дворец, где они потом долгие часы задушевно беседовали, то и фараон, посещая золотой Он или выезжая на поиски подходящего места для своего нового города, города горизонта, неукоснительно заезжал в Менфе и останавливался у Иосифа, что всегда доставляло много хлопот домоправителю Май-Сахме, хотя и не лишало его спокойствия.

Дружба между нежным потомком строителей пирамид и сыном Иакова, основа которой была заложена некогда в критской беседке, переросла за эти годы в такую сердечную близость, что молодой фараон называл Иосифа «дядюшкой», обнимал и похлопывал его по спине. Этот бог любил простоту, а Иосиф, по врожденной своей сдержанности, соблюдал в их дружбе вежливую дистанцию, часто смеша царя своей церемонностью даже в самые интимные минуты. Их отцовское невезение, то, что у одного родились лишь дочери, а у другого лишь сыновья, служило им не раз предметом бесед. Но недовольство его щитоносной девственницы и ее гневной матери не очень мешало Иосифу радоваться подраставшим у него на мирской чужбине внукам Иакова, а отсутствие престолонаследника редко в ту пору печалило фараона, пребывавшего в самом веселом расположении духа. Ведь в материнском царстве черноты все шло чудесно, так что его авторитет учителя отцовского света значительно укрепился, и он мог благоденствовать под сенью процветания, провозглашая бога, которого возлюбил душой и всячески, в беседах и в одиночестве, старался как можно лучше придумать.

Когда он так, уточняя и сравнивая, обсуждал с Иосифом священные свойства отца своего Атона, это напоминало богословско-дипломатические переговоры, которые когда-то проходили в Салеме между Авраамом и Мелхиседеком, священником Эль-эльона, всевышнего или даже единственного бога, и установили, что этот Эль совершенно то же или примерно то же лицо, что бог Авраама. И как раз тогда, когда беседа приближалась к подобному соглашению, придворная чопорность, от которой при общении со своим высоким другом Иосиф никогда не был вполне свободен, особенно заметно давала себя знать.

## РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

### «ФАМАРЬ»

#### Четвертый

Женщина сидела у ног Иакова, богатого историями старика, в дубраве Мамре, что в столичном Хевроне или поблизости от него, в стране Канаан. Они часто сидели на этом месте — будь то в волосяном доме, у входа, там же, где отец когда-то сидел со своим любимцем и тот выманил у него разноцветное покрывало, будь то под деревом наставленья или у края соседнего колодца, где мы впервые, при луне, встретили этого хитрого мальчика и где, как мы видели, опираясь на посох, с тревогой искал его глазами отец. Почему же это, здесь ли, там ли, сидит с ним, подняв к нему лицо, женщина и слушает его речь? Откуда взялась женщина, молодая и строгая, которую так часто можно увидеть у его ног, и что же это за женщина?

Имя ее было Фамарь... Оглядывая лица наших слушателей, мы замечаем лишь на очень немногих, всего на нескольких, проблеск осведомленности. Подавляющее большинство тех, кто пожелал узнать все подробности этой истории, явно не знает или не помнит даже главных ее фактов. Нам следовало бы на это посетовать, — если бы такая общая неосведомленность не была, с другой стороны, приятна и на руку повествователю, так как придает его занятию большую важность, Вы, значит, и вправду не помните, то есть никогда, насколько вам известно, не знали, кто такая Фамарь. Сначала ханаанская женщина, туземка и больше никто, а потом сноха Иегуды, сына Иакова, четвертого отпрыска, внучатная, так сказать, невестка благословенного; но прежде всего его почитательница и его ученица в науке о мире и боге, ловившая каждое его слово и взиравшая на торжественное его лицо с таким благоговением, что сердце осиротевшего старика тоже широко открылось ей и он даже немного влюбился в нее.

Ибо в ней своеобразно смешались строгость и религиозная истовость (которой нам еще придется дать более сильное определение), с одной стороны, и душевно-телесная тайна астартической привлекательности, с другой, — а известно, до сколь преклонного возраста чутки к этим качествам природы, с нежностью и достоинством преданные своим чувствам.

После смерти Иосифа, вернее, в силу этого душераздирающего и казавшегося сперва совершенно неприемлемым переживанья, Иаков стал еще величавее. Как только он свыкся со своей бедой, как только его спор с богом исчерпал себя, а жестокая воля этого бога проникла в его поначалу судорожно запершуюся от нее душу, она обогатила его жизнь, пополнила запас его историй, делая его задумчивость — если он впадал в задумчивость — еще выразительней, еще совершенней по живописности, чем она и всегда была, так что при виде ее люди благоговейно робели и шептали друг другу: «Глядите, Израиль вспоминает свои истории!» Выразительность поражает, с этим уж ничего не поделаешь. Связь, существующая тут, неразрывна, и выразительность, пожалуй, всегда немного старается поразить, но в этом нет ничего смешного, если дело идет не о пустом фиглярстве, а налицо подлинное богатство историями и выразительность говорит лишь о подлинно пережитом. Тогда уместна разве что почтительная улыбка.

У туземки Фамари не было и этой улыбки. Ее глубоко поразила величественность Иакова, как только она, Фамарь, вошла в его крут, что произошло вовсе не благодаря Иуде,

четвертому сыну Лии, и его сыновьям, два из которых, один за другим, были женаты на ней. Это, как и сопутствовавшие обстоятельства, жуткие и полузагадочные, то есть гибель обоих сыновей Иуды, — известно. Но неизвестно, поскольку хроника обходит это молчанием, отношение Фамари к Иакову, а оно было неременной предпосылкой того любопытного побочного эпизода нашей истории, который мы вставляем сейчас в свою повесть и который еще раз напоминает нам, что и вся эта история, заслуживающая, пожалуй, эпитета «соблазнительная», поскольку она соблазняет нас пуститься в такие подробности, — история Иосифа и его братьев, — тоже представляет собой лишь привлекательную вставку в эпос несравненно больших размеров.

Было ли у Фамари, туземки, дочери простых бааловских землепашцев, что жила в эпизоде некоего эпизода, представленье об этом факте? Отвечаем: конечно, было. Ее неприличное и вместе с тем великолепное, проникнутое глубокой серьезностью поведение тому доказательством. Недаром дважды, с известной навязчивостью, слетало у нас с языка слово «вставка». Оно — девиз этого часа. Оно было паролем и девизом Фамари. Самое себя хотела она вставить — и с поразительной решимостью вставила — в большую историю, в величайшее бытие, от которого, узнав о нем от Иакова, не давала отставить себя, чего бы ей это ни стоило. Не вырвалось ли уже у нас и слово «соблазнить»? Вырвалось, и неспроста. Это тоже девиз. Ибо, соблазнив, вставила себя Фамарь в ту большую историю, одним из вставных эпизодов которой является эта; она сыграла роль обольстительницы и придорожной блудницы, чтобы только не быть отставленной, и, не щадя себя, унизилась, чтобы возвыситься... Как это было?

Когда именно, по тому или иному пустяковому поводу, получила Фамарь впервые доступ к боголюбивому Иакову и прониклась благоговением перед ним, — этого никто толком не знает, — возможно, что это случилось еще до смерти Иосифа; и уже не без содействия Иакова была она принята в род и отдана в жены первенцу Иуды, юному Иру. Но сердечным и каждодневным общенье между стариком и Фамарью стало, во всяком случае, после этого страшного удара, когда Иаков медленно и нехотя оправился от него и ограбленное его сердце втайне уже искало нового чувства. Тогда он впервые заметил Фамарь и приблизил к себе ради ее восхищенья.

Тогда почти все одиннадцать его сыновей были уже женаты, старшие давно, младшие недавно, и имели детей от своих жен. Вскоре подошла очередь даже Вениамина-Бенони, сыночка смерти: как только он перестал быть карапузом и возмужал, лет через семь после того, как он потерял своего единоутробного брата, Иаков пристроил его, высватав ему сначала Махалию, дочь некоего Арама, слывшего «внуком Фарры», а значит, потомком Авраама или одного из его братьев; а потом еще девушку Арбафь, дочь человека по имени Симрон, которого называли не больше не меньше как «сыном Авраама», подразумевая под этим, что он ведет свой род от Авраамова семени со стороны какой-то побочной жены. В родословных невесток Иакова было немало прикрас и вымыслов, на которых ради кровного единства религиозного рода более или менее упорно настаивали, хотя надежной основы они не имели, да и пускались в ход только в отдельных случаях. Жен Левия и Иссахара считали «внучками» Евера, — возможно, они ими и были; при этом они вполне могли происходить от Ассура или Элама. Гад и быстроногий Неффалим, по примеру отца, привезли себе жен из Харана, из Месопотамии, но что они действительно были правнучками Нахора, Авраамова дяди, — этого они сами не утверждали, это им приписывали. Лакомка Асир женился на смуглянке из племени Измаила — тут было как-никак родство, хотя и сомнительное. Завулон, от которого можно было ожидать женитьбы на финикийке, на самом деле вступил в брак с мидианиткой — корректный, следовательно, лишь постольку, поскольку Мидиан был сыном Хеттуры, второй жены Авраама. Но разве большой Рувим не взял уже себе в жены просто-напросто ханаанянку? Так же поступил, как мы знаем. Иуда, и так же поступил Симеон, ибо его Буна была похищена из Шекема. Что касается Дана, сына Валлы, которого

называли змеем и аспидом, то его жена была, как известно, моавитянкой, из племени, иными словами, того Моава, которого родила от собственного отца, то есть братом своим, старшая дочь Лота. Это был тоже не такой уж безупречный союз, да и о кровном родстве тут не могло быть речи, потому что Лот был не «братом» Аврама, а только его прозелитом. Впрочем, он тоже происходил от Адама, и даже, несомненно, от Сима, коль скоро прибыл из Междуречья. Кровное родство всегда можно обнаружить, если твое поле зрения достаточно широко.

Итак, все сыновья, как мы знаем, «привели жен своих в отчий дом», а это значит, что по мере того как шли дни, стойбище вокруг волосяного дома Иакова, в роще Мамре, близ Кириаф-Арбы и наследственной усыпальницы, выросло, и потомки, согласно обетованию, так и кишели у колен Иакова, когда величественный старик это разрешал, а он по доброте своей это порой разрешал и ласкал внуков. Ласкал же он главным образом детей Вениамина, ибо Туртурра, коренастый парнишка, все с теми же доверчивыми серыми глазами и металлически блестящим шлемом густых волос, стал вскоре отцом пятерых сыновей, рожденных ему его арамеянской, и одновременно других малышей, которых приносила ему дочь Симрона, а Иаков оказывал предпочтение внукам Рахили. Но, не считаясь ни с их наличием, ни с отцовским достоинством Бенони, он обращался со своим младшим все еще как с ребенком, опекал его, как малолетнее дитя, и всячески ограничивал его свободу передвиженья, чтобы с ним ненароком не случилось беды. Он редко отпускал даже в город, в Хеврон, даже в поле, а не то что в поездку по стране, того, кто остался у него от Рахили, которого он любил, правда, далеко не так, как Иосифа, так что мог не опасаться из-за него ревности сверху, но который, когда тот, прекрасный, погиб в пасти дикого зверя, стал единственным сокровищем его тревоги и его недоверья, отчего Иаков поистине не спускал с него глаз и не мог и часа прожить, не зная, где Вениамин и что он делает. Тот с грустной покорностью сносил этот надоедливый надзор, не способствовавший его авторитету супруга, и, выполняя капризы Иакова, являлся к отцу по нескольку раз в день; ибо если он этого не делал, отец сам приходил поглядеть на него — приходил, опираясь на посох и хромя из-за раненого бедра, а между тем — и Вениамин, разумеется, это знал, ибо в двойственном поведении старика это сказывалось, — чувства, питаемые к нему Иаковым, были очень и очень противоречивы и представляли собой странную смесь бережности и злопамятства, поскольку отец, в сущности, не переставал видеть в нем матереубийцу, орудие, которым воспользовался бог, чтобы отнять у него, Иакова, Рахиль.

Имелось, правда, у Бенони и одно большое преимущество перед всеми живыми еще братьями — помимо того, что он был самым младшим; и для склонного к мечтательным ассоциациям Иакова преимущество это было, пожалуй, лишним поводом не отпускать Вениамина из дому; тот находился дома, когда Иосиф погиб в мире, а насколько мы знаем Иакова, эта равнозначность пребывания дома невинности, безусловному неучастию в злодеянии, совершенном вне дома, вполне могла приобрести в его уме символический характер, требовавший, чтобы Вениамин был всегда дома, в знак и в доказательство этой невинности, того, что только на него, младшего, не падало неумное, неизбывное подозрение, которым, как знали другие, томился Иаков, — подозрение, как они знали, оправданное, хотя и неверное — будто растерзавший Иосифа вепрь был зверем о десяти головах; и Вениамину надлежало оставаться «дома» в знак того, что уж одиннадцати-то голов у этого зверя наверняка не было.

А может быть, не было и десяти, о том знал бог, а богу вольно было молчать, и со временем, когда прошло много дней и много лет, этот вопрос потерял важность. Потерял прежде всего потому, что, перестав спорить с богом, Иаков постепенно пришел к мнению, что бог вовсе не заставлял его принести в жертву своего Исаака, а что он, Иаков, принес его в жертву по собственному почину. Покуда сильна была первая боль, эта мысль не приходила ему в голову; ему казалось только, что с ним поступили жестоко и

несправедливо. Но когда боль утихла, когда горе стало привычным, когда смерть показала свои преимущества, — ведь под ее защитой и в ее лоне вечно семнадцатилетнему Иосифу уже ничто не грозило, — эта мягкая, патетическая душа не на шутку уверовала в свою способность принести авраамовскую жертву. Иаков уверовал в это к чести бога и к своей собственной. Бог не ограбил его, как злодей, не выманивал у него хитростью самого дорогого, он только принял то, что ему сознательно и героически предложили, — самое дорогое. Хотите — верьте, хотите — нет, но Иаков убеждал себя в этом, он твердил себе в угоду своей гордости, что в тот час, когда он проводил Иосифа в Шекем, он совершил заклятие Исаака и добровольно, из любви к богу, пожертвовал тем, кого слишком сильно любил. Он не всегда в это верил — сокрушаясь и вновь проливая слезы, он порой признавался себе, что никогда не смог бы для бога оторвать от своего сердца того, кто был ему так дорог. Но желание верить в это иногда побеждало; а разве при таком желании не было более или менее безразлично, кто растерзал Иосифа?

Подозрение — да, конечно, оно все-таки оставалось, оно еще томило, хотя уже слабо и не ежечасно; в позднейшие годы оно порой засыпало и затихало. Жизнь под подозреньем, подозреньем наполовину ложным, сперва представлялась братьям более жалкой, чем она оказалась потом. Отношения их с отцом нельзя было не назвать добрыми. Он беседовал с ними и преломлял с ними хлеб; он принимал участие в их делах, в радостях и заботах их хижин, он глядел на них, и лишь иногда, лишь временами и уже довольно редко мелькала в стариковском его взгляде сопутствующая подозрению неискренность и мрачность, при виде которой они, запинаясь, опускали глаза. Но что из того? Человеку достаточно знать, что к нему питают недоверие, и он уже опускает глаза. Это не всегда означает сознание вины; в этом может выразиться и стыдливая невинность, и сочувствие к одержимому недоверием. И в конце концов подозрение надоедает.

От него в конце концов отмахиваешься, особенно если его подтверждение не изменит не только того, что однажды случилось, но и обетованного будущего, того, что есть и чему суждено быть. Пусть десятиглавый Каин, пусть братоубийцы, братья все равно были тем, кем они были, сыновьями Иакова, данностью, с которой надлежало считаться, Израилем. Имя, завоеванное им у Иавока, имя, из-за которого он хромал, Иаков решил и привык не относить к своей особе, а употреблять в более широком значении. Почему бы и нет? Ведь это было его имя, он упорно боролся за него до рассвета и, значит, имел право распоряжаться им по своему усмотрению. Израиль — так следовало впредь называть не только его самого, благословенного, но и всю его прямую и побочную родню от второго до самого что ни на есть последнего поколения, его потомков, его племя, его народ, который должен был стать несметным, как звезды и как песок морской. Дети, игравшие, когда им это разрешалось, у колен Иакова, — они были Израилем, он называл их обобщающим этим именем, называл к своему облегчению, потому что не мог запомнить всех их имен; особенно плохо запоминал он имена детей измаильтянских и чистокровно ханаанских жен. Но «Израилем» были и эти жены, в том числе моавитянка и рабыня из Шекема; и прежде всего, и в первую голову «Израилем» были их мужья, одиннадцать братьев, лишившиеся, правда, зодиакального своего числа из-за извечной братней вражды и героической жертвенности, но все же внушительно многочисленное содружество, сыновья Иакова, родоначальники тех несметных потомков, коленам которых они некогда тоже дадут свои имена, — важные люди пред господом, каковы бы ни были качества каждого и почему бы они ни опускали глаза перед подозрением. Не все ли это было равно, коль скоро они так или иначе оставались «Израилем»? Ибо Иаков знал задолго до того, как это было запечатлено письменами, — письменами это потому и запечатлено, что он это знал, — что, даже согрешив, Израиль всегда пребудет Израилем.

Но в Израиле, одиннадцатиглавым льве, одна голова наследовала благословение прежде других, как унаследовал его прежде Исава Иаков — а Иосиф был мертв. На одном держалось обетование, вернее, держалось бы, если бы Иаков дал кому-то благословение,

чтобы именно от него пришло то благо, которому отец давно искал имя и нашел неокончательное, не известное никому, кроме молодой женщины, что сидела у ног Иакова. Кто же из братьев был этим избранником, от которого ожидалось благо? Этим благословенным не по любви — ибо любовь умерла? Не старший, Рувим, который бушевал, как вода, и однажды уподобился бегемоту. Не Симеон и Левий, отъявленные грубияны, тоже имевшие на счету незабываемую провинность. Ведь в Шекеме они вели себя, как дикие язычники, и показали себя в городе Еммора настоящими головорезами. Эти трое были прокляты, поскольку Израиль вообще мог быть проклят; они отпадали. И следовательно, избранником должен был стать тот четвертый, который за ними следовал, — Иуда. Он им и стал.

## Астарот

Знал ли он, что он им был? Он мог высчитать это по пальцам, и он делал это часто буквально, но всегда испытывая страх перед своим преемничеством, мучительно сомневаясь в том, что он достоин его, и даже опасаясь, что оно в нем погибнет. Мы знаем Иегуду; мы видели среди голов братьев его страдальческую, с оленьими глазами, львиную голову еще в те времена, когда Иосиф был у отцовского сердца, и в часы гибели Иосифа мы тоже наблюдали за ним. На круг он вел себя в этом деле неплохо: не так хорошо, разумеется, как Вениамин, который был «дома»; но почти так же хорошо, как Рувим, не желавший мальчику смерти и выхлопотавший ему яму, чтобы его оттуда украсть. Но вытащить его из ямы и даровать ему жизнь — это было желание и предложение также Иуды; ведь именно он предложил продать брата, раз уж не удалось в эти времена поступить по образцу Ламеха из песни. Мотивировка Иуды страдала искусственностью и непринципиальностью большинства мотивировок на свете. Иегуда прекрасно понимал, что оставить мальчика погибать в дыре ничуть не лучше, чем пролить его кровь, и хотел спасти его. Если он, Иуда, опоздал, выступив со своим предложением уже после того, как измаильтяне сделали свое дело и освободили Иосифа, — тут была не его вина, и он мог сказать, что вел себя в этом проклятом деле сравнительно похвально, поскольку хотел помочь мальчишке удрать.

И все же это преступление мучило его больше, чем тех, кто и вовсе ничего не мог привести в свое оправдание, — да и как же могло быть иначе? Преступления следовало бы совершать только тупицам; им все нипочем, они продолжают жить как ни в чем не бывало, с них все как с гуся вода. Зло для тупиц. В ком есть хоть намек на тонкость, пусть лучше, если он только может, не прикладывает к злу рук, ибо он за это поплатится и никакие доказательства совестливого его поведенья в подобном деле ему не помогут: наказан он будет как раз из-за своей совестливости.

Иуду вина перед Иосифом и отцом мучила страшно. Он страдал от нее, ибо был способен страдать, как нам сразу сказали олени его глаза и четкие очертания тонких его ноздрей и полных губ, она приносила ему в наказание несчастья и беды — вернее, все свои несчастья и беды он объяснял ей, видя в них расплату за участие, за соучастие в преступлении — что свидетельствует уже о странном высокомерии совести. Ведь он же видел, что другие. Дан, скажем, Гаддиил или Завулон, не говоря уж о диких близнецах, отделались дешево, что они вышли сухими из воды и горя не знали, а это могло бы навести его на мысль, что беды, постигавшие его самого и его сыновей, может быть, вовсе не связаны с его участием или соучастием в преступлении, а порождены им самим. Но нет, ему хотелось, чтобы они были наказанием, выпавшим на долю ему одному, и он свысока глядел на тех, кто благодаря своей толстокожести был избавлен от мук. А это и есть своеобразное высокомерие совести.

Все выпавшие на его долю муки были отмечены знаком Астарот, и ему не приходилось удивляться, что они шли именно из этой области, поскольку он и прежде всегда был мучим владычицей, то есть подчинялся ей, нисколько ее не любя. Иуда верил в бога своих отцов, в Эль-эльона, Всевышнего, в Шаддаи, могущественного господина Иакова, скалу и пастыря, в Иагве, из чьих ноздрей, когда он гневался, вылетал пар, а из уст, сверкая, огонь. Он услаждал его запахами съедобных даров и всегда, когда это казалось уместным, приносил ему в жертву быков и молочных ягнят. Но кроме того, он верил и в племенных элохимов, — что было бы не так уж и страшно, если бы он только им не служил. Как поглядишь, сколь поздно еще и в сколь далекие от начал времена приходилось учителям с проклятьями убеждать народ Иакова отмежеваться от чужих богов, баалов и Астарот, и не участвовать в жертвенных пирах моавитян, проникаешься впечатлением досадной нестойкости и склонности к рецидивам вероотступничества вплоть до самого позднего колена и не удивляешься, что такой ранний, такой близкий еще к источнику отпрыск, как Иегуда бен Иекев, верил в Астарот, в эту необычайно популярную и повсеместно, хотя и под разными именами, почитаемую богиню. Она была его госпожой, он нес ее иго, такова была печальная — печальная для его ума и для его назначенья — действительность, так как же было ему не верить в нее? Он не приносил ей жертв, жертв в узком смысле слова, то есть не сжигал для нее быков и молочных ягнят. Но жестокий ее бодец добивался от него более печальных, более страстных жертв, жертв, которые он приносил ей не радостно, не с легким сердцем, а только по принуждению; ибо ум его не соглашался с его вождельем, и не было случая, чтобы, высвобождаясь из объятий какой-нибудь храмовой служительницы, он не сгорал от стыда и не предавался мучительнейшим сомнениям в своей пригодности к преемничеству.

Когда же братья сообща устранили Иосифа, Иуда стал считать муки Аштарти карой за свое злодеяние; ибо муки эти усилились, они не только терзали его изнутри, но и одолевали извне, и вернее всего будет сказать, что с тех пор он искупал свое преступление в аду — в одном из имеющихся на свете адов, в аду пола.

Многие подумают, наверно: ну, это еще не самый страшный ад. Но кто так думает, тому неведома жажда чистоты, а без такой жажды ада вообще нет, ни этого, ни какого-либо еще. Ад существует для чистых; это закон нравственного мира. Ведь ад существует для грешников, а погрешить можно только против своей чистоты. Будучи скотом, нельзя совершить грех и получить хоть какое-то представление об аде. Так уж устроено, и ад населен, несомненно, лишь самыми лучшими людьми, что, конечно, несправедливо, но что значит наша справедливость!

История женитьбы Иуды и браков его сыновей и их гибели в браке — история крайне странная, жуткая и, собственно, неясная, так что говорить об этом сплошь недомолвками приходится не только из деликатности. Мы знаем, что четвертый сын Лии рано женился, — этот шаг он сделал из любви к чистоте, чтобы, связав и ограничив себя, обрести мир; но тщетно: в расчет не были приняты госпожа и ее бодец. Его жене, чье имя до нас не дошло, — наверно, ее редко называли по имени, она была просто дочерью Шуи, того хананеянина, с которым Иуда познакомился через своего друга и главного пастуха Хиру из деревни Одоллам, — этой его жене приходилось много из-за него плакать и многое ему прощать, что несколько облегчалось, правда, счастьем материнства, трижды ей улыбнувшись, — недолгим счастьем, ибо мальчики, которых она дарила Иуде, были только поначалу милыми, а потом становились скверными — полбеда еще младший, Шела, родившийся не сразу после первых: он был только человеком болезненным; зато старшие, Ир и Онан, были вдобавок и скверными людьми, болезненно скверными и скверно болезненными, к тому же красивыми и притом наглыми, — словом, это была беда в Израиле.

Такие парни, как эти двое, болезненные и прожженные, но притом миловидные, — это в

таким месте анахронизм и свидетельство опрометчивой поспешности природы, которая на мгновение забылась, запомняла, что к чему. Иру и Онану жить бы в старом и позднем мире, одряхлевшем мире насмешливых наследников, скажем, в дурацкой земле Египетской. Не ко времени были они у самого истока устремленного вдаль становления и не могли не погибнуть. Это следовало понять Иуде, отцу их, чтобы никого, кроме, пожалуй, себя самого, который их породил, не винить. А он винил за их скверный нрав дочь Шуи, их мать, а себя лишь постольку, поскольку считал, что совершил глупость, взяв в жены коренную баалопоклонницу. А истребление своих сыновей он приписывал женщине, которой отдал их одного за другим в мужья и которую обвинил в том, что, служа Иштар, она уничтожает своих любимых и они умирают от ее любви. Это было несправедливо — и в отношении его жены, вскорости умершей от горя из-за всего этого, и, безусловно, в высшей степени несправедливо в отношении Фамари.

### Фамарь узнает мир

Да, это была Фамарь. Это она сживала у ног Иакова, сживала уже с давних пор, пораженная его внешностью, и внимала ученью Израиля. Она сидела всегда очень прямо, ни на что не опираясь, то на скамеечке, то на ступеньке колодца, то на узловатых корнях дерева наставленья, отведя плечи назад, вытянув шею, с двумя напряженными складками между бархатными бровями. Родом она была из окрестностей Хеврона, из маленького поселка на солнечном склоне горы, кормившегося виноградарством и отчасти скотоводством. Там стоял дом ее родителей, мелких землевладельцев, и они посылали девушку к Иакову с жареным зерном, свежими сырами, чечевицей и крупой, за которые он платил медью. Так она впервые и попала к нему, по пустяковому поводу, но на самом деле ведомая высшим стремленьем.

Она была по-своему красива, то есть не смазлива, а красива красотой строгой и неприступной, на которую, кажется, и сама досадовала, — досадовала по праву, ибо было в ее красоте волновавшее мужчин колдовство, и складки между бровями как раз и пытались унять такое волнение. Она была высокого роста и почти худа, но ее худоба волновала мужчин больше, чем самая пышная плоть, так что волнение это было, собственно, даже не плотским, а как бы сказать, демоническим. У нее были карие пытливые глаза редкой красоты, почти совершенно круглые ноздри и гордый рот.

Удивительно ли, что она вскружила голову Иакову и он приблизил ее к себе в награду за ее восхищенье? Это был старик, любивший предаваться своим чувствам, и он только и ждал случая еще раз предаться им; а чтобы вновь пробудить у нас, стариков, чувство или хотя бы какое-то бледное и смутное подобие чувств нашей молодости, нужно уже что-то из ряда вон выходящее, придающее нам силы своим восхищеньем, нечто астартическое и в то же время проникшееся религиозной жаждой нашей мудрости.

Фамарь была искательницей. Складки между ее бровями выражали не только досаду на ее красоту, но и томительную тревогу о правде и благе. Где в мире не встретишь заботы о боге? Она жива и на царских престолах, и в беднейших горных поселках. Фамарь была одной из ее носительниц, и беспокойство, внушаемое ею мужчинам, злило и раздражало ее как раз из-за этого высшего беспокойства, которое она носила в себе. Религиозно обездоленной эту местную поселянку никак нельзя было назвать. Но завещанный ей предками культ лесов, лугов и природы не удовлетворял ее пыливости уже и до того, как она услышала Иакова. Она не могла пробавляться баалами и богами плодородия, ибо, догадываясь о существовании в мире чего-то другого, высшего, душа ее напряженно это выслеживала. Бывают такие души: стоит лишь появиться в мире чему-то преобразующе новому, как они, по одинокой своей чувствительности, им загораются и начинают

стремиться к нему. Их беспокойство не первично, как беспокойство урского странника, гнавшее его в пустоту, где ничего не было, так что новое он должен был извлечь из себя самого. Эти души иного склада. Но уж если новое появится в мире, оно тревожит их чуткость даже издали, и они не могут к нему не рваться.

Фамари не нужно было рваться в какую-то даль. Товары, которые она приносила в шатер Иакову, чтобы получить за них меру меди, были, конечно, лишь уловкой духа, лишь прикрытием ее беспокойства. И вот, подружившись с ним, она часто, очень часто сидела у ног этого торжественного, богатого историей старика, сидела очень прямо, не спуская с него своих пытливых, широко раскрытых глаз, застыв и оцепенев от внимания, так что серебряные серьги висели у впалых ее щек совершенно недвижно, а он рассказывал ей мир, то есть свои истории, которые он смело и поучительно представлял историей мира — разветвленное родословие, выросшую из бога и направляемую богом семейную хронику.

Он поведал ей о начале, тоху и боху, и об их разделении словом божьим; о трудах шести дней — как море по воле бога наполнилось рыбой, пространство под твердью небесной, где стояли светила, птицами, а зеленая земля скотом и зверьем и всякими гадами. Он передал ей бодрый и благодаря множественному числу особенно веселый призыв бога к самому себе, предприимчивый его замысел: «Сотворим человека!» — и ей казалось, что сказал это он сам или, во всяком случае, что бог, которого, как нигде больше в мире, называли всегда «бог», и только, — что бог был при этом очень похож на Иакова, чему, кстати, отнюдь не противоречило добавление: «По образу нашему и подобию!» Она слушала о рае на востоке и о деревьях рая — дереве жизни и дереве познания, о возвращении, о первом у бога приступе ревности: как испугался он, что человек, познавший уже добро и зло, вкусит, пожалуй, еще и от дерева жизни и станет совсем как наш брат. Тут наш брат поспешил изгнать человека и поставил перед раем херувима с мечом разящим. А человеку он хоть и дал в удел труд и смерть, чтобы тот был образом нашим и подобием, — похожим на нас, правда, не чересчур, а лишь чуточку больше, чем рыбы, птицы и скот, — но дал все же с тайным заданием уступать нашей ревности и походить на нас все больше и больше.

Так он рассказывал ей. Все это не отличалось ясностью и последовательностью, а было, скорее, таинственно и великолепно, как сам Иаков, который об этом повествовал. Она узнала о братьях-врагах и об убийстве в поле. О детях Каина и об их коленах, разделившихся на земле на три ветви: живущих в шатрах со стадами, кующих себе латы из меди и, наконец, играющих на свирели и гуслях. То было временное деление. Но от Сифа, что родился взамен Авеля, тоже пошло много колен — вплоть до Ноя, Ноя Премудрого: обманывая себя самого и свой всегубительный гнев, бог сподобил его спасти творенье, и поэтому он пережил потоп со своими сыновьями Симом, Хамом и Иафетом, от которых пошло новое деление мира, ибо каждый из этих троих положил начало бесчисленному множеству колен; Иаков знал их наперечет — названья народностей и мест, где они селились, потоком лились из его повествующих уст; широкий вид открывался перед Фамарью на многолюднейшее потомство и его поселения — и вдруг сужался до поразительно знакомых пределов. Ибо Сим родил в третьем колене Евера, а тот, в пятом, Фарру, и так появились на свет Аврам и два его брата, но главное — Аврам!

Ведь это его сердце бог наполнил тревогою о себе, чтобы он, неустанно трудясь над богом, сотворил его мыслью и создал ему имя, это Аврама бог сделал своим благодетелем и вознаградил творенье, сотворившее своим духом творца, неслыханными обетами. Он заключил с ним союз для обоюдного совершенствования, чтобы один освящался в другом все больше и больше, и даровал ему право выбирать наследника, благословлять и проклинать, чтобы тот благословлял благословенное и проклинал

преданное проклятью. Он предназначал ему далекое будущее, где его имя станет благословением для всех племен земных. И посулил ему безмерное отцовство, хотя до восьмидесяти шестого года своей жизни Аврам был бесплоден, ибо Сара не приносила ему детей.

И он взял в жены прислужницу-египтянку и родил с ней сына и назвал его Измаилом. Но это было непутевое, сбившееся с благой дороги создание, чье место в пустыне, и праотец не поверил заверениям бога, что у него будет от праведной еще один сын, Исаак, а пал на лицо свое и рассмеялся, ибо ему было уже сто лет, а у Сары уже прекратилось обыкновенное женское. И все-таки ей дарован был этот смех — рождение Ицхака, неугодной жертвы, о котором сказано было сверху, что он произведет на свет двенадцать князей, что оказалось не совсем верно. Бог порой оговаривался и выражался неточно. Не Исааку или лишь косвенно Исааку были обязаны эти двенадцать своим появлением на свет. Родил их, собственно, только он сам, тот, чьим торжественным повестям внимала эта туземка, Иаков, брат Красного: родил их с четырьмя женами, служа в Синеаре у беса Лавана.

Не раз доводилось ведь слышать Фамари о братьях-врагах, о красном охотнике и о кротком пастухе; слышала она и о восстановившем справедливость великом обмане и о бегстве вора — причем об Елифазе, сыне обиженного, и о встрече с ним на дороге рассказывалось, достоинства ради, со щадящей сдержанностью. Сдержанной и склонной к преуменьшениям становилась речь Иакова и еще в одном случае — когда он говорил о милых свойствах Рахили и о своей любви к ней. Упоминая о Елифазе, он щадил самого себя и свое унижение перед этим мальчиком изображал для красоты не самыми яркими красками. А заговаривая о той, кого так сильно любил, он щадил Фамарь, ибо был немного влюблен в нее и чувствовал, что при женщине лучше не расхваливать другую женщину.

Зато о великом сне с лестницей, приснившемся похитителю благословения в Лузе, его ученица узнала во всех великолепных подробностях, хотя такое чудесное вознесение главы было не совсем объяснимо без предшествовавшего ему глубокого унижения. Ловя каждое слово, слушала она, как об этом повествовал сам наследник, и глядела, глядела во все глаза на человека, что нес Авраамово благословение и волен был передать его дальше кому-то другому, который станет господином над своими братьями и к чьим ногам падут дети его же матери. И снова внимала она словам: «И благословятся в тебе и в семени твоём все племена земные». И сидела, застыв.

Да, чего только не узнала она в эти часы, и как выразительно были поведаны ей эти истории — все до единой! Перед нею тянулись годы службы в стране грязи и золота, сначала четырнадцать, потом сверхурочные, покуда не стало их двадцать пять и покуда благодаря неправедной, праведной и их служанкам не собралось одиннадцать сыновей, включая пленительного. Услыхала она и о совместном их бегстве, о погоне Лавана и его поисках. О продолжавшейся до рассвета борьбе с волооком, после которой Иаков всю жизнь хромал, как кузнец. О Шекеме и его ужасах, о том, как дикие близнецы убили мужа и загубили тельца и были до некоторой степени прокляты. О смерти Рахили, всего в одном переходе от постоянного двора, из-за сыночка смерти. О безответственном бурлении Рувима и о том, как он тоже был проклят, насколько может быть проклят Израиль. И затем историю Иосифа, которого отец слишком любил, но, как истинный герой божий, отправил в путь, сознательно и твердо принося в жертву самое дорогое.

Это «некогда» было еще свежо, и тут голос Иакова дрожал, тогда как при изложении более ранних и самых ранних, совсем уже погребенных временем событий он был эпически невозмутим и даже при передаче самых жестоких и тяжелых историй сохранял радостную торжественность, ибо все это были истории божьи и рассказывать их было

делом священным. Совершенно, однако, ясно, — иначе быть не могло, — и об этом следует знать, что во время таких уроков внемлющую душу Фамари потчевали не только историческим, погребенным во времени «некогда», не только священным «однажды». «Некогда» — слово неограниченное, двуликое; оно смотрит назад, далеко назад, в торжественно сморкающиеся дали, и оно смотрит вперед, далеко вперед, в дали, не менее торжественные в силу того, что они будут, чем те, другие, торжественные в силу того, что они были. Некоторые это отрицают, они находят торжественным только «некогда» прошлого, а «некогда» будущего кажется им презренным. Это ханжи, а не благочестивые люди, это глупцы с мутной душой. Иаков был не из их десятка. Кто не чит «некогда» будущего, тот недостойн «некогда» прошлого и к нынешнему дню относится тоже неверно. Таково наше ученое мнение, если нам позволено вставить его в те наставленья, что давал Фамари Иаков бен Ицхак и которые полны были этого двойного «некогда» — да и как же иначе, если он рассказывал ей мир, а девиз мира именно «некогда» — и повествовательское, и пророческое? Ей в пору было благодарить, и она действительно поблагодарила его такими словами: «Тебе показалось мало, господин, рассказать мне о том, что было, и ты поведал рабыне своей еще и далекое будущее». Да, он делал это совершенно произвольно, ибо во всех его историях с самого начала присутствовал элемент предсказания, так что их нельзя было излагать, не пророчествуя.

О чем он говорил ей? Он говорил ей о Шилохе.

Было бы ошибкой полагать, что о герое Шилохе Иаков завел речь лишь на смертном одре, по какому-то предсмертному наитию. Никаких наитий он тогда вообще не сподоблялся, а лишь изрекал давно подготовленное, то, что уже полжизни обдумывал и что смертный его час должен был лишь освятить. Это относится не только к благословеньям и похожим на проклятие сужденьям о сыновьях, но и к упоминанию некоего обетованного героя, названного им «Шилох» и занимавшего его мысли задолго до появления Фамари, хотя говорил он о нем только с ней и больше ни с кем — в благодарность за ее великое внимание и за то, что был влюблен в нее остатками своих сильных некогда чувств.

Кого или что подразумевал он под Шилохом?

Странное дело — как он такое выдумал! «Шилох» было поначалу просто названием города, огороженного стеною округа в более северной части страны, где в случае своей победы в войне собирались обычно для дележа добычи туземцы — не такого уж, следовательно, священного места. Но оно называлось местом покоя и отдыха, ибо слово «Шилох» означает именно это; мир означает оно и отрадную передышку после кровавой усобицы, и звук его благословен, и оно годится равно для имени человека и для названия места. И если Сихем, княжеский сын, носил то же имя, что и его город, то и слово «Шилох» могло служить именем человека и сына человеческого, названного Царством Мира, то есть именем мирноносца и миротворца. Иакову он виделся пришельцем, обещанным человечеству в древнейших и постоянно обновляемых посулах и предсказаниях, обещанным женскому лону, обещанным в благословении Ноя Симу, обещанным Аврааму, в чьем семени должны были благословиться все народы земли — примирителем и помазанником, повсеместным, от моря до моря и от реки до конца мира, властителем, перед кем склонятся все, как один, цари и за кем пойдут все, как один, народы, героем, который некогда родится от избранного семени, чтобы навеки занять престол его царства.

Его-то, грядущего, он и называл Шилохом, — и давайте вообразим, давайте хорошенько представим себе, как, связывая в эти часы поучений отдаленно-начальное с отдаленнейшим будущим, говорил о Шилохе Иаков, человек впечатляющей впечатлительности. Это было значительно, это было исполнено силы; Фамарь, женщина,

единственная, кому выпала честь это слышать, сидела не шевелясь; даже самый внимательный глаз не нашел бы, что серьги ее хоть разок покачнулись. Она слушала мир, скрывавший в раннем обетованное позднее, огромную, разветвленную, полную историй историю, через которую тянулась пурпурная нить предвестья и ожидания, тянулась от одного «некогда» к другому, от самого давнего «некогда» к самому нескорому, где в спасительной космической катастрофе, оглашая вселенную громовым грохотом, столкнутся две враждующие звезды, звезда силы и звезда права, чтобы стать одной звездой, озаряющей человечество мягким и мощным светом, — звездой мира. Это была звезда Шилоха, сына человеческого, того сына наследственного избрания, который был обетован семени женщины и должен был растоптать голову змея. А Фамарь была женщиной, и значит, женщиной обетованья, ибо каждая женщина — это женщина обетованья, средство падения и лоно блага. Астарта и мать бога, — и сидела она у ног мужчины, отца, на которого, благодаря восстановившей порядок уловке, пало благословенье и который должен был передать его дальше в историю кому-то в Израиле. Кому же? Над чьим теменем предстояло отцу поднять свой рог, чтобы помазать наследника? У Фамари имелись пальцы, чтобы высчитать это. Трое были прокляты, а любимец, сын праведной, мертв. Не любовью определялся порядок наследования, а где нет любви, там остается одна справедливость. Справедливость была тем рогом, из которого миро избранья должно было излиться на темя четвертого. Иуда — он был наследник.

### Исполненная решимости

С этой поры отвесные складки между бровями Фамари приобрели еще один, третий смысл. Они говорили теперь не только о ее злости на собственную красоту, не только о напряженной пытливости, но также и о решимости. Подтверждаем еще раз — Фамарь твердо решила, чего бы это ни стоило, вставить себя с помощью женского своего естества в историю мира. Вот как честолюбива она была. В эту непоколебимую и, поскольку все непоколебимое мрачновато, довольно мрачную решимость вылилось все ее религиозное рвение. У иных натур знание немедленно превращается в волю, более того, они затем, наверно, и стремятся к знанию, чтобы питать им свою волю, дать ей какую-то цель. Фамари достаточно было только узнать о мире и целеустремленности мира, чтобы принять категорическое решение связать с этой целеустремленностью женское свое естество и войти в мировую историю.

Само собой разумеется, в историю мира входит каждый. Стоит лишь тебе появиться на свет — и так или иначе, плохо ли, хорошо ли, ты уже вносишь крохотной своей жизнью какой-то вклад в целостный мировой процесс. Но большинство скромно остается на периферии, где-то далеко в стороне от главного события, не участвуя в нем, и, по сути, радуясь своей непричастности к его достославным действующим лицам. Фамарь презирала таких людей. Как только ее научили, она захотела или, вернее, она вняла учению, чтобы узнать, чего она хочет и чего не хочет. Она не хотела быть в стороне. Эта девушка хотела выйти на столбовую дорогу, дорогу обетованья. Она хотела войти в эту семью, включиться своим лоном в цепь поколений, которая вела к благу, уходя в даль времен. Она была женщиной обетованья, и пророчество относилось к ее семени. Она хотела быть одной из праматерей Шилоха.

Ни больше, ни меньше. Глубоко и прочно врезались между бархатными ее бровями отвесные складки. У них было уже три смысла, но не заставил себя ждать я четвертый, состоявший в завистливо-зловом пренебрежении к дочери Шуи, жене Иегуды. Этой бабнице, оказавшейся на столбовой дороге и занявшей достославное место совершенно незаслуженно, без знания и воли (ибо знание и волю Фамарь считала заслугой), этому

ничтожеству, сподобившемуся войти в историю, она не только не желала добра, но, не пытаясь даже скрыть это от самой себя, ненавидела ее самой женской ненавистью и желала бы ей, опять-таки вполне сознательно, смерти, если бы это еще имело смысл. Но это не имело смысла, ибо та родила Иуде уже трех сыновей, так что Фамари следовало бы желать смерти всем троим, чтобы поправить дело и освободить себе место рядом с наследником. Как наследника она и любила Иуду, и желала его — это была любовь честолюбия. Никогда, наверно, ни позже, ни тем более раньше, ни одна женщина не любила и не желала мужчину в такой мере не ради него самого, а ради определенной идеи, как Фамарь Иуду. То была новая основа любви, такого еще не бывало на свете, — любви, идущей не от плоти, а от мысли, любви, можно поэтому сказать, демонической, употребляя эпитет, приложимый и к тому волнению, которое, без всякого участия плоти, внушала мужчинам сама Фамарь.

Свое астартическое обаяние, вообще-то ее злившее, она, пожалуй, умышленно направила бы на Иуду, достаточно хорошо зная о его рабстве у этой владычицы, чтобы не сомневаться в победе. Но было уже поздно, — а «поздно» всегда означает: «не вовремя». Она опоздала, ее честолюбивая любовь пришлась не ко времени. В этом месте цепи она уже не могла включиться, не могла выйти на столбовую дорогу. Поэтому Фамарь должна была сделать во времени, в поколениях шаг вперед или вниз, она должна была сама переменить поколение, направив свое целеустремленное желанье туда, где ей хотелось бы стать матерью, — а мысленно ею легко было стать, поскольку в высокой сфере мать и возлюбленная всегда составляли единое целое. Короче говоря, с Иуды, наследника-сына, она должна была перевести взгляд на его сыновей, наследников-внуков, — которым она почти желала смерти, чтобы родить их, и притом лучших, самой, — сначала, разумеется, только на старшего, на мальчика Ира, ибо он был наследник.

Лично ее положение во времени облегчало ей этот шаг вниз. Для Иуды она была бы не слишком молода, а для Ира она была не так уж стара. И все же она сделала этот шаг неохотно. Ее удерживала от него непорядочность этого поколенья, его болезненная, хотя и милая испорченность. Но ее честолюбие справилось с этой трудностью, оно должно было справиться с ней, иначе она была бы очень им недовольна. Оно сказала ей, что обетование не всегда выбирает многообещающие или хотя бы просто чистые пути; что порой, без всякого для себя ущерба, оно не гнушается неполноценно-сомнительным, даже скверным, что больное не обязательно порождает больное, что от него может взять начало проверенное, облагороженное, направленное ко благу бытие, особенно если на помощь придет та облагораживающая сила решимости, которая была у Фамари. К тому же отпрыски Иуды были ведь только выродившимися мужчинами. А все зависело от женщины, все дело было в том, чтобы здоровое начало укрепило именно самое ненадежное место цепи. К лону женщины относилось первое обетование. Что толку было в мужчинах!

Но чтобы достичь цели, ей пришлось снова подняться во времени к третьему колену; иначе ничего не получалось. Да, она направила на упомянутого юнца астартическое свое обаяние, но его реакция оказалась ребяческой и порочной. Ир хотел только шутить с ней, а когда она в ответ нахмурила брови, он отступился и серьезного шага не сделал. Обратиться к Иуде, на ступеньку выше, не позволила ей деликатность; ведь желала или желала бы она, собственно, именно его, и если он этого не знал, то она это знала, и ей стыдно было желать его сына, которого она хотела бы ему родить. Поэтому она обратилась к Иакову, главе рода и своему учителю, к его исполненной достоинства и, разумеется, хорошо ей известной слабости к ней, Фамари, к слабости, которую она скорее ублажала, чем уязвляла, добиваясь приема в его семью и желая стать женой его внука. Она сделала это на том же месте, в шатре, где когда-то Иосиф уламывал старика подарить ему разноцветное платье, и ей оказалось легче добиться своего, чем ему.

— Наставник и господин, — говорила она, — дорогой и великий отец мой, выслушай рабыню свою, будь так добр, снизойди к ее просьбе, к ее непритворно страстной мольбе! Ты избрал меня и возвысил над дочерьми этой земли, ты дал мне знания о мире и о единственном и всевышнем боге, ты открыл мне слепые дотоле глаза, ты образовал меня, и я считаю себя твоим твореньем. За то, что это выпало мне на долю, за то, что я нашла милость перед твоими очами, за то, что ты утешил меня и ласково заговорил со своей рабыней, да вознаградит тебя за все это господь, да вознаградит тебя сполна бог Израилев, к которому я пришла благодаря тебе и под чьими крылами обрела надежду и бодрость! Ибо, всячески оберегая душу свою от забвенья историй, которые ты дал мне увидеть, я буду хранить их в сердце всю свою жизнь. Своим детям и детям детей, если бог мне пошлет их, я поведаю эти истории, чтобы дети мои не погубили себя и никогда не творили себе кумиров, похожих на мужчину, на женщину, на скот земной, на птицу небесную, на гада или на рыбу; чтобы, подняв глаза и увидев солнце, луну и звезды, они не отступились от бога и не стали служить сонму светил. Твой народ — это мой народ, и твой бог — это мой бог. А потому, если он даст мне детей, их отцом никогда не будет мужчина из какого-нибудь чужого народа божьего. Иные из твоего дома, господин мой, берут себе в жены дочерей этой земли, одной из которых была и я, и приводят их к богу. Что же касается меня, родившейся теперь заново, меня, твоего творенья, то я не могу быть рабыней во браке человеку невежественному, поклоняющемуся кумирам из дерева и камня, которые изваяны руками умельца и лишены зренья, слуха и обонянья. Вот что натворил ты, отец мой, просветив меня и образовав: ты сделал душу мою разборчиво-тонкой, и я уже не могу жить жизнью невежественной толпы и не могу, выйдя замуж за первого встречного, отдать женское свое естество какому-то пентюху перед богом, как, наверно, по простоте сердечной и поступила бы при других обстоятельствах, — таковы невыгоды утонченности, таковы трудности, которые приносит с собой благо родство. А потому не сочти это наглостью, если твоя дочь и рабыня говорит тебе об ответственности, которую ты взял на себя, просветив и образовав ее; ты перед нею теперь почти в таком же долгу, как она перед тобой, потому что ты в ответе за ее благородство.

— Твои слова, дочь моя, — отвечал он, — исполнены силы и вполне разумны; не согласиться с ними нельзя. Но скажи мне, куда ты клонишь, ибо я этого еще не вижу, и поведай мне, что ты имеешь в виду, ибо это мне невдомек!

— Твоему народу, — сказала она, — принадлежу я душой и только ему могу я принадлежать плотью, женскою своей статью. Ты открыл мне глаза — позволь мне открыть глаза тебе! Есть у вашего ствола побег — Ир, первенец четвертого твоего сына, он как пальма у ручья, как стройная тростинка в низине. Поговори же с Иудой, со своим львом, чтобы он дал меня ему в жены!

Для Иакова это было полной неожиданностью.

— Вот куда ты клонишь, — отвечал он, — вот что ты имеешь в виду? Право, право же, мне это и в голову не пришло бы. Ты говорила мне об ответственности, которую я взял на себя, просветив тебя и образовав, и сама же загоняешь меня в тупик моей ответственностью. Конечно, я могу поговорить со своим львом и замолвить перед ним слово, но могу ли я быть за это в ответе? Мой дом примет тебя с распростертыми объятьями и скажет тебе: «Добро пожаловать!» Но разве я для того просветил и образовал тебя, чтобы обречь тебя на несчастье? Я не люблю злословить о ком-либо в Израиле, но ведь сыновья дочери Шуи — неудачное племя, это шалопаи перед господом, и я предпочитаю на них не глядеть. Право, мне трудно решиться и выполнить твою просьбу, ибо если эти юнцы и пригодны для брака, в чем я сомневаюсь, то, во всяком случае, не с тобой.

— Со мной, — сказала она твердо, — со мной, если даже больше ни с кем, — одумайся, отец мой и господин! Иуде на роду было написано иметь сыновей. Каковы бы они ни были, они от доброго семени, ибо в них семя Израиля, через них нельзя перепрыгнуть и нельзя заставить их выпасть, если только они не выпадут сами, не выдержав испытания жизнью. И им тоже суждено иметь сыновей, по меньшей мере одного сына, и суждено это, по меньшей мере, одному из них, первенцу Иру, тростинке и пальме. Я люблю его и хочу возвысить его своей любовью, сделать его героем в Израиле.

— Героиня, — возразил он, — ты сама, дочь моя, и я на тебя полагаюсь.

Так он пообещал ей замолвить за нее слово у своего льва Иуды, хотя сердце его было полно противоречивых чувств. Он любил эту женщину всеми оставшимися у него силами души и был рад одарить ее мужественностью, которая восходит к нему. Но ему было и жаль, и совестно, что мужественность эта не лучшего свойства. А в-третьих, он сам не знал почему, вся эта история внушала ему глухой ужас.

«Не благодаря нам!»

Иуда не оставался со своими братьями при отце, в роще Мамре, а, подружившись с человеком по имени Хира, пас скот ближе к равнине, на выгонах Одоллама, и там же жили в браке первенец его Ир с Фамарью, в браке, заключенном благодаря Иакову, который призвал к себе четвертого своего сына и замолвил перед ним слово за решительную просительницу. Почему Иуда должен был встать на дыбы? Он согласился на этот брак несколько, правда, хмуро, но согласился без долгих слов, и Фамарь, таким образом, была выдана замуж за Ира.

Нам не к лицу заглядывать за занавес этого брака; уже и тогда ни у кого не было охоты это делать, и всегда человечество излагало эти факты резко и лаконично, воздерживаясь от каких бы то ни было обвинений и соболезнований, справедливое распределение которых всегда представлялось ему делом слишком уж затруднительным. Несчастье породили, с одной стороны, честлюбивое отношение к истории, соединенное со свойствами астартического характера, а с другой — юношеское бессилие, не выдержавшее серьезного испытания жизнью. Самое лучшее — последовать примеру предания, резко и лаконично сообщив, что вскоре после свадьбы первенец Иуды Ир умер, или — как это сказано там — что его умертвил господь: ну, конечно, от господ все, и все, что происходит на свете, можно определить как дело его рук. Этот юноша умер в объятиях Фамари от горлового кровотечения, которое вызвало бы смерть, даже если бы он и не захлебнулся кровью; иные даже порадуются, что умер он, по крайней мере, не как собака, не в одиночестве, а в объятиях жены, хотя и это достаточно тягостная картина, — женщина, обрызганная кровью, в которой были жизнь и смерть ее молодого супруга. Нахмутив брови, она встала, омылась и потребовала в мужа второго сына Иуды — Онана.

В решимости этой женщины всегда было что-то ошеломляющее. Она поднялась к Иакову и пожаловалась ему на свою беду, она пожаловалась ему в известной мере на бога, так что старик смутился за Иа.

— Мой муж умер, — сказала она. — Ир, твой внук, скоростижно, в мгновение ока! Можно ли это понять? Как может бог сделать такое?

— Он все может, — ответил Иаков. — Смирись! Порою он делает самое невероятное, ибо всемогущество — это, если подумать, великий соблазн. Смотри на это как на пережиток

хаоса! Иногда он вдруг нападет на кого-нибудь и умертвит его ни за что ни про что, без всякого объяснения.

— Я мирюсь, — возразила она, — с произволом бога, но не со своей участью, ибо вдовства своего не признаю, не могу, не имею права признать. Если выпал один, его должен сразу заменить следующий, чтобы не погасла искра, которая еще жива во мне, и чтобы от мужа моего остались на земле имя и след. Я забочусь не о себе и не об умерщвленном, а об общем и вечном. Ты должен, отец-господин, замолвить перед Израилем слово и установить правило, что если один из братьев умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен заменить умершего и жить с нею. А первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтоб имя его не изгладилось в Израиле!

— А если он не захочет, — возразил Иаков, — жениться на невестке?

— В этом случае, — твердо сказала Фамарь, — она должна выйти и во всеуслышание заявить: «Деверь мой отказывается восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». Тогда нужно призвать его и поговорить с ним. И если он станет и скажет: «Не хочу взять ее», — пусть она при всех подойдет к нему, и снимет сапог его с ноги его, и плюнет в лицо его и скажет: «Так надо поступать с каждым, кто не созидает дома брату своему». И пусть ему будет имя «Разутый»!

— Тогда он, пожалуй, одумается, — сказал Иаков. — И ты права, дочь моя, мне легче будет замолвить слово перед Иудой, чтобы он дал тебе в мужья Онана, если я возведу это в правило и сошлюсь на закон, который провозглашу под деревом наставленья.

Брак с деверем, введенный по ходатайству Фамари, был делом историческим. Да, историческое манило эту деревенскую девушку. Без вдовства получала она в мужья юнца Онана, хотя Иуду этот примирительный брак по боковой линии не очень-то радовал, а деверя, о котором шла речь, и того меньше. Вызванный отцом с одолламского пастбища, Иегуда долго упорствовал, считая, что не следует повторять со вторым того, что так злосчастно кончилось с первым. К тому же, — говорил он, — Онану всего двадцать лет, и если он вообще создан для брака, то уж, во всяком случае, не созрел для него и не склонен к нему.

— Но она снимет с него сапог и сделает все прочее, если он откажется восстановить дом своего брата, и его будут всю жизнь звать «Разутый».

— Ты делаешь вид, Израиль, — сказал Иуда, — будто так водится, хотя сам только что ввел это, и я знаю, по чьему совету.

— Устами этой девушки говорит бог, — ответил Иаков. — Он привел ее ко мне, чтобы я познакомил ее с ним и чтобы он мог говорить ее устами.

Тогда Иуда перестал спорить и женил сына.

Заглядывать в альковы — ниже достоинства этого рассказчика. Итак, не вдаваясь в подробности — второй сын Иуды, юноша в своем роде, то есть в каком-то сомнительном роде, красивый и миловидный, человек волевой, волевой в смысле органичной строптивости, равнозначной приговору самому себе и отрицанию жизни в нем самом. Не собственной его жизни, ибо себя он очень любил и наряжался и подкрашивался самым щегольским образом; но всякому продолжению жизни после него и благодаря ему он внутренне говорил «нет». Известно, что он был недоволен ролью супруга-заменщика, восстанавливающего семя не себе, а своему брату. Это верно: на словах и даже в мыслях

он мог изображать дело именно так. Но в действительности, которую слова и мысли только перефразируют, все это потомство Иуды всегда знало, что оно представляет собой тупик и что по каким бы дорогам ни пошла жизнь, она должна будет, она захочет, она сумеет, она посмеет пойти дальше, во всяком случае, не благодаря им. Не благодаря нам! — говорили они в один голос и были по-своему правы. Жизнь и созревание могли идти своими дорогами; братья на это плевали. Особенно плевал на это Онан, и смазливая его милость выражала лишь себялюбие того, на котором все кончится.

Вынужденный вступить в брак, он решил посмеяться над лоном. Но он не учел честолюбья, астартически вооруженного честолюбья Фамари, которое противостояло его строптивости, как одна грозная туча другой, и породило с нею разряжающую молнию смерти. Он умер в ее объятиях от внезапного удара, в один миг. Мозг его сковало, и он скончался.

Фамарь поднялась и сразу потребовала, чтобы теперь ей дали в мужа младшего сына Иуды, Шелу, которому было только шестнадцать лет. Если кто-либо назовет ее самой поразительной фигурой всей этой истории, мы не осмелимся ему возразить.

На этот раз она не добилась своего. Заколебался уже и сам Иаков — хотя лишь в ожидании выразительного протеста Иуды, протеста, который не заставил себя долго ждать. Иуду называли львом, но за последнего своего мальчика, чего бы тот ни стоил, он вступился, как львица, и не дал согласия.

— Ни за что! — сказал он. — Чтобы он тоже погиб у меня, — да? — кровавой смертью, как первый, или бескровной, как второй? Нет, не приведи бог, ни в коем случае! Я повинился твоему приказу, Израиль, и поспешил подняться к тебе с равнины, от свойственников, среди которых дочь Шуи родила мне этого сына и где она теперь лежит больная. Ибо она больна и должна умереть, и если Шела тоже умрет у меня, я буду гол. Тут нет никакого неповиновения, ибо ты, конечно, не отдашь мне такого приказа, ты просто высказываешь соображение, в котором сам сомневаешься. Но у меня нет сомнений, и я скажу сразу, скажу от своего и от твоего имени: «Нет и нет». Что думает эта женщина, неужели я отдам ей и своего барашка, чтобы она поглотила его? Это Иштар, убивающая своих возлюбленных! Это ненасытная пожирательница юнцов! К тому же он еще дитя малолетнее, и не место этому ягненку в загоне ее объятий.

И действительно, Шелу никак нельзя было представить себе женатым — по крайней мере теперь. Безусый, высокоголосый, самодовольно-никчемный, он походил больше на ангела, чем на дитя человеческое.

— А сапог и все прочее, — помедлив, напомнил Иаков, — если этот мальчик откажется воздвигнуть дом брату своему?

— На это у меня найдется ответ, господин мой, — сказал Иуда. — Если эта хищница не наденет сейчас одежду скорби, не угомонится и не захочет, как то подобает вдове, потерявшей двух мужей, скромно скорбеть в доме отца своего, я сам — не будь я твоим четвертым сыном — сниму с нее при всем народе сапог и, сделав все остальное, открыто назову ее вампиром, чтобы ее побили камнями или сожгли.

— Ты слишком далеко заходишь в своем недовольстве, — сказал уязвленный Иаков.

— Слишком далеко? А как далеко зашел бы ты, если бы у тебя захотели отнять твоего Вениамина, отправив его, например, в опаснейший путь? А ведь он не последний твой сын, а только младший. Ты охраняешь его с посохом в руках, ты не спускаешь с него глаз, чтобы он не потерялся, ему и отлучиться почти нельзя. Ну, так Шела — это мой Вениамин,

и я противлюсь, все во мне противится его выдаче!

— Давай, — сказал Иаков, на которого этот довод сильно подействовал, — решим дело полюбовно, чтобы выиграть время, не оскорбляя твоей снохи. Не будем отказывать ей, а дадим ее желанию остыть. Ступай и скажи ей: мой сын Шела слишком еще мал и даже отстал от своих лет. Поживи вдовою в доме отца своего, покуда мальчик не вырастет, и тогда я отдам его тебе, чтобы он восстановил семя своему брату. Так мы утихомирим ее желание на несколько лет, ибо напомнить о нем она сможет лишь по их истечении. А вдруг она привыкнет к вдовству и вообще не станет напоминать? Ну, а если все-таки напомнит, мы уговорим ее подождать, более или менее справедливо заявив ей, что сын твой все еще недостаточно вырос.

— Пусть будет так, — сказал Иуда. — Мне совершенно безразлично, что мы ей скажем, только бы уберечь нежную надменность от жарких объятий Молоха.

### Стрижка овец

Как сказал Иаков, так и поступили. Фамарь выслушала ответ своего свекра, нахмурилась брови и пристально глядя ему в глаза. Но она покорилась. Скорбящей вдовою, не подавая вестей о себе, прожила она в доме отца год, и еще год и даже еще один. После двух лет у нее было полное право повторить свое требование; но она нарочно ждала и третий год, чтобы ей не ответили, что Шела все еще мал. Терпение этой женщины было столь же недюжинным, как ее решимость. Но решимость и терпение — это, по-видимому, одно и то же.

Когда же Шела достиг девятнадцатилетнего возраста и, следовательно, расцвета доступной ему мужественности, она пришла к Иуде и сказала:

— Срок исполнился, пришло время дать меня в жены твоему сыну, а его мне в мужья, чтобы он восстановил своему брату имя и семя. Вспомни свое обязательство!

Но еще до того как истек первый год ожидания, овдовел сам Иуда: дочь Шуи умерла, умерла с горя, убитая служением мужа Астарты, гибелью сыновей и тем, что ее же в этом и обвиняли. У Иуды остался один Шела, и он менее, чем когда-либо, был расположен отправить его в опаснейший путь. Поэтому он сказал:

— Обязательство? Я, дорогая моя, не давал тебе никаких обязательств. Значит ли это, что я отпираюсь от собственных слов? Нет, нисколько. Но я никак не думал, что ты будешь настаивать на этом спустя столько времени, ибо мои слова были просто успокоительной отговоркой. Если тебе нужна еще одна успокоительная отговорка — изволь, но лучше обойтись без нее, тебе пора бы уже успокоиться самой. Шела, правда, повзрослел, но немного, и теперь ты дальше от него по возрасту, чем была тогда, когда я успокоил тебя отговоркой. Ты годишься ему чуть ли не в матери.

— Вот как? — спросила она. — Ты, я вижу, указываешь мне мое место.

— Твое место, — сказал он, — по-моему, в доме твоего отца, где тебе пристало и впредь жить вдовой, скорбящей о двух мужьях.

Она поклонилась и ушла. Но тут-то все и начинается.

Не так-то легко было выключить эту женщину, заставить ее свернуть с дороги — чем

дольше мы глядим на нее, тем больше дивимся ей. Своим положением во времени она распорядилась свободно. Сначала она спустилась ко внукам, которых проклинала, потому что они стояли поперек дороги тем, которых ей хотелось произвести на свет, — теперь она решила снова поменять поколение и подняться опять — в обход того единственного, кто еще остался от внучатного поколения и кого не хотели отдать ей, чтобы он либо вывел ее на столбовую дорогу, либо погиб. Ибо она не могла допустить, чтобы искра ее погасла и чтобы ее, Фамарь, отстранили от наследия бога.

Для Иуды, сына Иакова, события развертывались вот как. Вскоре после того дня, когда лев снова превратился в львицу и защитил своего детеныша, год вступил в пору стрижки овец и праздника урожая шерсти, праздника, на который, для жертвенного бражничества, собирались то в одном, то в другом месте пастухи и овцеводы целого округа; на этот раз таким местом был избран горный поселок Тимнах, и туда, чтобы постричь овец и повеселиться, спускались сверху и поднимались снизу пастухи и хозяева стад. Иуда поднялся туда вместе со своим другом и старшим овчаром Хирой из Одоллама, тем самым, через которого он познакомился с дочерью Шуи; они тоже хотели постричь овец и повеселиться, по крайней мере Хира; ибо Иуде было не до веселья, как и всегда. Он жил в аду, в наказанье за преступление, в котором когда-то участвовал, и то, как погибли его сыновья, вполне отвечало духу этого ада. Он был удручен своим преемничеством и предпочел бы, чтобы в пору праздника и веселья год вообще не вступал; ибо если ты раб ада, то всякая праздничность приобретает лишь адский смысл и ведет лишь к осквернению преемничества. Но что поделаешь? Только тот, кто болен телом, не в долгу перед жизнью. А если ты болен душой — это не считается, никто этого не понимает, и ты должен участвовать в жизни и проводить время с другими. Поэтому Иуда пробыл в Тимнахе три дня, приносил жертвы и пировал.

Домой он спускался один; он больше всего любил ходить один. Мы знаем, что он шел пешком, ибо при нем была довольно-таки дорогая трость с набалдашником, а трость нужна не для верховой езды, а для ходьбы. Опираясь на трость, он шагал вниз по тропинкам холмов, мимо виноградников и селений, в красноватом сиянье угасавшего дня. Дорога была ему отлично знакома; держа путь к свойственникам в Одоллам, он проходил мимо Энама, или селенья Энаим у подножья гор, где и дома, и глинобитная стена, и ворота были залиты праздничным светом закатного неба. У ворот притаилась какая-то женщина; подойдя ближе, он увидел, что она закутана в кетонет пассим, покрывало обольстительниц.

Первая его мысль была: я один. Вторая: пройду мимо. Третья: ну ее в преисподнюю! Надо же было этой кедеше, этой жрице радости попасться на моем мирном пути! Это на меня похоже. Но мне наплевать, ибо я не только тот, на кого это похоже, но и тот, кто на это зол, кто способен изменить самому себе и пройти мимо. Старая песня! Неужели ее нужно петь вечно? Так, со стоном, поют прикованные к веслам рабы-каторжане. Там, наверху, я спел ее, стеная, с девкой-танцовщицей и мог бы уж на некоторое время насытиться. Как будто ад бывает когда-нибудь сыт! Позорное, нелепое любопытство к полнейшей чепухе! Что она скажет и как поведет себя? Пусть это узнает тот, кто придет сюда после меня. Я пройду мимо.

И он остановился.

— Владычица в помощь! — сказал он.

— Пусть она придаст тебе силы, — прошептала она.

Тут его уже схватил ангел желаний, и, услышав ее шепот, он задрожал от любопытства к этой женщине.

— Шептунья с большой дороги, — сказал он дрожащими губами, — кого ты ждешь?

— Я жду, — отвечала она, — веселого сладострастника, который разделит со мною тайны богини.

— Тогда я более или менее подойду, — сказал он, — ибо я сладострастник, хотя и невеселый. У меня нет страсти к сладострастию, зато у сладострастия есть страсть ко мне. Я думаю, что при твоём ремесле вожделье тоже не очень-то вожделье и ты просто довольна, если оно есть у других.

— Мы жертвовальницы, — отвечала она. — Но кого надо, мы умеем принять как надо. Ты хочешь меня?

Он прикоснулся к ней.

— А что ты мне дашь? — задержала она его.

Он засмеялся.

— В знак того, что я сладострастник, не лишенный веселости, — сказал он, — я подарю тебе на память козла из стада.

— Но у тебя его нет с собой.

— Я тебе пришлю его.

— Так все говорят сначала. А потом перед тобой другой человек, который не помнит своего слова. Мне нужен залог.

— Какой же?

— Перстень, что у тебя на пальце, перевязь, что у тебя на шее, и трость, что у тебя в руке!

— Ты недурно заботишься о владычице, — сказал он. — Бери!

И он пропел с ней песню у дороги на вечерней заре, и она скрылась за стеной. А он пошел домой и на следующее утро сказал Хире, своему пастуху:

— Вот, значит, какое дело. У энаимских ворот, у селенья Энам, попалась мне одна потаскушка из храмовых, и было в глазах у нее под кетонетом что-то такое — ну, да что говорить, ведь мы же мужчины! Будь добр, доставь ей козла, которого я ей обещал, и получи у нее мои вещи, что мне пришлось ей оставить, — перстень, палку и перевязь. И козла выбери хорошего, стоящего, чтобы эта девка не называла меня скрягой. Возможно, она опять сидит у ворот, а нет — так расспроси тамошних жителей.

Хира выбрал козла, чертовского безобразия и великолепия, с кольчатыми рогами, раздвоенным носом и длинной бородой, и отвел его в Энаим, к воротам, где никого не было.

— Блудница, — спросил он в поселке, — что сидела за стеной у дороги, — где она? Вы же должны знать вашу блудницу!

Но ему ответили:

— Здесь не было и нет никакой блудницы. Такого добра у нас вообще нет. У нас городок приличный. Ищи в каком-нибудь другом месте козу для твоего козла, не то полетят камни!

Хира передал это Иуде, который только пожал плечами.

— Если ее нельзя найти, — сказал он, — это ее вина. Никто не вправе сказать, что мы не пытались вернуть ей мой долг. Правда, вещи мои пропали. На палке был набалдашник из хрусталя. Отведи козла назад в стадо!

И он забыл об этом. А спустя три месяца обнаружилось, что Фамарь беременна.

Такого скандала давно не было в этих местах. Она жила вдовой в родительском доме и носила одежду скорби, а теперь вдруг выяснилось, ибо этого уже нельзя было скрыть, что она вела себя бесстыдно и заслуживает смерти! Мужчины глухо негодовали, женщины визгливо поносили и проклинали ее. Ибо Фамарь всегда смотрела на них на всех свысока и держалась так, словно она чем-то лучше. До Иуды сразу дошел этот ропот; «Ты знаешь, ты знаешь? Твоя сноха Фамарь вела себя так, что этого ей уже и не скрыть. Она брюхата от блуда!»

Иуда побледнел. Оленьи его глаза выпучились, ноздри затрепетали. Грешники бывают очень нетерпимы к греховности мира: к тому же он был зол в душе на эту женщину, потому что она сожрала двух его сыновей и потому что он не сдержал обещания, которое дал ей относительно третьего.

— Она предалась пороку, — сказал он. — Пусть будет медным небо над ее головой и железной земля под ее ногами! Надо ее сжечь! Уже давно ее впору было послать на костер, но теперь ясно, что она гнусная преступница в Израиле, осквернившая свою одежду скорби. Надо вывести ее за дверь отчего дома и сжечь дотла. А кровь ее падет на нее!

И, широко шагая, он пошел впереди размахивавших руками доносчиков, к которым по дороге, тоже размахивая руками, присоединялись жители ближайших деревень, так что к вдовьему дому Иуда привел за собой жадную толпу, оглашавшую воздух бранью и свистом. Слышно было, как внутри дома стонут и завывают родители Фамари, но самой ее не было слышно.

Войти в дом и привести развратницу отрядили троих мужчин. Напрягши плечи и руки, опустив подбородок на грудь и сжав кулаки, они пошли за Фамарью, чтобы сначала выставить ее на позор, а потом сжечь. Но вскоре они вернулись без Фамари, хотя и не с пустыми руками. Один нее кольцо, он нес его двумя пальцами, оттопырив другие. Второй держал прямо перед собой трость, схватив ее как раз посередине. У третьего болталась на руке алая перевязь. Они подали эти вещи Иегуде, который стоял впереди, и сказали:

— Вот что велела нам передать тебе Фамарь, твоя сноха: «Я понесла свой залог от того, кто оставил в залог эти предметы. Ты узнаешь их? Так знай же: я не та женщина, которая позволит отстранить себя и своего сына от наследия бога!»

Лев Иуда глядел на эти вещи, а люди, столпившись вокруг него, заглядывали ему в лицо, и если до сих пор он был бледен от злости, то сейчас он медленно побагровел до самых корней волос, и даже глаза его налились кровью. И он не сказал ни слова. Тут какая-то женщина рассмеялась, а за нею еще одна, а потом какой-то мужчина, а потом много мужчин и женщин, и наконец, неудержимо и оглушительно, вся толпа; корчась от хохота,

люди задирали к небу разинутые рты и кричали: «Это ты. Иуда! Иуда снохач! Ха-ха-ха, хи-хи-хи, хо-хо-хо!»

А что же четвертый сын Лии? Он тихо сказал, стоя среди толпы: «Она правее меня». И, склонив голову, удалился.

Когда же пришел час Фамари, спустя полгода, она родила двух близнецов, которые выросли в мощных мужчин. Она отняла у Израиля двух сыновей, спустившись во времени, но, поднявшись, дала взамен двух несравненно лучших. Особенно мощен был вышедший первым Фарес, который оставил в мире и в истории такое потомство, что только держись. Еще в седьмом колене он родил Вооза, мужа миловидной, олицетворение мощи. Вооз и его жена очень возвысились в Ефрафе и прославились в Вифлееме, ибо их внуком был вифлеемец Иессей, отец семерых сыновей и одного младшего, смуглого, с красивыми глазами. Тот искусно играл на гуслях и умело владел пращой и поверг в прах исполина, — будучи уже тайно помазан на царство.

Все это — дела далекого будущего, относящиеся к той большой истории, для которой история Иосифа — всего только вставка. Но вставкой в историю Иосифа была и остается история женщины, никому не позволившей выставить себя прочь и вышедшей на столбовую дорогу с ошеломляющей решительностью. Вот она, высокая и суровая, стоит на склоне родимого своего холма и, держа одну руку на бедре, а другой защищая глаза, глядит на распаханное поле, над которыми, преломившись в нависших тучах, широким потоком разливаются сверкающие лучи.

## РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

### «СВЯЩЕННАЯ ИГРА»

#### О делах водных

У всех детей Египта, даже у самых мудрых и сведущих, были о природе их богакормильца, то есть о той ипостаси божества, которую племя Аврама именovalo «Эль Шаддаи», богом пищи, а в стране черной земли называли «Хапи», что значит «льющийся через край», «набухающий», — у этих детей были о свойствах потока, создавшего их диковинную, похожую на оазис между пустынями страну, о свойствах реки, поддерживавшей их жизнь и их веселую, несмотря на поклонение смерти, цивилизацию, короче говоря, о реке Ниле — самые детские представления. Они верили и веками учили своих потомков, что Нил, бог знает где и как, вытекает из преисподней, чтобы направиться к «большому зеленому», то есть к безмерно-огромному океану, каким они считали Средиземное море, и что убыль воды после оплодотворяющего разлива тоже равнозначна возврату в подземное царство... Короче говоря, тут у них царило суевернейшее невежество, и лишь благодаря тому, что во всем окружающем мире с просвещением дело обстояло тогда не лучше, а местами и хуже, они вообще выживали при такой темноте. Правда, несмотря на нее, они воздвигли пышную и могущественную державу, повсюду вызывавшую восхищение и продержавшуюся много тысячелетий, создали немало прекрасных вещей и, в частности, весьма ловко управлялись с предметом своей непросвещенности — потоком-кормильцем. И все-таки нам, знающим все гораздо лучше и даже досконально, приходится пожалеть, что никого из нас не было тогда на месте, чтобы озарить светом мрак их умов и дать им просвещенную справку о том, как в действительности обстоит дело с водой Египта. Сколько шуму наделало бы в

жреческих школах и в ученых кругах страны сообщение, что Хапи вовсе не берет своего начала в преисподней, отвергаемой нами, кстати сказать, как предрассудок, а вытекает из больших озер тропической Африки и что для того, чтобы стать богом пищи, Нил должен сначала напитаться, вобрав в себя все воды, стекающие на запад с эфиопских Альп. Сбегая там в период дождей с гор, насыщенные каменным крошевом ручьи сливаются в два потока, представляющие собой, так сказать, предысторию будущей реки: в Голубой Нил и Атбару, которые лишь позже, пространственно позже, у Хартума и Бербера, сходятся в общем русле и превращаются в просто Нил, животворный поток. Ибо в середине лета единое это русло постепенно наполняется такой массой воды и взвешенного в ней ила, что река широко затопляет берега, отчего ее и называли «избыточная»; и лишь через несколько месяцев, так же постепенно, она снова входит в свои пределы. А оставшийся от разлива слой ила образует, как то было известно и в жреческих школах, плодородную почву страны Кеме.

С удивлением и, возможно, досадой на глашатаев истины услышали бы они, что Нил течет не снизу, а сверху, — с такой же, в сущности, высоты, с какой падает на землю дождь, который играет жизнетворную свою роль в других, менее замечательных странах. Там, на горемычной чужбине, Нил помещен на небе, говорили, имея в виду дождь, дети Египта. И надо признать, что в цветистой этой фразе выражена поразительная, почти просвещенная мысль: мысль о взаимосвязанности всех водных запасов земли. Разлив Нила зависит от щедрости дождей в высокогорной части Абиссинии, а дожди эти изливаются из туч, образующихся над Средиземным морем и уносимых в Абиссинию ветром. Если процветание Египта обусловлено счастливым уровнем Нила, то процветание Канаана, страны Кенаны, Верхнего Ретену, как называлась эта земля тогда, или Палестины, как обозначает родину Иосифа и его отцов наша образованность, обусловлено дождями, которые выпадают там, как правило, дважды в году: поздней осенью — ранней весной — поздние. Ибо страна эта бедна родниками, а от текущих в глубоких ущельях рек толку мало. Все зависит поэтому от дождей, особенно от поздних, воду которых собирали уже в древнейшие времена. Если их нет, если вместо западных, влажных ветров преобладают восточные и южные суховеи, урожай гибнет, наступает засуха, голод — и притом не только здесь. Ибо если нет дождя в Канаане, то сухо и в горах Эфиопии, ручьи не бегут с них, и оба предтечи Кормильца слишком истощены, чтобы сам он мог стать, как говорили дети Египта, «большим» и наполнить каналы, отводящие воду на более высокие пашни; недород и нужда постигают и страну, где Нил находится не на небе, а на земле — а это и есть взаимосвязь всех водных дел в мире.

Зная это хотя бы в самых общих чертах, не приходится удивляться, а остается лишь ужасаться тому, что голод наступает одновременно «по всей земле», «во всех странах», не только в стране ила, но и в Сирии, в стране филистимлян, в Канаане, даже в странах Красного моря, возможно также в Месопотамии и Вавилонии, и что голод «во всех странах велик». Да, если дело примет совсем дурной оборот, то за одним годом неурожая, голода и нужды может со злым упорством последовать другой такой же, и полоса злополучья может растянуться на много лет — при сказочном характере бедствия даже на семь лет, хотя и пять — это уже достаточно скверно.

Иосифу нравится жить

В течение пяти лет с ветрами, водою и урожаем дела обстояли так превосходно, что из благодарности пятерку произвели в семерку, — она этого вполне заслуживала. Но вот обстоятельства переменялись, как это, благодаря своей материнской заботе о царстве черноты, нечетко предугадал во сне фараон и как отважился четко разгадать Иосиф: Нил

не сработал, поскольку в Канаане не сработали зимние дожди, особенно поздние; не сработал один раз — тут впору было горевать; не сработал два раза — тут впору было стонать; не сработал в третий раз — тут впору было ломать в отчаянные руки; и теперь ему уже ничего не стоило не сработать еще столько раз, чтобы это назвали семью годами мякины и засухи.

При таком необычайном неведении природы мы, люди, ведем себя всегда одинаково: сначала, настроенные на обыденный лад, мы заблуждаемся насчет такого явления, не понимаем, к чему оно ведет. Мы прекраснодушно считаем его мелочью и пустяком, и нам странно вспоминать свою слепоту и недогадливость после, когда мы постепенно убедимся, что дело идет о неслыханном злополучье, о первостатейном бедствии, до которого мы никак не чаяли сами дожить. Так было и с детьми Египта. Прошло много времени, прежде чем они поняли, что дожили до поры, именуемой «семью годами мякины», которую, хотя она когда-то уже наступала и даже играла довольно-таки жуткую роль в их письменных сказках, они никак не рассчитывали увидеть воочию. И все же непонимание происходящего было в этом случае менее простительно, чем наша обычная близорукость. Ведь фараон видел сон, а Иосиф истолковал его. Разве тот факт, что предсказанные семь тучных лет действительно наступили, не был уже почти доказательством того, что наступят и тощие? Но за тучные годы дети Египта и думать забыли о тощих, как забывают люди о счете дьявола. А теперь этот счет был предъявлен — в чем они не могли не признаться себе, когда и два и три раза подряд их Кормилец оказался плачевно мал; а общественным следствием этого запоздалого понимания был значительный рост авторитета Иосифа.

Если уже наступление годов изобилия было ему очень на пользу, то как же возросла его слава, когда выяснилось, что и тощие не преминули явиться и что, следовательно, меры, которые он против них принял, внушены высшей мудростью! Во времена мякины и голода министру сельского хозяйства приходится туго, ибо темный народ, никогда не бывающий разумным и справедливым, всегда норовит дать волю эмоциям и объявить виновным в стихийном бедствии ответственного за царство черноты. Совсем, однако, другое дело, если тот предсказал это бедствие; и уж совсем другое дело — тут ему и почет и слава, — если он вовремя пустил в ход волшебные защитные средства, лишаящие это несчастье, пусть даже чреватое немалыми передрыгами, характера катастрофы.

В пришлых сынах чужбины склонности и душевные качества принявшего их народа порою выражены, пожалуй, даже ярче и нагляднее, чем в самих коренных жителях. За двадцать лет акклиматизации в стране его обособления и отрешения типично египетская идея бдительной самозащиты вошла в плоть и кровь Иосифа, но, исходя из этой идеи, он действовал не безотчетно: он держался на достаточной дистанции от нее, чтобы не просто следовать ей, а, с улыбкой видя ее популярность, действовать в расчете на популярность: такое сочетание искренности и юмора обаятельнее, чем голая искренность — искренность без дистанции, без улыбки.

Для его посева, если назвать так его налоговое обложение изобилия, пришло время жатвы, то есть время раздачи хлеба, такого тучного, такого доходного для казны дела, какого не случалось делать ни одному сыну Ра за все время существования этого бога. Ибо, как сказано в книге и как поется в песне: «И была дороговизна во всех землях, а во всей земле Египетской был хлеб». Это, разумеется, не значит, что в земле Египетской не было дороговизны; каковы были при столь огромном спросе цены на зерно, это может представить себе всякий, кто хоть мало-мальски смыслит в законах народного хозяйства. Пусть он побледнеет, представив себе эти цены, но одновременно пусть учтет, что эта дороговизна управлялась так же, как прежде изобилие, то есть тем же приятным и хитрым человеком, который управлял изобилием; что дороговизна была у него в руках и он мог делать с ней что угодно. Он преданно обращал ее на благо фараону, но заодно и

тем, кому справиться с нею было всего труднее, — маленьким людям. Для них он превратил ее в даровую дороговизну.

Это произошло благодаря сложной, невиданной дотолем системе спекуляции и благотворительности, государственного ростовщичества и казенного обеспечения, системе, которая, смешав в себе суровость с человеколюбием, казалась всякому, даже тем, кого она обирала, сказочной и божественной; ведь божественное всегда видится в двойном свете — поди скажи, жестоко оно или добродушно.

Трудно представить себе всю чрезвычайность создавшегося положения. Состояние сельского хозяйства сон о семи опаленных колосьях определил с такой аллегорической меткостью, что это была уже не аллегория, а сухая действительность. Опалены были колосья сновиденья восточным ветром, а именно хамсином, горячим зюйд-остом, — а он дул теперь в течение всей летней и уборочной поры, так называемой шему, с февраля по июнь, почти непрерывно, часто переходя в жаркий ураган и наполняя воздух пылью, которая, словно зола, покрывала зелень, и поэтому все, что ухитрялось, несмотря на бессилие некормленного Кормильца, вырасти, обугливалось от огненного дыханья пустыни. Семь колосьев? Да, так можно было сказать; их было не больше. Другими словами — ни колосьев, ни урожая не было. А что было, было в несчетном, но, собственно говоря, отлично сочтенном и учтенном количестве, — так это зерно, семена и хлеб всякого рода: было в царских складах и ссыпных ямах верховья и низовья, во всех городах и пригородах земли Египетской, и только в земле Египетской; ибо в других местах заранее не позаботились и не построили ковчега на случай потопа. Да, во всей земле Египетской, и только здесь, был хлеб: в руках государства, в руках Иосифа, начальника всего, что дает небо; и он сам стал как дающее небо и как кормящий Нил: он отворял свои амбары — не настезь, а осторожно, то и дело снова их запирая, — и давал хлеб и семена всем, кто нуждался в них, а нуждались в них все: и египтяне, и чужеземцы, что приезжали за хлебом в страну фараона, которая с большим, чем когда-либо, правом носила звание житницы мира. Он давал — это значит: он продавал имущим, продавал по ценам, которые определяли не они, а он, и так как цены его соответствовали неслыханной конъюнктуре, то, золотя и серебря фараона, он мог одновременно давать и в другом смысле: то есть малым и сирым, у которых все ребра наперечет; этим, однако, бедным крестьянам и горожанам со сточных улиц, он давал лишь самое необходимое, то, о чем они вопили, только на посев и прокорм, чтобы им жить, а не умереть.

Это было божественно и в то же время в ладу с похвальным человеческим образцом. Всегда существовали добрые чиновники, которые со справедливым умилением говорили о себе в своих эпитафиях, что в голодные времена они кормили царских подданных и помогали вдовам, не отдавая при этом предпочтения ни сильным, ни слабым, а потом, когда Нил вырастал снова, «не взымали задолженности землепашца», то есть не требовали возврата ссуд и выплаты отсроченного оброка. Иосифовское ведение дел напоминало народу эти надписи. Но в таком масштабе, при таких полномочиях и так божественно пользуясь этими полномочиями, не преуспевал еще ни один чиновник со времен Сета. Операции с зерном, проводимые десятками тысячами писцов и младших писцов, охватывали весь Верхний и Нижний Египет, но все нити сходились в Менфе, в служебном дворце Исключительного Друга и Тенистой Сени, за которым всегда было последнее слово, если дело касалось продажи, займа или пожертвования. К нему приходили богачи, у кого было много земли, и слезно просили у него семенного зерна; он продавал им его за серебро и за золото, но с непременным условием, что они поднимут на современный уровень свою оросительную систему, покончив наконец с ее патриархальной отсталостью: в этом сказывалась его преданность фараону, самому высокому, в чью казну текло золото и серебро богачей. Доходил до него и стон бедняков о хлебе; этим он раздавал зерно из своих запасов совершенно бесплатно, чтобы они ели, а не сидели голодные: в этом сказывалась его симпатия, коренное свойство его души, о

природе которого мы уже все как нельзя лучше сказали выше, так что сейчас незачем к этому возвращаться. Напомним только, что оно было связано с остроумием. И вправду, было что-то остроумное в его системе наживы и обеспечения, так что, несмотря на большую занятость, он был в ту пору всегда очень весел и часто говорил дома своей супруге Аснат, дочери солнца: «Девушка, мне нравится жить».

Продавая, как мы знаем, хлеб по дорогим ценам и за границу, он просматривал среди прочих и ведомости поставок «князьям горемычного Ретену». Ибо правители многих канаанских городов, в том числе Мегиддо и Шахурена, посылали к нему за хлебом, и посланец Аскалуны тоже молил его о хлебе для своего города, и тому тоже продали хлеб, хотя и не дешево. Но и тут коммерческая прижимистость уравнивалась радушием, и он разрешал голодающим горемыкам, сирийским и ливанским пастушьим племенам, «никудашным варварам», как выражались его писцы, переселяться со стадами в Египет, проходя через тщательно охраняемые рубежи, и обретать жизнь восточнее Нила, неподалеку от каменистой Аравии, на влажных лугах Зоана, у Танитского рукава, если они обещали не переступить за пределы выделенной им области.

Поэтому Иосифу случалось читать такие донесения с границы: «Мы пропустили через Мернептахскую крепость к прудам Мернептаха бедуинов из Едома, чтобы они кормились и кормили свой скот на пажитях фараона, прекрасного Солнца стран».

Он читал их внимательно. Все сообщения с границы он читал самым внимательным образом, и писались они, согласно его требованиям, очень подробно: все лица, пропущенные через восточные заставы в драгоценную землю Египетскую, которая стала теперь, естественно, еще драгоценнее, — то есть все, кто приходил из чужих краев за хлебом в фараонову житницу, подлежали, по приказу Иосифа, строжайшему учету, и пограничным офицерам вроде Гор-ваза из крепости Зел, того писца великих ворот, который когда-то впустил в Египет вместе с измаильтянами самого Иосифа, ведено было составлять эти ведомости очень старательно, регистрируя не только место рождения, род занятий и имя новоприбывшего, но также имя его отца и даже отца отца, и ежедневно, аккуратно и срочно посылать эти списки в Менфе, в присутственный дом Тенистой Сени Царя.

Там их начисто, красными и черными чернилами, переписывали на дважды хороший папирус и в таком виде передавали Кормильцу. А тот, хотя у него было достаточно прочих дел, ежедневно прочитывал их сверху донизу — так же тщательно, как их составляли.

### Они придут

Это было на втором году тощих коров, в середине эпифи, что соответствует нашему маю, в отчаянно жаркий день — непомерно жаркий даже для летней трети года, а ведь в эту пору в земле Египетской всегда бывает жара: солнце жгло, как огонь, в тени мы насчитали бы сорок градусов, дул пыльный ветер, и на улицах Менфе песок пустыни запыливал воспаленные глаза горожан. Мухам и тем было невмоготу, и вялы, как мухи, были люди. За полчаса северо-западного бриза богачи отдали бы много золота и помирились бы, так уж и быть, с тем, что и бедняки от этого выиграли бы.

Но, возвращаясь в полдень из присутственного дворца домой, тоже, правда, с мокрым и запыленным лицом, Иосиф, Верховные Уста Царя, был очень возбужден и подвижен — если эти слова могут определить его состояние. Сворачивая иногда, согласно привычке, которой наместник не изменил и сегодня, с парадного проспекта, его паланкин, сопровождаемый повозками нескольких приглашенных им на обед сановников

министерства, пронес его по грязным от сточных вод улицам бедняков, приветствовавших его очень сердечно, восторженно и непринужденно.

«Джепнутеэфонех!» — кричали эти тощие, все ребра наперечет, людишки, посылая ему воздушные поцелуи. «Хапи! Хапи! Десять тысяч лет жизни тебе. Кормилец, после твоей кончины!» И они, которым предстояло отправиться в пустыню завернутыми в одну циновку, встречали и провожали его пожеланием: «Четыре прекрасных кувшина твоим внутренностям, а твоей мумии алавастровый гроб!» То была их симпатия в ответ на его симпатию.

Но вот его пронесли через расписные ворота пожалованного ему особняка в палисадник, где масличные, перечные и фиговые деревья, темная зелень кипарисов и опахла пальм, а также пестрые, похожие на стебли папируса столбы примыкавшей к дому террасы отражались в четырехугольнике оправленного камнем лotosового пруда. Широкий песчаный въезд огибал этот пруд, и когда носильщики остановились, скороходы подставили Иосифу колени и затылки, чтобы он по этим ступенькам спустился на землю. Май-Сахме, его управляющий, спокойно ждал его на террасе, вверху боковой лестницы, в обществе двух левреток из страны Пунт, Хепи и Хецес, животных очень благородных, украшенных золотыми ошейниками и дрожавших от нервного напряжения. Друг фараона взбежал по отлогой лестнице проворней обычного, проворнее, собственно, чем то подобало египетскому вельможе на виду у людей. Он даже не оглянулся на свою свиту.

— Май, — сказал он торопливо, сдавленным голосом, глядя головы собак, которые в знак приветствия положили лапы ему на грудь, — мне нужно немедленно поговорить с тобой наедине. Пройдем поскорее ко мне, а эти пусть подождут. Обед не к спеху, да и не смогу я сейчас есть, меня ждут дела поважнее, они касаются вот этого свитка, или, вернее, этот свиток касается их, я тебе все объясню, как только мы пройдем ко мне и будем одни...

— Прежде всего спокойствие, — отвечал Май-Сахме. — Что с тобой, Адон? Ты же весь дергаешься! А что ты не можешь есть, этого мне бы лучше вовсе не слышать, — ты, благодаря которому ест столько людей. Не хочешь ли ты сначала омыться от пота живой водой? Нельзя, чтобы пот застаивался в порах и полостях тела. Он разъедает и раздражает кожу, особенно если он смешан с песчаной пылью.

— Это тоже позднее. Май. Мытье и еда сейчас сравнительно несущественны, ибо да будет тебе известно то, что известно мне, известно благодаря этому свитку, который мне доставили перед самым моим отъездом из присутствия, а именно — что это наконец пришло, или, вернее — они пришли, что, впрочем, одно и то же, ибо это пришло, потому что пришли они, и спрашивается, что делать и как нам быть и как мне вести себя, ибо я страшно взволнован!

— Как же так, Адон? Прежде всего спокойствие! Того, о чем говорят, что это наконец пришло, ждут, а чего ждут, того не пугаются. Если ты согласишься сказать мне, кто пришел или что пришло, я докажу тебе, что нет никаких оснований пугаться и что уместно лишь полное спокойствие.

Обмениваясь этими словами, они быстро, хотя невозмутимый Май-Сахме и пытался идти медленнее, шагали по галерее, которая вела на фонтанный двор. Но Иосиф с Май-Сахме, в сопровождении Хепи и Хецес, завернули направо, в комнату с пестрым потолком, малахитовой притолокой и веселыми фризами вдоль стен вверху и внизу, служившую хозяину библиотекой и отделявшую большой приемный зал дома от его спальни. Обставлена была эта комната со всей изысканностью земли Египетской: инкрустированный диван, обложенный шкурами и подушками, превосходные резные ларцы для свитков на ножках выкладной работы и в письменах, львиногогие кресла с плетеными сиденьями и спинками из тисненной золотом кожи, столы для цветов и

подставки с фаянсовыми вазами и стеклянными, отливающими перламутром сосудами... Сжав локоть своего управляющего, Иосиф пружинисто приподнимался и опускался на цыпочках. Глаза его были влажны.

— Май, — воскликнул он со сдерживаемым ликованием, со спирающим дух веселым восторгом в голосе, — они придут, они здесь, они в этой стране, они прошли крепость Зел, я это знал, я этого ждал, и все же этому не верю, у меня от волнения сдавило горло, и я сам не знаю, где я...

— Будь так добр, Адон, не пляши со мной, ведь я же человек сдержанный, а соблаговоли выразиться понятнее. Кто прибыл?

— Мои братья. Май, мои братья! — воскликнул Иосиф, покачиваясь на носках.

— Твои братья? Дикари, что разорвали твою одежду, бросили тебя в яму и продали тебя в мир? — спросил начальник темницы, которому его повелитель все это давно поведал.

— Ну да! Ну да! Те самые, кому я обязан всем своим счастьем и своим величием здесь внизу!

— Ну, Адон, ты несколько нарочито оборачиваешь дело в их пользу.

— Бог обернул его, мой дворецкий! Бог повернул его к лучшему всем на пользу, а важен конечный итог, к которому он стремился. Пока нет итога, налицо только поступки, а поступки могут казаться дурными. Но когда итог известен, о поступках нужно судить по нему.

— Это еще вопрос, господин. Имхотеп Мудрый был бы, возможно, другого мнения. А отцу твоему они выдали кровь животного за твою кровь.

— Да, это было мерзко. Он, несомненно, упал замертво. Но, видно, это должно было случиться, мой друг, иначе не могло быть, потому что так больше не могло продолжаться. Подумать только, отец мой, человек большой и мягкой души, и я, — какой я был тогда зеленый юнец! Зеленый-презеленый, полный преступного доверия и слепой требовательности. Это просто позор, до чего поздно достигают иные зрелости! Если, конечно, считать, что теперь я ее достиг. Чтобы созреть, нужна, может быть, вся жизнь.

— Возможно, Адон, что в тебе все еще много мальчишеского. И ты уверен, что это действительно твои братья?

— Уверен ли? Да в этом не может быть ни малейшего сомнения! Разве я зря отдал такой строгий приказ насчет регистрации и донесений? Это я сделал не зря, ибо если мы и назвали нашего старшего сына Манассией, то только, скажу я тебе, для проформы, и я вовсе не забыл отцовского дома, отнюдь нет, я думал о нем ежедневно и ежечасно все эти несметные годы, ведь я же обещал маленькому Вениамину в лабиринте Растерзанного, что переселю их всех к себе, когда возвышусь и буду ходить в ключах... Уверен ли я, что это они? Вот прочти, это доставлено мчащимся гонцом и опередило их на день или на два. Сыновья Иакова, сына Ицхака, из роци Мамре, что близ Хеврона: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Дан, Неффалим... для закупки хлеба... И ты говоришь о каких-то сомнениях? Это они, вдесятером. Они прибыли среди других прибывших, с караваном покупателей. Писцы не подозревали, кого они занесли в список. И сами они никак не подозревают, к кому их приведут и кто здесь ведет торговлю на правах Верховных Уст Царя в этой стране. Ах, Май, если бы ты знал, каково у меня на душе! Но я и сам этого не знаю, во мне сейчас тоху и боху, если тебе понятны эти слова. А ведь я знал, что так будет,

я этого ожидал, я ждал этого много лет. Я знал это, когда стоял перед фараоном, и когда я гадал ему, я разгадал для себя, куда клонит бог и как он направит эту историю. Ах, Май, в какой истории мы находимся! Это одна из самых лучших историй! И теперь нужно, и теперь мы обязаны разукрасить ее как можно искуснее, как можно потешнее, порадев богу всем своим остроумием. С чего начать нам, чтобы это было под стать такой истории? Вот что волнует меня... Ты думаешь, они меня узнают?

— Откуда мне это знать, Адон? Думаю, что не узнают. Ведь ты же изрядно созрел с тех пор, как они тебя растерзали. Но главное, они ничего не подозревают, а это поразит их слепотой, они ни о чем не догадаются и не поверят своим глазам. Ведь одно дело — узнать, а другое дело — понять, что ты узнаешь, не правда ли? А это далеко не одно и то же!

— Верно, верно. И все-таки у меня замирает сердце от страха, что они узнают меня.

— Разве ты не хочешь, чтобы они тебя узнали?

— Только не сразу, Май, ни в коем случае не сразу! Пусть пройдет некоторое время, пусть они начнут догадываться, а уж потом я произнесу слова: «Это я». Это требуется, во-первых, для достойного украшения божественной нашей истории, а во-вторых, сначала нужно многое проверить, выяснить, разузнать, прежде всего насчет Вениамина...

— Вениамин с ними?

— В том-то и дело, что нет! Я же говорю тебе — их десять, а не одиннадцать. А нас же двенадцать! Явились только красноглазые и сыновья служанок, а сына моей матери, малыша, нет. Ты знаешь, что это значит? При своем спокойствии ты очень туго соображаешь. Отсутствие Вена можно истолковать двояко. Оно может означать, — и пусть бы это истолкование подтвердилось, — что мой отец еще жив — представь себе, жив еще, величавый старик! — и охраняет младшего, то есть не пустил его в путь, боясь, как бы с ним не случилось в дороге беды. В пути умерла у него Рахиль, в пути умер у него я — как же ему не быть предубежденным против всяких путешествий, как не удерживать от них то последнее, что у него осталось от миловидной? Вот что это может означать. Но это может означать также, что его нет в живых, отца моего, и что они гадко ведут себя с беззащитным, что они не по-братски отталкивают его и не хотят с ним дружить, потому что он сын праведной, бедный малыш...

— Ты все называешь его малышом, Адон, не учитывая, видимо, что и он за это время тоже созрел, твой братец правой руки. А ведь если задуматься, то он сейчас мужчина во цвете лет.

— Да, возможно, да, верно. Но он все равно остается младшим, друг мой, младшим из двенадцати, как же его не называть малышом? Младший — это всегда особое дело, милое дело, в младшем есть какое-то волшебство, он баловень в мире, что почти неизбежно вызывает у старших злобную зависть.

— Если взглянуть на твою историю, дорогой мой господин, то можно подумать, что младший, собственно, ты.

— То-то и оно. Я этого не отрицаю, возможно, что в твоём замечании есть доля истины и что история допускает тут некоторую неточность, отклонение от правила. Но из-за этого-то меня и мучит совесть, и я добьюсь, чтобы меньший мой брат сполна получил ту меру почета, которая причитается младшему; и если десятеро отвергли его и обращаются с ним гадко, если они, не приведи бог, обошлись с ним так же, как когда-то со мной, — тогда

да помилуют их элохимы. Май, они встретят у меня скверный прием, я не дам им узнать себя, и прекрасное «это я» так и не прозвучит; а если они узнают меня, я скажу: «Нет, злодеи, это не я!» — а они найдут во мне только строгого и чуждого судью.

— Вот так так, Адон! Теперь ты напускаешь на себя уже другой вид и заводишь другую песню. Забыв свою умиротворенность и кротость, ты вспоминаешь о том, как они с тобой поступили, а ведь ты, кажется, умеешь отличать итог от поступков.

— Я сам не знаю, Май, что я умею и чего не умею. Человек не знает заранее, как он поведет себя в своей истории, это выясняется, когда приходит время, и тогда он узнает себя самого. Мне любопытно, что я за человек и как я буду говорить с ними, ибо у меня нет об этом ни малейшего представления. Вот отчего я и дрожу, — когда мне предстояло держать ответ перед фараоном, я волновался во сто раз меньше. А ведь это мои братья. Но в том-то и дело. У меня в душе, как я тебе говорил, неопишущая неразбериха, в ней смешались и радость, и любопытство, и страх. Как я испугался, когда прочитал в списке их имена, хотя и твердо знал наперед, что так будет, ты этого не представляешь себе, ведь ты же не умеешь пугаться. За кого я испугался — за них или за себя? Этого я не знаю. Но довольно того, что у них-то уж есть причина испугаться до глубины души. Ибо то, что случилось тогда, не пустяк и, хотя с тех пор прошло столько времени, пустяком не стало. Признаю, это было вопиющей незрелостью сказать им, что я приехал к ним следить за порядком, — я все признаю, и прежде всего что не должен был рассказывать им свои сны и что, конечно, наябедничал бы отцу, если бы они вытащили меня из ямы, — отчего они и вынуждены были оставить меня в ней. И все же, и все же то, что они были глухи, когда я взывал к ним из бездны, израненный и связанный, когда я со слезами заклинал их не наносить удара отцу, оставив меня погибать в дыре и показав ему кровь заколотого животного, — это, друг, несмотря ни на что, было жестоко, жестоко не столько по отношению ко мне, об этом я не говорю, сколько по отношению к отцу. И если он умер с горя и в муках спустился в Шеол, — смогу ли я и тогда быть с ними добрым? Я этого не знаю, я не знаю, каков буду в этом случае, но я боюсь за себя, я боюсь, что не смогу быть с ними добрым. Если они свели седину его с печалью во гроб, то это тоже относилось бы к итогу, Май, и даже в первую очередь, и сильно омрачило бы свет, который бросает итог на поступки. Во всяком случае, этот поступок заслуживает очной ставки с итогом, ибо увидев, сколь добр итог, он, может быть, устыдится своей гнусности.

— Что ты собираешься делать с ними?

— Разве я это знаю? Я потому и прошу у тебя совета и помощи, что не знаю, как мне вести себя с ними, — у тебя, у своего домоправителя, которого я принял в эту историю, чтобы ты уделил мне немного спокойствия, когда я буду взволнован. Некоторую толику его ты вполне можешь отдать, у тебя явный избыток, ты слишком спокоен, ты только стоишь, поднимаешь брови и собираешь в трубочку губы, ибо ты не способен испугаться, и поэтому тебе ничего не приходит на ум. А это такая история, где на ум должно приходиться многое, таков наш долг перед ней. Ибо встреча поступка с итогом — это беспримерный праздник, который надо справить на славу, со всей пышностью священного озорства, чтобы мир больше пяти тысяч лет смеялся до слез!

— Испуг и волнение, Адон, бесплодной спокойствия. Приготовлю-ка я тебе успокоительное питье. Сначала я насыплю в воду порошка, который ее не замутит. Но потом я подсыплю другого, и смесь заклокочет, и как только ты выпьешь этой шипучки, в сердце твое вернется покой.

— Я с удовольствием выпью это позже. Май, в надлежущий миг, когда мне это будет всего нужнее. Теперь послушай, что я сделал пока. Я передал с мчащимся гонцом приказ, чтобы их отделили от пришельцев, с которыми они прибыли, и не снабжали зерном в

пограничных городах, а направили в Менфе, в Великое Присутствие. Я велел следить за их передвижением по стране, помещать их с их вьючными животными на хороших постоянных дворах, а также тайком заботиться о них на чужбине, которая кажется им такой же чужой и диковинной, какой казалась мне, когда я здесь умер в семнадцать лет. Я-то был гибок тогда, а им ведь, подумать только, уже под пятьдесят, если исключить Вениамина; но его с ними нет, и единственное, что я знаю, — это что его нужно доставить сюда, во-первых, чтобы я увидел его, а во-вторых, если он будет здесь, Май, то явится и отец. Короче говоря, я приказал нашим людям тайно подстилать им руки под ноги, чтобы они не споткнулись о камень, если тебе что-либо говорит это выражение. А здесь их приведут ко мне в министерство, в палату, где я принимаю посетителей.

— А не в дом твой?

— Нет, сначала не в дом, а с соблюдением всех правил в присутствии. Да и приемная палата, говоря между нами, там больше и внушительнее.

— Что же ты будешь с ними там делать?

— Вот тогда-то, наверно, мне и придется выпить твоей шипучки, ибо мне будет не по себе при мысли, что им будет не по себе, когда я наконец скажу; «Это я». Но я ни в коем случае не оплошаю, я не испорчу праздника убогим убранством, выпалив сразу же: «Это я». Нет, я повременю и буду с ними холоден.

— Ты хочешь сказать: враждебен?

— Я хочу сказать: холоден до враждебности. Боюсь, Май, что у меня не получится холодности, если я не доведу ее до враждебности. Так легче. Нужно придумать какой-нибудь повод, чтобы говорить с ними жестко, а то даже и накричать на них. Я сделаю вид, что их дело кажется мне очень подозрительным и загадочным и что сперва нужно все тщательно расследовать и выяснить и всякое такое...

— Ты будешь говорить с ними на их языке?

— Вот первые дельные слова, Май, которыми разрешилось твое спокойствие! — воскликнул Иосиф, шлепнув себя по лбу. — Очень важно, что ты обратил на это мое внимание, ибо мысленно я, дурак, говорю с ними все время по-канаански. С чего бы это мне знать канаанский язык? Это была бы величайшая оплошность! А ведь я болтаю по-канаански с детьми — боюсь, правда, что они переняли мой египетский выговор. Ну да это теперь последняя моя забота. Кажется, я говорю лишнее, то, о чем вполне уместно было бы упомянуть в более спокойной обстановке, но никак не сейчас. Разумеется, я не должен понимать канаанского языка, нужен переводчик, я распоряжусь в министерстве — превосходный, одинаково хорошо владеющий обоими языками, чтобы точно, ничего не смягчая и не огрубляя, передать им все, что я им скажу. Ибо все, что скажут они — например, большой Рувим, — ах, Рувим, боже мой, он был у пустой ямы, он хотел спасти меня, я узнал это от сторожа, кажется, я этого тебе еще не рассказывал, но я расскажу тебе это в другой раз! — что скажут они, это уж я пойму, но чтобы не выдать себя, не показать, что я понял, я должен буду отвечать им не сразу, а подождав, покуда этот скучный воображала не переведет мне их слов.

— Если ты примешь мое снадобье, Адон, у тебя все получится как нельзя лучше. И потом, я предложил бы тебе притвориться, что ты принимаешь их за соглядатаев, которые хотят высмотреть уязвимые места этой страны.

— Прошу тебя, Май, оставь при себе свои предложения! Как это тебе, при твоих добрых,

круглых глазах, пришло вдруг в голову что-либо предлагать?

— Я думал, что должен что-то предложить тебе, господин.

— Сначала я тоже так думал, друг. Но теперь я понял, что в этом высокаторжественном деле мне никто не может и не должен давать советы, что я обязан расцветить его совершенно самостоятельно, как велит мне сердце! Постарайся как можно более отрадным, утешительным и волнующим образом украсить свою историю о трех любовных влечениях, а мою историю предоставь украшать мне! Кто сказал тебе, что я и сам уже не напал на мысль сделать вид, будто я их считаю лазутчиками?

— Значит, мы напали на одну и ту же мысль.

— Конечно, потому что это единственно правильная мысль, и можно считать, что так и записано. Да и вообще вся эта история. Май, уже записана в книге бога, и мы вместе будем читать ее со смехом и со слезами. Ведь ты же, не правда ли, явишься в присутствие, когда они будут здесь, завтра или послезавтра, и их приведут ко мне в большую палату Кормильца, где он во многих видах изображен на стенах? Ты, конечно, войдешь в мою свиту. У меня должна быть внушительная свита во время этого приема... Ах, Май, — воскликнул возвысившийся и всплеснул поднятыми к лицу руками, теми самыми, на которые однажды глядел Бенони, когда они плели миртовый венок в роще владыки, и одну из которых украшал теперь небесно-голубой лазурит фараонова перстня «Будь как я», — ах, Май, я увижу их снова, родных моих, ибо родными они были всегда, как бы порой мы ни ссорились по общей нашей вине! Я буду говорить с ними, сыновьями Иакова, моими братьями, я услышу, жив ли еще отец, которому я так долго не подавал голоса из плена смерти, и может ли он еще услышать, что я жив и что бог принял в жертву не сына, а овна! Все я услышу, все выпрошу — как поживает Вениамин и по-братски ли относятся они к нему, и пусть они доставят мне его, и отца тоже! Ах, мой начальник острога, ставший моим начальником дома, все это слишком полно волнующей праздничности! И внести в это нужно как можно больше праздничного озорства и веселья. Ибо веселье, друг, и лукавая шутка — это самое лучшее из всего, что дал нам бог, и самый лучший ответ на запутанные вопросы, задаваемые жизнью. Бог дал их нашему духу, чтобы, благодаря им, мы заставили улыбнуться даже ее самое, суровую жизнь. То, что братья растерзали меня и бросили в яму, и то, что они теперь должны стоять передо мной, — это жизнь; и вопрос о том, следует ли судить о поступках по итогу и одобрять зло, потому что оно нужно было для благого итога, — это тоже жизнь. Такие вопросы жизнь и ставит. На них нельзя ответить всерьез. Только в веселье человеческий дух может подняться над ними, чтобы, душевно шутя над неразрешимым, вызвать улыбку, пожалуй, у самого бога, у этой величавой неразрешимости.

## Допрос

Иосиф был как фараон, когда он под белыми, воткнутыми в золотые, чеканной работы щиты страусовыми опахалами, которыми осеняли его мальчики в набедренниках и прическах пажей, восседал в своем кресле в палате Кормильца, окруженный главными писцами присутствия, чиновниками необычайно кичливыми, а у помоста, справа и слева, стояли на часах копьеносцы домовой стражи. Два двойных ряда оранжевых, украшенных письменами колонн с белыми основаниями и зелеными лotosовыми возглавьями тянулись перед ним к дальним, с финифтевыми карнизами входным дверям, а на просторных боковых стенах палаты, над фризом цоколя, был многократно изображен в человеческом облике разливающийся кормилец Хапи — с закрытым срамом, с одной мужской грудью и одной женской, с царской бородой, с болотными

растениями на голове, а на ладонях — с жертвенными подносами, полными цветов чащи и стройных кувшинов. Рядом с изображениями бога были и картины жизни, написанные крупно и веселыми красками, которые загорались в пучках лучей, падавших сквозь каменные решетки высоких окон: посев, молотьба, фараон, самолично идущий за волами во время пахоты и самолично же срезающий серпом первые золотые колосья, семь шагающих одна за другою озирисовских коров, а с коровами бык, чье имя ему известно, и все это перемежалось великолепно расположенными надписями, такими, например, как: «Да принесет мне пищу кормилец Нил, да уродится во благовремение все растущее!»

Такова была палата аудиенций, где наместник Гора выслушивал все мольбы о хлебе и семенах, подлежащие личному его рассмотрению. Здесь восседал он и на третий день после уже известной нам беседы со своим домоправителем Маи-Сахме, который стоял позади него, а дотоле и вправду напоил его наконец своей шипучкой, восседал, только что отпустив косматое, бородатое и обутое в остроносые башмаки посольство из страны великого царя Муршили, то есть из Хатти, где тоже свирепствовала засуха, — отпустив довольно-таки рассеянню и небрежно, что все заметили, ибо, диктуя своему «истинному писцу», отвалил хеттским городским старостам больше пшеницы, полбы, мавританского проса и риса, и притом по более низким ценам, чем предложили сами хеттеяне. Одни объясняли это государственной мудростью, полагая, что по каким-то, значит, соображениям мировой политики понадобилось оказать внимание царю Муршили; другие приписывали это недомоганью Единственного Друга, ибо еще перед началом приема он заявил, что у него пылевой катар, и то и дело прикладывал ко рту платок.

Поверх платка, широко раскрытыми глазами, глядел он вперед, когда хеттеяне удалились и в палату ввели очередную группу азиатов: один из них выделялся высоким ростом, у другого была голова грустного льва, третий был крепок и плотен, четвертый отличался длинными, подвижными ногами, пятый и шестой не скрывали грубой воинственности, у седьмого были влажные глаза и губы, восьмой стрелял колючими взглядами, девятый обращал на себя внимание своей костлявостью, десятый — кудрявыми волосами, окладистой бородой и яркостью алой и синей, окрашенной соком багрянок ткани одежд. У каждого, таким образом, была своя особенность. Дойдя до середины палаты, они нашли своевременным поцеловать землю, и Единственному пришлось подождать, чтобы они поднялись, после чего, движением мухогомки, он сделал им знак подойти ближе. Они подошли и пали ниц снова.

— Так много? — спросил он измененным голосом, бог весть почему понизив его чуть ли не до ворчанья. — Десять человек сразу? Так почему бы уж не одиннадцать? Толмач, спроси у них, почему их не одиннадцать, а то, пожалуй, и двенадцать. Или вы понимаете по-египетски?

— Не настолько, насколько нам хотелось бы, господин наш, прибежище наше, — ответил на своем наречье один из них, с ногами бегуна, явно обладавший к тому же и подвижным языком. — Ты как фараон. Ты как Луна, этот милосердный отец, шествующий в своем величественном облачении. Ты как первородный, по-своему прекрасный телец, Мошель, повелитель! Сердца наши единогласно славят того, кто торгует здесь хлебом, Кормильца стран, пищу мира, человека, без которого никто не мог бы дышать, и желают ему стольких лет жизни, сколько в году дней. Но язык твой, Адон, не прогневайся, мы, рабы твои, понимаем недостаточно, чтобы вести на нем торговые переговоры!

— Ты как фараон, — повторили они хором.

Покуда переводчик быстро и деловито-монотонно переводил речь Неффалима, Иосиф пожирал глазами стоявших перед ним братьев. Он узнал их всех и без труда определил каждого, как ни изменило их время. Вот большой Рувим, уже совсем седой, на

столпоподобных ногах, и сильные мышцы его лица свирепо напряжены. Бог судеб, она была здесь вся целиком, истощенная ненавистью стоя волков, что бросилась на него с криком: «Снять, снять!», хотя он умолял их: «Не рвите его!», они были здесь все, как один, злодеи, которые, улюлюкая, волокли его в яму, не слушая, как он растерянно вопрошал их, вопрошал самого себя, вопрошал небо: «Ах, ах, что со мной делают?!», которые продали его измаильтянам, словно безродного раба, за двадцать сребреников и у него на глазах окунули в кровь заколотого козленка остатки платья. Они были здесь, его вынырнувшие из времени братья во Иакове, убившие его из-за снов, пришедшие к нему тоже благодаря снам, и все это было похоже на сон. Перед ним стояли все шестеро красноглазых и четыре сына служанок: аспид Валлы и ее собиратель новостей, кряжистый первенец Зелфы в военном полукафтани, прямой Гад, и его брат, сластена и лакомка. Он был одним из младших, превосходя годами лишь дюжего осла Иссахара и просмоленного Завулону — а лицо его было уже все в морщинах, и много серебра было у него в бороде и в гладких, намасленных волосах. Предвечный, как они постарели! Это было трогательно, как трогательна сама жизнь. Но он испугался, когда увидел их, ибо почти невыносимо было, чтобы отец еще жил, если они уже так стары.

Со смехом, слезами и страхом в сердце глядел он на них, распознавая их всех сквозь бороды, которых иные из них в его времена вообще не носили. А они, хотя они тоже глядели на него, и не думали его узнавать, и зрячие их глаза не видели такой возможности. Однажды они продали в бескрайний мир, в неведомые дали бесстыжего своего брата, это они знали всегда, знали и сейчас. Но что этот знатный язычник, восседающий на престоле под опахалами в белой, как лепестки цветов, одежде, совсем по-египетски подчеркивавшей коричневую смуглость его лба и рук, — что этот владыка и здешний властитель торговли, к которому они пришли из нужды, украшенный цепью милости, представлявшей собой чудо златокузнечного искусства и окаймлявшей такое же чудо — нагрудник, выкованный с величайшим вкусом в виде узора из соколов, скарабеев и крестов жизни, — что этот сановник с ослепительной мухоголкой, с серебряным топориком на бедре, в прихотливо, по-здешнему, повязанном начальнике с твердыми наплечными крыльями, — что это и есть тот некогда устраненный и в конце концов пережитый отцом сновидец, такая мысль была им заказана, запрещена, недоступна, и даже то, что он непрестанно подносил к подбородку платок, — их даже это не могло навести на нее.

Он заговорил снова, и как только он останавливался, ему неукоснительно вторил переводчик, без выражения отбарабанивая по-ханаански все, что он успевал сказать.

— Состоится ли у нас торговая сделка и будет ли вам отпущен хлеб, — сказал он недовольно, — это еще неизвестно и требует выяснения, — весьма возможно, что выяснится совсем другое. Что вы не говорите на языке людей, беда невелика. Мне жаль вас, впрочем, если вы думали, что с Верховными Устами Фараона можно беседовать на вашем тарабарском наречье. Такой человек, как я, говорит по-вавилонски, по-хеттски, но вряд ли он снизойдет до хабирского и тому подобной авласавлалакавлы, и если он когда-либо знал этот язык, он постарается поскорее забыть его.

Пауза и перевод.

— Вы смотрите на меня, — продолжал он, не дожидаясь их ответа, — вы по-варварски нескромно рассматриваете меня и, молча отмечая, что я нет-нет да прикрываюсь платком, втайне заключаете, что я нездоров. Да, я немного нездоров — но что тут такого, чтобы подглядывать, выведывать и делать какие-то выводы? У меня всего-навсего пылевой катар — даже такой человек, как я, не застрахован от этого. Мои врачи меня вылечат. Врачебное искусство в Египте стоит на очень высоком уровне. Мой собственный домоправитель, управляющий частного моего дворца, вдобавок и врач. Вот

увидите, он меня вылечит. А к людям, даже если они для меня совсем чужие, вынужденным в столь необычную и неприятную погоду пускаться в путь, тем более в путь через пустыню, — к таким людям я полон озабоченного сочувствия: чего только они не претерпели в пути. Откуда вы прибыли?

— Из Хеврона, великий Адон, из четырехградия Кириаф-Арбы и от теребинтов Мамре в земле Ханаан — купить пищи в земле Египетской. Мы все...

— Довольно! Кто это говорит? Кто этот маленький с блестящими губами, который вызвался говорить? Почему говорит именно он, а не вот эта, например, башня стад, — ибо телосложением он напоминает башню, — самый, по-моему, старший и самый смысленный из вас?

— Это Асир ответил тебе, господин, с твоего позволения. Асир — так зовут раба твоего, одного из нас, нашего брата. Ибо все мы братья и сыновья одного человека, мы связаны братством, и когда нам нужно держаться вместе и действовать сообща, слово берет обычно Асир, твой покорный слуга.

— Вот как. Значит, ты записной говорун и общее место. Отлично. Но, приглядевшись к вам как следует, я вижу острыми своими глазами, что вы, при всем вашем братстве, совершенно разные люди и этот, например, схож с тем, а у других есть свое сходство. Говорун ваш, отвечавший от имени всех, похож, по-моему, на этого вот в коротком кафтане, который он обшил медью, а вон у того, с глазами змеи, есть что-то общее с его тонконогим соседом, что переминается с ноги на ногу. А многих объединяет краснота воспаленных век.

Ответить взялся Ре'увим.

— Воистину ты видишь все, господин, — услышал Иосиф его голос. — Позволь объяснить тебе, в чем тут дело! Сходство и различие между нами имеют причиной то, что родились мы от разных матерей — четверо от двух и шестеро от одной. Но все мы сыновья одного человека, Иакова, раба твоего, который родил нас и послал к тебе, чтобы купить пищи.

— Он послал вас ко мне? — повторил Иосиф и закрыл носовым платком все лицо. Затем он стал снова глядеть поверх платка.

— Приятель, ты поразил меня тонкостью своего голоса при таком башнеподобном сложении, но еще больше удивил меня смысл твоих слов. Ведь всем вам время уже посеребрило волосы и бороды, а у старшего, который не носит бороды, голова зато и вовсе седая. Вы запутались в своих речах, я им не верю, ибо вы не похожи на людей, у которых отец еще жив.

— Клянусь твоим лицом, он жив, господин, — сказал Иуда. — Позволь мне подтвердить слова моего единоутробного брата! Мы говорим правду. Наш отец, твой раб, жив, он живет торжественной жизнью, и он совсем не так стар, ему, наверно, лет восемьдесят или девяносто, а это совсем не диво в нашем роду. Ибо нашему прадеду было уже сто лет, когда он породил истинного и праведного, который и был родителем нашего отца.

— Что за варварство! — сказал Иосиф дрогнувшим голосом. Он оглянулся на своего управляющего и, отвернувшись от него снова, помолчал, что вызвало всеобщее беспокойство.

— Вы могли бы, — сказал он наконец через несколько мгновений, — отвечать на мои вопросы точнее, не вдаваясь в ненужные подробности. Я спросил вас, как вам

путешествовалось в таких неблагоприятных условиях, очень ли вы страдали от зноя, сохранилась ли у вас вода, не нападали ли на вас разбойники или пыльная буря абубу, не хватил ли кого-нибудь тепловой удар, — вот что я хотел узнать.

— Наше путешествие прошло вполне сносно, Адон, благодарим тебя за твой любезный вопрос. Разбойники нашему каравану не были страшны, водою мы были надежно обеспечены, и мы даже не потеряли ни одного осла, и все остались здоровы. Пыльная буря абубу умеренной неприятности — вот и все, что нам суждено было перенести.

— Тем лучше. Вопрос мой не был любезным, он был строго деловым. Ведь ничего необычного в такой поездке, как ваша, нет. В мире так много ездят. Семнадцатидневные, даже семижды семнадцатидневные поездки никому не в диковинку, и проделывать их приходится шаг за шагом, ибо земля не очень-то скачет тебе навстречу. Вот, например, купцы следуют от Гилеада дорогой, что идет от места Беисан через Иенин по долине — погодите! я же знал ее название, ну да, вспомнил: по долине Дофан, а оттуда выезжают на большой караванный путь, который ведет из Дамашки в Лейун, Рамлех и в гавань Хазати. Вам было легче. Из Хеврона вы спустились к Газе, что совсем просто, а потом двигались по берегу, все вниз и вниз, к этой стране?

— Ты это сказал, Мошель. Ты знаешь все.

— Я знаю очень многое. Отчасти благодаря острому от природы уму, отчасти же благодаря другим средствам, доступным такому человеку, как я. В Газе, однако, где вы, вероятно, присоединились к каравану, как раз и началась самая скверная часть путешествия. Там надо миновать железный город и проклятый морской берег, покрытый костями.

— Мы не глядели туда и с богом оставили позади эти страхи.

— Это меня радует. Маячил ли перед вами огненный столп?

— Порой он показывался впереди. Потом он рухнул, и тогда началась умеренно неприятная буря абубу.

— Вы, наверно, просто не хотите хвастаться ее ужасами. Она вполне могла оказаться смертельной для вас. Меня огорчает, что путешественники вынуждены терпеть такие невзгоды, спускаясь в Египет. Я говорю это по строго деловым соображениям. Но уж зато вы, наверно, были счастливы, когда добрались до наших бастионов и сторожевых башен?

— Мы громко радовались своему счастью и благодарили господу за то, что уцелели.

— Испугались ли вы крепости Зел и ее воинов?

— Мы испугались ее в почтительном смысле.

— А что произошло с вами там?

— Нам не запретили въезд, когда мы заявили, что хотим купить хлеба в этой житнице, чтобы нашим женам и детям жить и не умереть. Но нас отделили от прочих.

— Это я и хотел услышать. А вы удивлены тем, что вас отделили? Такого с вами, наверно, никогда не случалось, разве что вы сами когда-либо отделялись? И все же вас оставили вместе, в полном составе, вдесятером, если вы в полном составе, когда вас десять; ведь ни одного брата не отделили от других братьев и обособили вас только от остальных

путников?

— Да, господин, так оно и было. Нам сказали, что мы нигде не сможем купить хлеба, кроме как в Мемпи, Весах Стран, и у тебя самого, владыки пищи, Друга Божьего Урожая.

— Совершенно верно. Вам помогали? Вам хорошо ехалось от границы до города Закутанного?

— Очень хорошо. За нами присматривали. Какие-то люди, то появляясь, то исчезая, указывали нам постоянные дворы и харчевни, а наутро хозяин отказывался брать с нас плату.

— Даровой хлеб и кров получает либо почетный гость, либо пленник... Нравится ли вам земля Египетская?

— Это чудесная страна, великий визирь. Ее мощь и великолепие подобны Нимродовым, она блистает красотой своего убранства, куда ни посмотришь — вверх или вниз, храмы ее величественны, а ее гробницы касаются неба. Глаза наши часто бывали мокры от слез.

— Не настолько, надеюсь, чтобы заставить вас забыть о своем ремесле и заданье и помешать вам подглядывать, выведывать и делать тайные выводы?

— Нам темна твоя речь, господин.

— Значит, вы притворяетесь, что не знаете, почему вас отделили от остальных путников, почему за вами присматривали и почему вам пришлось предстать предо мной?

— Мы были бы рады это узнать, светлейший, но мы этого не знаем.

— Вы делаете вид, будто ни о чем не догадываетесь, и совесть не шепчет вам, что вы находитесь под подозрением, что на вас пало тяжкое, мрачное подозрение, а теперь даже больше, чем просто подозрение, ибо ваша бесчестность нам отлично видна?

— Что ты говоришь, господин! Ты как фараон. Какое подозрение?

— Что вы соглядатаи! — крикнул Иосиф и, хлопнув ладонью по ручке львиного кресла, встал на ноги. Он употребил очень оскорбительное аккадское слово «дайалу», шпионы, и ткнул каждому чуть ли не в лицо мухогонку.

— Дайалу, — глухо повторил, как эхо, толмач.

Они отпрянули от него все, как один, ошеломленные, возмущенные.

— Что ты говоришь! — забормотали они хором.

— Я сказал то, что сказал! Вы соглядатаи, вы пришли, чтобы высмотреть слабые места этой страны, которые она скрывает, и выдать их тем, кто собирается напасть на нее и разграбить ее. Таково мое убеждение. Если вы надеетесь его опровергнуть, попробуйте!

Слово взял Рувим, ибо остальные усердно и дружно делали ему знаки, чтобы он оправдал их. Он медленно покачал головой и сказал:

— Что тут опровергать, повелитель? Об этом и говорить-то стоит лишь потому, что сказано это тобой, а то можно было бы просто пожать плечами. Ошибаются подчас и

великие люди. Твое подозрение несправедливо. Ты видишь, мы не опускаем перед ним глаз, а глядим тебе в глаза спокойно и честно, и даже не без вежливого упрека за такое превратное о нас мнение. Ибо мы видим твоё величие, а ты не видишь нашей честности. Взгляни на нас, и пусть наш вид откроет тебе глаза! Мы все сыновья одного человека из страны Ханаан, и человека превосходного, царя стад и друга господня. Наше дело правое. Мы прибыли в числе прочих пришельцев купить пищи на кольца из доброго серебра, которые ты можешь взвесить на точных весах, пищи для наших жен и детей. Вот наше желание. Дайалу, клянись богом богов, рабы твои никогда не были.

— И все-таки вы дайалу, — ответил Иосиф и топнул сандалией. — Что вобьет себе в голову такой человек, как я, то остается в силе. Вы пришли высмотреть срам этой земли, чтобы нанести ей удар серпом. Что это поручено вам, десятерым, злобствующими царями Востока, таково мое убеждение, которое вам надлежит опровергнуть. А башнеподобный этот верзила его нисколько не пошатнул, он просто голословно заявил, что оно несправедливо. Подобным оправданием такой человек, как я, удовлетвориться не может.

— Будь милостив, господин, рассуди, — сказал один из братьев, — что скорей уж тебе надлежит доказать подобное обвинение, чем нам опровергнуть его!

— Кто это из вас делает такие хитроумные замечания и жалит глазами? Я давно заметил тебя из-за твоего змеиного взгляда. Как тебя зовут?

— Даном, с твоего изволения, Адон, Даном называли меня, когда я был рожден служанкой на колени ее госпожи.

— Очень приятно. Итак, дока Дан, судя по хитроумию твоих речей, ты, вероятно, воображаешь, что годишься в судьи, и притом в собственном деле? Но здесь правосудием ведаю я, и тот, на кого пало подозрение, должен обелить себя передо мной. Известно ли вам, жителям песков и сынам чужбины, легко уязвимое великолепие этой тонкой страны, над которой меня поставили, чтобы я отвечал за ее благо перед сидящим во дворце сыном бога? Ей всегда угрожает разнузданная жадность дикарей, постоянно высматривающих слабые ее места, всяких там беду, ментию, антию и пентию. Можно ли допустить, чтобы хабиры учинили здесь то, что они время от времени учиняли за рубежом, в провинциях фараона? Я слышал о городах, на которые они нападали, как бешеные, и во гневе убивали мужа и для варварской своей забавы перерезали жилы тельца. Видите, я знаю больше, чем вы думали. Двое или трое из вас, — не скажу: все, — судя по их виду, вполне способны на такие поступки. И я должен поверить вам на слово, что у вас не было на уме ничего дурного и вы не хотели выведать тайны страны?

Они засуетились, обмениваясь взволнованными жестами. Посовещавшись, они кивнули Иуде, чтобы он отвечал и взял на себя защиту. Он сделал это с достоинством испытанного спорщика.

— Господин, — сказал он, — позволь мне держать речь и изложить тебе наши обстоятельства в полном соответствии с истиной, чтобы ты убедился, что дело наше правое. Итак, мы рабы твои, — нас двенадцать братьев, и все мы сыновья одного человека из страны...

— Постой, как же так? — воскликнул Иосиф, который уже успел сесть, а сейчас чуть не вскочил снова. — Теперь вас вдруг оказалось двенадцать? Значит, вы обманывали меня, утверждая, что вас десять человек?

— ...из страны Ханаан, — закончил Иуда уверенно и почти с таким выражением, словно

это неуместная поспешность — прерывать его сейчас, когда он приготовился сказать все и начистоту. — Нас, рабов твоих, двенадцать братьев или, вернее, нас было двенадцать — мы не притворялись, будто стоим перед тобой в полном составе, мы только заявили, что все мы, десятеро, сыновья одного человека. Вообще-то нас двенадцать, но младший наш брат, не доводящийся сыном ни одной из наших матерей, а рожденный некоей четвертой, умершей столько лет назад, сколько он живет на свете, остался с отцом, а одного из нас уже нет.

— Что значит: уже нет?

— Он пропал, господин, в юном возрасте, отбившись от рук у отца и у нас, потерялся в мире.

— Этот малый был, видимо, охотник до приключений. Впрочем, какое мне до него дело. Но малыш-то, младший ваш брат, он ведь не вашей руки, — то есть я хотел сказать: не отбилась у вас от рук, а у вас в руках?

— Он дома, господин, он всегда дома, у отца под рукой.

— Из чего я должен заключить, что этот ваш старый отец еще жив и живется ему хорошо?

— Ты об этом, не прогневайся, Адон, уже спрашивал, и мы ответили тебе утвердительно.

— Вовсе нет! Возможно, что я уже допрашивал вас насчет того, жив ли еще ваш отец, но хорошо ли ему живется, я спрашиваю вас в первый раз.

— При благополучных обстоятельствах, — отвечал Иуда, — твоему рабу, нашему отцу, живется хорошо. Но уже несколько лет, как то известно моему господину, обстоятельства в мира гнетущие. После того как небо отказало нам в своей благодатной влаге единожды и дважды, дороговизна в нашей стране, как и в других странах, все растет и растет. Говорить о дороговизне — это значит даже преуменьшать размеры бедствия, ибо ни за какие деньги не добудешь зерна ни на посев, ни на прокорм. Наш отец богат, он живет на широкую ногу...

— Насколько богат и насколько широко он живет? Есть ли у него, к примеру, наследственная усыпальница?

— Ты это сказал, господин. Махпеллах, двойная пещера. Там покоятся наши праотцы.

— Живет ли он, к примеру, настолько широко, чтобы иметь старшего раба, домоправителя, подобно тому как у меня есть домоправитель, который вдобавок и врач?

— Именно так, светлейший. У него был мудрый и многоопытный управляющий, по имени Елиезер. Его скрывает Шеол; он склонил голову и умер. Но он оставил двух сыновей: Дамасека и Елиноса, и старший, Дамасек, занял место умершего; его называют теперь Елиезер.

— Что ты говоришь, — ответил Иосиф. — Что ты говоришь...

И на мгновение взгляд его, пройдя поверх их голов, расплылся в пустоте, в просторе палаты.

— Почему ты, львиная голова, прервал свою попытку вас оправдать? — спросил он затем. — Ты не знаешь, что говорить дальше?

Иуда снисходительно усмехнулся. Он не сказал попросту, что вовсе не сам он то и дело прерывает себя.

— Твой слуга собирался и собирается, — отвечал он, — рассказать тебе о нашем житье-бытье и о нашей поездке правдиво и связно, чтобы ты убедился, что дело наше правое. Дом наш многолюден — людей, правда, в нем еще не столько, сколько песку морского, но все-таки очень много. Нас около семидесяти человек, ибо все мы главы под главенством отца, все мы женаты и у всех нас есть...

— Женаты все десять?

— Женаты все одиннадцать, господин, и у всех есть...

— Неужели и ваш младший женатый глава?

— Именно так, как ты сказал, господин. От двух жен у него восемь детей.

— Быть этого не может! — воскликнул Иосиф, не дожидаясь перевода, и, хлопнув по львиному подлокотнику, разразился смехом.

Стоявшие позади него чиновники-египтяне тоже засмеялись из подобострастия. Братья боязливо улыбнулись. Май-Сахме, его управляющий, тихонько толкнул его в спину.

— Вы утвердительно кивнули головами, — сказал Иосиф, вытирая глаза, — и я понял, что ваш младший тоже женат и тоже отец. Это замечательно. Потому-то я и смеюсь, что это замечательно — замечательно смешно. Ведь младшего обычно представляешь себе малышом, карапузом, а не женатым человеком, отцом семейства. Из этого представленья и исходил я, когда смеялся, да и смех мой, как видите, был недолгим. Дело это слишком серьезно и подозрительно, чтобы смеяться. И то, что ты, львиная голова, снова запнулся в своей оправдательной речи, — это кажется мне тревожным знаком.

— С твоего разрешения, — ответил Иуда, — я продолжу ее без запинки и связно. Итак, дороговизна, которую вернее было бы назвать страшным голодом, ибо дорожать нечему, — эта беда подавила страну, начался падеж стад, и в уши нам ударил плач наших детей о хлебе, а это, господин, для ушей человеческих самые горькие и самые нестерпимые звуки, если, пожалуй, не считать сетований священной старости на то, что и она лишена насущного, привычного и подобающего; ибо мы слышали, как наш отец говорил, что еще немного, и лампада его погаснет, и ему придется спать в темноте.

— Неслыханно, — сказал Иосиф. — Это беда, чтобы не сказать: мерзость! Разве можно до этого доводить? Ни малейшей предусмотрительности, ни малейшей предосторожности, ни малейшей попытки предотвратить бедствие, которое еще существует в мире и всегда может стать действительностью! Ни малейшего воображения, ни малейшего страха и никаких запасов! Жить сегодняшним днем, не лучше скота, не заглядывая вперед, покуда в конце концов отец на старости лет не лишится привычной пищи. Стыдитесь! Разве у вас нет образования, нет историй? Разве вы не знаете, что при определенных условиях ничего не растет и не цветет, потому что земля родит одну соль и даже трава не всходит, не то что хлеб? Что жизнь тогда замирает в печали и был не покрывает корову, а осел не склоняется над ослицей? Неужели вы никогда не слышали о потопах, затопляющих землю, и что пережить их способен только мудрец, который построит себе ковчег, чтобы плавать в нем по возвратившимся хлябям? Неужели нельзя было побеспокоиться раньше, неужели нужно было ждать, чтобы все совершилось, чтобы грянула

притаившаяся беда и у самой дорогой старости иссякло масло в лампаде?

Они повесили головы.

— Продолжайте! — сказал он. — Тот, что говорил, продолжай! Только ни слова больше о том, что ваш отец спит в темноте!

— Это сказано образно, Адонаи, и означает лишь, что общее злополучье коснулось и его и у него нет лепешек Для жертвы. Мы видели, как многие снаряжались в дорогу и отправлялись в эту страну, чтобы купить и привезти домой пищи из фараоновых житниц, ибо только в Египте есть хлеб и торгуют хлебом. Но мы долго не решались заявить отцу, что тоже хотим снарядиться в деловую поездку и спуститься сюда, чтобы закупить хлеб.

— Почему не решались?

— Со свойственным его возрасту упрямством он держится за свои предвзятые мнения, в том числе и о стране твоих богов. Он упрям в своих суждениях о Мицраиме и не свободен от предрассудков насчет его обычаев.

— Надо смотреть на это сквозь пальцы и вести себя как ни в чем не бывало.

— Он, вероятно, не позволил бы нам спуститься сюда, если бы мы попросили его об этом. А потому мы сочли более благоразумным подождать, чтобы нужда навела его самого на эту мысль.

— Решать за отца и мудрить с ним тоже, пожалуй, не следует, ибо это не очень почтительно.

— Нам ничего другого не оставалось. К тому же, мы видели, он часто поглядывал на нас искоса и, открыв было рот, чтобы заговорить, снова его закрывал. Наконец он оказал нам: «Почему вы переглядываетесь и осторожничаете? Я же знаю, до меня дошел этот слух, что внизу продается хлеб и что торговля ведется на месте. Собирайтесь, не сидите сиднем, иначе мы пропадем! Выберите жеребьевкой одного или двоих из вас, и те, на кого падет жребий, Симеон или Дан, пусть отправятся в путь, спустятся туда с другими и купят пищи для ваших жен и детей, чтобы нам жить и не умереть!» — «Хорошо, — ответили мы, братья, — но двоих мало, ибо встанет вопрос о наших потребностях. Нам нужно поехать всем и показать, сколько нас, чтобы дети Египта убедились, что хлеб нам нужно отмерять не мерами эфа, а мерами хомер». Он сказал: «Ну, так поезжайте вдесятером!» — «Было бы лучше, — ответили мы, — если бы мы поехали все и показали, что у нас одиннадцать домов под твоим домом, а то нам отпустят хлеба в обрез». Но он сказал в ответ: «В своем ли вы уме? Я вижу, вы хотите сделать меня бездетным. Разве вы не знаете, что Вениамин должен оставаться дома при мне? А что, если с ним случится какое-нибудь несчастье в дороге? Вы поедете вдесятером, или мы будем спать в темноте». И мы поехали.

— Это и есть твое оправдание? — спросил Иосиф.

— Господин, — ответил Иуда, — если мой точный рассказ не устраняет твоих подозрений и не убеждает тебя в том, что мы люди порядочные и дело наше правое, мы должны будем оставить всякую надежду на оправдание.

— Боюсь, что так оно и окажется, — сказал Иосиф. — Ибо насчет вашей порядочности у меня есть свои соображения. Что же касается подозрения, под которым вы находитесь, и моей пока еще не поколебленной уверенности в том, что вы не кто иные, как

соглядатаи, — ладно, я вас проверю. Точность ваших показаний — так вы говорите — должна убедить меня в том, что вы не плуты и что дело ваше правое. Отлично, пусть будет так! Приведите вашего младшего брата, о котором вы говорили! Пусть он предстанет с вами передо мной, чтобы я увидел его и воочию убедился, что ваши показания достоверны до мелочей и что ваши обстоятельства изложены точно, — и я начну сомневаться в своем подозренье, и мое обвинение постепенно заколеблется. А если нет, то, клянусь жизнью фараона, — а вам, надеюсь, известно, что это самая высокая клятва у нас в стране, — тогда не только не может быть речи ни о какой снабжении хлебом, будь то мерами эфа или мерами хомер, но окончательно подтвердится, что вы дайалу, а как поступают с дайалу, о том следовало вам помнить, когда вы брались за это занятие.

Они растерялись, лица их побледнели и пошли пятнами.

— Ты хочешь, господин, — спросили они, — чтобы мы проделали девяти— или семнадцатидневный обратный путь (ибо нам земля не скачет навстречу) и, повторив это путешествие, предстали перед тобой с младшим?

— Этого еще не хватало, — возразил он. — Нет, ни в коем случае! Неужели вы думаете, что такой человек, как я, так просто и отпустит пойманных лазутчиков? Вы пленники. Я продержу вас три дня, то есть сегодня, завтра и отчасти послезавтра, в одном из боковых покоев этого дома. За это время вы можете жеребьевкой или полюбовно выбрать того, кто поедет домой и доставит вашего младшего брата. Прочие же останутся в плену, покуда он не предстанет передо мной, ибо, клянусь жизнью фараона, без него вы уже не увидите моего лица.

Они глядели на носки своих ног, кусая губы.

— Господин, — сказал старший, — то, что ты велишь нам, выполнимо до того часа, когда наш гонец прибудет домой и признается отцу, что мы не получим хлеба, пока не представим младшего брата. Ты не знаешь, как он тут всполошится, ибо отец наш очень упрям, и всего упрямей стоит на том, чтобы малыш не покидал дома и никуда не ездил. Это, видишь ли, любимчик, последний ребенок...

— Но ведь это же нелепость! — воскликнул Иосиф. — Ведь если спокойно рассудить, то сразу становится ясно, что и младший может быть далеко уже не ребенком и вовсе не карапузом. Это предрассудок, которому не нужно потворствовать. Если старшие братья довольно стары, можно быть в десять раз младше и при этом все же мужчиной во цвете лет, вполне способным к поездкам! Вы думаете, ваш отец скорее согласится, чтобы вы все томились в неволе как соглядатаи, чем отпустит к вам своего младшего?

Некоторое время они молча совещались между собой, обмениваясь взглядами и пожимая плечами, пока наконец Рувим не ответил:

— Мы считаем это возможным, господин.

— Ну, а я, — оказал Иосиф и встал, — я считаю это невозможным. И такого человека, как я, вы в этом не убедите. А что касается моих слов, то они остаются в (Силе. Представьте мне своего младшего брата, таково Мое твердое условие. Ибо если это не в ваших силах, то, клянусь жизнью фараона, вас изобличат в соглядатайстве!

Он кивнул офицеру стражи, тот что-то сказал, и к братьям подошли копьеносцы и вывели их, испуганных, из палаты.

«Она взыскивается»

Их не бросили ни в какую темницу или дыру, их просто заперли — в дальней комнате с цветочными колоннами, которая находилась на высоте нескольких ступенек и была, по видимому, пустовавшей письмоводительской, хранилищем устаревших документов. Для десятерых здесь было достаточно места, и вдоль стен тянулись скамьи. Живущим в шатрах пастухам даже это помещение показалось прямо-таки барским. Что оконные проемы были решетчатые, ничего не значило, ибо они всегда бывают в решетку. Правда, у двери ходили часовые взад и вперед.

Сыновья Иакова сели на свои пятки и принялись обсуждать случившееся. У них было много времени, — до послезавтра, — чтобы избрать того, кто передаст отцу требование египтянина. Поэтому сначала они обсудили положение вообще, то есть свалившуюся на них неприятность, которую единодушно, с озабоченными лицами, назвали очень опасной и скверной. Что за злосчастная незадача — навлечь на себя такое подозрение неведомо почему! Они упрекали друг друга в том, что не догадались о приближении беды; ведь то, что их отделили на границе и, направив в Менфе, присматривали за ними в пути, это, говорили они теперь, было уже подозрительно, подозрительно как знак подозрения, хотя поначалу и казалось, скорее, свидетельством радушия. Здесь вообще их встретила смесь радушия и небезопасности, которая ставила их в тупик и смущала, но в то нее время, при всей своей тревожности и обидности, наполняла каким-то странным счастливым чувством. Они не могли раскусить того, перед кем стояли и кто заставил их опровергать это злополучное свое подозрение, подозрение, на их взгляд, нелепое и чудовищное, — будто они, честные люди, десятикратное олицетворение невинности и деловой порядочности — будто они шпионы, пробравшиеся в эту страну, чтобы высмотреть ее срам! Но как бы то ни было, он вбил это себе в голову, и мало того что это подозрение было крайне опасно и угрожало их жизни, — оно причиняло братьям и душевную боль; ибо этот человек, этот хлеботорговец и вельможа Египта, понравился им, и совершенно независимо от угрозы их жизни, им было больно, что именно он думал о них так плохо.

Примечательный человек. Его вполне можно было назвать писанным красавцем и, не рискуя впасть в преувеличение, сравнить с первородным, по-своему прекрасным тельцом. Да и приветлив он был отчасти. Но в нем-то как раз и сосредоточилась та смесь приветливости, радушия, с одной стороны, и недоброжелательности, с другой, которой отличалось это происшествие. Он был «тум», братья сошлись на этом определении. Он был двусмыслен и двулик, он был человеком одновременности, прекрасным и могущественным, внушающим и бодрость и страх, благосклонным и вместе опасным. Его нельзя разобрать, как нельзя разобрать качество «тум», в котором встречаются небо и преисподняя. Он мог быть участливым и справился об опасностях их путешествия. Жизнь и благополучие их отца вызвали у него интерес, а услышав, что младший их брат женат, он громко смеялся на всю палату. Но потом, словно желая лишь обмануть их бдительность своей приветливостью, он бросил им в лицо прихотливо-беспочвенное, опасное для их жизни подозрение в соглядатайстве и неумолимо обрек их на заложнический плен до тех пор, покуда они не доставят для веского опровержения одиннадцатого, — как будто это и вправду может служить оправданием! Тум — никакого другого определения всему этому не было. Человек перепутья, переходящих друг в друга качеств, который одинаково в своей стихии вверху и внизу. К тому же он был и торговцем, а в дела купеческие входила уже доля воровства, и это тоже вполне соответствовало его двойственности.

Но что толку было в подобных наблюдениях, что толку было сетовать на то, что этот привлекательный человек обошелся с ними так зло? Это не улучшало их тяжкого, их бедственного положения, более грозного, как они признались друг другу, чем любое, в

каком они когда-либо оказывались. И настал миг, когда на нелепое подозрение, на них павшее, они ответили собственным, отнюдь не нелепым подозрением, что то, первое, связано с подозрением, под которым они привыкли жить дома, — короче говоря, что это испытание — расплата за старую вину.

Было бы ошибкой заключить из имеющихся текстов, что это предположение они высказали друг другу лишь при Иосифе, во время второго с ним разговора. Нет, уже здесь, взаперти, оно напрашивалось у них на язык, и они говорили об Иосифе. Странное дело: ведь им же не дали ни малейшего повода хотя бы отдаленно-связать в мыслях этого хлеботорговца с тем, кого они похоронили и продали, — и все-таки они говорили о брате. Это не был процесс чисто нравственный; они перешли от одного к другому не только дорогой от подозрения к подозрению, от вины к наказанию. Тут дело было в контакте.

Спокойный Маи-Сахме был прав, говоря, что от узнавания до понимания, что ты узнаешь, еще далеко. Вступив в контакт с братской кровью, нельзя ее не узнать, особенно если ты пролил ее когда-то. Но другое дело — отдать себе в этом отчет. Тот, кто заявил бы, что сыновья узнали в хлеботорговце брата уже тогда, выразился бы весьма неудачно и по праву впал бы в очень существенное противоречие; откуда взялось бы в этом случае их безмерное изумление, когда он открылся им? Нет, они понятия не имели, почему после или даже уже во время встречи с привлекательно-опасным властителем в душе у них возник образ Иосифа и в памяти всплыла старая их вина.

На этот раз общие, связывавшие их чувства облек в слова не Асир, который сделал бы это просто для смака, а Иуда, человек совестливый. Асир решил, что он слишком мелок для этого, а Иуда — что ему это подходит.

— Братья во Иакове, — сказал он, — мы пребываем в большой беде. Чужеземцы в этой стране, мы угодили в западню, попали в яму непонятного, но губельного подозрения. Если Израиль не даст нашему гонцу Вениамина, а он, я опасаясь, его не даст, мы либо станем добычей смерти и будем, как говорят дети Египта, отведены в дом пыток и казни, либо нас продадут в рабство — строить гробницы или отмывать золото в каком-нибудь ужасном краю, и мы никогда не увидим наших детей, и спины наши исполосует плеть служильни египетской. Что происходит с нами сейчас? Припомните, братья, почему это происходит, и узнайте бога! Ибо бог наших отцов — это бог мести, и он не забывает нас. Нам он тоже не велел забывать, но уж сам-то он никогда ничего не забудет. Почему он не сразу обрушился на нас тогда, а дал время отстояться наказанию и теперь учинил нам эту беду, спрашивайте его, не меня. Ведь мы были тогда мальчишками, и тот был мальчонкой, и кара постигает других людей. Но я говорю вам: это кара за преступление против нашего брата, ибо мы видели страданье души его, когда он взывал к нам снизу, но его не послушали. За то и постигло нас это горе.

Он высказал то, что все думали, и поэтому они все тяжело закивали головами, забормотали:

— Шаддаи, Иагу, Элоах.

А Ре'увим, опустивший на кулаки седую голову, побагровевший от огорченья, с набухшими на лбу жилами, — Рувим, почти не шевеля губами, сказал:

— Да, да, теперь вспоминайте, бормочите, вздыхайте! Разве я этого не сказал вам? Разве я тогда не говорил вам, не предостерегал вас: «Не поднимайте руку на мальчика!»? Но вы-то меня не послушались. Ну вот, теперь кровь его с нас и взыскивается.

Вообще-то добрый Рувим говорил тогда не совсем так. Но все-таки он многому помешал, помешал, прежде всего, пролить кровь Иосифа, вернее, пролить ее больше, чем то случается при нанесении красоте поверхностного ущерба, так что сказать, что кровь его взыскивается, можно было только с некоторой натяжкой. Или Рувим имел в виду кровь козленка, выданную отцу за кровь Иосифа? Как бы то ни было, у других тоже было такое чувство, что он тогда их предостерегал, предсказывая возмездие, и они снова кивали головами и бормотали:

— Правда, правда, она взыскивается.

Их накормили, довольно, кстати сказать, хорошо, кренделями и пивом, что опять-таки соответствовало смешанному духу радушия и опасности, здесь царившему, а ночью они спали на скамьях, где были даже подголовники, чтобы вознести им главу. На следующий день надлежало выбрать посланца, который, по воле этого вельможи, отправится назад за младшим, — чтобы, может быть, никогда не вернуться, если Иаков скажет «нет». На это у них и впрямь ушел весь день, ибо они не «хотели-решать дело жребием, предпочитая в столь трудном, требовавшем всестороннего обсуждения вопросе положиться на разум. Кто из них, по их мнению, пользовался у отца наибольшим влиянием и мог его убедить? Без кого им легче всего обойтись здесь в беде? Кто всех необходимей для рода, чтобы он выжил, если они погибнут? Все это нужно было выяснить и согласовать, и дело затянулось до позднего вечера. Поскольку проклятые или полупроклятые отпадали, многое заставляло остановить выбор на Иуде. Правда, отпускать его им не хотелось; но убедить отца мог именно он, да и необходимым для рода его единодушно признали все — кроме, однако, его самого, что и помешало принять соответствующее решение. Ибо он покачал львиной своей головой и сказал, что он грешник и раб, что он недостойн и не желает выжить.

Кого же следовало назначить, на кого указать пальцем? На Дана ради его находчивости? На Гаддиила ради его двужильности? На Асира, потому что он любил говорить влажными своими губами за всех — поскольку Завулон и Иссахар сами считали, что в их пользу почти нет доводов? Дело дошло в конце концов до Неффалима, сына Валлы: его зуд гонца не давал ему покоя, его ноги скорохода так и рвались в путь, а язык его шевелился уже заранее, однако и другим, и себе самому он казался фигурой недостаточно значительной, недостаточно крупной духовно, чтобы подойти для этой роли не просто в поверхностно-мифическом смысле, а по существу. Поэтому и на третье утро стрелка весов ни на кого из них еще не указала решительно и определенно; но на Неффалиме она, вероятно, по необходимости и остановилась бы, если бы новая аудитория не показала, что они напрасно ломали себе головы, так как их грозный хлеботорговец принял другое решение.

Не успел Иосиф по окончании приема и после ухода своих сановников остаться наедине со своим управляющим Майи-Сахме, как он, с пылающим еще лицом, ликуя, принялся его спрашивать:

— Ты слышал, Май, ты слышал? Он еще жив, Иаков жив еще, он может еще узнать, что я жив и не умер, он может... а Вениамин женат, и у него куча детей!

— Это была грубая ошибка, Адон, что ты сразу рассмеялся по этому поводу, не дождавшись перевода!

— Не будем больше думать об этом! Я загладил свой промах. Нельзя в таком волнующем деле все время сохранять рассудительность. Но вообще как все прошло? Как я держался? Сносно ли я это провел? Подобающе ли я украсил эту историю божью? Позаботился ли я о праздничных мелочах?

— Ты держался довольно хорошо, Адон, на диво хорошо. Но ведь и задача была благодарная.

— Да, благодарная. Ты только неблагодарен. Ты остаешься спокоен и знай себе делаешь круглые глаза. Когда я встал и обвинил их — это было здорово, правда? Я это приготовил заранее, это можно было предвидеть, и все-таки это было здорово! А когда большой Рувим сказал: «Мы видим твое величие, а ты не видишь нашей невинности», — разве это не был золотой и серебряный миг?

— Но ты-то тут ни при чем, Адон, если он так сказал.

— Но ведь я на это рассчитывал! И вообще я ответствен за каждую мелочь праздника. Нет, Май, ты человек неблагодарный и тебя ничем не проймешь, ибо ты не умеешь пугаться. Ну, так вот, теперь я тебе скажу, что я вовсе не так доволен, как то изображаю, ибо я вел себя очень глупо.

— Что ты, Адон? Ты вел себя великолепно.

— В основном я сглупил и сразу же, в следующее же мгновенье, заметил это сам; но тогда было уже поздно исправлять допущенную оплошность. Оставить заложниками девятерых и послать за малышом одного — это безусловно промах и ошибка гораздо более грубая, чем то, что я сразу расхохотался. Это нужно исправить. Что мне здесь делать с девятерыми, если до прибытия Бенони я не смогу ни продолжить божественного действия, ни просто-напросто видеть их, поскольку им нельзя будет лицезреть меня, пока они его не представят? Это бездарно, чтобы они втуне сидели здесь заложниками, тогда как дома нет хлеба, а у отца лепешек для жертвенного обряда? Нет, поступить нужно вот как, прямо противоположным образом: один пусть останется здесь заложником, тот из них, к кому отец меньше привязан, скажем, кто-нибудь из близнецов (между нами говоря, они были самыми жестокими, когда братья разрывали меня на куски), а другие пускай отправятся домой с необходимым ввиду голода количеством хлеба, за который они, конечно, заплатят, — если бы я подарил им его, это было бы слишком уж подозрительно. Что они бросят заложника на произвол судьбы и к тому же выставят себя соглядатаями, пожертвовав им и не доставив мне младшего, в это я никогда не поверю.

— Но дело может очень затянуться, дорогой господин. Я думаю, что твой отец отпустит с ними этого женатого брата не раньше, чем кончится проданный им тобою хлеб и снова возникнет опасность, что лампада у них погаснет. Ты, я вижу, не торопишь этой истории.

— Да, Май, как можно торопить такую историю божью, не запасшись терпением, чтобы тщательно украсить ее! Даже если пройдет целый год, прежде чем они вернутся с Вениамином, я скажу, что это не слишком долго. Что такое год в сравнении с этой историей! Ведь я же потому и принял тебя в нее, что ты — само спокойствие и сможешь поделиться со мной своим спокойствием, если у меня не хватит выдержки.

— Я с радостью делаю это, Адон, почитая за честь участвовать в подобной истории. И некоторые твои выдумки я угадываю заранее. Мне кажется, ты собираешься взять с них плату за пищу, которой ты их снабдишь, но перед их отъездом тайком положить эти деньги им в торбы, поверх зерна, и, задавая корм ослам, они найдут их — и поразятся этой загадке.

Иосиф глядел на него широко раскрытыми глазами.

— Май, — сказал он, — это прекрасно! Это золотая и серебряная мысль! Ты угадал, ты

напомнил мне подробность, которая, вероятно, и мне пришла бы еще в голову, потому что она, конечно, уместна, хотя я чуть было не упустил ее из виду. Вот уж не думал, что человек, не знающий страха, может придумать такую на редкость страшную вещь.

— Я бы не испугался, господин; но они испугаются.

— Да, испугаются, увидев в этом какое-то загадочное предвестие. И почувствуют, что кто-то желает им добра и в то же время подтрунивает над ними. Сделай это самым тщательным образом, это уже почти записано! Я поручаю это тебе: ты потихоньку сунешь им в мешки их деньги, чтобы каждый, когда они станут кормить ослов, нашел столько денег, сколько он заплатил, и это, вдобавок к заложнику, еще больше обяжет их возвратиться. Итак, до послезавтра! Нам нужно дожить до послезавтра, чтобы я смог сказать им это и исправить ошибку. Но время, день или год, — что оно перед этой историей!

### Деньги в мешках

На третий день братья снова стояли перед престолом Иосифа в палате Кормильца — вернее, лежали, припав лбами к каменным плитам пола, приподнимались, поднимали вверх руки и вновь падали ниц, бормоча хором:

— Ты как фараон. Твои рабы не виноваты перед тобой.

— Право же, вы похожи на сноп колосьев без зерен, — сказал он, — вы хотите подкупить меня своими поклонами. Переводчик, повтори им, на кого они похожи, — на связку пустых колосьев! Называя их пустыми, я имею в виду их лицемерие и притворство, которыми они меня не обманут. Такого человека, как я, не ослепишь никакой внешней учтивостью и никакими поклонами, его недоверия не усыпишь никакими расшаркиваниями, Покуда вы не приведете сюда и не поставите передо мной упомянутого вами младшего брата, вы будете в моих глазах мошенниками, которые не боятся бога. Я же боюсь его. Поэтому я распорядюсь вот как. Я не хочу, чтобы ваши дети голодали и чтобы ваш старый отец слал в темноте. Вы получите хлеб по числу лиц и по той цене, которая вызвана дороговизной и неумолимо определена состоянием рынка, ибо вы, вероятно, и сами не думали, что я подарю вам хлеб только потому, что вы такие-то и такие-то, сыновья одного отца, и что вас вообще-то двенадцать. Это для такого человека, как я, не причина не воспользоваться состоянием рынка со всей суровостью, особенно если он имеет дело, по-видимому, с лазутчиками. Вы получите хлеба на десять домов, если сможете отвесить надлежащую плату; но отпущу я с ним домой только девятерых: одного из вас свяжут, он останется у меня заложником и пробудет здесь в заключении до тех пор, покуда вы не вернетесь и не оправдаетесь передо мной, представив мне одиннадцатого из вас, когда-то двенадцатого. А заложником пусть будет первый попавшийся, например, этот вот.

И он указал мухоголкой на Симеона, который строптиво сверкнул глазами и сделал вид, что это ему нипочем.

Его стали связывать, и пока солдаты обматывали его веревками, братья окружили его и принялись ободрять. Тут-то они и вернулись к высказанному уже ранее, и речи их не предназначались для ушей Иосифа, но он их понял.

— Симеон, — говорили они, — мужайся! Он выбрал тебя, снеси это, как подобает такому мужчине, как ты, сильному Ламеху! Мы сделаем все, чтобы вернуться и вернуть тебе

свободу. Не волнуйся, тебе придется не настолько туго, чтобы на это не хватило твоих недюжинных сил. Он не такой уж злодей, отчасти он добр, он не отправит тебя, не имея улик, на рудники. Разве ты не видел, что он посылал нам в узилище жареную гусятину? Да, от него можно ждать всяких неожиданностей, но бывают люди страшнее, и, может быть, ты будешь не всегда связан, а если и всегда, то это лучше, чем отмывать золото! При всем при том нам очень тебя жаль, но что поделать, если ему угодно было, чтобы удар пал на тебя? Он мог пасть на любого из нас, и на всех нас, видит бог, пал, а тебе, по крайней мере, не нужно будет стоять перед Иаковом, не нужно будет признаваться ему: «Одного мы лишились, а младшего мы должны доставить», — от этого ты, по крайней мере, избавлен. Все это — испытание и горе, посланные нам в отмщение господом. Ибо вспомни, что говорил Иуда, когда он высказал общую нашу думу, напомнив нам, как когда-то брат взывал к нам из бездны, а мы остались глухи к его рыданиям, хотя он молил за отца, чтобы тот не упал замертво. А ведь ты не можешь отрицать, что тогда, в час, когда мы избивали и погружали брата в колодезь, вы оба, Левий и ты, особенно усердствовали!

А Рувим прибавил:

— Мужайся, близнец, у твоих детей будет еда. Все это произошло с нами потому, что никто не послушался меня, когда я предостерегал вас: «Не поднимайте руку на мальчика!» Но где там, вас невозможно было удержать, а когда я пришел к яме, она была пуста, потому что ребенок пропал. Вот бог и спросил нас: «Где брат твой Авель?»

Иосиф это слышал. У него защекоotalo в носу, он засопел, потому что ему распирало грудь, глаза его наполнились вдруг слезами, и он отвернулся, сидя в кресле, а Маи-Сахме пришлось подтолкнуть его, что помогло, однако, не сразу. Когда он повернулся к ним снова, глаза его часто моргали, и говорил он теперь в нос и замедленно.

— Я возьму с вас, — сказал он, — не самую высокую плату за четверик и за вьюк, не ту, которую позволяют нам требовать дороговизна и состояние рынка. Не говорите, когда придете к отцу, что друг фараона содрал с вас втридорога. Сколько сможете увезти и сколько войдет в ваши мешки, столько зерна я и разрешаю вам взять. Я дам вам пшеницы и ячменя. Какого хотите вы ячменя — ниже— или верхнеегипетского? Я предлагаю вам ячмень из страны Уто, Змеи, он самый лучший. Еще я советую вам употребить зерно на хлеб и поменьше оставлять на посев. Засуха может продержаться, она еще продержится, и посеянное зерно пропадет. Всего доброго! Я говорю вам «всего доброго» как людям честным, ибо вы еще не избличены, хотя и находитесь под сильным подозрением, но если вы представите мне одиннадцатого, я вам поверю и буду считать вас не одиннадцатью чудовищами хаоса, а одиннадцатью священными знаками небесного круга, — где, однако, двенадцатый? Солнце его скрывает. По-вашему, так и должно быть? Счастливого пути! Вы странные, подозрительные люди. Будьте осторожны в дороге, и сейчас, когда вы едете домой, и тем паче когда вы будете возвращаться! Ведь сейчас вы везете только необходимый хлеб, хотя и он достаточно дорог, а возвращаясь, вы будете везти младшего. Пусть бог ваших отцов будет защитой вам и оплотом! И не забывайте земли Египетской, где заманили в гроб и растерзали Усира, который, однако, стал первым в царстве мертвых и освещает овчарню преисподней!

С этими словами он вскочил с кресла аудиенций и покинул их. А девять братьев получили в письмоводительской, куда их направили, накладные, определившие плату за четверик, меру и вьюк, и, приведя с постоялого двора своих вьючных и верховых ослов, они отвесили присяжным весов деньги, каждый по десяти сребреников, так что между деньгами и гирями установилось священное равновесие, и из окошек амбаров потекли пшеница и ячмень, которыми они туго набили свои мешки, большие двойные мешки, широко растопырившиеся на боках тяжело шагавших вьючных ослов. Мешки же с

кормом висели перед седлами ослов верховых. Братья хотели сразу и тронуться, чтобы не терять времени и в тот же день проделать часть пути от Менфе к границе, но чиновники подали им, для подкрепления сил, даровой обед — пивную похлебку с изюмом и баранью ножку, и ослам пришлось подождать во дворе; кроме того, братья получили провизию на первые дни пути — в нарядной, надежно сохраняющей обертке, — так уж принято, сказали им, что в стоимость хлеба входит оплата дорожных припасов, на то это и земля Египетская, страна богов, страна, которая может позволить себе такую роскошь.

А оказал им это управляющий хлеботорговца, Ман-Сахме, который тщательно следил за всем круглыми своими глазами, высоко подняв густые черные брови. Спокойный этот человек им очень понравился, тем более что он успокоил их насчет участи Симеона, сказав, что, по его мнению, она будет относительно сносной. То, что его связали у них на глазах, было, сказал он, скорее лишь внешним знаком его заложничества, и связанным его, по всей вероятности, долго не будут держать. Если они, однако, струсив, бросят его на произвол судьбы и через год, самое позднее, не вернуться со своим младшим братом, тогда он. Май, конечно, ни за что не ручается. Такой уж владыка его господин — приветливый, спору нет, но зато и неумолимый, стоит ему что-то вбить себе в голову. Он, Май-Сахме, допускает, что Симеона ждут очень большие неприятности, если они не выполнят условия господина, и тогда их семья уменьшится уже на двух человек, что, конечно, не обрадует старого их отца.

— О нет! — сказали они. И они сделают все, что в их силах. Но трудно, добавили братья, иметь дело с двумя упрямыми. Таково, говоря по чести, их мнение о его господине, ибо он тум, человек перепутья, и в его доброте, как и в его грозности, есть что-то божественное.

— Пожалуй, вы правы, — ответил он. — Сыты ли вы? В таком случае, счастливой дороги! И запомните то, что я вам сказал.

Так выехали они из города, почти молча, потому что их угнетали мысли о Симеоне и о том, как сказать отцу, что они его оставили и каков единственный способ его освободить. Но до отца было еще далеко, и они нет-нет да беседовали. Они говорили, что египетская пивная похлебка им понравилась, что хотя их и постигла беда, хлеб им достался сравнительно дешево, а это как-никак обрадует Иакова. Они вспоминали коротышку-управляющего — какой это приятно-флегматичный человек — не тум, а недвусмысленно любезный, без всяких шипов. Кто знает, впрочем, как вел бы он себя, будь он не просто Старшим Рабом, а господином и хлеботорговцем. У простых людей меньше соблазнов, им легче быть добросердечными, а величие и неограниченная власть почти непременно ведут ко всяким причудам — вот и Всевышнего, например, трудно бывает порою понять в его неистовстве. Впрочем, сегодня Мошель был почти недвуммысленно любезен, если не считать того, что он велел связать Симеона; он напутствовал их, благословил их и почти торжественно сравнил их со знаками круговорота, один из которых скрыт. Вероятно, он смыслит в звездах, наверно, он даже гадатель и книгочей. Недаром он упомянул, что у него нет недостатка в высших средствах, дополняющих его природную остроту ума. Они не удивились бы, узнав, что он звездочет. Но если светила сказали ему, что они шпионы, то это чистейший вздор.

Обмениваясь подобными замечаниями, они в тот же день сильно продвинулись к горьким озерам. Когда стемнело, они остановились на ночлег, выбрав красивое, уютное место, наполовину огражденное глинистым бугром, из которого, уходя сначала вбок, а потом вверх, росла кривая пальма. Были тут и колодец, и хижина для укрытия, и почерневшая перед нею земля свидетельствовала о том, что здесь разводили огонь и что местом этим пользовались для привала и прежде. Поскольку оно и в дальнейшем будет играть роль в нашей истории, мы отметим его пальмой, колодцем и хижинкой. Здесь

братья стали устраиваться. Одни развьючивали ослов и складывали грузы. Другие черпали воду и собирали хворост для костра. А один из них, Иссахар, сразу принялся кормить своего осла: прозванный сам ослом, он питал особую симпатию к этому животному, а его верховой осел уже не раз просил корма надсадным воплем.

Сын Лии открывает свою торбу и громко вскрикивает.

— Эй! — зовет он. — Глядите! Вот так так! Братья во Иакове! Скорее ко мне, что я нашел!

Они подходят со всех сторон, вытягивают шеи и смотрят: Иссахар нашел у себя в торбе, прямо сверху, свои деньги, десять сребреников, заплаченные им за зерно, которое он вез.

Они стоят и дивятся, качают головами, делают знаки, отвращающие несчастье.

— Да, Костлявый, что же это такое с тобой?

Вдруг они бросаются врассыпную, каждый к своей торбе. Каждый ищет, а искать и не нужно: у каждого сверху лежат его деньги.

Они так и сели на землю. Что же это такое? Они платили священно-точно по весу каменных гирь; а теперь их деньги вернулись к ним. Как тут было не растеряться в недоумении? Что бы это могло значить? Приятно и смешно найти свои деньги рядом с товаром, за который ты заплатил, но в то же время это и жутко, и даже больше жутко, чем приятно, особенно если тебе и без того уже предъявлено обвинение — подозрительная это приятность, подозрительная в двух смыслах, и в смысле намерений, за нею кроющихся, и в том смысле, что ты сам предстаешь в еще более ложном свете. И при этом было тут что-то веселое, хотя, с другой стороны, и чувствовался какой-то подвох — поди тут разберись, поди скажи, почему бог так поступил с ними.

— Знаете ли вы, почему бог так с нами поступает? — спросил большой Рувим, мотнув головой, и мышцы его лица напряглись.

Они понимали, что он имел в виду. Он намекал на старую историю, причисляя эту странную находку к тем бедам, клубок которых теперь разматывался, потому что они когда-то, вопреки его предостережениям (да предостерегал ли он их?), подняли руку на мальчика. Они понимали его, потому что и сами более или менее ощущали ту же неопределенную связь. Уже одно то, что они вмешивали в дело бога и спрашивали друг друга, почему он так поступил с ними, доказывало, что у них была та же мысль. Но мыслью, считали они, следовало и ограничиться, и незачем было Рувиму еще и мотать головой. После этого происшествия явиться к отцу было еще труднее; к предстоявшим признаниям прибавилось еще одно. Симеон, Вениамин, а тут еще эта щекотливая новость, — нет, не с вознесенной главой возвращались они на родину. Если он и ухмыльнется по поводу того, что хлеб им достался даром, то все-таки его честь купца будет этим сильно задета, и даже перед ним они предстанут в совсем уже ложном свете.

Один раз они все одновременно вскочили, чтобы броситься к ослам и сразу же отвезти найденные деньги обратно. Но так же одновременно они отказались от этого намерения, поникли, махнули рукой и сели опять. «Нет смысла», — оказали они, подразумевая под этим, что возвращать деньги так же, если не более, бессмысленно, как бессмысленно то, что деньги вернулись к ним.

Они качали головами. Они делали это и во сне, то один, то другой, а то и несколько человек одновременно. Они стонали во сне — не было ни одного, кто бы дважды или трижды, не ведая того, не застонал в течение ночи. Но порой на губах то у одного, то у

другого из спящих появлялась улыбка, и случалось даже, что несколько человек одновременно счастливо улыбались во сне.

В неполном составе

Добрая весть! Иакову сообщили, что возвращаются домой его сыновья, что они приближаются к отцовскому шатру со своими вьючными ослами, тяжело шагающими под грузом мицраимского зерна. Те, кто известил Иакова, не заметили, что возвращаются сыновья вдевятиером, а не вдесятером, как отправлялись в Египет. Девять человек — это большой отряд, особенно со всеми ослами; девять человек почти не уступают внушительностью десяти; что одного не хватает, этого, если глядеть не очень пристально, даже и не заметишь. Не заметил этого и Вениамин, стоявший рядом с отцом перед волосяным домом (супруга Махалии и Арбафи старик держал, как маленького, за руку); Вениамин не увидел ни девятиерых, ни десятиерых человек, он видел просто братьев, которые возвращались весьма представительным отрядом. Только Иаков сразу это заметил.

Поразительно, ведь патриарху было уже под девяносто, и никак нельзя было ждать от его погасших от старости и моргающих карих глаз с бледными прожилками у нижнего века особенной зоркости. Когда дело касалось безразличных предметов — а что в эти годы не безразлично! — они ему и не обладали. Но ущербность старости идет гораздо больше от души, чем от тела: достаточно, мол, видели и слышали; не беда, если чувства и притупятся. Однако есть вещи, ради которых они неожиданно обретают вновь охотничью остроту, проворство, достойное считающего овец пастуха, а когда дело шло о полном или неполном составе Израиля, Иаков был зорче, чем кто бы то ни было.

— Их только девять, — сказал он твердо и все же немного дрожащим голосом и указал рукой. Очень короткое мгновение спустя он прибавил:

— Нет Симеона.

— Верно, Симеона еще не видно, — отвечал Бенони, пошарив глазами. — Я тоже не нахожу его. Сейчас он, вероятно, появится.

— Будем надеяться, — сказал старик очень твердо и снова взял за руку младшего сына. Так он дождался, чтобы они подошли к нему. Он не улыбнулся им, не сказал ни одного слова приветия. Он только спросил:

— Где Симеон?

Ну вот. Он опять явно собирался поставить их в самое затруднительное положение.

— О Симеоне потом, — ответил Иуда. — Привет тебе, отец! О нем сразу и заранее скажу только, что тебе незачем о нем беспокоиться. Вот мы и вернулись из торговой поездки к своему господину.

— Но не все, — сказал он непреклонно. — Что ж, привет вам. Но где Симеон?

— Ну, он немного отстал, — отвечали они, — и сейчас его еще нет здесь. Это связано с торговой сделкой и с причудами того, кто там...

— Может быть, вы продали сына моего за зерно? — спросил он.

— Нет, нет. Но зерно, как видит наш господин, мы привезли, зерна у нас хватит, хватит, во всяком случае, на некоторое время, и зерно очень хорошее, пшеница и нижеегипетский ячмень высшей марки, и у тебя будут лепешки для жертв. Это первое, что мы сообщаем тебе.

— А второе?

— Второе покажется, пожалуй, довольно-таки чудным, а то и чудесным, и в пору даже, если тебе угодно, назвать это неестественным. Но мы все-таки полагали, что это тебя порадует. Мы получили это хорошее зерно даром. То есть даром не сразу; мы за него заплатили, и вес наших денег священно соответствовал весу тамошних гирь. Но когда мы сделали первый привал, Иссахар нашел свои деньги у себя в торбе, а потом, представь себе, мы все нашли свои деньги, так что мы привезли и товар и деньги, чем надеемся снискать твое одобрение.

— Только моего сына Симеона вы мне не привезли. Совершенно ясно, что вы обменяли его на обыкновенную пищу.

— Что за мысли у нашего господина, и уже второй раз! Мы не способны на такие дела. Не лучше ли нам присесть с тобой, чтобы мы спокойно успокоили тебя насчет нашего брата, но прежде насыпали тебе в руку для образца немного золотого зерна и показали тебе деньги, благо и золото и серебро тоже при нас?

— Я хочу сейчас же узнать все о моем сыне Симеоне, — сказал Иаков.

Они сели с ним кружком вместе с Вениамином и стали докладывать. Как их отделили у входа в страну и направили в суматошный город Мемпи. Как их провели сквозь ряды лежащих человекозверей в большой торговый дворец, в палату подавляющей красоты, к престолу человека, правящего страной и подобного фараону, хлеботорговца, к которому приходит весь мир, человека своеобразного, избалованного великой властью, милovidного и с причудами. Как они склонились перед ним и согнулись перед этим другом фараона, кормильцем, и изложили ему свое дело, а он оказался двойственным человеком, приветливым и свирепым, говорил с ними то участливо, то вдруг очень сурово и заявил, — язык не поворачивается повторить это, — будто они лазутчики, высматривающие тайную наготу страны, — это они-то, десяток порядочных людей! Как они почувствовали тогда потребность объяснить ему, кто же они такие на самом деле, рассказать, что все они торжественным образом сыновья одного человека и человек этот, друг бога, живет в стране Ханаан, и что, собственно, их не десять, а торжественным образом двенадцать; только один из них пропал в детстве, а младший дома, при отце. Как потому только, что сами они уже не молоды, этот человек, властелин страны, не верил, что их отец еще жив, — его пришлось заверять в этом дважды, ибо в земле Египетской не знают, вероятно, такого долголетия, какое являет их дорогой господин, там люди гибнут, вероятно, быстро от дурацкого своего распутства.

— Довольно об этом, — сказал Иаков. — Где мой сын Симеон?

К нему, отвечали братья, они и переходят, вернее, скоро перейдут. Ибо сначала, волей-неволей, они должны перейти к другому лицу, и можно только пожалеть, что он сразу не поехал с ними, вопреки их желанью и предложенью; тогда они, по всей вероятности, вернулись бы сегодня в полном составе; тогда у них было бы сразу налицо доказательство, которого потребовал этот недоверчивый человек. Ибо, обвинив их в соглядатайстве, он не отступился от своей блажи и, не веря им на слово, что происхождение их столь торжественно, потребовал, чтобы они представили ему

младшего брата, — а если не представят, значит, они согладатаи.

Вениамин засмеялся.

— Отвезите меня к нему! — сказал он. — Мне любопытно поглядеть на этого любопытного человека.

— Молчи, Бенони, — строго оборвал его Иаков, — прекрати свой ребяческий лепет! Разве таким карапузам пристало вставлять слово в подобном совете? Я все еще ничего не услышал о своем сыне Симеоне.

— Нет, услышал, — сказали они. — Если бы ты захотел, господин, если бы ты избавил нас от тягостной обстоятельности, ты мог бы уже знать о нем все.

Ведь совершенно ясно, продолжали братья, что, находясь под таким подозрением и приняв это условие, они уже не могли так просто уехать — и притом с хлебом. Пришлось оставить заложника. Сначала этот человек хотел задержать их всех и послать за их оправданием лишь одного; но благодаря своему красноречию они заставили его изменить это решение и отпустить их пока что с хлебом, задержав только одного, Симеона.

— И таким образом ваш брат, мой сын Симеон, оказался в долговом рабстве в служильне египетской, — сказал Иаков угрожающе-сдержанно.

Домоправитель владыки этой страны, отвечали они, добрый, спокойный человек, заверил их, что заложник будет жить не в таких уж плохих условиях и что связан он будет лишь временно.

— Лучше чем когда-либо, — сказал Иаков, — я понимаю теперь, почему я медлил разрешить вам эту поездку. Вы прожужжали мне уши своими разговорами о том, как вам хочется поехать в Египет, а когда я наконец дал согласие, вы злоупотребляете моей уступчивостью и возвращаетесь не все, оставив лучшего из вас в когтях тирана.

— Ты не всегда так благоприятно отзывался о Симеоне.

— Владыка небес, — сказал он, глядя вверх, — они обвиняют меня в том, что я не ценил второго сына Лии, воинственного героя! Они делают вид, будто это я продал его за меру муки, бросил в пасть Левиафана ради корма для их детенышей, — я, а не они! Как я благодарен тебе за то, что ты хотя бы дал мне силу устоять под их натиском и не уступить их легкомыслию, когда они хотели взять с собой и одиннадцатого, самого младшего! С них стало бы, что они вернулись бы ко мне без него и ответили мне: «Ведь он для тебя не так уж много и значил!»

— Напротив, отец! Если бы мы поехали все и младший был с нами и мы могли бы представить его владыке страны, поскольку его-то он и потребовал, мы вернулись бы в полном составе. Но ничего не потеряно, ибо стоит нам привезти Вениамина и поставить его перед этим хлеботорговцем фараона в палате Кормильца, как Симеон будет свободен и к тебе возвратятся оба — и малыш и герой.

— Другими словами: посадив Симеона, вы хотите теперь вырвать у меня из рук и Вениамина, чтобы отвезти его туда же, где Симеон.

— Мы хотим сделать это из-за блажи тамошнего владыки, чтобы оправдаться и вызволить заложника свидетельством своей честности.

— Ах вы изверги! Вы крадете у меня моих детей и только о том и думаете, как бы раздробить Израиль. Нет Иосифа, нет Симеона, а теперь вы хотите взять и Вениамина. Вы завариваете кашу, а я ее расхлебываю, и мне это надоело!

— Нет, господин, ты излагаешь дело неверно! Вениамин вовсе не будет отдан в придачу к Симеону, наоборот, оба вернутся к тебе, как только мы представим тому человеку нашего младшего в доказательство своей правоты. Мы покорнейше просим тебя, отпусти с нами Вениамина, чтобы вызволить Симеона и чтобы Израиль был опять в полном составе.

— В полном составе? А где Иосиф? Вы, не обвиняясь, требуете от меня, чтобы я послал и вот этого вслед за Иосифом. Я отвечаю отказом.

Тут загорячился старший из них, Рувим, он вскипел, как вода, и сказал:

— Послушай теперь меня, отец! Выслушай меня одного, главного среди них! Отпусти мальчика не с ними, а только со мной. Если я не возвращу его тебе, пусть постигнут меня всякие беды. Если я не возвращу его тебе, убей двух моих сыновей, Ханоха и Фаллу. Убей их, повторяю, собственноручно у меня на глазах, и я бровью не поведу, если не сдержу слова и не выручу заложника!

— Ну, что ж, бушуй, бушуй! — отвечал ему Иаков. — Где ты был, когда на моего красавца напал кабан, сумел ли ты защитить Иосифа? Зачем мне твои сыновья, разве я ангел-губитель, чтобы убивать их, раздробляя Израиль еще и собственноручно? Я по-прежнему отказываюсь выполнить ваше требование и отпустить с вами моего сына, ибо брат его умер и он остался один у меня. Если бы с ним что-нибудь случилось в дороге, мир стал бы таким, что седина моя сошла бы с печалью во гроб.

Они переглянулись, сжав губы. Мило, нечего сказать, — он назвал Вениамина «своим сыном», а не их братом, и заявил, что тот остался один у него.

— А Симеон, твой герой? — спросили они.

— Я хочу сидеть здесь один, — отвечал он, — и скорбеть о нем. Разойдитесь!

— Сыновнее тебе спасибо за беседу и за прощание! — сказали они, покидая его.

Вениамин тоже пошел с ними; он гладил по плечу то одного, то другого своей короткопалой рукой.

— Не досажайте на его слова, — просил он, — и не злитесь на его гордый нрав! Вы думаете, я польщен и горжусь тем, что он называет меня своим сыном, единственным оставшимся у него, и не соглашается отпустить меня с вами? Ведь он же, я знаю, никогда не забудет мне, что Рахиль умерла из-за моего появления на свет, и жить под надзором мне вовсе не весело. Подумайте, как много времени понадобилось ему, чтобы превозмочь себя и отпустить вас без меня, и посудите, как вы ему дороги! Так вот, теперь ему опять понадобится лишь некоторое время, чтобы уступить вам и послать меня с вами к этому человеку, ибо он не оставит, не сможет оставить нашего брата в руках язычников, а кроме того — надолго ли хватит пищи, которую вы, умники, сумели бесплатно получить там внизу? А потому не волнуйтесь! Я, малыш, еще поеду. Но теперь расскажите мне немного об этом суровом хлеботорговце, который так гадко вас обвинил и так прихотливо потребовал младшего брата. Мне в пору, пожалуй, и возгордиться тем, что он непременно хочет видеть меня и ждет моего свидетельства. С чего бы это вдруг? Самый, вы говорите, главный? И выше всех живущих внизу? Какого он вида и как

говорит? Ничего тут нет удивительного, если у меня вызывает такое любопытство человек, у которого вызывает такое любопытство моя особа.

## Иаков борется у Иавока

И правда, что такое год в этой истории, и кто тут станет скупиться, у кого не хватит на нее времени и терпения! Терпелив был Иосиф, который пока что должен был жить, занимаясь государственными и торговыми делами в земле Египетской. Терпеливо волея-неволей относились к упрямству Иакова брата, терпелив был и Вениамин, сдерживавший свое любопытство к поездке в Египет и к любопытному хлеботорговцу. Нам лучше, чем всем им, — отнюдь, однако, не потому, что мы уже знаем, как все было. Это скорее наш минус по сравнению с теми, кто жил в этой истории, кто испытал ее на себе; ибо нам приходится создавать живой интерес там, где никаких законных оснований для него нет. Преимущество наше перед ними состоит в том, что нам дана власть над мерой времени и мы можем удлинять ее и сокращать как нам заблагорассудится. Нам не нужно отбывать год ожидания во всей его повседневности, как отбывал свои семь Иаков в Месопотамии. Ведя повествование, мы вправе просто сказать: прошел год — и пожалуйста, год прошел, и Иаков смягчился.

Ведь общеизвестно, что дела водные тогда долго еще не налаживались и засуха по-прежнему угнетала страны, лежащие окрест нашей истории. Каких только дьявольских повторений не бывает на свете, и как это задевает честь Случая, если он, такой вообще-то любитель разнообразия и скачков от блага к беде и наоборот, вдруг, как одержимый, с бесовским хихиканьем, творит одно и то же множество раз подряд! В конце концов ему все-таки приходится сделать обратный скачок — он уничтожил бы сам себя, если бы так продолжалось всегда. Но безумствовать он может долго, и семикратное безумие — это, по большому счету, не такая уж редкость.

Рассказав о движении облаков между морем и мавританскими Альпами, где находятся истоки Нила, мы, честно говоря, объяснили лишь, как это получилось, но не объяснили почему. Ибо, задавая вопрос «почему?», никогда не дойдешь до конца. Причины любого явления подобны песчаным кулисам на взморье: одна всегда заслоняет собой другую, и причина, на которой можно было бы остановиться, теряется в бесконечности. Кормилец не вырос и не разлился, потому что в мавританских горах не было дождей. А дождей не было там потому, что их не было и в Ханаане, в Ханаане же дождей не было по той причине, что море не рождало облаков, причем не рождало их семь или по меньшей мере пять лет подряд. Почему?

На то есть высшие причины, это связано уже с космосом и со светилами, которые, несомненно, определяют у нас погоду и ветры. Вот, например, пятна на солнце — причина весьма уже отдаленная. Но что солнце — не последняя и не самая высокая инстанция, это знает любой ребенок, и если уж Аврам отказался поклоняться ему как первопричине, то нам и подавно зазорно остановиться на нем. Есть во вселенной высшие силы, низводящие царственный покой солнца до подчиненного движения, да и столь влиятельные пятна на его лице сами представляют собой «почему», конечное «потому что» которого отнюдь не заключено в этих высших или еще более высоких, чем эти высшие, системах. Окончательное «потому что» заключено или, лучше сказать, восседает на троне, по-видимому, в такой дали, которая и близка, потому что в ней уже едины далекое и близкое, причина и следствие; это там мы находим себя, теряя себя, и это там, по нашему предположению, находится средоточие замыслов, отказывающееся порой, ради своих целей, от жертвенных лепешек.

Засуха и дороговизна продолжали свирепствовать, и не потребовалось даже полного годового оборота, чтобы Иаков смягчился. Пища, которую таким приятным и вместе жутким образом получили даром его сыновья, была съедена; ее оказалось немного на столько людей, а новой купить на месте ни за какие деньги нельзя было. И уже на несколько месяцев раньше, чем в прошлом году, Израиль завел тот разговор, которого ждали братья.

— Не находите ли вы, — сказал он, — противоречия и несогласия между моим богатством, которое я, сломав пыльные запоры Лаванова царства, сохранил и умножил, и этой бедой, что у нас опять уже нет ни семян для посева, ни печева и ваши дети плачут и просят хлеба?

Да, отвечали они, такие уж времена.

— Странные это времена, — сказал он, — если у человека целая орава взрослых сыновей, которых он не преминул родить себе с божьей помощью, и они сидят на своих седалищах и не шевельнутся, чтобы поправить дела.

— Это ты так говоришь, отец. А что делать?

— Что делать? В Египте, как я слышу со всех сторон, торгуют зерном. Почему бы вам не отправиться в путь, не спуститься туда и не привезти нам немного хлеба?

— Верно, отец, мы-то поехали бы. Но ты забываешь, что заявил нам там внизу насчет Вениамина владыка: мы не увидим его лица, если с нами не будет нашего младшего брата, которого мы не смогли представить ему в доказательство своей честности. Этот человек, по-видимому, звездочет. Он сказал, что солнце может скрыть одного из двенадцати, но не двоих сразу, и что он не взглянет на нас, покуда перед ним не предстанет одиннадцатый. Отпусти с нами Вениамина, и мы поедem.

Иаков вздохнул.

— Я знал, — сказал он, — что так и будет и что вы снова начнете мучить меня из-за этого ребенка.

И он стал громко бранить их:

— Несчастные глупцы! Кто вас тянул за язык, кто заставлял вас выбалтывать ему свои обстоятельства, чтобы он знал, что у вас есть еще один брат, мой сын, и мог его потребовать? Если бы вы, храня достоинство, ограничились делом и не болтали, он не узнал бы о Вениамине и не мог бы назначить платой за муку для лепешек кровь моего сердца. Вы заслуживаете того, чтобы я вас всех проклял!

— Не делай этого, господин, — сказал Иуда, — что станется тогда с Израилем? Пойми, что мы были в трудном положении и вынуждены были говорить ему правду, ибо он пристал к нам со своим подозрением и допрашивал нас о нашей родне! А допрашивал он нас очень подробно, он допытывался: «Жив ли еще ваш отец?», «Есть ли у вас еще один брат?», «Хорошо ли живется вашему отцу?» И когда мы сказали ему, что живется тебе не так хорошо, как подобало бы, он стал громко бранить нас, рассердившись за то, что мы допустили это.

— Гм, — сказал Иаков и погладил свою бороду.

— Нас испугала, — продолжал Иуда, — его строгость и пленило его участие. Ведь это же не

пустяк, если к тебе относится с таким заботливым участием важное лицо, от которого ты сейчас зависишь. Это открывает душу человека и делает его общительным, а то и болтливym.

Да и как можно было догадаться, спросил Иегуда, что тот сразу потребует их брата и прикажет им: «Доставьте его сюда!»

Говорил в этот раз преимущественно Иуда, спорщик испытанный. Так было у них заранее решено на тот случай, если Иаков покажет, что он смягчился; ибо Ре'увим отпал, после того как разбушевался и ляпнул, чтобы Иаков убил двух его сыновей, а Левию, хотя потеря близнеца была для него тяжким ударом и превратила его как бы в половину человека, приходилось помалкивать из-за Шекема. Иуда говорил превосходно, мужественным тоном и убедительно.

— Израиль, — говорил он, — сделай над собой усилие, даже если тебе придется бороться с самим собой до рассвета, как когда-то с другим! Это поистине час Иавока, так покажи же себя героем божьим. Пойми, этот человек внизу непреклонен. Мы не увидим его, и третий сын Лии сгинет в служильне, да и о хлебе тоже нечего и думать, если Вениамина с нами не будет. Я, твой лев, знаю, как трудно тебе отпустить в дорогу залог Рахили, который «всегда был дома», и отпустить притом в Страну Ила и мертвых богов. К тому же ты, вероятно, не доверяешь этому человеку, этому владыке страны, подозревая, что он готовит нам западню и не выпустит ни младшего, ни заложника, а может быть, и никого из нас. Но я — а я знаю людей и не жду особого добра ни от высших, ни от низших — я говорю тебе: не таков этот человек, и я убежден, я даю голову на отсечение, — он не собирается заманивать нас в западню. Да, он человек чудной и скользкий, но он располагает к себе, и при всех его заблуждениях в нем нет неискренности. Я, Иуда, ручаюсь за него, как ручаюсь за вот этого, за твоего сына, нашего младшего брата. Отпусти его со мной, и я буду ему отцом и матерью, как ты, и в дороге, и там внизу, чтобы нога его не споткнулась о камень, а пороки Египта не осквернили его души. Доверь его моей руке, и мы наконец отправимся в путь, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши! Ты потребуешь его из моих рук, и если я не приведу его к тебе и не поставлю его перед лицом твоим, то останусь я виновным перед тобою во все дни жизни. Как он сейчас с тобой, так он и будет с тобой, и он мог бы уже давно быть с тобою снова, тогда как сейчас он все еще с тобой, ибо если бы мы не медлили, мы бы уже дважды успели вернуться с заложником, со свидетелем и с хлебом!

— Дайте мне, — отвечал Иаков, — подумать до утренней зари.

А наутро он сдался и внутренне согласился отпустить Вениамина в дорогу, не в какой-нибудь Шекем, до которого можно было доехать за несколько дней, а далеко вниз, на расстояние добрых семнадцати дней пути. У него были красные глаза, и он всячески показывал, каких душевных усилий стоило ему это вынужденное решение. Но так как он не притворялся, а действительно изо всех сил боролся с тяжелой необходимостью и теперь только величаво, скорбно и ярко это показывал, его вид произвел на всех очень большое впечатление, и люди взволнованно говорили друг другу: «Глядите, Израиль превозмог себя этой ночью!»

Склонив голову к плечу, он сказал:

— Если уж тому суждено быть, если так уж написано на медных скрижалях, что все должно пасть на меня, сделайте это и поезжайте, я согласен. Возьмите с собой в подарок этому человеку, чтобы смягчить его сердце, самых лучших плодов этой земли, которыми она славится: бальзама, астрагала, густого виноградного меда, чтобы он прихлебывал его с водой или подслащивал им сладкие блюда, и скажите ему, что это пустяк! Возьмите

также двойное количество денег, чтобы заплатить за новый товар и за прежний, ибо, насколько я помню, в первый раз ваше серебро оказалось снова у вас в мешках, — вдруг это оплошность. И возьмите Вениамина, — да, да, вы не ослышались, возьмите его и отвезите к этому человеку, я согласен! Я вижу по вашим лицам, что вы смущены моим решением, но оно принято, и если уж суждено Израилю быть бездетным, он готов быть бездетным. Но пусть Эль Шаддаи, — воскликнул он, воздев руки к небу, — пусть он даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина! Господи, лишь займы я даю тебе на эту поездку, пусть не будет между нами никаких недоразумений, я не приношу его тебе в жертву, чтобы ты проглотил его, как другое мое дитя, я хочу, чтобы он вернулся ко мне! Помни, господи, завет, по которому душа человеческая освящается и облагораживается в тебе, а ты в ней! Не останься. Всемогущий, позади чувствительной души человеческой, похитив у меня мальчика в поездке и бросив его на растерзание этому чудищу, а сдержись, молю тебя, и честно возврати мне одолженное, — и я паду перед тобой ниц и сожгу тебе лучшие куски, чтобы усладить твое обонянье!

Вознеся к небу такую молитву, он вместе с Елиезером (собственно, Дамасеком) принялся снаряжать в дорогу сына смерти, которому собирал пожитки, как мать; ибо уже на следующее утро братья должны были тронуться в путь, чтобы поспеть в Газу до отправления каравана, который там собирался, и это вполне отвечало радостному нетерпению Бенони, как нельзя более счастливого, что наконец-то кончится это его символическое затворничество, это его всегдашнее пребывание дома в знак невиновности, и он наконец-то увидит мир. Он не прыгал перед Иаковом и не бил землю пятками, потому что ему было не семнадцать, как тогда Иосифу, а около тридцати и он не хотел ранить это патетическое сердце своей радостью по поводу расставанья; и потому еще, что прыгать ему не позволяла лежавшая на нем тень матереубийства, а из своей роли он не смел выходить. Но уж зато перед своими женами и детьми он всю хвастался дарованной ему свободой передвиженья и тем, что поедет в Мицраим, чтобы освободить Симеона своим прибытием, ибо один только он способен добиться этого от властелина страны.

Сборы же могли быть такими недолгими потому, что все необходимое для поездки через пустыню путешественникам предстояло закупить в Газе. Покамест главную их поклажу составляли подарки тюремщику Симеона, египетскому хлеботорговцу, принесенные из кладовых молодым Елиезером: ароматные смолы, виноградный сироп, мирра, орехи и фрукты. Для этих даров, прекрасными качествами которых славилась родившая их земля, был выделен особый осел.

На заре отправлялись братья во второе путешествие — в том же числе, что и в первый раз, ибо их стало на одного меньше и на одного больше. Вокруг них толпились домочадцы, а братья стояли внутри этого круга, держа за недоуздки ослов. В самой же середине стоял Иаков и обнимал то, что у него осталось от первой возлюбленной. Люди затем и собрались, чтобы поглядеть, как прощается Иаков со своим береженным, и возвысить душу зрелищем величавой боли разлуки. Долго не отпускал он от себя младшего сына, он повесил ему на шею собственный талисман, он что-то бормотал, прижавшись к его щеке и глядя вверх. А братья, с горькой и терпеливой усмешкой, глядели в землю.

— Это ты. Иуда, — сказал он наконец во всеуслышание, — это ты поручился за него и сказал мне, чтобы я потребовал его из твоих рук. Так знай же: ты освобожден от своего поручительства. Пристало ли человеку ручаться за бога? Не на тебя уповаю, ибо как воспротивишься ты гневу господню? Я уповаю на него одного, на утес и на пастыря, что он вернет мне вот этого, которого я с верой вручаю ему. Знайте все: он не изверг, который глумится над сердцем человеческим и, бесчинствуя, втоптывает его в грязь. Он великий

бог, чистый и светлый, он бог завета и доверия, и если уж человек должен ручаться за него, то ты мне для этого не нужен, мой лев, я сам поручусь за его верность, и он не посрамит моего поручительства. Поезжайте, — сказал он и отстранил от себя Вениамина, — во имя бога, милосердного и верного бога! Но все-таки присматривайте за ним! — добавил он дрогнувшим голосом и повернулся к своему дому.

## Серебряная чаша

Когда на этот раз Иосиф-кормилец вернулся домой из присутствия с известием в сердце, что десятеро путников из Ханаана миновали границу, его управляющий Маи-Сахме сразу же догадался обо всем по его виду и спросил:

— Ну, что ж, Адон, видно, срок исполнился и ожидание кончилось?

— Исполнился срок, — отвечал Иосиф, — кончилось ожидание. Все произошло так, как должно было произойти, и они явились. Они будут здесь на третий день от сегодняшнего, и с малышом, — сказал он, — с малышом! Божья эта история некоторое время не двигалась, и нам пришлось ждать. Но ход событий не прекращается и тогда, когда кажется, что история остановилась, и солнечная тень совершает свой путь незаметно. Нужно только спокойно довериться времени, почти не заботясь о нем, — этому научили меня еще измаильтяне, с которыми я путешествовал, — и оно само даст всему созреть и ко всему подведет.

— Значит, — сказал Маи-Сахме, — надо многое обдумать и подробно наметить продолжение этой игры. Угодно ли тебе, чтобы я что-нибудь предложил?

— Ах, Май, как будто я давно уже всего не продумал и не подготовил, как будто я жалел свои силы, когда сочинял! Все пойдет так, словно это уже записано и нужно только по-писаному сыграть. Неожиданностей тут не будет, будет лишь умиление при виде того, как знакомое становится действительностью. К тому же на этот раз я совсем не волнуюсь, у меня просто празднично на душе, оттого что мы переходим к дальнейшему; разве что при мысли о словах «Это я» у меня начинает немного сильнее стучать сердце, да и то страшно мне не за себя, а за них — для них следовало бы тебе, пожалуй, приготовить свою шипучку.

— Не премину, Адон. Но хоть ты и не хочешь слышать никаких советов, я все-таки советую тебе: будь осторожен с малышом! Он не только наполовину твоей крови, он единокровный твой брат, и тут, насколько я тебя знаю, ты можешь не совладать с собой и выдать себя. Кроме того, самый младший всегда самый хитрый, и вполне может случиться, что твое «Это я» он побьет своим «Это ты» и испортит тебе всю игру.

— Ну, а если это и случится. Май?! Я даже не против такой замены. Вот было бы смеху! Так дети, бывает, сначала нагромоздят что-нибудь, а потом вдруг опрокинут одним махом и радуются. Но я не разделяю твоего опасения. Чтобы такой малыш сказал в лицо другу фараона и наместнику Гора: «Ба, да ведь ты же не кто иной, как брат мой Иосиф!» Это было бы наглостью! Нет, уж эти слова роли останутся за мной.

— Ты снова примешь их в Великом Присутствии?

— Нет, на этот раз здесь. Я хочу отобедать с ними, их нужно позвать к столу. Припаси мяса и приготовь кушаний, мой управляющий, на одиннадцать гостей больше, чем ожидается в этот день, третий от сегодняшнего. Кто приглашен на послезавтра?

— Несколько почетных глав города, — отвечал Май-Сахме, справляясь с табличкой. — Его преподобие Птахотпе, чтец из храма Птаха; воитель владыки, начальник здешнего гарнизона бога Энтеф-окер; первый землемер и межевальщик Па-неше, сосед моего господина по каменной гробнице; и несколько книговодов из Великого Продовольственного Присутствия.

— Отлично, им будет в диковинку пообедать с чужестранцами.

— Боюсь, что слишком в диковинку, Адон. Ведь, к сожалению, позволь тебе напомнить, приходится считаться с обычаями, относящимися к еде, и с некоторыми запретами. Кое-кому может показаться предосудительным есть хлеб вместе с иврим.

— Ах, оставь, Май, ты говоришь, как какой-то Дуду, — так звали одного карлика, блюстителя правил! Уж я-то знаю своих египтян — станут они бояться, как же! Тогда уж им следовало бы бояться есть и со мной, ведь ни от кого не секрет, что в детстве я пил не нильскую воду. Но есть еще и фараонов перстень «Будь как я», он все побивает. С кем я обедаю, того они тоже найдут подходящим для себя сотрапезником, и помимо всего прочего, существует учение фараона, что все люди — любимые дети его отца, а всякий, кто хочет преуспеть при дворе, не устает восхищаться этим учением. Впрочем, для соблюдения формы, ты подай нам пищу особо: египтянам особо, братьям особо и мне особо. А братьев моих посади точно по старшинству, — первым большого Рувима, а последним Бенони. Смотри, не ошибись, я их еще раз назову тебе по порядку, запиши на табличку.

— Хорошо, Адон. Только это опасно. Как им не удивиться, что ты так точно знаешь, кто у них за кем идет?

— Кроме того, поставь передо мной мою чашу, в которую я заглядываю, серебряную гадальную чашу.

— Так, так, чашу. Ты хочешь при них угадать по ней, когда они родились?

— И на это она тоже годится.

— Я хотел бы, Адон, погадать с ее помощью и по виду, который примут в чистой воде несколько кусочков золота и несколько точеных камешков, узнать, что ты замыслил и как ты собираешься подвести эту историю к словам своего самораскрытия. Боюсь, что, не зная этого, я буду тебе плохим слугой; а я должен быть хорошим слугой и помощником, чтобы не занимать без толку место в этой истории, в которую ты меня так любезно принял.

— Ты им и будешь, мой управляющий. Как же иначе? Но для начала поставь передо мной чашу, по которой я иногда, шутки ради, гадаю!

— Чашу, да, да, чашу, — сказал Май-Сахме с таким выражением глаз, словно пытался что-то вспомнить. — Итак, они приведут к тебе Вениамина, и ты увидишь среди братьев своего братца. Но ведь после того, как ты отобедаешь с ними и наполнишь их мешки во второй раз, они же заберут с собой младшего и поедут с ним домой к вашему отцу, а ты так и останешься ни с чем?

— Зорче гляди в чашу. Май, получше вглядывайся в воду! Да, они снова уедут, но, может быть, они что-то забудут, из-за чего им придется вернуться?

Начальник темницы покачал головой:

— Или, может быть, они возьмут с собой что-то, чего мы хватились и из-за чего, погнавшись за ними, вернем их?

Маи-Сахме глядел на него круглыми глазами, высоко подняв черные брови, и постепенно маленький его рот расцвел улыбкой. Когда у мужчины такой маленький рот и он им улыбается, то улыбка его, даже если это человек коренастый и полный, очень похожа на женскую, и совершенно по-женски, изящно и не без очарования, улыбнулся сейчас при всей черноте своей бороды Маи-Сахме. По-видимому, он что-то увидел в чаше, ибо лукаво и понимающе подмигнул Иосифу, а тот, подмигнув ему в свою очередь, поднял руку и утвердительно-одобрительно похлопал Май по плечу; и Май, хотя это было недопустимой вольностью — но ведь в конце концов Иосиф когда-то был каторжником в его остроге, — Май тоже поднял руку, чтобы похлопать по плечу своего господина, и они довольно долго стояли так, подмигивая один другому и хлопая друг друга по плечу, в добром согласии насчет дальнейшего хода праздничной этой истории.

Запах мирта, или обед с братьями

А она пошла следующим образом и разыгрывалась, не пропуская ни одного своего часа, вот как. Сыновья Иакова прибыли в Менфе, дом Птаха, и остановились на прежнем постоялом дворе, довольные, что благополучно доставили Вениамина, которого в течение всего почти семнадцатидневного пути всячески ублажали и опекали — из почтения к чувствам Иакова и потому, что Вениамин был важней их всех, поскольку именно его потребовали в свидетели и без него они не увидели бы лица этого двойственного хлеботорговца и не вызволили бы Симеона. Это были достаточно веские причины, чтобы беречь малыша как зеницу ока, обеспечивая его всем необходимым в первую очередь и охраняя его, как драгоценную воду: на переднем плане был страх перед здешним правителем, на заднем — страх перед отцом. Но на самом заднем плане имелась еще и третья причина этого рвения: ухаживая за Вениамином, они хотели загладить свою вину перед Иосифом. Ибо мысль о нем и об их злодеянии, столь долгое время дремавшая, снова проснулась у них у всех после их первого путешествия и всего, что тогда случилось; она поднялась из-под пластов времени, словно только вчера они уничтожили одно из колен Израилевых и продали своего брата. Это висело над ними, как позднее возмездие, они ощущали это как руку, которая тянет их к ответу, и ревностная забота о втором сыне Рахили казалась им еще наилучшим способом отстранить эту руку и разогнать духов мщения.

Они надели на него красивый пестрый наряд с бахромой и напусками, чтобы представить его в нем владыке страны, намастили его похожие на шапку из выхухоли волосы, чтобы они не топорщились, превратись поистине в сверкающий шлем, и удлинили ему глаза заостренной кисточкой. Но когда в Великом Присутствии Выдачи и Снабжения, куда они обратились, их направили в собственный дом Кормильца, они испугались, ибо все неожиданное, все, что шло не так, как они представляли себе, пугало их и казалось им предвестием новых зловещих осложнений. В чем тут было дело, почему их поставили в такое особое положение, что даже на прием они должны были идти в частные покои? Добрый это знак или дурной? Может быть, это связано с теми деньгами, что каким-то темным способом вернулись к ним в прошлый раз, и теперь темное это дело, может быть, обратят против них, и, значит, они попались в ловушку и всех их за неплатеж заключат в тюрьму, и все одиннадцать будут рабами? Темные эти деньги они привезли с собой вместе с новым обменным металлом, но это мало их успокаивало. Они испытывали большое искушение повернуть назад, не показываться ему на глаза, спастись бегством —

из страха прежде всего за Вениамина, который, однако, ободрял их и смело настаивал на том, чтобы они отвели его к хлеботорговцу, ибо он, Вениамин, умастился и нарядился и у него нет оснований скрываться от этого человека; да ведь и у них, говорил он, нет таких оснований, поскольку деньги вернулись к ним лишь по недоразумению, а если ты невиновен, то незачем и вести себя так, словно ты виноват.

Немного виноватым, говорили они, виноватым вообще, если и не в чем-то определенном, всегда себя чувствуешь, а потому и в том случае, когда ты как раз не виноват, чувствуешь себя тоже не совсем хорошо. Впрочем, ему, малышу, легко говорить: он ведь всегда невинно сидел дома, и ему, понятно, не случалось находить у себя в мешке темные деньги, тогда как они, которым вечно приходилось шататься по свету, не могли начисто избежать вины.

Столь общую вину, утешал их Бенони, этот человек, конечно, простит; ведь он же достаточно вращается в мире. С деньгами же дело чистое, хотя и темное, да и приехали-то они сюда, в частности, затем, чтобы их возвратить. А кроме того, нужно вызволить Симеона, это они знают не хуже, чем он, Вениамин, и купить еще хлеба. О возвращенье и бегстве нечего, следовательно, и думать, ибо тогда они прослывят здесь не только ворами, но и соглядатаями и вдобавок станут братоубийцами.

Все это, как и то, что они обязаны рисковать, даже если им всем грозит рабство, братья знали не хуже, чем он. Прекрасные дары Иакова, которые они привезли с собой, образцы плодов, составлявших славу их края, придали им бодрости, и они решили первым делом поговорить с коренастым, недвусмысленно добродушным домоправителем, если им удастся его разыскать.

Это им легко удалось. Ибо когда они подъехали к находившемуся в Прекрасном Квартале особняку хлеботорговца и, спешившись в каменных воротах, повели ослов мимо зеркального пруда к дому, с террасы, навстречу им, уже спускался этот внушавший доверие человек; он сказал им: «Добро пожаловать», похвалил их за то, что они хоть и не так скоро, но сдержали слово, и сразу же пожелал увидеть их младшего, которого и оглядел со всех сторон круглыми своими глазами, приговаривая: «Молодцом, молодцом!» Он велел своим людям отвести ослов на задний двор, а тюки со славными плодами земли Ханаанской отнести в дом и повел братьев вверх по широкой лестнице, и они тут же, робея и волнуясь, завели с ним разговор о деньгах.

Некоторые заговорили об этом, как только его увидели, чуть ли не издали, — им не терпелось.

Господин домоправитель, говорили они, дорогой господин главноуправляющий, так, мол, и так, это непонятно, но так уж случилось, и вот двойная толика денег, они люди честные. Они тогда нашли, да, нашли, заплаченные сребреники у себя в торбах, и все это время их угнетала темная эта находка. Но вот она снова здесь, полным весом, вместе с другими деньгами, платой за новую пищу. Его повелитель, друг фараона, ведь не поставит им этого в вину и не приговорит их к наказанию?

Так говорили они наперебой, хватая его даже за руки от волнения и клятвенно уверяя его, что они не войдут в прекрасную дверь дома, если он, со своей стороны, не поклянется им, что его господин не устраивает им подвоха из-за этого досадного происшествия и не взыщет с них за него.

Он же, само спокойствие, успокаивал их и говорил:

— Не волнуйтесь, друзья, и не бойтесь, все в порядке. А если случившееся и не в порядке

вещей, то это приятное чудо. Мы свои деньги получили, нам этого достаточно, и у нас нет никаких оснований устраивать вам подвох. Ваш рассказ наводит меня только на одну мысль — что ваш бог и бог вашего отца шутки ради положил вам в мешки клад — никакого другого объяснения мой разум не находит. Вероятно, вы ему благочестно и ревностно служите, и он пожелал показать вам наконец свою признательность, — ну, что ж, его можно понять. Но вы, мне кажется, очень взволнованы, это нехорошо. Я велю приготовить вам ножные ванны, во-первых, из гостеприимства, — ведь вы наши гости и будете обедать с другом фараона, — а кроме того, ножная ванна оттягивает кровь от головы и умиротворяет рассудок. Войдите же и прежде всего поглядите, кто ждет вас в палате!

А в палате стоял их брат Симеон, не связанный, нисколько не спавший с тела и не осунувшийся, а такой же здоровенный, как всегда; ему, как радостно сообщил он окружившим его братьям, жилось хорошо, и он вполне сносно для заложника коротал дни в одной из комнат Великого Присутствия, не видя, правда, больше лица Мошеля и тревожно гадая, вернутся ли они, — но всегда подкрепляясь хорошей едой и хорошим питьем. Они извинились перед вторым сыном Лии за то, что так долго не возвращались — из-за упрямства Иакова, как он, надеются они, понимает; и он понимал их и был рад им, особенно своему брату Левию; ибо одному забияке очень недоставало другого, и если они не целовались и не обнимались, то зато они то и дело, не щадя сил, пинали друг друга кулаками в плечо.

И вот все братья сели, помыли ноги, а потом управляющий отвел их в палату, где делались приготовления к обеду, — изобиловавшую цветами, столовыми украшениями и прекрасной посудой, и стал помогать им раскладывать на длинном поставце у стены, напоказ господину, привезенные ими подарки, пряности, мед, орехи и фрукты. Вскоре, однако, Май-Сахме пришлось отлучиться, ибо как раз в это время прибыл на обед Иосиф с приглашенными египтянами, пророком Птаха, воителем владыки, начальником землемеров и книговедами. Он вошел с ними в столовую и сказал: «Здравствуйте, приятели!» А братья пали ниц как подкошенные.

Несколько мгновений он стоял молча, потирая лоб кончиками пальцев. Потом повторил:

— Здравствуйте, друзья! Встаньте же передо мной и покажите мне свои лица, чтобы я вас узнал. Ибо вы, как я могу заключить, узнали меня и видите, что я главный хлеботорговец Египта, тот самый, которому пришлось быть суровым с вами ради этой драгоценной страны. Но вы успокоили и убедили меня в своей правоте, возвратившись в должном количестве, так что теперь все братья вместе и все на месте. Это прекрасно. Вы заметили, что я говорю с вами на вашем языке? Да, теперь я могу на нем говорить. Когда вы были здесь в прошлый раз, я обнаружил, что не понимаю по-еврейски, и очень на это досадовал. Поэтому, пока вы отсутствовали, я изучал еврейский язык. Такой человек, как я, изучает язык в два счета. Так как же ваши дела? Прежде всего — жив ли еще ваш старый отец, о котором вы мне рассказывали, и хорошо ли ему живется?

Твоему рабу, отцу нашему, отвечали они, живется довольно хорошо, и он еще живет своей торжественной жизнью. Он был бы очень тронут этим любезным вопросом.

И они снова припали лбами к каменным плитам пола.

— Перестаньте, — сказал он, — вы и так уже более чем достаточно кланялись и сгибались! Покажитесь наконец. Это и есть младший ваш брат, о котором вы мне говорили? — спросил он на несколько ломаном ханаанском языке, потому что действительно немного забыл его, и подошел к Вениамину. Принарядившийся супруг благоговейно поднял на него взор своих серых, полных мягкой и светлой печали глаз.

— Да хранит тебя бог, сын мой! — сказал Иосиф и положил ладонь на его спину. — У тебя всегда были такие хорошие глаза и такая блестящая шапка волос на голове, даже тогда, когда ты был еще крошкой и разгуливал, карапуз, среди зеленых деревьев?

Он сделал глотательное движение.

— Сейчас я вернусь, — сказал он. — Мне нужно только...

И он быстро вышел — во внутренние, видимо, покои, к себе в спальню, но вскоре возвратился с вымытыми глазами.

— Я забыл свои обязанности, — сказал он, — и даже не познакомил друг с другом гостей моего дома! Господа, это покупатели из Ханаана, люди торжественного происхождения, сыновья одного замечательного человека.

И он перечислил египтянам имена сыновей Иакова, точно по порядку, очень бегло, как будто читал стихи, с легкой цезурой после каждого третьего имени, — пропустив, разумеется, свое собственное: после Завулона он сделал маленькую паузу, а потом закончил: «и Вениамин». И братья поразились, что он сумел перечислить их имена в такой последовательности, и выразили друг другу свое удивление.

Затем он назвал им имена египетских сановников, которые держались довольно натянуто. Он усмехнулся по этому поводу и сказал: «Вели подавать», — потирая руки как бы в предвкушение обеда. Но его домоправитель указал ему на разложенные дары, и он восхитился ими с непритворным радушием.

— От вашего старого отца? — спросил он. — Какая трогательная внимательность! Передайте ему величайшую мою благодарность!

Это пустяки, заявили они, это лишь образцы того, чем славится их земля.

— Нет, это очень большой подарок! — возразил он. — А главное, очень красивый! Я никогда не видел такого нежного астрагала. А таких фисташек — что они маслянисты и вкусны, видно даже издали — нигде, наверно, кроме как в вашем краю, не найдешь. Я просто не могу на них наглядеться. Ну, а теперь пора и обедать!

И Май-Сахме указал всем их места, и у братьев снова было чему удивляться; их посадили точно по возрасту, хотя, считая от хозяина дома, в обратном порядке, так что младший сидел ближе всех к нему, а за Вениамином, по возрастающему старшинству, Завулон, Иссахар, Асир и так далее вплоть до большого Рувима. Столики были расставлены углом между обегавшими эту египетскую палату колоннами, и вершиной угла был столик хозяина. Справа от него, наискось, шли места здешних сановников, а слева — чужеземцев-азиатов, так что он председательствовал у тех и у других, и по правую руку его соседом был пророк Птаха, а по левую Вениамин. Гостеприимно и в самом лучезарном расположении духа Иосиф призвал всех угощаться без церемоний, не жалея ни кушаний, ни вина.

Трапеза эта знаменита своим весельем, и действительно, вскоре от первоначальной натянутости сановных египтян и следа не осталось: оживившись, они совершенно забыли, что вообще-то это мерзость для них — есть хлеб с евреями. Первым разошелся налегавший на сирийское вино воитель владыки, начальник гарнизона Энтеф-окер; он громко, через всю треугольную палату, беседовал с прямым Гадом, который понравился ему больше других жителей песков.

Не следует удивляться, что предание оставляет тут вне поля зрения супругу Иосифа, дочь главного жреца солнца Аснат, настаивая на чисто мужском обеде, хотя по египетскому обычаю муж и жена ели вместе, да и на торжественных пиршествах хозяйка дома присутствовала. Мы подтверждаем верность старого этого рассказа — не пояснением, что, дескать, «девушка», согласно брачному договору, как раз гостила тогда у своих родителей, — что ведь вполне могло быть, — а ссылкой на распорядок дня, на образ жизни Иосифа, по большей части не позволявший возвысившемуся видеть детей и женщин в дневные часы. Трапеза с братьями и с местной знатью, хоть и весьма веселая, была не торжественным пиром, а одним из тех деловых обедов, какие другу фараона приходилось давать почти ежедневно, так что со своей супругой он обычно лишь ужинал — на женской, кстати сказать, половине дома, выкроив предварительно время для занятий с Манассией и очаровательным полукровкой Ефремом. В полдень же он ел в мужском обществе, будь то лишь высокие и высшие чиновники Великого Продовольственного Присутствия, или проезжие титулоносцы обеих стран, или, наконец, гости и посланцы из-за границы; одной из таких полуденных трапез у Друга Урожая Бога была и эта — то есть для постороннего глаза; ибо какие с ней связаны волнующие события, как входит она в колею одной чудесной и праздничной истории божьей и почему так заразительно весел высокий хозяин дома, это было поначалу для всех ее участников окутано мраком.

Для всех ли? Уместно ли такое обобщающее слово и стоит ли на нем настаивать? Маи-Сахме, приземисто и с высоко поднятыми бровями стоявший в самом широком месте палаты и направлявший белым жезлом то туда, то сюда сновавших между столиками кравчих и хлебодаров, в счет не идет. Он знал, что к чему, но участником обеда он не был. Был ли среди обедавших кто-нибудь, для кого этот мрак таил в себе какую-то половинчатую, страшную, блаженную, невероятную, неосознанную прозрачность? Ясно уже, что, задавая этот осторожный вопрос, который, пожалуй, лучше всего и оставить вопросом, мы имеем в виду Туртурру-Бенони, младшего, сидевшего слева от хозяина дома. Чувства его не поддаются описанию. Их никогда никто не описывал, и эта повесть тоже не станет делать того, за что никто не брался, — облекать в слова некую сопровождаемую сладким страхом догадку, которая далеко еще не дерзнула стать даже догадкой, не пошла дальше смутных проблесков памяти, дальше странного, щемящего ощущения родства между двумя совершенно разными и далекими друг от друга впечатлениями, давним, забытым с детства, и нынешним. Вы только представьте себе, как все это происходило.

Они сидели на удобных табуретках, и перед каждым, наискосок, стоял столик с веселой горой еды, закусок и украшений, фруктов, пирожных, овощей, пирогов, огурцов, тыкв, роговых сосудов с цветами и сладостями, а с другой стороны — изящный умывальный прибор, красивая подставка для амфор и медный таз для объедков. Слуги в набедренниках, под особым надзором купора, наполняли чаши; другие принимали у смотрящего поставца главные блюда, телятину, баранину, жареную рыбу, птицу, дичь и подносили ее гостям, не отдавая им, однако, ввиду высокого звания хозяина, никакого перед ним предпочтения. Наоборот, Адон получал не только первые, но и самые лучшие куски и гораздо больше, чем остальные, — правда, лишь для того, чтобы угощать других, ибо, как то записано, «кушанья посылались им от него», то есть он посылал с приветом то одному, то другому, иной раз какому-нибудь египтянину, а иной раз кому-либо из чужеземцев, то жареную утку, то варенье из айвы, то золоченую косточку с нанизанными на нее кольцами лакомых пряженцев; самому же младшему азиату, соседу своему слева, он то и дело сам подавал куски с собственного стола; а поскольку такие знаки благоволения высоко ценились и египтяне внимательно вели им счет, то потом все это обсуждалось и перечислялось, благодаря чему до нас и дошло, что маленький бедуин действительно получил со стола господина впятеро большую долю, чем все другие.

Вениамину было совестно, он просил не потчевать его больше и виновато поглядывал на египтян и на братьев. Он не смог бы съесть столько, сколько ему подавалось, даже если бы еда и занимала сейчас его ум, — смущенный и удрученный ум, который искал, находил, терял и вдруг так несомненно находил снова, что сердце щемило от резких и быстрых толчков. Он вглядывался в безбородое, окаймленное крылатой иератической повязкой лицо хозяина, который потребовал его сюда поручителем, этого уже грузноватого египетского вельможи в белой одежде с блестящим нагрудником; глядел на этот улыбающийся во время беседы рот, в эти черные глаза, которые с шутливым блеском встречались с его глазами и порой, словно бы отступив, словно бы запрещая, закрывались — как раз тогда, когда его, Вениамина, глаза делались широкими от недоверчивой радости и от страха; глядел на вылепку этой украшенной резным лазуритом руки, протягивавшей ему блюдо или поднимавшей чашу, — и ему казалось, будто он чувствует запах детства, острый, согретый пряностью, вобравший в себя и восторженность, и ласковую задушевность, и все ошеломляющие предчувствия, и всю детскую непонятливость, и в то же время понятливость, и всю доверчивость, и все нежное беспокойство — запах мирта. Давний этот запах был неотделим от внутренних усилий, от попыток разгадать какую-то прекрасную загадку, от боязливо-гордого и покорного постижения какой-то туманной и страшной тождественности, от полумучительного-полублаженного нащупывания тождества чего-то по-приятельски близкого и чего-то более высокого, божественного, потому-то и чудился короткому носику Туртурры этот пряный дух детства, что все было так же, как тогда, только перевернуто, но разве перевернутость что-либо значит! В нынешнем, в высоком и чужом, угадывалось давнее и знакомое, проглядывая в нем в иные мгновенья со сжимающей сердце отчетливостью.

Владыка зерна долго болтал с ним за едой — в пять раз больше, чем с египетским титулоносцем, что сидел по правую его руку. Он расспрашивал его о житье-бытье, о его детях: старшего из них звали Бела, младшего покамест — Мупим. — «Мупим! — сказал владыка зерна. — Поцелуй его за меня, когда вернешься домой, ведь это же просто чудо, что у младшего есть еще младший. А кто перед ним, предпоследний по старшинству? Его зовут Рос? Прекрасно! Он от той же матери, что и младший? Да? Вот уж, наверно, они разгуливают вдвоем среди зеленых деревьев? Только бы старший не пугал младшего — ведь тот еще карапуз — бог весть каким вздором, всякими историями о боге и прочими самонадеянными выдумками. Следи за ними, отец Вениамин!»

И он рассказал ему о собственных сыновьях, рожденных ему дочерью Солнца, о Манассии и Ефреме — нравятся ли Вениамину их имена? Нравятся, сказал Вениамин и оказался у порога вопроса, почему у них такие странные имена, но у этого порога он и застрял с широко раскрытыми от изумленья глазами. Застрял, впрочем, ненадолго, ибо его сосед, правитель земли Египетской, стал рассказывать всякие забавные вещи о Манассии и Ефреме, что сболтнул один и как напроказил другой, и это напомнило Бенони такого же рода случаи с собственными детьми, и оба покатывались со смеху от этих историй.

Тем временем Вениамин собрался с духом и постучался в дверь:

— Не соблаговолит ли твое великолепие ответить мне на один вопрос и разрешить гостю одну загадку?

— Постараюсь, как смогу, — ответил тот.

— Я хотел бы только, — сказал малыш, — чтобы ты рассеял мою тревогу и успокоил мое недоумение по поводу некоей осведомленности, которую ты обнаружил, и некоей

точности, которой отличались твои распоряжения. Ты знаешь наизусть наши имена, братьев моих и мое, и, помня, кто из нас старше и кто младше, можешь без запинки перечислить нас по порядку, — правда, отец говорит, что когда-нибудь во всем мире детям придется это заучивать, ибо мы — избранная богом семья. Откуда ты это знаешь и как умудрился спокойный твой управляющий усадить нас так, как он это сделал, — первородного по его первородству, а младшего по его молодости?

— Ах, — отвечал хлеботорговец, — вот чему вы удивляетесь? Это совсем просто. Видишь эту чашу, серебряную с клинописью? Я из нее пью и по ней гадаю. Хотя у меня и есть ум, который, вероятно, даже выше среднего уровня, коль скоро я являюсь тем, кем являюсь, и фараон пожелал быть выше меня лишь царским престолом, — все же без чаши я вряд ли бы обошелся. Вавилонский царь подарил ее отцу фараона — я имею в виду не себя, носящего звание «Отец фараона» (фараон, правда, называет меня обычно «дядюшка»), а его настоящего отца, то есть, сделаю еще одну оговорку, не божественного, а земного, предшественника фараона, царя Неб-ма-Ра. Ему-то вавилонский царь и подарил ее на память, и таким образом она попала к моему господину, который и соблаговолил порадовать ею меня. А чаша эта и в самом деле нужна мне, ибо обладает ценнейшими свойствами. Она показывает мне, когда я заглядываю в нее, прошлое и будущее, открывает мне тайны вещей и обнажает их связи, как, например, порядок вашего рожденья, который я без труда определил с ее помощью. Доброй долей своего ума, почти всем, что выходит за пределы среднего уровня, я обязан этой чаше. Разумеется, я не трублю об этом на весь свет, но тебе как моему соседу и гостю я это рассказываю. Ты не поверишь, но эта вещица, если умело с ней обращаться, открывает мне картины далеких мест и того, что там когда-то происходило. Хочешь, я опишу тебе могилу твоей матери?

— Ты знаешь, что она умерла?

— Братья твои рассказали мне, что она рано ушла на Запад, эта милостивая, чьи щеки благоухали, как лепестки роз. Я не притворяюсь перед тобой, что узнал это сверхъестественным путем. Но стоит лишь мне поднести гадальную мою чашу ко лбу, — видишь, вот так, — пожелав при этом увидеть могилу твоей матери, и я сразу же вижу ее с такой ясностью, что сам удивляюсь. А ясность эта — от утреннего солнца, в лучах которого встает передо мной эта картина, и еще я вижу там горы и город на горе, в утреннем свете, совсем недалеко, до него только один переход. Вот пашенки между каменными осыпями, а по правую руку холмы виноградников, а спереди — сложенная без вяжущей смеси стена. А у стены шелковичное дерево, старое уже и дуплистое, и покосившийся ствол его укреплен камнями. Никто никогда не видел ни одного дерева отчетливей, чем я сейчас эту шелковицу и ее листья, колеблемые утренним ветром. А у дерева могила и камень, который они поставили там на память. И знаешь, там кто-то стоит на коленях, а на могиле его дары — вода и сладкие хлебцы, — и это, наверно, его верховой осел под деревом, милое такое животное, белый, с говорящими ушами и челка падает на добрые его глаза. Я и сам не думал, что моя чаша покажет мне все настолько отчетливо. Это действительно могила твоей матери или нет?

— Да, это она, — ответил Вениамин. — Но скажи, господин, неужели ты видишь так ясно только осла, но не путника?

— Его я вижу, пожалуй, еще яснее, — отвечал Иосиф, — но что тут и видеть? Это какой-то хлыщ, едва достигший семнадцати лет, стоит на коленях и принес жертву. Напялил на себя, дуралей, пестрое покрывало с вытканными узорами, а в голове у него ветер, он думает, что поехал прогуляться, а едет к своей гибели, и всего в нескольких днях пути от этой могилы его уже дожидается его собственная.

— Это мой брат Иосиф, — сказал Вениамин, и серые глаза его переполнились слезами.

— О, прости! — испуганно воскликнул его сосед и отставил чашу. — Я не стал бы говорить о нем так пренебрежительно, если бы знал, что это пропавший твой брат. А по поводу того, что я сказал о могиле, о его могиле, не нужно так огорчаться и не на шутку казнить. Могила эта, правда, отверстие нешуточное, глубокое, темное; но удерживать что-либо в себе она не способна. Она, видишь ли, пуста по природе своей: пуста яма, когда она ждет добычи, но если придешь к ней, когда она ее уже дождалась, она пуста снова, — камень отвален. Я не скажу, что она не стоит слез, эта яма, нет, в пору даже пронзительно голосить в ее честь, ибо она существует, нешуточное, глубоко печальное установление мира и праздничной, помнящей каждый свой час истории. Я скажу даже, что из почтения к яме не нужно и виду подавать, что знаешь о природной ее пустоте, о ее неспособности удерживать что-либо. Это было бы невежливо по отношению к такому нешуточному установлению. Надо пронзительно причитать и рыдать и быть лишь втайне, совсем втайне, уверенным, что нет на свете такого ухода в преисподнюю, за которым не следовало бы неотъемлемое от него воскресение. Какая бы это была неполная, половинчатая история, если бы ее хватало лишь до ямы, а дальше бы она не знала, как быть! Нет, мир не половинчат, а целостен, и целостен праздник, и целостность его — нерушимый источник бодрости. А потому не тревожься из-за того, что я сказал тебе о могиле твоего брата, и приободришься!

С этими словами он взял руку Вениамина за запястье и, приподняв ее, помахал ею в воздухе, так что даже повеяло ветерком.

Тут малыш и вовсе пришел в ужас. Неописуемость его состояния достигла высшей своей точки, — сейчас стало совершенно ясно, что этого никто никогда не опишет. У него сперло дыхание, глаза его заволкло слезами, и сквозь слезы он пристально глядел в лицо владыки хлеба, напряженно нахмутив брови, — а это уж вовсе неописуемое выражение лица: слезы при сомкнутых, да еще напряженно, бровях, — и к тому же рот его был открыт, словно для крика, но крик не раздался, а вместо этого голова малыша склонилась немного набок, рот его закрылся, брови разгладились, а его застланный слезами взгляд стал одной горячей, упорной мольбой, перед которой черные глаза опять, правда, начали запрещающе отступать за веки, но все же теперь, приободрившись, можно было при желании усмотреть во взмахе ресниц что-то похожее на доверительное подтверждение.

Попробуй тут кто-нибудь опиши, что творилось в груди Вениамина, — в груди человека, который вот-вот поверит!

— Сейчас я закончу обед, — услышал он голос правителя. — Тебе он понравился? Я надеюсь, что он всем вам понравился. Ну, а теперь мне пора в присутствие до вечера. Вы, братья, видимо, завтра утром отправитесь в обратный путь, получив товар, который я вам на этот раз предложу, — пищу на двенадцать домов, считая дом вашего отца и ваши дома. Не откажусь принять от вас за это деньги в казну фараону, — что поделаешь? Я ведь делец бога. Всего тебе лучшего, на случай, если я больше тебя не увижу! А впрочем, без всяких задних мыслей, — почему бы вам, собственно, не открыть своего сердца и не поменять вашу страну на эту, почему бы вам всем, отцу, сыновьям, женам и внукам, всем семидесяти, или сколько вас там, не поселиться в Египте и не кормиться на пажитях фараона? Вот вам мое предложение, подумайте о нем, это было бы не так уж глупо. Уж вам отвели бы хорошие пастбища, мне стоит только слово сказать, все здесь в моих руках. Я знаю: Ханаан что-то для вас значит, но в конце концов земля Египетская — это большой мир, а Ханаан — глухой угол, где ни в каком смысле не проживешь. Ведь вы подвижной народ, а не запертые в своих стенах горожане. Так перебирайтесь же сюда вниз! Здесь вам будет хорошо, и вы сможете свободно промышлять и вести торговлю. Вот мой совет, ваше дело — последовать ему или нет, а я должен спешить, чтобы внять воплю тех, кто не

был предусмотрителен.

Такой деловитой речью прощался он с малышом, покуда слуга поливал ему руки водой. Затем он встал, попрощался со всеми и закончил трапезу, о которой сказано, что во время ее братья пили с ним допьяна. Но они были только веселы; напиться допьяна не отважились бы и дикие близнецы. Пьян был только Вениамин, но и он не от выпитого.

### Запертый крик

Куда бодрее, чем в прошлый раз, отправлялись теперь братья в обратный путь из Менфе к горьким озерам и к укрепленной границе. Все сошло как нельзя лучше. Владыка страны был недвусмысленно обаятелен, Вениамин остался цел и невредим, Симеон был освобожден, а подозрение в соглядатайстве снято с них самым почетным образом: им довелось даже отобедать с правителем и его приближенными. Это настраивало их на веселый лад, вселяло в их сердца легкость и гордость) ибо так уж устроен человек: признают его невиновным в каком-нибудь прегрешенье и с похвалой подтвердят, что тут он безупречен, — а ему уже кажется, будто он вообще безгрешен, и он уже забывает, что у него имеется на совести еще кое-что. Простим это братьям. Когда их заподозрили в шпионстве, они невольно связали эту незадачу со старой своей виной; так не удивительно, что, сняв с себя столь неприятное обвинение, они возомнили, будто и со старой виной все улажено.

Вскоре они могли убедиться, что им не дано так дешево отделаться, не дано без помех следовать своей дорогой с мешками, туго набитыми оплаченным хлебом на двенадцать домов, ибо за ними тащится некая бечева, которая потянет их назад, на новые беды. Но поначалу они были в превосходном настроенье и могли тешить себя сознанием своей почетно признанной невиновности. В Доме Снабжения, под спокойным присмотром Маи-Сахме, их снова накормили и снабдили дорожными припасами — на добрую память. Они тронулись в путь, имея при себе все, что им требовалось, чтобы смело явиться к отцу: и Вениамина, и Симеона, и пищу, причем пища, полученная ими у великого хлеботорговца, в известной мере заменяла двенадцатого из них, которого так и не было. Но уж зато число одиннадцать они восстановили благодаря своей невиновности.

Таково было настроение братьев, точнее сказать: сыновей Лии и сыновей служанок, — его легко описать. Душевное же состояние сына Рахили остается неопишуемым, — нам лучше и не братья за то, на что столько тысяч лет никто не решался. Достаточно сказать, что ночью, на постоялом дворе, малыш почти не спал, а если и засыпал, то видел какие-то сумбурные, безумные сны, которых тоже никак не определишь. То есть имя-то у них было, милое, прекрасное имя, но только совершенно безумное; имя им было «Иосиф». Бенони снился некто, в ком был Иосиф. Мыслимо ли описать это? Людям известны боги, которые, приняв облик какого-нибудь доброго знакомого, желали, чтобы с ними обращались как с этим знакомым, но не заговаривали с ними самими. А тут было наоборот: если там в человеческом, близком проглядывало божественное, то здесь высокое и божественное было прозрачной оболочкой чего-то знакомого с детских лет, и это знакомое не желало, чтобы с ним заговаривали, а отступало за веки, которые запрещающе закрывались. Нужно иметь в виду, что переодетый — это не тот, кем он переоделся и в ком он проглядывает. Это два разных лица. Узнать одного в другом вовсе не значит сделать из двоих одного и облегчить свою грудь криком: «Это он!» «Он» еще никак не получается, хотя рассудок и тщится его слепить; и крик этот не мог вырваться из Вениаминовой груди, которую он прямо-таки разрывал, хотя крика-то, собственно, еще и не было, а было отсутствие крика из-за его беспредметности, — вот этого-то и не опишешь. Несостоявшемуся, но переполнявшему грудь крику ничего не оставалось, как

разрядиться ночью сумбурными, безумными снами; когда же утром он снова вернулся в свое гнетущее полубытие, оно приобрело уже такую предметность, что Вениамин не понимал, как можно уехать теперь, просто-напросто отмахнувшись от «этого».

«Предвечный свидетель, нам нельзя просто так взять и уехать! — восклицал он про себя. — Мы должны остаться здесь, лицом к лицу с „этим“, лицом к лицу с Великим Хлеботорговцем фараона, человеком и наместником бога! Ведь должен же вырваться крик, которого нет только до поры до времени, и мы ведь не можем, если он у нас в груди, вернуться к отцу и жить там, как прежде, хотя этот крик вот-вот выйдет наружу и заполнит весь мир, ибо он достаточно огромен, чтобы заполнить весь мир, — не диво, что, покуда он заперт в моей груди, он грозит ее разорвать!»

И, обратившись со своей заботой к большому Рувиму, Вениамин, с широко раскрытыми глазами, спросил его, действительно ли тот считает, что теперь нужно уехать домой, и не кажется ли тому, что здесь еще не все кончено, верней, ничего не кончено, и что по этой важной причине лучше остаться здесь.

— Как же так, малыш? — ответил вопросом Рувим. — И что ты подразумеваешь под словом «важная»? Все устроено и закуплено наилучшим образом, и этот человек милостиво отпустил нас, поскольку мы не преминули представить ему тебя. А теперь нужно поскорее вернуться к отцу, который ждет нас дома и боится за тебя, чтобы доставить ему купленное зерно и чтобы у него снова были лепешки для жертв. Помнишь ли ты, как рассердился этот человек, узнав о жалобах Иакова на то, что лампада его гаснет и ему приходится спать в темноте?

— Да, — сказал Вениамин, — я это помню.

И, подняв глаза, он испытующе заглянул большому брату в лицо, сильная, не прикрытая бородой мускулатура которого была, как всегда, свирепо напряжена. Но вдруг он увидел, — или это ему померещилось? — что красноватые глаза Лии отступают от его взгляда за моргающие веки, отступают, запрещая и подтверждая, в точности так, как то было вчера с другими глазами.

Он ничего больше не сказал. Возможно, что этот знак просто показался ему знакомым, потому что он видел его вчера и потом непрестанно во сне. На том разговор и кончился, они тронулись в путь — не нашлось слов доказать, что необходимо остаться, но Вениамину было очень больно. Больно было именно оттого, что этот человек милостиво их отпустил. В том-то и горе было, что он позволил им уехать, просто уехать. Ведь им нельзя было, никак нельзя было уезжать! — но, конечно, если он их отпустил, значит, им можно было, значит, они обязаны были уехать. И они уехали.

Вениамин ехал верхом рядом с Рувимом, и это было правомерно, ибо по некоторым признакам они подходили один к другому: не только как старший и младший, как великан и мальчик с пальчик, но и гораздо глубже, по своему отношению к исчезнувшему и к его исчезновению. Мы знаем о сварливой слабости, которую Рувим всегда питал к отцовскому агнцу, и были свидетелями его особой, обособившей его от братьев повадки в часы растерзанья и погребенья Иосифа. Во всем этом он с виду вполне деятельно участвовал, как участвовал в связавшей десятерых братьев ужасной клятве — ни намеком, ни ненароком, некстати моргнув, кивнув или подмигнув, не выдавать, что на лохмотьях, посланных Иакову, была кровь животного, а не мальчика. Но в продаже Рувим не участвовал; он был в этот час не с братьями, а в некоем другом месте, и поэтому его представление об отсутствии Иосифа было еще более расплывчато, чем представление братьев, тоже довольно расплывчатое и туманное, но все-таки — в одном отношении — не настолько. Они знали, что продали мальчика странствующим купцам, и, следовательно, знали несколько больше, чем он. У Рувима было перед ними то преимущество, что он

этого не знал; место же, где он находился, когда они продавали Иосифа, было пустой ямой, а пустая яма создает как-никак другое отношение к чьему-то отсутствию, чем продажа жертвы неведомо куда, в туманные дали.

Короче говоря, знал ли он сам о том или нет, все эти годы большой Рувим берег и лелеял росток ожиданья, — и это, через головы всех братьев, связывало его с невинным Вениамином, который вообще ни в чем не участвовал и для которого отсутствие предмета его восхищенья всегда было только источником надежд. Разве мы не слышим, хоть и давно это было, как он, детским еще голосом, говорит убитому горем старику: «Он вернется! Или переселит нас к себе!»? С тех пор прошло добрых двадцать лет, но ожиданье осталось в его душе, как слова его остались у нас в ушах, — а ведь он не знал ни о продаже, в отличие от тех девяти, что ее совершили, ни о пустой яме, из которой похороненный все-таки мог быть украден, а знал только, как и его отец, что Иосиф умер, и уж это, казалось бы, совсем не оставляло места надежде. Но, по-видимому, надежда лучше всего приживается там, где для нее совсем нет места.

Вениамин ехал рядом с Рувимом, и во время пути тот спросил его, о чем же беседовал с ним этот человек за обедом; он, Рувим, как старший, сидел от них слишком далеко.

— О разном, — отвечал младший. — Мы рассказывали друг другу всякие забавные истории о наших детях.

— Да, вы смеялись, — сказал Рувим. — Все видели, что вы корчились от смеха. Думаю, что египтяне были очень удивлены.

— Они, наверно, знают, что он обаятельный человек, — возразил малыш, — и умеет занять любого так, что обо всем забываешь и смеешься с ним вместе.

— А мы знаем, — ответил Рувим, — что он может быть и другим и бывает иногда весьма неприятен.

— Не спорю, — сказал Вениамин. — Вам лучше об этом знать. И все-таки он желает нам добра, об этом уж лучше знать мне. Ведь в последних своих словах, которые все еще стоят у меня в ушах, он посоветовал нам и через меня пригласил всех, сколько нас есть, поселиться в Египте, спустившись с отцом на здешние пажити.

— Неужели он это говорил? — спросил Рувим. — Да, многое, нечего сказать, знает о нас и об отце такой человек. Особенно об отце. Вот уж кого он знает так знает, и все его требования попадают в самую точку. Сначала он вынуждает его отправить тебя в дорогу для нашего оправданья и ради хлеба, а потом он приглашает в Египет, в Страну Ила, его самого. Прекрасно он знает Иакова, ничего не скажешь.

— Ты смеешься над ним, — спросил в ответ Вениамин, — или над отцом? Малышу не по вкусу ни то, ни другое, мне так больно, Рувим. Рувим, послушай, что я тебе скажу, у меня такая боль в груди, оттого что мы уезжаем!

— Ну, — оказал Рувим, — не каждый же день обедать и веселиться с владыкой Египта. Это исключительный случай. А теперь пора вспомнить, что ты не ребенок, а глава дома и что твои дети плачут и просят хлеба.

У Вениамина!

Вскоре они достигли места, где собирались устроить полуденный привал, чтобы снова тронуться в путь уже с наступлением прохлады. В прошлый раз они добрались сюда вечером, а теперь прибыли в полдень. Достаточно назвать пальму, колодец и хижину, чтобы определить это место и чтобы слушатель представил его себе столь же ясно, как, скажем, тот человек, с помощью своей гадальной чаши, увидел могилу Вениаминовой матери. Они рады были снова увидеть это уютное место, хотя у них и связывалось с ним воспоминание об ужасе, который их здесь когда-то загадочно поразил. Но ужаса не осталось в помине; он растворился в гармонии, в душевном покое, и они могли беззаботно предаться отдыху в тени скал.

Они еще стоят и озираются по сторонам, они еще не прикоснулись к поклаже и не начали устраиваться, а сзади, оттуда, откуда они приехали, доносится шум, нарастает гул, и слышатся возгласы: «Эй-эй!» и «Стой!» К ним ли это относится? Они стоят как вкопанные и прислушиваются к долетающим голосам так озадаченно, что даже не оглядываются. Оглядывается только один из них, это Вениамин. Что с Вениамином? Он вскидывает вверх свои короткопалые руки и издает крик, да, крик. Потом он умолкает — и надолго.

Это Майи-Сахме на конной повозке, а с ним еще несколько повозок. В них стоят вооруженные люди. Они спрыгивают наземь и запирают незамкнутый круг скал. Управляющий угрюмо шагает к братьям.

Лицо его было очень свирепо. Он нахмурил густые брови и закусил нижнюю губу с одной стороны, только с одной, что придавало ему особенно свирепый вид. Он сказал:

— Это вы, я вас догнал? Я гнался за вами по приказу своего господина на конных повозках и настиг вас там, где вы собирались укрыться и отдохнуть. Каково у вас на душе при виде меня?

— Мы сами не знаем, — отвечали смущенные братья, чувствуя, что все начинается сызнова, что снова за ними потянулась рука, чтобы привести их на суд, и что все опять смешалось и сбилось, хотя еще только что царила гармония. — Мы, право, сами не знаем. Мы рады увидеться с тобой снова так скоро, но это вышло несколько неожиданно.

— Хоть вы этого и не ожидали, — сказал он, — бояться этого вы все же, наверно, боялись. Зачем вы заплатили злом за добро, так что за вами приходится гнаться и призывать вас к ответу? Имейте в виду, дела ваши обстоят очень скверно.

— Объяснись! — сказали они. — О чем идет речь?

— И вы еще спрашиваете! — ответил он. — Не то ли это, из чего пьет и с помощью чего гадают мой господин? Вчера она была у него за обедом. Она исчезла.

— Ты говоришь о чаше?

— О ней. О серебряной чаше фараона, принадлежащей моему господину. Он пил из нее вчера в полдень. Сейчас ее нет. Ясно, что ее стащили. Кто-то ее унес. Кто же? Увы, тут не может быть сомнений. Вы поступили очень дурно.

Они молчали.

— Ты хочешь сказать, — с тихой дрожью спросил Иуда, сын Лии, — и твои слова означают, что мы похитили какой-то предмет со стола твоего господина и, как воры, его унесли?

— Иначе вашего поведения, к несчастью, нельзя назвать. Чаши нет со вчерашнего дня, и

ее явно стянули. Кто мог быть причиной ее исчезновения? Увы, тут напрашивается только один ответ. Я могу только повторить вам, что дела ваши обстоят очень скверно, ибо поступили вы дурно.

Они опять молчали и, уперев кулаки в низ живота, выпускали изо рта воздух.

— Послушай, господин мой! — заговорил снова Иуда. — Почему ты не выбираешь слова и не обдумываешь свою речь, перед тем как начать ее? Она же чудовищна. Мы спрашиваем тебя вежливо, но решительно: за кого ты нас принимаешь? Неужели мы производим на тебя впечатление бродяг и жуликов? А кем же мы еще можем тебе казаться, если ты заявляешь нам, что мы взяли со стола хлеботорговца какую-то посуду, какую-то, если я не ошибаюсь, чашу и украли ее? Вот это-то я и называю чудовищным от имени одиннадцати. Ибо все мы торжественным образом сыновья одного человека, и нас, собственно, двенадцать. Но одного из нас нет налицо, иначе я назвал бы это чудовищным и от его имени. Ты говоришь, мы поступили дурно. Так вот, я не стану хвастаться, не стану лицемерно утверждать, будто мы, братья, никогда не поступали дурно и прошли через жестокую жизнь совсем без проступков. Я не говорю, что мы без вины, это было бы кощунством. Но и у вины есть свое достоинство, она, пожалуй, еще самолюбивее, чем невиновность, и красть со стола серебряные чаши — это не ее дело. Мы, господин мой, оправдались перед твоим господином и доказали ему, что дело наше правое, доставив одиннадцатого. Оправдались мы и перед тобой, ибо деньги, найденные нами в мешках поверх зерна, мы привезли тебе из страны Ханаан и подали тебе на вытянутых ладонях, но ты не захотел их взять. Не следовало ли тебе после всего этого хорошенько подумать, прежде чем обвинять нас в похищении серебра или золота со стола твоего господина?

А Рувим прибавил, вскипев:

— Почему ты не отвечаешь, домоправитель, на эту отличную речь моего брата Иегуды, а только еще сильнее закусываешь нижнюю губу, так что даже глядеть нет сил? Вот мы перед тобой. Обыщи нас. И у кого из нас ты найдешь это свое несчастное серебро, эту чашу, тому смерть. А мы, все остальные, будем, кроме того, всю жизнь твоими рабами, если ты ее найдешь!

— Рувим, — сказал Иуда, — не нужно так бушевать! При полнейшей нашей невиновности в этом деле можно обойтись и без таких клятв.

Но Май-Сахме ответил:

— Верно, зачем кипятиться? Не будем терять чувства меры. У кого я найду чашу, тот пусть останется у нас в руках нашим рабом. А вы, все остальные, не будете виноваты. Откройте, прошу вас, ваши мешки!

Они уже открывали их. Бросившись к своей поклаже и поспешно сняв ее с ослов, они развязывали и широко открывали мешки. «Лаван! — кричали они со смехом. — Лаван и обыск на горе Гилеад! Ха-ха! Пускай попотеет, пусть ищет до потери сил! Ко мне, господин управляющий! Начни обыск с меня!»

— Спокойствие, — сказал Май-Сахме. — Все будет сделано как полагается, в том порядке, в каком сумел назвать ваши имена мой господин. Начну я с этого буйного великана.

И под их насмешки, все более победоносные по мере того, как он продвигался, под громкий смех братьев, которые то и дело называли его Лаваном, ищущим до седьмого пота, и перстью земной, он шел от одного к другому по старшинству, рылся в их вещах,

останавливался, наклонялся, заглядывал, подбоченясь, в мешки, качал головой или пожимал плечами, когда ничего, при всем старанье, не обнаруживал, и переходил к следующему. Так дошел он до Асира, до Иссахара, до За'вулона. Украденного ни у кого не было. Обыск подходил к концу. Остался только Вениамин.

Насмешки стали еще громче.

— Теперь он будет искать у Вениамина! — кричали братья. — Тут уж ему повезет! Он будет искать у самого невинного, не повинного не только в этом деле, но и вообще ни в чем, ибо за всю свою жизнь он не совершил ни одного преступления! Ну, что ж, стоит поглядеть, как он обыскивает его на закуску, и любопытно, в каких словах попросит он у нас, закончив обыск...

Они умолкли все, как один. Она сверкнула в руках управляющего. Из торбы Вениамина, не очень глубоко запустив руку в зерно, он вытащил эту серебряную чашу.

— Ну, вот, — сказал он. — Она найдена у самого младшего. Начни я с другого конца, я избавил бы себя от лишнего труда и от лишних насмешек. Так молод — и уже так нечист на руку! Конечно, я рад, что нашел пропавшую вещь; но радость моя отравлена этим примером неблагодарности и такой ранней испорченности. Младший, дела твои обстоят чрезвычайно скверно!

А остальные? Они схватились за головы, глядя на чашу выкатившимися глазами. Шипенье вырывалось у них из дрожащих губ; ибо губы их так дрожали, что не могли произнести «Что это такое?» и превращали каждое «т» в шипящий звук.

— Бенони!! — воскликнули они наконец плаксиво и возмущенно. — Оправдайся! Открой, пожалуйста, рот! Как оказалась у тебя эта чаша?

Но Бенони безмолвствовал. Он опустил на грудь подбородок, так что в глаза ему никто не мог заглянуть, и молчал.

Тогда они разодрали одежды свои. Во всяком случае, некоторые действительно разодрали свои кафтаны одним рывком от подола до груди.

— Мы опозорены! — стонали они. — Опозорены младшим! Вениамин, в последний раз просим тебя, открой рот! Оправдайся!

Но Вениамин молчал. Он не поднимал головы и не говорил ни слова. Это было неопишное молчание.

— Раньше он вскрикнул! — сказал Дан, сын Валлы. — Теперь я вспомнил, что он неопишимо вскрикнул, когда они показались! Он вскрикнул от страха. Он знал, почему они за нами гонятся!

Тогда они стали громко поносить Вениамина и, осыпая его ругательствами, назвали его воровским отродьем. «Сын воровки!» — кричали они ему, вопрошая: «Разве уже его мать не украла терафимов отца своего? Это у него в крови и передалось ему по наследству. Надо же было тебе, воровская кровь, показать себя здесь, чтобы так нас обесчестить и обратить в пепел весь род, и отца, и всех нас, и наших детей!»

— Теперь вы преувеличиваете, — сказал Маи-Сахме. — Дело обстоит вовсе не так. Ведь все остальные оправданы и не виноваты. Мы не считаем вас соучастниками преступления, полагая, что малыш стащил чашу на свой страх. Вы можете

беспрепятственно следовать домой, к честному своему отцу. У нас останется только укрававший чашу.

Но Иуда ответил ему:

— Нет! Об этом не может быть и речи, домоправитель, ибо я хочу держать речь перед твоим господином. Пусть он выслушает речь Иуды, я полон решимости высказаться. Мы все вернемся с тобой и предстанем перед его лицом, и пусть он судит нас всех. Ибо все мы ответственны за это дело и одинаково причастны к случившемуся. Пойми, младший этот брат не был ни в чем виновен всю свою жизнь, ибо он оставался дома. Мы же, остальные, вращались в мире и бывали там виноваты. Мы не собираемся прикидываться чистенькими и не бросим его на произвол судьбы, потому что он, отправившись в путь, провинился, а мы как раз в этом деле оказались не виноваты. В дорогу, и отведи нас всех вместе с ним к престолу хлеботорговца!

— Ну что ж, — сказал Маи-Сахме. — Пусть будет по-вашему.

И под охраной копейщиков они направились обратно в город, той же дорогой, по которой еще недавно ехали без забот. А Вениамин так и не сказал ни слова.

Это я

Уже вечерело, когда они подъехали к дому Иосифа; ибо управляющий, как то записано, доставил их туда, а не в Великое Письмоводство, где они сгибались и кланялись перед ним в первый раз; там его сейчас не было; он был у себя дома.

«Он был еще дома», — утверждает история, и утверждает справедливо, ибо если вчера, после веселого обеда, друг фараона вернулся в присутствие, то сегодня он с утра не покидал дома. Он знал, что начальник темницы, его управляющий, действует, и с нетерпением ждал его. Священная игра приближалась к своему высшему взлету, и от десяти братьев зависело, будут ли они участвовать в нем, прибыв к месту действия, или же только узнают о нем с чужих слов. Было безмерно любопытно, предоставят ли они младшему вернуться с Маи-Сахме одному или присоединятся к нему все. Это во многом определяло его, Иосифа, отношение к ним в будущем. Что касается нас, то мы свободны от всякого любопытства, потому что вообще знаем наизубок все фазы излагаемой истории, но в данном случае еще и потому, что и в собственном нашем изложении уже установлено то, что для Иосифа было еще любопытнейшим вопросом будущего, и мы уже знаем, что братья не захотели оставить Вениамина с его виной одного. Поэтому мы можем с усмешкой и сознанием давней своей осведомленности наблюдать за Иосифом, который в томительном ожидании слонялся по дому, переходя из книжного покоя в приемную, оттуда в палату хлеба, а затем назад, через все эти комнаты, в свою спальню, где поправлял то одно, то другое в своем уборе. Его поведение очень напоминает нам суету загримированных комедиантов перед началом зрелища.

Зашел он и к похищенной своей супруге Аснат на женскую половину, поглядел вместе с нею на игры Манассии и Ефрема и поболтал с ней, не сумев скрыть от нее своего волнения перед выходом на подмостки.

— Супруг мой, — сказала она, — дорогой мой повелитель и похититель, — что с тобой? Тебе не по себе, ты прислушиваешься к чему-то и топаешь ногами. У тебя что-то на сердце? Не сыграть ли нам, чтобы ты рассеялся, в шашки, или, может быть, приказать нескольким моим служанкам развлечь тебя изящными телодвиженьями?

Но он ответил:

— Нет, девушка, благодарю тебя, не сейчас. У меня в мыслях не шашечные ходы, а совсем другие, и я не могу глядеть как зритель на пляски служанок, а должен сам, как лицедей, кривляться в игре, зрителями которой будут господь и мир. Я должен вернуться в палату приемов, ибо арена там. А для твоих служанок найдется лучшее занятие, чем пляска, ибо пришел я сюда, собственно, для того, чтобы приказать им украсить тебя сверх твоей красоты и попышной нарядить, а заодно наказать нянькам Манассии и Ефрема вымыть им руки и надеть на них вышитые рубашечки, поскольку с минуты на минуту я жду чрезвычайных гостей, которым хочу представить вас как свою семью, когда будет наконец сказано, кто же он, тот человек, которому вы принадлежите. Ну, и удивишься же ты, щитоносная дева, тонкая в талии! Будьте только послушны и приукрасьтесь, а уж обо мне вы услышите!

С этими словами он поспешил опять на мужскую половину, но ему не удалось предаться чистому ожиданию и любопытству, что он всего охотнее сделал бы, ибо в библиотеке его уже ждали заправила продовольственного ведомства, которых он сейчас мысленно проклинал за то, что, явившись к нему с делами, докладами и счетами, они лишили его чистого ожидания. И все же он был рад им, потому что ему нужны были статисты.

Солнце уже садилось, когда занятый бумагами Иосиф, прислушавшись к глухому шуму перед домом, понял, что час пробил и братья приехали. Маи-Сахме, закусив нижнюю губу сильнее, чем когда-либо, вошел с чашей в руке и протянул чашу ему.

— У младшего, — сказал он. — После долгих поисков. Они ждут в палате твоего приговора.

— Все? — спросил он.

— Все, — ответил толстяк.

— Ты видишь, я очень занят, — сказал Иосиф. — Эти господа пришли ко мне не развлекаться, а по делам державным. Ты достаточно долго служишь у меня управляющим, чтобы разбираться, есть ли у меня время на такие безделицы личного свойства, когда я поглощен первоочередными заботами. Ты и те, кого ты доставил, — вы подождете.

И он снова склонился над свитком, который развернул перед ним один из чиновников. Но, не в силах прочесть ни слова, через мгновение сказал:

— Впрочем, ничто не мешает нам сразу покончить с этим пустяковым судебным делом, с этим случаем преступной неблагодарности. Прошу вас, господа, последовать за мной в палату, где виновные ждут моего приговора.

И они окружили его, и, поднявшись на три ступеньки, он вышел из этой комнаты в большую палату и прошел по ковру на возвышение, где стоял его престол; он сел на него, с чашей в руке. Над ним сразу же опустились опахала, ибо стоило ему сесть на престол, его люди непременно осеняли его ими и обмахивали. Слева, через высокое оконце, мимо колонн и сфинксов, лежащих краснокаменных львов с головой фараона, наклонный, полный пляшущих пылинок пучок лучей падал на группу грешников, которые бросились наземь в нескольких шагах от престола. По обе стороны от них торчали копья. Любопытные челядинцы, повара и спальники, опрыскиватели пола и цветоводы толпились в дверях.

— Встаньте, братья! — сказал Иосиф. — Я, право, не ожидал, что увижу вас перед собой так скоро и по такому поводу. Я многого не ожидал. Не ожидал, что вы обойдетесь со мной так, как обошлись, это вы-то, которых я принимал как важных господ. Как я ни рад, что ко мне вернулась моя чаша, из которой я пью и по которой гадаю, вы видите, что я уязвлен, что я до глубины души огорчен вашей грубостью. Мне это просто непонятно. Как могли вы решиться заплатить злом за добро столь грубым образом и посягнуть на привычки такого человека, как я, лишив его чаши, которой он дорожит, и дав с нею тягу? Безрассудство вашего поведенья равно его гнусности, ибо как вам было не знать, что такой человек, как я, сразу же хватится дорогой ему вещи и обо всем догадается? Неужели вы действительно думали, что, лишившись чаши, я не смогу угадать, где она? Так что же теперь? Надеюсь, вы признаете себя виновными?

Ответил Иуда. На этот раз и вообще говорил за всех он, больше всех испытанный в жизни, лучше всех разбирающийся в том, что такое вина, и потому призванный самою судьбой держать речь. Ведь вина родит ум — и, пожалуй, наоборот: где нет ума, там нет и вины. По дороге он был уполномочен братьями держать речь и успел подготовиться. Стоя среди них в разодранном платье, он говорил:

— Что мы скажем моему господину и какой нам смысл перед ним оправдываться? Мы виноваты перед тобой, господин мой, — виноваты в том смысле, что чаша твоя найдена у нас, у одного из нас, а значит — у нас. Как оказалась она в суме нашего младшего брата, ни в чем не повинного, который всегда был дома, — я этого не знаю. Мы этого не знаем. Мы не в силах высказывать предположенья на этот счет перед престолом моего господина. Ты могуч, ты и добр и зол, ты можешь и вознести и низвергнуть. Мы в твоей власти. Не стоит оправдываться перед тобой, и глуп грешник, который кичится нынешней своей невиновностью, когда владыка возмездья взыскивает плату за давнее злодеянье. Недаром жаловался наш старый отец, что из-за нас он станет бездетным. Да, он был прав. Мы и тот, у кого нашли чашу, стали рабами нашего господина.

В этой речи, которая еще не была настоящей, знаменитой речью Иуды, прозвучали кое-какие намеки, но Иосиф, предпочитая в них не вдаваться, благоразумно пропустил их мимо ушей. Он ответил только на предложение о поголовном рабстве, отвергнув его.

— Нет, — сказал он, — это не по мне. Нет на свете столь скверного поведения, чтобы превратить в чудовище такого человека, как я. Вы купили старому вашему отцу хлеба в земле Египетской, и он ждет его. Я великий делец фараона, и никто не посмеет сказать, что я воспользовался вашим грехом, чтобы, задержав покупателей, прибрать к рукам и товар и деньги. Сообща ли вы согрешили или грешен только одни, этого я не стану расследовать. Когда мы веселились за столом с вашим младшим, я доверчиво выдал ему прекрасные свойства своей дорогой чаши и, погадав, рассказал ему о могиле его матери. Возможно, что он сболтнул вам об этом; возможно, что вы все вместе задумали неблагодарно похитить мое сокровище, — не потому, что позарились на серебро, так мне сдается, а чтобы овладеть волшебной силой, для того, может быть, чтобы выяснить, что случилось с вашим пропавшим, исчезнувшим братом, — откуда мне знать? Ваше любопытство вполне понятно. Но, с другой стороны, очень возможно, что малыш согрешил на свой страх и взял чашу, ничего вам не сказав. Я не желаю этого знать и в это вникать. Украденное найдено у маленького. Он будет мне рабом. А вы ступайте с миром домой, к старому вашему отцу, чтобы он не был бездетным и чтобы у него была пища.

Вот какие слова произнес возвысившийся, и несколько мгновений стояло молчание. Затем из их хора выступил Иуда, мученик, которому они дали слово, чтобы он говорил за них. Он подошел к престолу, почти вплотную к Иосифу, и сказал:

— Выслушай меня, господин мой, ибо я хочу произнести перед тобой речь и речью своей объяснить тебе, как все было и что учинил ты, и как обстоит дело с ними и со мной, со всеми братьями. Моя речь ясно покажет тебе, что ты не можешь, не имеешь права отделить от нас и оставить у себя нашего младшего. И что мы, в особенности я. Иуда, четвертый из них, ни за что и ни в коем случае не вернемся к отцу без младшего, ни в коем случае. В-третьих, я сделаю моему господину предложение, которое позволит ему осуществить свое право возможным способом, а не невозможным. Таков будет порядок моей речи. А потому не прогневайся на раба твоего и, пожалуйста, не прерывай его речи, которую я поведу так, как подсказывают мне мой ум и моя вина. Ты как фараон. Но я начну с того, как все началось и как ты все начал, а дело было так.

Когда мы спустились сюда, посланные нашим отцом, чтобы купить пищи в этой житнице, как тысячи других людей, с нами обошлись не так, как с тысячами других: нас отделили, что показалось нам странным, и препроводили в твой город, чтобы мы предстали перед лицом моего господина. И здесь тоже все было странно, ибо странно вел себя мой господин, он был суров и милостив, то есть противоречив, и необычно расспрашивал нас о нашей родне. «Есть ли у вас дома отец, — спросил мой господин, — или еще один брат?» — «У нас есть, — ответили мы, — отец, он уже стар, и есть еще один молодой брат, самый младший, он поздно родился у отца, и отец охраняет его с посохом в руке и держит за руку, ибо брат этого младшего пропал и, по-видимому, погиб, так что от их матери у нашего отца остался лишь тот; потому-то он так за него и держится». И отвечал господин мой: «Доставьте его вниз ко мне! Ни один волос не упадет с его головы». — «Это невозможно, — ответили мы, — по изложенным уже причинам. Оторвать младшего от отца было бы убийством». И сурово отвечал ты своим рабам: «Клянусь жизнью фараона! Если вы не придете со своим младшим, оставшимся от миловидной матери, вы не увидите больше лица моего».

И, продолжая свою речь. Иуда сказал:

— Я опрашиваю моего господина, так ли все было и с того ли все началось или все было не так и началось не с того, что мой господин спросил о младшем и вопреки нашим возраженьям настоял на его прибытье. Ибо господину моему угодно было повернуть дело так, будто, доставив брата, мы снимем с себя подозрение в соглядатайстве и докажем свою порядочность. Но что это за оправданье и что это за подозрение? Ни один человек не примет нас за лазутчиков, не такой у нас, у братьев во Иакове, вид, а если кто и примет, то это никакое не оправданье — прибытие младшего, а чистейшая прихоть, и все дело в том, что моему господину захотелось во что бы то ни стало увидеть нашего брата воочию, — а почему? Тут я умолкаю, на то воля бога.

И, продолжая, Иуда встряхнул львиной своей головой, протянул вперед руку и сказал:

— Ты видишь, в бога своих отцов этот твой раб верит, и верит, что он всеведущ. Но он не верит, что этот бог украдкой сует драгоценности в сумки своих рабов, возвращая им плату за товар в придачу к товару — такого никогда не бывало, и ни на какие примеры из прошлого в этом отношении сослаться нельзя: ни Аврам, ни Исаак, ни наш отец Иаков никогда не находили у себя в мешках серебра, которое бы им сунул туда господь, — чего не было, того не было, все это чистейшая прихоть, и окутана она той же тайной.

Так можешь ли ты, господин мой, — можешь ли ты, после того как мы с помощью голода добились от отца, чтобы он отпустил от себя малыша для этой поездки, — можешь ли ты, который безжалостно настоял на его прибытье, ты, без чьего странного требованья ноги его никогда не было бы на этой земле, — можешь ли ты, заявивший: «С ним не случится никакой беды здесь внизу», — можешь ли ты оставить его рабом у себя, потому что в его суме нашли твою чашу?

Нет, ты не можешь этого сделать!

Мы же, и в особенности раб твой Иуда, который сейчас держит речь, мы не можем, никак не можем предстать перед лицом нашего отца без младшего. Не можем так же, как не могли предстать без него перед твоим лицом — но не по причине какой-то прихоти, а по самым важным причинам. Ибо когда твой раб, наш отец, снова призвал нас и сказал: «Пойдите, купите нам немного пищи», — а мы ответили ему: «Нельзя нам идти, если ты не отпустишь с нами младшего, ибо человек, что правит страной там внизу, строго-настрого наказал нам доставить брата, заявив нам, что иначе мы не увидим его лица», — тогда старик затянул плач, старинный, режущий сердце, как флейта, что рыдала в ущельях, и завел песнь, и пропел:

«Рахиль, милovidная в готовности, та, ради кого юность моя служила Лавану, черной луне, долгих семь лет, сердце моего сердца, умершая на дороге, в одном переходе всего от пристанища, она была женою моею и подарила мне от души двух сыновей: одного при жизни и одного в смертный свой час, Думузи-Абсу, агнца, красавца Иосифа, который сумел пленить меня так, что я все ему отдал, и Бенони, сыночка смерти, который только и остался при мне. Ибо тот, первый, ушел от меня, когда я от него потребовал этого, и крик до краев наполнил вселенную: „Растерзан, растерзан красавец!“ И я упал замертво, и с тех пор я как камень. Но этого я держу окаменелой рукою, он единственное, что у меня осталось, ибо растерзан, растерзан Единственный. Если же вы возьмете у меня и это единственное и на него, чего доброго, нападет кабан, то вы сведете седину мою во гроб с такой печалью, что мир не выдержит и рухнет под ее тяжестью. Он уже до краев полон немолкнущим криком: „Растерзан возлюбленный“, и если не станет и этого, мир превратится в ничто».

Слышал ли господин мой этот плач флейты, эту отцовскую песнь? Ну, так пусть он сам и рассудит, можем ли мы, братья, явиться к старику без младшего, без маленького, и признаться ему: «Мы потеряли его, он пропал». Можем ли мы подвергнуть такому испытанию его душу, которая привязана к этой душе, и мир, который и так уже полон горя и больше не выдержит? Могу ли прежде всего я, ведущий эту речь, четвертый его сын. Иуда по имени, явиться к нему тогда — посуди сам. Ибо господин мой знает еще не все, еще далеко не все, и чует сердце раба твоего, что речь его коснется и совсем другого в этот бедственный час. Да, оно чует, что на тайну, которая кроется во всех этих прихотях, можно пролить свет только открыв некую другую тайну.

Тут среди братьев поднялся беспокойный ропот. Но лев Иуда повысил голос и, продолжая свою речь, сказал:

— Я поручился отцу, я вызвался отвечать перед ним за маленького; так же, как я подошел сейчас к престолу твоему, я подошел к отцу и поклялся ему такими словами: «Доверь его моей руке, и я буду в ответе за него, и если я не приведу его к тебе, я останусь виновным перед тобой во все дни жизни!» Вот каков был мой обет, и теперь посуди сам, прихотливый владыка, могу ли я вернуться к отцу моему без маленького, чтобы увидеть горе, которое не по силам ни мне, ни миру! Прими же мое предложение! Оставь меня вместо него рабом своим, позволь нам посильно расплатиться за грех свой, не требуй от нас непосильной расплаты; ибо я хочу расплатиться, расплатиться за всех. Вот здесь, перед тобой, прихотливый, я возьму клятву, которой мы поклялись, ужасную клятву, которой мы, братья, себя связали, — обеими руками возьму я ее и, упершись коленом, переломлю пополам. Одиннадцатый наш, агнец отца, первенец праведной, — его вовсе не растерзал зверь, это мы, его братья, продали его некогда в мир.

Именно так, а не иначе кончил Иуда свою знаменитую речь. Он стоял тяжело дыша, и

бледные, хотя и с великим облегчением, потому что все было сказано, стояли позади него братья. Это на свете не редкость — бледная облегченность. Но раздалось два возгласа — их издали самый большой и самый маленький. Рувим воскликнул: «Что слышу я!», а Вениамин совершенно так же, как в тот раз, когда их догнал управляющий, взметнул вверх руки и неописуемо вскрикнул... А Иосиф?.. Он встал со своего престола, и по щекам его, сверкая, катились слезы. Сноп света, падавший прежде сбоку на братьев, тихо перекочевав, упал теперь через оконце в конце палаты прямо на Иосифа, и поэтому бежавшие по его щекам слезы сверкали, как алмазы.

— Пусть все египтяне выйдут отсюда, — сказал он, — все до единого. Я пригласил поглядеть на эту игру бога и мир, а теперь пусть будет зрителем только бог.

Повиновались ему неохотно. Делая глазами знаки стоявшим на возвышенье писцам, Май-Сахме обнял их сзади и вежливо выпроводил, а челядь отошла от дверей. Но что ушла она очень уж далеко, нам вряд ли поверят. Снаружи, а также в книжном покое все стояли наклонясь, боком к месту действия и приставив к уху ладонь.

А там, не обращая внимания на бежавшие по его щекам алмазы, Иосиф распростер руки и открылся братьям. Он часто открывался и ставил людей в тупик, показывая им, что в нем олицетворено нечто высшее, нежели то, чем он был, и это высшее туманно и обольстительно сливалось с собственным его «я». На этот раз он сказал просто и даже, несмотря на распростертые руки, со скромной усмешкой:

— Ребята, это же я. Ведь я же ваш брат Иосиф.

— Ну, конечно, это он! — закричал, задыхаясь от счастья, Вениамин и, бросившись вперед, к ступенькам помоста, упал на колени и стремительно обнял колени новообретенного брата.

— Иашуп, Иосиф-эль, Иегосиф! — всхлипывал он, задрал к нему голову. — Это ты, это ты, ну конечно, ну разумеется, это ты! Ты не умер, ты разрушил великую обитель мертвого мрака, ты поднялся на Седьмое Небо, и тебя назначили метатроном и Внутренним князем, я это знал, я это знал, ты высоко вознесен, и господь воздвиг тебе престол, похожий на его собственный! Но ты еще помнишь меня, сына своей матери, ты помахал в воздухе моею рукой!

— Малыш, — сказал Иосиф. — Малыш, — сказал он и, поднявши Вениамина, прижался головой к его голове. — Не говори так, не так это все велико и не так далеко, и я вовсе не достиг такой славы, и самое главное — это то, что нас снова двенадцать.

Не ссорьтесь!

И, обняв его за плечо, он спустился с ним к братьям — и правда, как обстояло дело с ними и каково им было стоять перед ним! Одни стояли, растопырив ноги, с повисшими чуть ли не до колен руками, казавшимися гораздо длинней, чем обычно, и, раскрыв рот, рыскали невидящими глазами. Другие стояли, прижав к груди кулаки, — и от тяжелого их дыханья кулаки поднимались и опускались. Если после признанья Иуды они все побледнели, то теперь лица их были багровы, как стволы сосен, багровы, как в тот раз, когда они сидели на пятках, а Иосиф явился к ним в разноцветной одежде. Если бы своим «ну конечно» и всеми своими восторгами Бенони не подтвердил сказанного этим человеком, они бы вообще ничего не поняли и ничему не поверили. Но когда сыновья Рахили, обнявшись, спускались к ним, бедным их головам ничего не оставалось, как превратить ассоциацию

в тождество, узнав в человеке, которого, правда, они давно уже мысленно как-то связали с Иосифом, этого устраненного брата, — удивительно ли, что головы их прямо-таки трещали по швам? Едва лишь им удавалась судорожная попытка отождествить этого владыку и мальчика, ставшего некогда их жертвой, как единый образ снова раздваивался, — мало того что удержать его было вообще трудно; трудно это было и потому, что он вызывал у них стыд и ужас.

— Подойдите же ко мне, — сказал Иосиф, подходя к ним. — Да, да, это я. Я Иосиф, ваш брат, которого вы продали в Египет, — не горюйте об этом, так нужно было. Скажите, жив ли еще отец мой? Скажите же мне что-нибудь и перестаньте печалиться! Иуда, ты произнес великую речь! Ее не забудут во веки веков. Я от всей души обнимаю тебя в знак поздравленья, а также приветствия, и целую львиную твою голову. Помнишь, ты поцеловал меня при минейцах, — сегодня я возвращаю тебе тот поцелуй, и теперь мы в расчете. Я целую как бы всех сразу — не подумайте, будто я сержусь на вас за то, что вы продали меня сюда! Все так и должно было случиться, и совершил это бог, а не вы, это Эль Шаддаи заблаговременно отторг меня от отчего дома и сделал, по замыслу своему, чужеземцем. Он послал меня сюда перед вами, чтобы я был вашим кормильцем, — он уготовил прекрасное избавление от голода, повелев мне кормить Израиль и с ним чужеземцев. Это хоть и жизненно важное, но очень простое, практическое дело, и петь мне осанну не за что. Ибо брат ваш никакой не герой бога, никакой не вестник благодати небесной, а всего-навсего экономайстер, и если ваши снопы склонялись перед моим во сне, о чем я и сболтнул вам, а звезды кланялись, то это ничего такого уж великого в себе на таило, а означало только, что отец и братья будут благодарны мне за житейскую помощь. Ведь за хлеб говорят: «Большое спасибо», а не «Осанна». Без хлеба, однако, тоже не обойдешься. Сначала хлеб, а уж потом осанна... А теперь, поняв, как прост был замысел господя, неужели вы не поверите, что я еще жив? Ведь вы же сами знаете, что яма не удержала меня, что сыны Измаила вытащили меня из нее и что вы продали меня им. Поднимите же руки и ощупайте меня, чтобы убедиться, что я жив, брат ваш Иосиф!

Двое или трое из них и впрямь дотронулись до него и осторожно провели рукой по его одежде, испуганно ухмыляясь.

— Значит, это была просто шутка и ты просто притворялся властителем, — спросил Иссахар, — а на самом деле ты всего лишь брат наш Иосиф?

— Всего лишь? — ответил тот. — Да ведь это же то, что я представляю собой в первую очередь. Поймите, я и то и другое, я — Иосиф, которого господь поставил отцом фараону и владыкою во всей земле Египетской. Я — Иосиф, облеченный великолепием этого мира.

— Верно, — сказал Завулон, — и значит, нельзя сказать, что ты — это только одно, а не другое, ты и то и другое сразу. Такое чувство у нас и было. И это хорошо, что ты не сплошь хлеботорговец, а то нам пришлось бы худо. Под своим облачением ты брат наш Иосиф, который защитит нас от гнева хлеботорговца. Но пойми, господин...

— Оставь ты свое «господин», глупец! С этим покончено!

— Пойми, что, с другой стороны, мы хотели бы, чтобы хлеботорговец защитил нас от брата, которому мы некогда причинили зло.

— Это вы причинили ему зло! — сказал Рувим, и мышцы его лица свирепо напряглись. — Неслыханные дела открылись мне сейчас, Иегосиф. Они продали тебя у меня за спиной и ни слова мне о том не сказали, и все это время я не знал, что они, сбыв тебя с рук, выручили за тебя деньги...

— Оставь это, Рувим, — сказал Дан, сын Валлы. — Ты тоже кое-что делал у нас за спиной. Ты, например, возвращался к яме, чтобы вероломно похитить мальчика. А что касается вырученных нами денег, то это был не такой уж завидный куш, как его милости Иосифу отлично известно: двадцать финикийских шекелей — вот и все, что нам, благодаря упрямству старика, досталось тогда, и мы всегда готовы отсчитать тебе твою долю.

— Не ссорьтесь, приятели! — сказал Иосиф. — Не ссорьтесь из-за этого и из-за того, что один сделал что-то тайком от другого. Ведь бог все это повернул так, как нужно. Благодарю тебя, Рувим, большой мой брат, за то, что ты пришел с веревками к яме, чтобы вытащить меня оттуда и возвратить отцу. Однако меня там уже не было, и это было хорошо, ибо иначе все произошло бы не так, как требовалось. Но все произошло так, как нужно. Не будем же думать ни о чем, кроме как об отце...

— Да, да, — закивал головой и затараторил, подергивая ногами, Неффалим. — Верно, верно, возвысившийся брат наш говорит сущую правду, никуда это не годится, чтобы Иаков сидел вдалеке от нас, в волосяном своем доме или возле него, понятия не имея о том, что здесь обнаружилось, — что Иосиф жив, что он весьма преуспел в мире и занимает у язычников блестящее положение. Представьте себе: вот он сидит, окутанный мраком неведенья, а мы тем временем стоим здесь и воочию видим исчезнувшего нашего брата, мы руками касаемся его одежды и нам яснее ясного, что все было недоразумением и заблуждением: напрасно, оказывается, великое горе отца и напрасна тревога, которая, как червь, точила нам душу всю нашу жизнь. Это так потрясающе, что впору головой пробить потолок. Как все-таки невыносимо несовершенно устроен мир, если мы здесь знаем это, а он там — нет, потому только, что от нас до него далеко и знание Иакова отделено от нашего знания толщей тупого пространства, где правда делает лишь несколько шагов, а дальше — ни с места. О, если б можно было, сложив раструбом руки у рта, крикнуть на расстояние семнадцати дней пути: «Эге-ге, отец! Иосиф жив, он как фараон в земле Египетской, вот новость какая!» Но как ни кричи, Иаков будет сидеть там по-прежнему и ничего не услышит. О, если б можно было запустить голубя, крылья которого быстры, как молния, с весточкой под крылом: «Знай, дело обстоит так-то и так-то!» О, если бы мир стал совершенным и все знали бы одно и то же и здесь, и там! Нет, я не в силах здесь оставаться, я этого не вынесу. Пошлите меня, пошлите меня! Я это сделаю. Я побегу быстрее, чем серна, и скажу ему прекрасную речь. Ибо какая речь прекраснее той, которая содержит последнюю новость?

Иосиф, однако, унял его пыл такими словами:

— Успокойся, Неффалим, не торопись, ты не побежишь один, и никому не будет дано право первым передать отцу то, что я велю ему передать и что давно решил, когда, бывало, ночами лежал на спине, раздумывая об этой истории. Семь дней вы будете отдыхать у меня, доля со мною все почести, мне оказываемые, и я представлю вас хозяйке моего дома, солнечной деве, и мои сыновья склонятся пред вами. А потом вы навьючите своих ослов и все, как один, вместе с Вениамином, отправитесь к моему отцу и возвестите ему: Иосиф, сын твой, не умер, он жив и говорит тебе живыми устами: «Бог сделал меня первым среди чужеземцев, и мне подвластен народ, которого я не знал. Приди ко мне, не медли и не пугайся, милый, страны могил, куда и Авраам некогда приходил во дни голода! Ибо два года уже царит голод, и никто на земле не пашет, не жнет, и продлится это еще три года или даже пять лет, а я прокормлю тебя, и ты поселишься здесь на тучных пажитях. А если ты спросишь, дозволит ли это фараон, то я отвечу тебе: твой сын обведет его вокруг пальца. Он походатайствует перед Его Величеством, чтобы поселились вы в земле Госен и на полях Зоана, против Аравии, — там-то я и прокормлю вас, тебя, и сынов твоих, и сынов сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое. Ибо землю Госен — ее называют также Госем или Гошен — я давно уже облюбовал для вас, чтобы переселить и продолжить род наш, потому что это еще не

настоящий, еще не заправский Египет, и вы сможете там кормиться рыбою устья и туком полей, не очень-то, к удобству своему, соприкасаясь с детьми Египта и дряхлой их мудростью и не нанося ущерба своей самобытности. И в то же время вы будете близ меня». Вот что вы скажете отцу моему от моего имени, и сказать это нужно умно и умело, щадя его окаменелый возраст, сперва — что я жив, а уж потом — чтобы он прибыл сюда с вами со всеми. Ах, если бы мне самому можно было поехать с вами и уговорить его, я бы, конечно, поехал сам. Но мне нельзя отлучиться ни на один день. Поэтому замените меня и сообщите ему, что я жив и приглашаю его сюда, с хитрой осторожностью любящих сыновей! Не говорите ему сразу: «Иосиф жив», а спросите сначала: «Каково было бы нашему господину, если бы, допустим, Иосиф оказался жив?» Чтобы он сначала подготовился. И не выпаливайте ему с бухты-барахты: «Тебе надо поселиться внизу, среди богов-трупов», а выразите это иносказательно: «В земле Госен». Сумеете ли вы без меня так схитрить? Я вас за эти дни еще натаскаю. А теперь я познакомлю вас со своей женой, солнечной девушкой, и покажу вам своих мальчиков, Манассию и Ефрема. И мы будем вдвенадцатером есть, пить, веселиться и вспоминать старые времена — не слишком, впрочем, подробно. И чтобы не забыть: придя к отцу и рассказывая ему все, что вы увидели, — не скупитесь на описания роскоши, в которой я живу здесь внизу! С его сердцем сыграли злую шутку — так пусть же теперь ему будет сыграна сладостная песнь о величии сына.

#### Фараон пишет Иосифу

Было бы донельзя огорчительно, если бы после этих событий толпа слушателей начала редеть и рассеиваться, думая про себя: «Ну вот, прекрасное „Это я“ уже прозвучало, а прекраснее ничего уже быть не может, вершина позади, теперь дело пойдет к концу, как именно, мы уже знаем, дальше это незанимательно». — Послушайтесь доброго совета, не расходитесь! Составитель этой истории, а под ним следует подразумевать того, кто составляет из ее событий единый рассказ, дал ей несколько вершин и умудрился сделать каждую следующую выше предшествующей. Он все время держится правила: лучшее впереди, и все время сулит какую-то новую радость. То, как Иосиф узнал, что его отец еще жив, было, наверно, любопытно; ну, а когда окаменевшему от горя Иакову сыграют весеннюю песнь о том, что его сын жив, и он поедет обнять Иосифа, — это будет, что же, нисколько не занимательно? Кто сейчас уйдет домой, тот пусть спросит потом других, дослушавших до конца, было это занимательно или не было. Тогда он пожалеет, и всю жизнь ему будет обидно, что он не был при том, как Иаков крест-накрест благословил своих египетских внуков и как величавый этот старик встретил свой смертный час. «Мы это уже знаем!» Глупейшие слова. Знать эту историю вольно каждому. Быть ее свидетелем — вот в чем вся соль... Но, кажется, можно было обойтись и без такого внушенья, ибо никто не тронулся с места.

Итак, когда Иосиф объяснился с братьями, а они с ним и все вместе направились оттуда, где он им открылся, к его жене, девушке Аснат, чтобы братья ей поклонились и поглядели на своих племянников с египетской детской прядью на голове, во всем особняке царило веселое оживление и раздавался радостный смех: вся челядь подслушивала, Иосиф мог никому ни о чем не сообщать и не давать никаких объяснений, ибо все уже все знали и, смеясь, кричали друг другу, что прибыли братья Кормильца, сыновья его отца из страны Захи, а это доставило всем величайшее удовольствие, тем более что можно было твердо рассчитывать на пиво и пироги по случаю такого праздничного события. Писцы же из Дома Кормленья и Распределенья, тоже подслушивавшие, рассказали об этом в городе, и быстроногий Неффалим мог бы утешиться тем, что новость эта мигом обошла Менфе и все так стремительно сравнялись друг с другом в знанье, в веселом знанье того, что к Единственному приехали все его братья; на улицах многие выражали свою радость

прыжками, а в богатом предместье у дома Иосифа собралась толпа, которая кричала «ура» и требовала, чтобы он показался ей со своей азиатской родней, чего в конце концов и добилась: выйдя на террасу, двенадцать братьев предстали перед теми, кто жаждал их видеть, и только нам впору посетовать на то, что жители Менфе довольствовались линзами своих глаз и, не умея обращаться со светом, как мы, не смогли запечатлеть эту группу в изображении. Сами же они от этого не страдали и не чувствовали такой необходимости как раз потому, что ничего подобного у них а в мыслях не могло быть.

Недолго пребывала чудесная эта новость и внутри стен могильного города, она голубем унеслась вдаль, и слух о ней примчался прежде всего к фараону, который, как и весь его двор, нашел ее очень занятой. Фараон, называвшийся теперь Эх-н-атон, — ибо согласно своему намерению он отказался от тягостного амуновского имени и принял взамен то, что носил его отец в небе, — фараон уже давно приблизился к резиденции своего любимца министра, перенеся собственную из Фив, дома Амуна-Ра, на север, в то место верхнеегипетской «Заячьей округи», которое после тщательного выбора нашел пригодным для постройки нового города, целиком посвященного желанному божеству. Город этот находился несколько южнее Хмуну, дома Тота, там, где над рекой поднимался небольшой островок, прямо-таки требовавший возведения на нем затейливых павильонов, а отступавшие дугою скалы восточного берега открывали простор для закладки таких дворцов, храмов и прибрежных садов, какие подобают мыслителю-богоискателю, который, поскольку ему трудно живется, должен хотя бы хорошо жить. Владыка благоухания нашел, что это место ему по сердцу, не советуясь ни с кем, кроме как со своим сердцем, и с тем, кто в нем жил, с тем единственным, кого надлежало здесь прославлять хвалебными песнями; и вот художникам и каменотесам его величества был отдан прекрасный приказ — с великим спехом построить здесь город, город его отца, город Горизонта, Ахет-Атон, что было жестоким ударом для Новет-Амуна, «стовратных» Фив, которые из-за отъезда двора рисковали превратиться в провинциальный город, и резким выпадом против державного карнакского бога, с чьим властным жречеством пылкая фараонова нежность к любящему вседержителю приходила уже и в тучные годы во все более глубокий разлад.

Нежная натура фараона не выдерживала этих непрестанных стычек с выступавшей во всеоружии традиций мощью воинственного национального бога; из-за противоречия между миролюбием его души и необходимостью боевой защиты открытого им высшего божества от Амунова всемогущества здоровье фараона страдало все больше и больше, и найдя, что, по счастью, в данном случае бегство нанесет врагу наиболее ощутимый ущерб, он решил стряхнуть прах Уззе с сандалий своей священной особы, даже если маменька, его мать, отчасти для присмотра за Амуном, отчасти же из-за своей привязанности ко дворцу своего супруга, бывшего царя Неб-ма-ра, останется в старой столице. Свое нетерпение уйти из сферы влияния Амуна Эхнатону пришлось сдерживать целых два года, ибо именно столько времени, несмотря на беспощадную эксплуатацию подневольных тружеников, продолжалась черновая постройка нового города, который к моменту фараонова переселения, отмеченного торжественными жертвенными дарами в виде хлеба, пива, рогатых и безрогих быков, мелкого скота, птиц, вина, фимиама и всякой прекрасной зелени, был, собственно, еще не городом, а скорее импровизированным придворным лагерем, лишь с намеками на будущую роскошь, состоявшим из дворца для царя, для Великой Супруги Нефернефруатон Нофертате и для принцесс-дочерей, дворца, где можно было разве что спать, но еще нельзя было жить по-настоящему, потому что повсюду еще трудились штукатуры, живописцы и декораторы; из храма вседержителя бога, храма очень веселого на вид, утопавшего в цветах, с развевающимися вымпелами, с семьей дворами, с роскошными пилонами и великолепными колоннадами; из удивительных, далее, парков и заповедников с искусственными прудами, с деревьями и кустарниками, пересаженными в пустыню с плодородной землей береговой полосы; из белевших у реки построен на набережной; из десятка новехоньких жилых домов для

атонолюбивых присных царя и ряда в высшей степени уютных каменных усыпальниц в окрестных горах, более всего готовых к приему жильцов.

Ничего больше в Ахет-Атоне покамест не было, но поскольку следовало ожидать, что переезд двора вызовет быстрый рост населения, город по-прежнему украшался и строился, когда фараон уже сидел там на троне, служил небесному своему отцу, совершал жертвенные обряды и становился отцом дочерей, умножавших женскую часть его двора: уже появилась на свет третья, Аунхсенпаатон.

Когда спешное письмо Иосифа, где тот официально извещал бога о прибытии своих братьев, с которыми был разлучен в юности, пришло в новый, необжитой еще дворец, новость эта успела уже проникнуть туда изустно, и фараон уже не раз увлеченно обсуждал ее с царицей Нофертате, с ее сестрой Незенмут, со своей собственной сестрой Бакетатон, а также со своими художниками и спальниками. На письмо он ответил незамедлительно: «Приказ смотрителю того, что дает небо, — продиктовал он, — Истинному Смотрителю Поручений, Тенистой Сени Царя и Исключительному Другу, Моему Дяде. Знай, что Мое Величество считает твое письмо таким, какие воистину приятно читать. Да будет тебе известно, что Фараон много плакал по поводу новостей, которые он узнал от тебя, и Великая Супруга Нефернефруатон, а также Сладчайшие Принцессы Бакетатон и Незенмут смешали слезы своей радости со слезами любимого Сына Моего Отца в небе. Все, что ты Мне доносишь, необыкновенно прекрасно, и твое сообщение заставляет Мое сердце прыгать от радости. По поводу того, о чем ты Мне пишешь, — что к тебе прибыли твои братья и что твой отец еще жив, — радуется небо, веселится земля и ликуют сердца добрых людей, и даже сердца злых, несомненно, смягчились по этому случаю. Прими к сведению, что прекрасное дитя Атона, Нефер-Хеперу-Ра, Владыка обеих стран, находится, благодаря твоему письму, в чрезвычайно милостивом расположении духа! Пожелания, присовокупленные тобою к твоим сообщениям, были исполнены заранее, еще до того, как ты стал их записывать. Такова прекрасная Моя воля и на то дается тебе благосклонное Мое согласие, чтобы все твои родственники, сколько бы их ни было, прибыли в землю Египетскую, где ты как Я, и чтобы ты по своему усмотрению указал им землю для поселения, и пусть они кормятся ее туком. Скажи своим братьям: „Так надлежит вам поступить, и так повелевает вам Фараон, в чьем сердце живет любовь к его отцу Атону. Навьючьте ваш скот и возьмите с собой повозки из запасов царя для ваших детей и жен, и привезите отца вашего и возвращайтесь! Не жалейте своего домашнего скарба, ибо вас снабдят здесь всем, что вам нужно. Ведь Фараон знает, что культура ваша не так уж высока и ваши требования легко удовлетворить. И когда вы вернетесь в свою землю, возьмите отца вашего, и челядь его, и всех его домочадцев и привезите их ко Мне, чтобы вам пасти скот близ вашего брата, смотрителя всех дел во всей стране, ибо эта страна открыта для вас“. Таково приказание Фараона твоим братьям, отданное сквозь слезы. Если бы множество важных дел не удерживало Меня в Моей резиденции Ахет-Атоне, единственной столице стран, Я взошел бы на большую Свою колесницу из электра и поспешил бы в Мен-нефру-Мира, чтобы увидеть тебя в кругу твоих родных и чтобы ты представил мне своих братьев. Но когда твои братья вернуться, ты представишь их Мне, не всех, правда, ибо это было бы утомительно для Фараона, а некоторых по выбору, чтобы Я расспросил их, и старого своего отца ты тоже представишь Мне, и Я от души награжу его Своей беседой, чтобы он жил в почете, поскольку с ним говорил Фараон. Прощай!»

Получив эту грамоту в своем менфийском доме из рук мчащегося гонца, Иосиф показал ее одиннадцати братьям, и те поцеловали кончики своих пальцев. На одну четверть луны задержались они у него в доме; уже двадцать лет отец считал его растерзанным и мертвым, и поэтому теперь не имело значения, днем раньше или днем позже узнает Иаков, что сын его жив. И челядь Иосифа прислуживала им, и его жена, дочь солнца, говорила им любезности, и они беседовали со своими благородными племянниками,

носившими так называемую детскую прядь, Манассией и Ефремом, которые знали их язык и младший из которых, Ефрем, походил на Иосифа, а значит, и на Рахиль, гораздо больше, чем Манассия, — тот был вылитая мать-египтянка, — отчего Иуда сказал:

— Вот увидишь, Иаков будет благоволить к Ефрему, он станет говорить не «Манассия и Ефрем», а «Ефрем и Манассия».

Однако он посоветовал Иосифу к приезду Иакова остричь висевшую у них над ухом египетскую детскую прядь, ибо тот оскорбился бы при виде ее.

Затем, когда неделя прошла, они навьючили скот и тронулись. Из Менфе, Весов Стран, держа путь через ханаанскую землю, в Митанни уходил царский торговый караван, к которому им и надлежало присоединиться с фараоновыми повозками о двух и о четырех колесах, выданными им вместе с лошаками и возницами. Если прибавить сюда десять ослов, нагруженных всяким щепетильным товаром земли Египетской, изысканными безделушками и предметами изощреннейшей роскоши, которые Иосиф посылал в подарок Иакову, и десять ослиц, предназначавшихся также Иакову и навьюченных зерном, вином, вареньем, куреньями и благовонным маслом, то станет ясно, что и сами они уже составляли внушительный караван, тем более что благодаря подаркам, которыми осыпал их высокий брат, у каждого прибавилось личной поклажи. Известно ведь, что он каждому подарил перемену одежд, а Вениамину триста серебряных дебен и ни много ни мало пять перемен одежд, по числу избыточных дней года, так что если Иосиф сказал им на прощанье: «Не ссорьтесь в дороге!», то уже некоторые на то причины были. Он имел, однако, в виду скорее иное — чтобы они не вспоминали старого и не корили друг друга за то, что один сделал что-то тайком от другого. Ибо что они позавидуют Вениамину, потому что он, Иосиф, одарил своего братца правой руки гораздо щедрее, чем их, — это ему и в голову не приходило, да и не было у них никакой зависти. Они были как агнцы и находили, что все так и должно быть. В молодости, погорячившись, они возмутились и ответили на несправедливость действием, а привело это к тому, что им пришлось навсегда примириться с несправедливостью, не смея ничего возразить против величественно-непреложного: «Кому хоч — потокаю, кого хоч — милую».

Как нам начать?

Это просто поразительно, просто отрадно уму, как стройна наша история, как полна она прекрасных соответствий, как одно уравновешено в ней другим. Когда-то, через семь дней после получения Иаковом страшного знака, братья возвращались домой из долины Дофана, чтобы вместе с отцом оплакивать мертвого Иосифа, они боялись тогда увидеть отца, боялись жить с ним; боялись его наполовину ложного, но все же достаточно справедливого подозрения, что это они убили мальчика. Теперь, уже седоголовые, они снова возвращались домой, в Хеврон, с не менее чудовищной вестью, что все это время Иосиф не был мертв, что и сейчас он не мертв, а жив, и живет в почете и роскоши; и необходимость преподнести старику эту новость угнетала их почти так же. Ведь чудовищное чудовищно и потрясающее потрясающе независимо от того, идет ли дело о жизни или о смерти, и они очень боялись, что Иаков упадет замертво, так же, как тогда, но теперь, став на двадцать лет старше, просто умрет от «радости», то есть от счастливого потрясения, от шока, так что продолжающаяся жизнь Иосифа станет причиной его смерти, и ни отец уже не увидит воочию живого Иосифа, ни Иосиф отца. Кроме того, теперь почти неизбежно должно было выйти наружу, что хоть они и не были убийцами прежнего мальчика, которыми Иаков их все это время наполовину считал, они ими как раз наполовину все-таки были и лишь случайно, благодаря находчивости измаильян, доставивших Иосифа в Египет, не стали ими вполне. Это значительно

усиливало их радостно-боязливое беспокойство, умерявшееся лишь мыслью, что милость, которую оказал им бог, удержав их с помощью своих посланцев-мидианитов от полного братоубийства, непременно произведет впечатление на Иакова и не позволит ему ни осудить, ни проклясть людей, сподобившихся такой высочайшей милости.

Вокруг этих предметов и вертелись их разговоры во время всего семнадцатидневного путешествия, которое, при всем их нетерпенье, казалось им, с другой стороны, слишком коротким, чтобы до конца обсудить, как им поосторожней уведомить Иакова и в каком свете они предстанут ему, его уведолив.

— Ребята, — говорили они между собой — ибо с тех пор, как Иосиф сказал: «Ребята, это же я», они часто называли друг друга «ребята», что раньше у них совершенно не было принято, — ребята, увидите, он у нас непременно упадет замертво, если мы не сумеем вернуть это тонко и полегоньку! Но тонко ли, грубо ли — неужели, по-вашему, он поверит тому, что мы ему скажем? Скорее всего, он нам вообще не поверит, ведь за столько лет мысль о смерти успевает прочно утвердиться в сердце и в голове, и мысль эту не так-то легко сдвинуть с места, да еще заменить мыслью о жизни, — на круг душа не так уж и рада этому, потому что она держится за свои привычки. Брат Иосиф думает, что для старика эта новость будет великой радостью; радостью она, конечно, и будет для него — безмерной и, надо надеяться, не чрезмерной для его сил. Но способен ли человек радоваться, если пищей его целую вечность была печаль, и приятно ли ему узнать, что жизнь свою он провел в заблуждении, а дни свои в слепоте? Ибо печаль была его жизнью, а теперь все насмарку. Это более чем странно, что мы должны разубеждать его в том, в чем некогда убедили его окровавленным платьем и с чем он свыкся. И на круг он будет больше зол на нас за то, что мы отняли у него горе, чем за то, что мы его причинили ему. Разумеется, он станет упорствовать и не будет нам верить, и это, с другой стороны, хорошо и желательно. Пусть он не верит нам некоторое время, ибо поверь он нам сразу, он свалился бы замертво. Да, как сказать это ему, чтобы радость не была для него слишком внезапной, а разочарование в печали чересчур велико? Лучше всего было бы, если бы мы могли ничего ему не говорить, а просто отвезти его в землю Египетскую и поставить перед сыном Иосифом, чтобы старик увидел его собственными глазами и отпала нужда в словах. Но достаточно трудно будет перевезти его в Мицраим, на тучные пажити, даже когда он узнает, что Иосиф живет там; следовательно, сначала он должен узнать об этом, иначе он наверняка не поедет. А ведь у правды есть не только слова, но и знаки, например, подарки возвысившегося брата и фараоновы колесницы для нашего переезда, — мы их покажем ему, покажем, может быть, даже прежде всего, еще до того, как начнем говорить, и потом объясним ему эти знаки. А по этим знакам он поймет, что возвысившийся желает нам добра и что мы живем душа в душу с проданным братом, и старик не будет долго сердиться на нас, когда все откроется, и не захочет проклясть нас, — да и может ли он проклясть Израиль, десятерых из двенадцати? Этого он никак не может сделать, ибо это значило бы лезть на рожон, противиться решению бога, выславшего Иосифа вперед, нашим квартирьером, в землю Египетскую. А потому, ребята, не будем труса праздновать! Настанет час, и мгновенье подскажет нам, как это дело обтяпать получше. Сначала мы разложим перед ним подарки, добро египетское, и спросим: «Откуда это, отец, по-твоему, и от кого? Ну-ка, угадай! Оттуда, снизу, от великого хлеботорговца, это посылает тебе не кто иной, как он. Но если он тебе это посылает, значит, он должен, наверно, очень тебя любить? Значит, он должен, наверно, любить тебя почти так, как любит своего отца сын?» Но как только мы произнесем слово «сын», половина дела будет сделана, самое трудное будет уже позади. Потом мы еще немного поиграем этим словом и постепенно перестанем говорить: «Это посылает тебе главный хлеботорговец» и скажем: «Это посылает тебе твой сын. Иосиф посылает это тебе, потому что он жив и владычествует над всей землею Египетскою!»

Так намечали они порядок действий, одиннадцать братьев, ежедневно и еженощно

совещаясь в шатре, и, пожалуй, слишком быстро для их тревоги подходило к концу знакомое уже путешествие: от Менфе к пограничным крепостям, затем через ужасы пустыни в страну филистимлян, на Газу, или морскую гавань Хазати, где они отделились от каравана, к которому примкнули в Египте, и откуда направились в глубь страны, в горы, к Хеврону, короткими дневными, а чаще ночными переходами; ибо весна была в цвету, когда они возвращались, и ночи, посеребренные почти вполне прекрасной луной, были уже приятны; а поскольку разросшийся их отряд с египетскими колесницами, лошадьми и слугами, а также стадом ослов почти в пятьдесят голов повсюду вызывал любопытство и на путников глазел сбегавшийся люд, то братья, которым это было в тягость, обычно днем отдыхали, а по ночам продвигались к родине, к скипидарным деревьям рощи Мамре, где находился волосяной дом отца и стояли хижины большинства из них.

В последний, правда, день они тронулись в путь рано и в пятом часу пополудни были уже близки к цели, хотя из котловины, по которой они ехали, родового их стана еще не было видно, ибо знакомые холмы скрывали его от них. Оторвавшись от своего обоза, они ехали верхом на ослах несколько впереди его, одиннадцать задумчивых всадников, которые прекратили всякие разговоры, ибо сердца их стучали и, несмотря на все принятые решения, никто толком не знал, как начать, как сказать это отцу, чтобы его не свалить. Когда они так приблизились к нему, все, что они намечали прежде, перестало им нравиться; они нашли это нелепым и непристойным, и такие штуки, как «угадай-ка!» и «кто же он?», казались им теперь отвратительно пошлыми и совершенно неуместными; каждый про себя пренебрежительно их отвергал, и некоторые пытались в последний миг придумать взамен что-нибудь новое: может быть, послать кого-то вперед, например прыткого Неффалима, чтобы он известил Иакова, что они вот-вот придут с Вениамином и принесут великую, невероятную весть, — невероятную отчасти в том смысле, что ей невозможно поверить, отчасти же, пожалуй, и потому, что она настолько идет вразрез со всеми привычными представлениями, что ей не хочется верить, и все-таки эта живая правда господня. Так, думалось то одному, то другому, выслав вперед гонца, удобней всего подготовить к разительной новости отцовское сердце. Они ехали шагом.

## Возвешение

Котловина, по которой шагали их ослы, была кремнистая, твердая, но ее сплошь украсила цветами весна. Усеянную валунами землю покрывала еще и мелкая галька; но везде, где только проглядывал мягкий комочек, и, казалось, даже из камня необузданно била буйная зелень — цветы, куда ни глянь, белые, голубые, розовые, алые, цветы купами, пучки и подушки цветов, пестрое изобилие красоты. Весна позвала их, и они расцвели в свой час, расцвели даже без зимних дождей, довольно было, по-видимому, и утренней росы для их недолгой, быстро увядающей пышности. И кусты, торчавшие там и сям, тоже цвели белым и розовым, потому что пришло их время. Только легкие хлопья облаков копошились высоко в синеве неба.

На камне, о который, как волны о скалу, бились цветы, виднелась какая-то фигурка, сама похожая на цветок издали, хрупкая девочка, как скоро выяснилось, одна под небом, в красном платье, с маргаритками в волосах и с цитрой в руках, по которой сновали ее тонкие, смуглые пальцы. Это была Серах, дитя Асира; отец узнал ее уже издали, раньше, чем все другие, и, довольный, сказал.

— Это Серах сидит на камне, моя малышка, и бренчит себе на своей балалайке. Это на нее, озорницу, похоже, она любит сидеть одна и перебирать струны. Она из породы гусельников и дударей, плутовка, бог весть откуда это у нее; такая уж у нее с пеленок

страсть — петь и играть, она ловко управляет с лютней, а иной раз и напевает хвалебные песни, и голосок у нее звучнее, чем можно ожидать от такой стрекозы, так что она еще, чего доброго, прославится в Израиле, сопливая. Глядите, вот она нас заметила, взмахнула руками и бежит нам навстречу. Эге-ге, Серах, это отец твой Асир возвращается с дядьями домой!

Девочка была уже близко: босыми ногами бежала она через цветы между глыбами камня, и от бега звенели серебряные кольца у нее на запястьях и на лодыжках и, подпрыгивая, сбился набок бело-желтый венчик на ее черной макушке. Она, запыхавшись, смеялась от радости встречи и, не переводя дыхания, выкрикивала приветственные слова; но и в самих ее возгласах, в самой ее одышке было что-то звонкое и полнозвучное, и трудно было понять, как это получалось при таком тщедушном теле.

Она была подростком, то есть не ребенком уже, но еще не девушкой, — во всяком случае, ей было двенадцать лет. Жена Асира считалась правнучкой Измаила — не унаследовала ли Серах чего-то, что заставляло ее петь, от дикого сводного брата Исаака? Или, может быть, поскольку свойства людей преобразуются в их потомках на самые странные лады, — жадные до лакомств губы отца Асира, его влажные глаза, его любопытство и его страсть к единству мыслей и чувств превратились в маленькой Серах в ее гусельничество? Вы, пожалуй, найдете это слишком смелой натяжкой — возвести меломанию ребенка к тому, что его отец жаден до лакомств, но на что не пойдешь, чтобы объяснить такой занятный природный дар, как музыкальность Серах!

Одиннадцать братьев взглянули со своих высоконогих ослов на девочку, поздоровались с ней, погладили ее, и в глазах у них появилась задумчивость. Большинство спешилось и окружило Серах; заложив руки за спину, кивая и качая головами, они приговаривали: «Так, так», «Ну, ну», «Гляди-ка!» и «Что, певунья, ты, выходит, первая бросилась нам навстречу, потому что случайно сидела здесь и тренькала на гифифе по своему обычаю?» Наконец Дан, по прозванию змей и аспид, сказал:

— Ребята, послушайте, я вижу по вашим глазам, что у всех у нас на уме одно и то же, и сказать то, что говорю сейчас я, пристало бы, собственно, Асиру, но ему, как отцу, не приходит это в голову. Ну, а я уже не раз доказывал, что гожусь в судьи, и свойственное мне хитроумие наводит меня вот на такую мысль. Что девчонка эта, Серах-певичка, встретила нас здесь первой из всего нашего племени, — это совсем не случайность, ее послал бог, чтобы указать нам, как поступить. Все наши наметки, все наши разговоры о том, как преподнести такую новость отцу, как свалить ее на него, не свалив его навзничь, — нелепейший вздор. Серах — вот кто пусть выложит ему все на свой лад, чтобы правда предстала перед ним в облике песни, потому что это всегда самый бережный способ ее узнать, горька ли она, радостна ли или сразу и радостна и горька. Пускай Серах отправится вперед и пропоет ему все как песню, я даже если он не поверит, что эта песня — правда, то к тому времени, когда мы явимся вослед со словом и знаком, почва его души будет все-таки уже смягчена и к посеву правды вполне подготовлена, и он волей-неволей поймет, что песня и правда — это одно и то же, как поняли мы, хоть и с величайшим трудом, что фараонов хлеботорговец — это тот же человек, что и брат наш Иосиф. Ну, что? Прав ли я, выразил ли я то, что всем вам мерещилось, когда вы задумчиво глядели в пустоту поверх дурашливой головки Серах?

Да, сказали они, он прав и рассудил правильно, это указание неба и великое облегчение. И они принялись наставлять девочку, втолковывать ей, что произошло, — нелегко это было, ибо все говорили сразу, лишь изредка уступая слово кому-либо одному, и, глядя на взволнованные лица говорящих, на игру их рук, Серах переводила с одного на другого полные испуга и любопытства глаза.

— Серах, — говорили они, — такое дело. Верь или не верь, только спой, а уж мы потом придем и докажем. Но лучше бы ты поверила, тогда ты лучше споешь, это же правда, хотя и кажется невероятным, поверь своему родному отцу и всем своим дядюшкам. Подумать только, ты не знала своего дяди Иегосифа, который пропал, сына праведной, сына Рахили, ее еще звали звездной девой, а его Думузи. Ну да, ну да! Он умер для твоего дедушки Иакова задолго до твоего рожденья, потому что его поглотил мир, и его не стало, и в сердце Иакова он был мертв все эти годы. Ну, а теперь открылось, и притом самым невероятным образом, что все получилось совсем не так.

— О дивное диво, теперь открылось,  
Что все совсем не так получилось, —

преждевременно запела Серах со смехом, и так ликующе звучно, что заглушила все хриплые голоса, вокруг нее раздававшиеся.

— Тише ты, озорница! — закричали они. — Нельзя же петь, не зная ничего толком, покуда мы не объясним тебе, что к чему! Сначала выслушай, а потом уж заливайся! Слушай же: твой дядя Иосиф воскрес, то есть он совсем не умирал, он жив, и не просто жив, а живет так-то и так-то. Он живет в Мицраиме, в таком-то и таком-то званье. Все было заблуждением, пойми ты, и одежда в крови тоже была заблуждением, и бог дал этому делу самый неожиданный оборот. Поняла? Мы были у него в земле Египетской, и он открылся нам недвусмысленным «Это я», он говорил с нами так-то и так-то и хочет, чтобы мы все переселились к нему, и ты тоже. Запомнила ли ты это настолько, чтобы переложить в песню? Тогда нужно, чтобы ты пропела это Иакову. Наша Серах умница и сделает все как надо. Сейчас ты возьмешь свою балалайку и пойдешь с ней впереди нас, громко распевая, что Иосиф жив. Ты пройдешь между этими холмами прямо к хижинам Иакова, не глядя ни вправо, ни влево и продолжая петь. Если кто-нибудь остановит тебя и спросит, что это значит, с чего это ты вдруг поешь и играешь, ты не отвечай ему, а иди своей дорогой и пой: «Он жив!» И когда ты придешь к своему дедушке Иакову, ты сядешь у его ног и пропоешь как можно сладостнее: «Иосиф не умер, он жив». И он тоже спросит тебя, что это значит и что это за песни ты позволяешь себе напевать. Но и ему ты ничего не говори, а знай только пой и играй. А там подоспеем и мы, одиннадцать братьев, и объясним ему все толком. Будешь молодчиной, сделаешь это?

— С удовольствием, — звонко отвечала Серах. — Такого мне еще никогда не доводилось петь под игру струн, а тут можно показать, на что ты способна! Певцов кругом много, но уж этой темой завладела я первая и своей песней я всех заткну за пояс!

С этими словами она подняла с камня, на котором сидела, лютню, взяла ее в руки, растопырила над струнами острые смуглые пальцы, большой — с одной стороны, а остальные четыре — с другой, и твердо, хотя и меняя ритм шага, пошла вперед с песнью:

Пусть новою песней душа изольется,  
Пускай восьмиструнный напев раздается!  
Все, чем сердце полно, в эту песню войдет,  
Дороже, чем золото, слаще, чем мед,  
Ибо ни в золоте нет, ни в меду  
Той вести весенней, с которой иду.

Слушайте, люди, певучую весть!  
Поймите, какая мне выпала честь,  
Какого сподобилась я удела,  
Какого избранья дождаться сумела.  
Ведь петь о таких делах, как эти,

Еще никому не случилось на свете.  
А я, одержав надо всеми победу,  
Несу на струнах эту новость деду.

Слыша звуков сладкоречье,  
Горевать не вмоготу —  
А тем паче если слово человечесь  
Высшую дополнит немоту.  
Полон звук тогда значенья,  
Слово музыки полно.  
Лучше песен, лучше пенья  
Ничего нам не дано.

Так, распевая, она шагала к холмам и к проходу между холмами, она щипала струны и ударяла по ним, отчего они то стрекотали, а то гремели, и пела снова:

Красоту такого слова  
С красотой соединив  
Сладкозвучья золотого,  
Буду петь я: мальчик жив!

Ах, господи боже мой, что я узнала,  
Что эта девочка услышала!  
Какие новости мне открыли  
Те путники, что в Египте были!  
Попробуй поди передай стихами,  
Что рассказали отец мой с дядьями.  
Они мне дали тему из тем.  
Они там встретились — знаешь с кем?  
Дедушка, ты сперва ничего не поймешь,  
Но ты убедишься, что это не ложь.  
Это кажется сказочным сном, но представь,  
Это суцая правда, не сон, а явь.

Не гадалось и не мнилось,  
А теперь вдруг окажись,  
Что прекрасное свершилось  
И что сказкой стала жизнь.  
Это очень редкий случай,  
Чтобы, душу ублажив,  
Все мечты сбылись. Итак, еще раз лучший  
Мой тебе припев: твой мальчик жив!

Впрочем, лучше, если бы сначала  
Песне ты моей не доверял,  
Ведь она тебя бы испугала,  
Замертво у нас бы ты упал,  
Как в тот раз, когда с кровавым платьем,  
Ложным знаком, братья пред тобой  
Вдруг предстали: ты поверил братьям,  
Стал как столп ты соляной.

Ах, какой жестокой мукой  
Ты терзался день за днем.

Сердце вечной мучилось разлукой,  
А теперь любимец твой воскреснет в нем!

Тут один стоявший на холме человек, пастух-овчар в широкополой соломенной шляпе, сунулся к ней было с расспросами. Он давно уже глядел на нее сверху, и с удивлением ее слушал; теперь он спустился к ней, пошел с нею рядом и спросил:

— Что это вы такое поете на ходу, барышня? Очень уж это необычно звучит. Я не раз слышал, как вы поете, и для меня не новость, что вы мастерица извлекать звуки из струн, но такого странного, такого загадочного пенья мне еще не доводилось слышать. И при этом вы не перестаете шагать! Не к Иакову ли вы направляетесь, нашему господину, и не к нему ли относится то, что вы поете? Похоже, что к нему. Но что же такое вы узнали? Какое это дивное диво произошло наяву, и что означает ваш припев «мальчик жив»?

Однако она даже не взглянула в его сторону, а только, улыбаясь, покачала головой и на мгновенье сняла руку со струн, чтобы приложить палец к губам. А потом затянула снова:

Пой, Серах, Асирова дочь, что тебе рассказали  
Те одиннадцать, что в земле Египетской побывали!  
Пой, как бог благословил их в своей доброте  
И как там внизу незнакомца встретили те.  
Кто же этот незнакомец такой?  
Это Иосиф, дядюшка мой!  
Старик! Любимый твой сын — это он;  
Выше его только сам фараон.  
Владыкою стран он у них называется.  
Чужеземный народ перед ним пресмыкается.  
Цари его хвалят наперебой,  
Он стал государству первым слугой.  
Власть его не знает предела,  
Он все народы кормит умело,  
Из тысяч амбаров он хлеб раздает,  
Чтоб мир не погиб в такой недород.  
Сумел он заранее все учесть;  
Теперь за это ему и честь.  
Алоэ и мирра — наряд его новый,  
Живет он в палатах из кости слоновой,  
Грядет, как жених, любим и хвалим.  
Вот, старый, что стало с агнцем твоим!

Не отставая от Серах, пастух слушал ее все более удивленно. Если он видел издали еще кого-либо, служанку или работника, он делал им знак рукой, чтобы они тоже подошли и слушали. И уже вскоре девочку сопровождала сперва небольшая, но по мере приближения к стойбищу все возрастающая толпа слушателей-мужчин, женщин, детей. Дети семенили, взрослые шагали в ногу, и все лица были повернуты к ней, а она пела:

Ты думал, что звери его растерзали,  
Ты хлеб свой мочил слезами печали.  
Лет, кажется, около двадцати  
Не мог ты покоя себе найти.  
А видишь теперь, каков итог —  
Деяния бога странны:  
Он раны наносит, но сам же бог  
Эти же лечит раны!

Неисповедимы его пути,  
Творениям рук его — слава.  
Он за нос сумел тебя провести,  
Дразня тебя величаво.

Господним юмором мир покорен.  
Вне себя от восторга Фавор и Гермон.  
Бог сына забрал у тебя дорогого,  
Но с тем чтобы ты обрел его снова.  
Ты извивался, старый, от боли,  
Потом ты свыкся с ней поневоле,  
И вот тебе мальчик твой возвращен,  
Уже полноват, но еще недурен.

Тебе его теперь не узнать,  
Ты не будешь знать, как его величать.  
Вы будете речью чужою томиться,  
Не зная, кто должен кому поклониться.  
Вот что господь учинить догадался,  
Вот как над дедушкой он посмеялся.

Теперь она со своими спутниками подошла уже совсем близко к родным жилищам под терebinтами Мамре и увидела, что Иаков, благословенный, с достоинством восседает на циновке перед занавеской своего дома. Поэтому она придала своему инструменту более удобное и твердое положение, и если только что она умело извлекала из него шуточно-нестройные звуки, то теперь она заставила его греметь в полную силу и всей грудью, во все горло, на самом их чистом звучанье, пробела строфы:

Сладкозвучья золотого  
Красоту соединив  
С красотой и мощью слова,  
Я вещаю: мальчик жив!

Пой, душа, ликуя, песни,  
Раздавайся, струнный звон!  
Не остался сын твой в бездне,  
Сердцу мальчик возвращен.

Это, сердце, тот пропащий,  
Кто оплакан был сполна,  
Кто попал в могильный ящик  
Из-под бивней кабана.

Все поникло, увядая,  
Оттого, что он исчез.  
А сегодня песнь иная:  
Верь, отец, твой сын воскрес!

Шаг его как поступь бога,  
Птиц над ним кружится хоровод.  
Вся в цветах лежит дорога,  
По которой он идет.

Страхи зимние забыты,

Он шагает, полон сил.  
На уста и на ланиты  
Прелесть лета бог излил.

Сына взгляд поймав лукавый,  
Шутку господа пойми.  
И хоть поздно, но со славой  
К сердцу мальчика прижми!

Иаков давно уже увидел свою внучку-певунью и с удовольствием прислушивался к ее голосу. Его благосклонность к ней была даже так велика, что при ее приближении он стал одобрительно разводить и соединять ладони в лад звукам, как то порой делают слушатели, сопровождающие игру и пенье ритмическими рукоплесканьями. Подойдя к Иакову, девочка ничего не сказала, а только опустила, продолжая петь, к нему на циновку, тогда как привлеченная ею дворня остановилась в почтительном отдалении. Старик слушал, и руки его медленно опускались. Размеренные движения его головы превратились постепенно в странное покачиванье. Когда она кончила, он сказал:

— Умница, дитя мое, молодчина! Спасибо тебе, Серах, за то, что ты внимательна а покинутому старику и пришла потешить его слух своею игрой. Видишь, я знаю твое имя, хотя не помню имен всех своих внуков, ибо их слишком много. Ты же приметно из них выделяешься, ибо благодаря природному своему дару, умению петь, ты привлекаешь к себе вниманье, а потому и имя твое запомнить легко. Но послушай, одаренная моя внучка, как я тебя слушал: с сердечным участием, но не без духовной тревоги. Ибо поэзия, милое дитя, это штука опасная, соблазнительная и скользкая. Распевать и распутничать — понятия, увы, довольно близкие, и распевание песен вырождается в изысканное беспутство, если оно не обуздано заботой о боге. Прекрасна игра, но священ дух. Играющий дух — вот что такое сочинительство, и я от всего сердца хлопаю в ладоши при виде этой игры, если только дух ничего в ней не теряет и остается заботой о боге. А что напела мне ты и что я должен думать о том, кто идет по цветам, бросая лукавые взгляды, да еще сопровождаемый хороводами птиц! Это, по-видимому, какое-то подобие того сомнительного бога лугов, которого местные жители именуют «господом», чем смущают и обольщают моих сородичей, детей Авраамовых. Ибо мы тоже говорим о господе, но имеем в виду совсем другое, и, не спуская глаз с души Израиля, я то и дело твержу под деревом наставления, что этот «господь» никакой не Господь, ибо люди всегда норовят спутать их и, дав себе поблажку, скатиться к богу лугов. Ибо бог есть усилие, а боги суть удовольствие. Так вот, хорошо ли это, дитя мое, что ты предоставляешь своему дарованью полную свободу и распеваешь мне песни местного сочинения?

Но Серах только покачала, улыбнувшись, головкой и вместо ответа снова запела, перебирая струны:

О ком я пою и кто он такой?  
Это Иосиф, дядюшка мой.  
Старик! Любимый твой сын — это он;  
Выше его только сам фараон.  
Дедушка, ты сперва ничего не поймешь,  
Но ты убедишься, что это не ложь.

Ибо, мощь и силу слова  
С красотой соединив  
Сладкозвучья золотого,  
Я пою: твой мальчик жив!

— Дитя мое, — взволнованно сказал Иаков, — это, конечно, очень мило с твоей стороны, что ты пришла ко мне и поешь, хотя никогда в жизни не видала его, о моем сыне Иосифе, посвящая ему свой дар, чтобы доставить мне радость. Но песенка твоя звучит несуразно, и хотя сложена она ладно, в ней все-таки нет ни складу, ни ладу. Я не могу с этим согласиться, — ну, можно ли, например, петь «мальчик жив»? Это не может меня обрадовать, ведь это же пустопорожняя прикраса. Иосиф давно умер. Он растерзан, растерзан.

И Серах отвечала, изо всех сил налегая на струны:

Пой, душа, ликуя, песни,  
Раздавайся, струнный звон,  
Ибо сын не сгинул в бездне,  
Сердцу мальчик возвращен.

Все поникло, увядая,  
Оттого, что он исчез,  
А сегодня песнь иная:  
Верь, отец, твой сын воскрес.

Он всем народам хлеб раздает,  
Чтоб мир не погиб в такой недород.  
Все, как Ной, наперед он сумел учесть.  
За это ему хвала и честь.

Алоэ и мирра — наряд его новый,  
Живет он в палатах из кости слоновой,  
Грядет, как жених, любим и хвалим.  
Вот, старый, что стало с агнцем твоим!

— Серах, внучка моя, певунья ты неумная, — решительно сказал Иаков, — что мне о тебе и подумать? Но в песне тебе никак не подобало бы называть меня просто «старый». Как с поэтической вольностью я с этим, однако, примирился бы, если бы это была единственная вольность, которую ты себе позволила! Но ведь твоя песня сплошь состоит из вольностей и каких-то блажных нелепостей, которыми ты, по-видимому, хочешь меня потешить, хотя тешиться вздором значит ослеплять себя, не принося никакой пользы душе. Дозволено ли петь и вещать о делах, не имеющих никакого отношения к действительности, не есть ли это злоупотребление природным даром? Какая-то доля разумного должна же быть и в прекрасном, иначе оно становится просто глумлением над душой.

— Удивляйся, — пропела Серах, —

Удивляйся: совершилось,  
Час настал, мечта сбылась.  
Песня в правду обратилась,  
Жизнь с поэзией слилась!

Это чудо, это диво,  
Диво дивное из див.  
Песнь моя прекрасна и правдива,  
Я пою: твой мальчик жив!

— Дитя, — сказал Иаков, и голова его задрожала. — Милое дитя...

А она ликовала, рассыпая еще стремительней звенящие звуки:

Видишь, старик, каков итог?

Деяния бога странны:

Он раны наносит, но сам же бог

Эти же лечит раны!

Он сына забрал у тебя дорогого,

Но с тем, чтобы ты обрел его снова.

Ты извивался, старый, от боли,

Потом ты свыкся с ней поневоле.

И вдруг тебе мальчик твой возвращен:

Чуть грузен уже, но еще недурен.

Вот что господь учинить догадался,

Вот как над дедушкой он посмеялся!

Отвернувшись от нее, он протянул к ней руку, словно хотел ее остановить; его усталые карие глаза были полны слез. «Дитя, — только и повторял он. — Дитя...» И не замечал ни волнения, поднявшегося около них с внучкой, ни того, как ему о чем-то радостно докладывали. Ибо к тем любопытным, что пришли с Серах, слушая ее песнь, присоединялись все новые и новые вестники счастливого возвращения, и уже со всех сторон сбегалась дворня, а два человека поспешили к Иакову и доложили ему:

— Израиль, одиннадцать твоих сыновей вернулись из Египта с людьми и повозками, и ослов у них куда больше, чем было при отъезде!

Но вот подросли и они сами и, спешившись, подошли к Иакову, посредине Вениамин, до которого остальные десять старались дотронуться, потому что каждому хотелось собственноручно вернуть его отцу.

— Мир тебе и доброго здоровья, — сказали они, — отец наш и господин! Вот Вениамин. Мы тебе свято сберегли его, хотя порой и оказывались с ним в затруднительном положении, можешь теперь нянчить его снова. Вернулся и Симеон, твой герой. Кроме того, мы привезли в обилии пищу и богатые дары от владыки хлеба. Погляди, мы счастливо вернулись домой, и «счастливо» — это далеко еще не точное слово.

— Мальчики, — отвечал Иаков, поднявшись, — ну, конечно, добро пожаловать, мальчики.

Снова вступая во владение младшим, он обнял его одной рукой, но сделал это безотчетно, в оцепененье.

— Вы снова здесь, — сказал он, — вы все вместе вернулись из опасного путешествия, — это было бы великое мгновенье при других обстоятельствах, и оно несомненно целиком наполнило бы мне душу, если бы она уже не была так поглощена. Да, я сейчас весь поглощен, и поглощен из-за этой девчушки, — это твое дитя, Асир, — которая подсела ко мне с какими-то вздорными, хотя и сладкозвучными песенками, с какой-то нелепой болтовней о моем сыне Иосифе, так что я даже не знаю, как мне сохранить при ней рассудительность, и рад вашему приезду главным образом потому, что надеюсь, что вы защитите меня от этого ребенка и от дурмана ее трескотни, ибо не потерпите, чтобы глумились над моими сединами.

— Конечно, мы этого не потерпим, — ответил Иуда, — если мы можем этому как-либо

помешать. Но по общему нашему мнению, отец, — а это мнение обоснованное, — ты поступил бы лучше, допустив, пускай сначала лишь как вероятность, что в ее трескотне есть доля правды.

— Доля правды? — повторил старик, выпрямляясь. — Да как вы смеете соваться ко мне с такой чепухой и требовать от Израиля половинчатости? Что случилось бы с нами и с нашим богом, если бы мы довольствовались надеждой на случай? Правда одна, и она неделима. Трижды пропело мне это дитя: «Мальчик жив!» В ее словах не может быть никакой доли правды, если это не сама правда. Так что же это?

— Это правда, — ответили хором одиннадцать братьев, поднимая руки ладонями вверх.

— Правда! — радостно и удивленно отозвалось у них за спиной из толпы домочадцев. Детские, женские и мужские голоса ликующе повторяли: «Она пела правду!»

— Папочка, — сказал Вениамин, обнимая Иакова. — Пойми то, что ты слышишь, как пришлось это понять нам, одному раньше, другому позже: тот человек там внизу, что спросил их обо мне и так много расспрашивал их о тебе — «Жив ли еще ваш отец?», — это Иосиф, Иосиф и он — это одно и то же. Он вовсе не умирал, сын моей матери. Странствующие купцы вырвали его из когтей чудовища и отвели его в Египет, и там он вырос словно у родника и стал первым из живущих внизу — сыны чужеземцев подольщаются к нему, ибо они бы умерли с голоду без его мудрости. Тебе нужны знаки, подтверждающие это чудо? Погляди же на наш обоз! Он посылает тебе двадцать ослов, навьюченных пищей, — это дар Египта, а вон те колесницы из фараонова запаса доставят нас всех к твоему сыну. Ибо с самого начала он вел дело так, чтобы ты приехал к нему, я это разглядел, он хочет, чтобы мы пасли свой скот близ него, на тучных пажитях, но там, где еще не самый заправский Египет, в земле Госен.

Иаков сохранял полное, почти суровое самообладание.

— Это определит бог, — сказал он твердым голосом, — ибо только от него, а не от сильных мира принимает указанья Израиль. Мой Даму, дитя мое! — слетело затем с его губ. Он сплел на груди пальцы и обратил к облакам лоб; глядя туда, он медленно покачал старой своей головой.

— Мальчики, — сказал он, опуская ее снова, — эта девчушка, — я благословляю ее, и если бог услышит меня, она не вкусит смерти, а войдет в царство небесное заживо, — эта девочка пропела мне, что господь возвращает мне первенца Рахили, который хоть все еще и красив, но уже несколько грузен. Это надо понимать, по-видимому, так, что годы и египетское довольствие сделали его человеком весьма дородным?

— Не очень, дорогой наш отец, не очень, — поспешил успокоить его Иуда. — Только в пределах представительности. Прими во внимание, что тебе возвращает его не смерть, а жизнь. Смерть, если бы это было мыслимо, выдала бы его тебе таким же, каким он был; но поскольку ты получаешь его из рук жизни, он уже не прежний олененок, а матерый, по-своему прекрасный олень. Ты должен быть готов и к тому, что в своем быту он несколько отделился от нас и носит плоеный виссон, который белее снегов Гермона.

— Пойду и увижу его, пока жив, — сказал Иаков. — Если бы он не был жив все это время, он не был бы жив и сейчас. Пусть славится имя господне.

— Пусть славится! — воскликнули все собравшиеся и хлынули к нему и братьям, чтобы поцеловать им край одежды в знак поздравленья.

Он не смотрел вниз, на их головы; глаза его были снова обращены к небу, и, глядя туда, он все качал головой. А певунья Серах сидела на циновке и пела:

Сына взгляд поймав лукавый,  
Шутку господи пойми.  
И хоть поздно, но со славой  
К сердцу мальчика прижми!

## РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ

### «ВОЗВРАЩЕННЫЙ»

#### Пойду и увижу его

Вот и услышала упрямая корова голос своего дитяти, теленка, которого отвел на поле, где нужно было пахать, хитрый хозяин, чтобы и корова туда пожаловала; и корова, с ярмом на шее, пошла на зов. Ей стоило это, однако, довольно большого усилия над собой из-за ее великого отвращения к полю, которое она считала полем смерти. По-прежнему довольно сомнительным было для Иакова объявленное им решение, и он радовался, что еще оставалось время хотя бы обдумать его; ибо его исполнение, разрыв с издавна привычным бытом, переселение всего рода в преисподнюю, требовало времени и потому давало время. Не такие люди были сыны Израиля, чтобы, слишком буквально поняв указание фараона насчет домашнего скарба, просто все бросить и тронуться в путь, поскольку, мол, их обеспечат всем необходимым в земле Госен. «Не жалеть домашнего скарба» означало самое большее забрать не все, ибо забрать все было невозможно; не все пожитки, не весь мелкий и крупный скот; но это отнюдь не означало бросить на произвол судьбы то, что очень отягчило бы путешествие. Многие следовало продать, причем не наспех, а с обычной медлительно-церемонной обстоятельностью. Однако согласие Иакова распродать имущество показывало, что он вполне верен своему решению, хотя заявил о нем так, что толковать его слова можно было по-разному.

«Пойду и увижу его» — это могло, конечно, при желании, означать только: «Навещу его, увижу снова лицо его, пока жив, и вернусь». Но, как всем, и в том числе самому Иакову, было ясно, слова его могли вовсе и не иметь этого смысла. Если бы речь шла только о визите свиданья ради, то скорей уж, позволим себе сказать, Его Великолепие и Его Милость Иосиф должен был бы нанести такой визит своему папочке, чтобы избавить того от немалых неудобств поездки в Мицраим; Но этому препятствовал мотив переселенья и продолженья рода, мотив, под знаком которого, как отлично понимал и сам Иаков, стояли сейчас звезды. Не затем был обособлен и отрешен Иосиф, не ради того распухло от плача по нем лицо Иакова, чтобы потом наносить друг другу визиты, а ради того, чтобы Израиль переселился к Иосифу; слишком искушенным знатоком бога был Иаков, чтобы не понимать, что похищение красавца сына, что его слава там внизу, что упорный голод, вынудивший братьев податься в Египет, что все это части дальновидного замысла, не считаться с которым было бы величайшей глупостью.

Себялюбивым и самоуверенным можно, конечно, назвать поведение Иакова, который в такой всеобщей, коснувшейся многих народов и вызвавшей подлинно экономические перевороты беде, как затяжная засуха, не увидел ничего, кроме меры, призванной направить и продвинуть историю собственного его дома, явно полагая, что, когда дело идет о нем и о его родне, остальной мир должен уж кое с чем примириться. Но

себялюбив и самоуверенность — это лишь неодобрительные наименования того в высшей степени достойного одобренья и плодотворного качества, более красивое имя которому — благочестие. Есть ли на свете добродетель, не поддающаяся хулительным определениям, не сочетающая в себе таких противоположностей, как смирение и зазнайство? Благочестие есть доверчивое отождествление мира с историей собственного «я» и его блага, и без непоколебимой до неприличия убежденности в особом и даже безраздельном внимании бога к этому «я», без превращения своего «я» и его блага в центр мироздания — благочестия нет; напротив, таковы неперемennые условия этой очень сильной добродетели. Ее противоположность — неуважение к себе, равнодушие к собственному «я», равнодушие, от которого и миру ничего хорошего не приходится ждать. Кто пренебрегает собой, тот быстро опустится. Кто о себе высокого мнения, как, например, Авраам, который решил, что он, а в нем человек, должен служить лишь самому высшему, тот кажется, правда, нескромным, но его нескромность будет благословеньем для многих. В этом-то и проявляется связь личного достоинства с достоинством человечества. Притязание человеческого «я» на центральное положение в мире было предпосылкой открытия бога, и лишь одновременно, если человечество, пренебрегая собой, вконец опустится, могут быть снова утрачены оба эти открытия.

Но тут нужно добавить вот что: доверчивое отождествление не есть сужение, и высокая оценка собственного «я» вовсе не предполагает его обособленья, его изоляции, его безразличия ко всеобщему, внеличному и надличному, словом, ко всему, что выходит за пределы этого «я», но в чем оно себя торжественно узнает. Если благочестие — это сознание важности своего «я», то торжественность — это расширение своего «я», его слияние с вечно сущим, которое в нем повторяется и в котором оно себя узнает, — а такая утрата замкнутости и единичности не только не наносит ущерба его достоинству, не только совместима с этим достоинством, но и торжественно освящает его.

Вот почему в эту предотъездную пору, когда его сыновья заканчивали связанные с переселеньем дела, Иаков пребывал в весьма и весьма торжественном состоянии духа. Он собирался сейчас и вправду выполнить то, о чем мечтал во времена величайшего своего горя и о чем тогда лихорадочно твердил Елиезеру: спуститься в преисподнюю к умершему сыну. Это было событие звездное; а где «я» открывает свои границы космосу, теряется в нем, сливается с ним, — какие там могут быть обособление и изоляция? Сама идея отъезда, ухода была полна элементов непрерывности и повторяемости, существенно ее расширявших и потому возвышавших этот миг над точечной скудостью однократности. Старик Иаков был снова юношей Иаковом, который после все исправившего безрешивского обмана подался в Нахараим. Он был тем Иаковом, который после двадцатипятилетней остановки двинулся из Харрана с женами и стадами. Но он был не только самим собой, в чьей жизни, спиралью возраста, повторялось одно и то же; отъезд, уход. Он был также Исааком, который пошел в Герар к Авимелеху, в страну филистимлян. Углубляясь в прошлое еще дальше, он видел сейчас повторение изначального ухода — ухода странника Аврама из Ура и из Халдеи, ухода, который не был, собственно, изначальным, а был лишь земным отраженьем небесного странствия, лишь земным подражаньем странствию Луны, следовавшей своим путем от одной стоянки к другой. Луны, Бел Харрана, Владыки Дороги. И поскольку Аврам, первый земной странник, сделал остановку в Харране, то сейчас было ясно, что в роли Харрана должна выступить Беэршива, где Иаков устроит первый свой лунный привал.

Мысль об Авраме, о том, что и он направился во время голода в Египет, чтобы жить там пришельцем, очень утешала Иакова; а как нуждался он в утешеньи! Да, впереди была полная блаженства и боли встреча, после которой он мог спокойно умереть, потому что уже никакая радость его потом не приманит; да, возможность переселиться в Египет и пасти скот на фараоновых пажитях считалась великой милостью, которой многие добивались, и многие завидовали ему и его дому. И все же Иакову было тяжело решиться

и покинуть, повинувшись решению бога, землю отцов своих и променять ее на гадкую землю богов-животных, на Страну Ила, на землю детей Хама. Непрочно и настороженно, как его отцы, оставаясь ей, как и они, наполовину чужим, осел он в стране, где закончились Аврамовы странствия; но он собирался здесь умереть и относил к этой земле, где он родился и где покоились его мертвецы, услышанное Аврамом пророчество, что его, Аврама, потомки будут пришельцами в земле не своей. А теперь оказывалось, что это предсказание, недаром связавшее себя с ужасом и мраком великим, шло дальше и явно метило в ту страну, куда теперь предстояло двинуться, — в Мицраим, в служильню Египетскую. Так Иаков всегда неодобрительно называл эту сурово управляемую страну, никогда, однако, не думая, что она станет служильней собственному его семени — как то теперь, к тревоге его, открылось ему. Его отъезд был отягощен пониманием того, что грозное продолжение слова господня: «и там поработят их и будут угнетать четыреста лет» — относилось к стране, куда лежал его путь; он вел дом свой, по всей вероятности, к многовековому рабству, и хотя все связанное со спасительным замыслом было благом, хотя все, что называется несчастьем и счастьем, растворялось в великой идее судьбы и грядущего, — отъезд, на который Иаков решился в боге, был все же, вне всякого сомнения, отъездом роковым.

Путь лежал — и это пугало — в страну могил; но, с другой стороны, именно могилы Иакову было всего тяжелей оставлять: могилу Рахили и Махпелах, двойную пещеру, наследственную усыпальницу, купленную Аврамом вместе с полем, где она находилась, у хеттеянина Ефрона за четыреста шекелей серебра общепринятым весом. Израиль был легок на подъем, как легки на подъем пастухи-овчары; но эта недвижимость — поле с пещерой — у него была, и она должна была остаться за ним. Многое из движимого своего имущества переселенцы продавали, но как раз недвижимое, поле с могилой, продаже не подлежало. Они были для Иакова залогом его возвращения. Ибо скольким бы поколениям, по мере роста его дома, ни было суждено истлеть в земле Египта, он сам был исполнен решимости потребовать от бога и от людей, чтобы его, Иакова, когда остаток дней его кончится, доставили восвояси, в тот прочный дом, который у него, нигде прочно не обосновывавшегося, был на земле, чтобы ему лежать там, где лежали его отцы и матери его сыновей — кроме одной, возлюбленной, лежавшей отдельно, в стороне, у дороги, матери возлюбленного и отнятого, который его призывал.

Разве это не хорошо, что у Иакова было время обдумать свой отъезд к похищенному? Каких только задач не задавала постигающему бога уму странная роль этого обособленного любимца! Об умозаклучениях Иакова по этому поводу вы узнаете от него самого. Говоря теперь об Иосифе, он называл его не иначе, как «господин сын мой». «Я собираюсь, — говаривал он, — спуститься к господину сыну в Египет. Он занимает там высокое положение». Люди, которым он это заявлял, посмеивались порой за спиной старика и подтрунивали над его отцовским тщеславием. Они не знали, сколько нешуточного самоотречения, жертвенности и твердой решимости выражалось одновременно в этих словах.

Их семьдесят

Цветистая весна успела перейти в позднее лето к тому времени, когда Израиль покончил со всеми делами и мог наконец состояться отъезд из дубравы Мамре, что по соседству с Хевроном; ближайшей целью была Беэршива, и несколько дней было заранее отведено на благочестивую задержку в этом пограничном месте, где родились Иаков и его отец, месте, где решительная родительница Ревекка снарядила когда-то похитившего благословение сына в поездку в Месопотамию.

Иаков снялся со своего места и отправился в путь с имуществом своим и скотом, с сыновьями и сыновьями сыновей, с дочерьми и сыновьями дочерей. Или, как то и записано, — с женами, дочерьми, сыновьями и женами сыновей — перечисление это неточно, ибо под «женами» подразумеваются жены сыновей, а под «дочерьми» снова они же да еще дочери сыновей, как, например, певунья Серах. Семьдесят душ тронулось в путь, то есть они считали, что их семьдесят; но количество это определялось не счетом, а чувством числа, внутренним ощущением: тут царила точность лунного света, которая, как мы знаем, не подобает нашему веку, но в тот век была вполне оправданна и принималась за истину. Семьдесят было число народов мира, означенных на скрижалях господних, и что таково, следовательно, число тех, кто вышел из чресел патриарха, — это не нуждалось в ясной, как дневной свет, проверке. Но коль скоро речь шла о чреслах Иакова, то ведь не следовало, пожалуй, включать в счет жен сыновей? А их и не включали. Где вообще нет счета, там и не включают в счет, и когда налицо свяшенно предвосхищенный, основанный на прекрасном предрассудке итог, вопрос о том, что идет, а что не идет в счет, становится праздным. Нельзя даже быть уверенным, что Иаков включал в счет себя самого и что другие включали его в свое число семьдесят, а не оставляли семьдесят первым. Придется нам примириться с тем, что тот век допускал обе возможности сразу. Много позднее, например, у одного из потомков Иуды, точнее — у потомка его сына Фареса, которого целеустремленно подарила ему Фамарь, — итак, у одного из потомков Иуды, человека по имени Исая, было семь сыновей и один младший, который пас овец и над которым был поднят рог с миром. Что значит это «и»? Был ли он младшим из семерых или у Исая было восемь сыновей? Первое вероятнее, ибо гораздо прекраснее и правильнее иметь семерых сыновей, чем восьмерых. Но более чем вероятно, то есть точно известно, что число сыновей Исая — мы имеем в виду число семь — не менялось, когда к ним присоединился младший, и что этому младшему удалось остаться включенным в семерку, хотя он и не помещался в ней... В другом случае у одного человека имелось целых семьдесят сыновей, ибо у него было много жен. Сын одной из этих матерей убил всех своих братьев, семьдесят сыновей старика, на одном и том же камне. По нашим сухим понятиям, он мог, будучи их братом, убить только шестьдесят девять человек, точнее даже — шестьдесят восемь, ибо еще один брат, прямо названный по имени — Йотам, тоже остался в живых. Трудно принять это на веру, но в данном случае одним из семидесяти были убиты все семьдесят, причем, кроме самого убийцы, в живых остался еще один брат — весьма яркий и весьма поучительный пример одновременности включения в счет и исключения из счета.

Иаков был, получается, семьдесят первым из семидесяти путников, если эта цифра вообще состоятельна при дневном свете. По трезвому счету она была и меньше, и больше — новое противоречие, но только так можно это представить себе и выразить. Иаков, отец, был постольку семидесятым, а не семьдесят первым, поскольку мужская часть рода составляла шестьдесят девять душ. Но она составляла шестьдесят девять душ вместе с Иосифом, который находился в Египте, и двумя его сыновьями, которые там даже и родились. Так как этих трех членов семьи среди путников не было, их нужно, хотя они и включены в счет, из числа путников вычесть. Но этим еще не исчерпываются необходимые вычеты, ибо в счет, несомненно, попали души, ко времени отъезда еще вообще не родившиеся. Оправданно это разве что в отношении Иохебед, одной из дочерей Левия, которая находилась тогда в материнской утробе и родилась при вступлении в Египет «между стенами», стенами, разумеется, пограничной крепости. Но ясно, что в число путников включены были внуки и правнуки Иакова, которые к тому времени не только не появились на свет, но даже не были зачаты, то есть лишь предвиделись, но налицо еще не имелись. Они прибыли в Египет, как выражает это благочестивая ученость, «in lumbis patrum» [2 - в чреслах отцов своих (лат.)] и участвовали в отъезде лишь в очень и очень духовном смысле.

Таковы необходимые вычеты. Но и в веских причинах увеличить число шестьдесят

девять тоже нет недостатка. Ведь его составляло только мужское семя Иакова; но если или, вернее, но так как в расчет нужно принять его прямое потомство, то следует прибавить, — ну, понятно, не жен сыновей, а их дочерей, например, Серах, — упомянем только ее, но уж ее со всей решительностью. Не засчитать девчущку, которая первой принесла отцу известие о том, что Иосиф жив, было бы совершенно недопустимо. Она пользовалась в Израиле очень большим уважением, и никогда не высказывалось никаких сомнений в том, что благословение, которым в признательности одарил ее Иаков, исполнилось и она, не вкусив смерти, заживо вошла в царство небесное. И в самом деле, никто не может сказать, когда она умерла; жизнь ее, судя по всему, была бесконечно долгой. Есть сведения, что много поколений спустя она указала искавшему могилу Иосифа Моисею место этой могилы — в Ниле; и еще безмерно позднее она, говорят, подвизалась среди сынов Аврамовых под именем «мудрой женщины». Но как бы то ни было, — действительно ли жила одна и та же Серах в столь разные времена, или другие девочки вобрали в себя сознание маленькой этой вестницы, — что ее следовало включить в число семидесяти путников, чего бы в данном случае «семьдесят» ни означало, — с этим согласится любой.

Но даже если говорить о женах сыновей, то есть о матерях внуков Иакова, то отнюдь не обо всех можно с уверенностью сказать, что они не должны идти в счет. Мы говорим о «матерях», а не только о «женах», потому что имеем в виду Фамарь, которая, в соответствии с поговоркой «куда ты, туда и я», пошла в Египет вместе с двумя своими крепкими сыновьями, сыновьями Иуды. По большей части она шла пешком, с длинным посохом, очень широким для женщины шагом, высокая и темная, с круглыми ноздрями и гордым ртом, глядя, по своему обыкновению, вдаль, — можно ли было не включить в счет эту исполненную решимости женщину, которая не согласилась быть отстраненной? Иначе обстояло дело с обоими ее мужьями, Иром и Онаном: ни при лунном, ни при дневном свете нельзя было их зачесть, ибо они были мертвы, и если будущее Израиль и засчитывал, то уж мертвого он не включал в счет. Зато Шелах, супруг, которого она не получила, но в котором больше и не нуждалась, так как родила ему отличных сводных братьев, — Шелах был налицо и входил в число внуков Лии, — а их было тридцать два.

Принесите его!

Итак, в согласии относительно своей семидесятичленности, Израиль отбыл из дубравы аморитянина Мамре. Если учесть и все, что не шло в счет, — пастухов, погонщиков, рабов, возниц, грузчиков, — то численность каравана составляла наверняка более ста человек — это был пестрый, шумный, неповоротливый из-за своих стад, окутанный клубами пыли отряд кочевников. Разные его части передвигались разными способами, — и, говоря между нами, от присланного Иосифом парка египетских колесниц пользы было мало. Это не относится, правда, к ломовым повозкам под названьем «агольт», запряженным по большей части волами двуколкам, ценность которых для перевозки домашнего скарба, бурдюков с водой и фуража, а также женщин с маленькими детьми следует благодарно признать. Но что касается собственно пассажирских повозок типа «меркобт», этих легких, подчас роскошно оборудованных и заложённых парой лошаков или лошадей колясок с изящными, открытыми сзади кузовами, обитыми тисненой кожей и состоявшими порой лишь из изогнутых и позолоченных деревянных перил, — то щегольские эти экипажи, несмотря на лучшие намеренья Иосифа и царственного его господина, оказались довольно-таки бесполезными и в большинстве своем возвращались в землю Египетскую такими же пустыми, какими оттуда прибыли. Никому не было дела до того, что ступицы их колес изображали, и притом великолепно, головы негров, а некоторые повозки были внутри и снаружи обтянуты полотном, оштукатурены и украшены лепными рельефами, нагляднейше представлявшими придворную и

крестьянскую жизнь. В них можно было только стоять вдвоем, или, совсем вплотную друг к другу, втроем, что при плохих дорогах и скверных рессорах было на поверку весьма утомительно; или же нужно было сидеть на днище, спиной к упряжке, свесив ноги наружу, что мало кому улыбалось. Многие, как Фамарь, предпочитали древнейший и образцовый способ передвиженья — пеший ход с посохом. Большинство же — и мужчины, и женщины — ехало верхом: ширококопытные верблюды, костлявые лошаки, белые и серые ослы, все, как один, украшенные стеклярусом, вышитыми чепраками и болтающимися пучками сольника — это на них, поднимая пыль на дорогах, ехали люди Иакова, которым велел переселиться Иосиф, — живописное семейство в вязаной шерстяной одежде, бородатые мужчины, часто в ворсистых бурнусах и наголовниках, укрепленных на темени войлочными кольцами, женщины с черными косами на плечах, с позвякивающими серебряными и медными цепочками на запястьях, с монетами на лбу и красными от хны ногтями, державшие на руках младенцев, завернутых в большие и мягкие отороченные парчой платки; так, питаясь жареным луком, кислым хлебом и маслинами, продвигались они, чаще всего гребнем гор, по дороге, которая спускалась от Урусалима и высот Хеврона на юг, в область под названием Неgeb, что значит Сухая, и вела в Кириаф Зефер, город Книги, и в Беэршиву.

Более всего нас заботят, само собой разумеется, удобства Иакова, их отца. Как передвигался он? Думал ли Иосиф, посылая свои повозки, что величавый этот старик совершит путешествие стоя в украшенном рельефами кузове или за золочеными перилами? Нет, он этого не думал. Даже фараону, его господину, не пришло в голову требовать этого. Указание, посланное прекрасным сыном Атона из его новехонького дворца, гласило: «Возьмите отца вашего и принесите его». Патриарха следовало нести, совершая словно бы триумфальное шествие, — вот какова была идея; и среди посланных Иосифом повозок, в большинстве своем бесполезных, имелось одно-единственное средство передвижения другого рода, предназначенное именно для этой торжественной цели — перенесенья Иакова: египетский паланкин из числа тех, какими пользовались знатные люди Кеме на улицах городов и в дальних поездках, причем необыкновенно элегантный образец этого приспособленья, со спинкой из тонкого тростника, с изящными надписями на стенках, с богатыми занавесками и покрытыми бронзой рукоятками и даже с легким расписным деревянным ящиком сзади для защиты от ветра и пыли. Паланкин этот могли нести юноши, но его можно было также с помощью специальных поперечных жердей водрузить на спины двух ослов или лошаков, и, решившись воспользоваться им, Иаков почувствовал себя в нем очень хорошо. Но решился он на это только после Беэршивы, отмечавшей, по его представленью, рубеж между родиной и чужбиной. Дотоле его вез на себе умный дромадер с медленными глазами, к седлу которого был прикреплен ради тени небольшой навес.

Старик — и он знал об этом — являл взору очень красивое и величавое зрелище, когда, окруженный своими сыновьями, покачивался в лад убаюкивающим шагам мудрого животного на его высокой спине. Тонкий шерстяной муслин кофии зубчато ложился на лоб Иакова, складками обтекал шею и плечи и легко падал на его темно-бурую одежду, открывавшую, где она не была запахнута, вязаное нижнее платье. Серебряной его бородой играл ветер. Обращенный внутрь взгляд его мягких глаз пастуха показывал, что он обдумывает свои истории, прошлые и будущие, и никто не осмеливался мешать ему в этом заняты, разве только кто-нибудь почтительно осведомлялся о его самочувствии. Прежде всего он ждал свидания со священным деревом, посаженным в Беэршиве Авраамом: под ним Иаков собирался приносить жертвы, учить и спать.

Иаков учит и видит сон

Огромный этот тамариск, осенявший первобытный каменный стол и прямой каменный столп — массеу, стоял в стороне от многолюдного селения Беэршивы, в котором наши путники даже не побывали, на небольшом холме, и был, строго говоря, не посажен отцом Иакова, а преемно принят им как божье дерево элон морех, то есть дерево прорицаний, у сынов этой земли и превращен из бааловской святыни в главное святилище его единственного и высочайшего бога. Даже, возможно, зная об этом, Иаков тем не менее продолжал считать, что беэршивское дерево посажено Авраамом. В духовном смысле оно им и было посажено, а мышление патриарха было мягче и шире нашего, которое допускает либо одно, либо другое и сразу же спешит заявить: «Если это дерево уже было бааловским, — значит, посадил его не Авраам!» Такое раденье об истине скорее запальчиво и упрямо, чем мудро, и молчаливое объединенье обоих аспектов, удававшееся Иакову, гораздо достойнее.

Да и внешне то, как служил Израиль под этим деревом богу вечностей, почти не отличалось от обрядов, свойственных культу детей Ханаана, — за исключением, разумеется, всяких бесчинств и непристойных шуток, в которые неизбежно выливалось богослуженье этих детей. Вокруг священного холма, у его подножья, были разбиты палатки, и тотчас начались приготовления к закланьям, которые предстояло совершить на дольмене — упомянутом уже каменном столе первобытных времен, и к жертвенному обеду, который затем полагалось съесть сообща. Разве дети баалов поступали иначе? Разве и они не заливали алтарь кровью ягнят и козлят и не кропили ею торчавший рядышком камень? Да, они поступали так же; но дети Израиля делали это в духе иного, более просвещенного благочестия, что выражалось главным образом в том, что после трапезы они не шутили друг с другом попарно, — по крайней мере, не шутили публично.

Кроме того, Иаков наставлял их в боге под этим деревом, что отнюдь не нагоняло на них скуки, а казалось очень важным и занимательным делом даже подросткам, ибо все они обладали большими или меньшими способностями в этом отношении и с удовольствием вникали в самое заковыристое. Он поучал их, в чем различие между многоименностью баала и многоименностью бога их отцов, всевышнего и единственного. Первая и вправду означала множественность, ибо не было баала, а были только баалы, то есть владельцы, хозяева и защитники священных мест, рощ, площадей, родников, деревьев, великое множество леших и домовых, — разобщенные и связанные с определенным местом, они в совокупности своей не имели ни лица, ни индивидуальности, ни собственного имени и назывались самое большее «Мелькарт», то есть градодержцами, если таковыми считались, как, например, тирский баал. Этот назывался «баал Пеор» по своему месту, тот — «Баал Гермон», третий — «баал Меон», был, правда, и «баал Завета», что следовало использовать в Авраамовой работе над богом, а одного, курам на смех, звали даже «баал Плясун». Достоинства тут было мало, а величия всеобщности и вовсе не было. Совершенно иначе обстояло дело со множественностью имен бога отцов, которая не наносила ни малейшего ущерба личной его цельности. Его звали Эль-эльон, «всевышний бог», Эль ро'й, «бог; который видит меня», Эль олам, «бог вечностей», или, после того великого, рожденного униженьем виденья Иакова, Эль вефиль, «бог Луза». Но все это лишь меняющиеся обозначения одного и того же высочайшего божества, не связанного, как разменная множественность леших и градодержцев, с определенным местом, а присутствующего во всем, чем порознь и по частям владели баалы. Плодородие, которое те посылали, родники, которые они охраняли, деревья, где они жили и в которых слышался их шепот, грозы, в которых они бушевали, благодатная весна, губительный суховей с востока — Он был всем, чем те были каждый в отдельности, все это находилось в Его веденье. Он был вседержителем всего этого, ибо все это исходило от Него, Он вбирал все это в свое «я», бытие всякого бытия, Элохим, многообразие как единство.

Об этом имени, Элохим, Иаков, к великому интересу семидесяти, рассуждал очень увлекательно и не без хитроумия. Ясно было, откуда шла эта черта Дана, пятого его сына;

хитроумие Дана было лишь мелким сыновним ответвлением более высокого хитроумия старика. Вопрос, который разбирал Иаков, состоял в том, каким числом считать слово «элохим» — единственным или множественным и как, следовательно, говорить — «Элохим хочет» или «Элохим хотят». Признавая важность правильного оборота речи, необходимо было найти какое-то решение, и, по-видимому, Иаков нашел его, высказавшись в пользу единственного числа. Бог был один, и было бы ошибкой считать, будто «элохим» — это множественное число от «эль», «бога». Ведь множественное число от «эль» звучало бы «элим». «Элохим» было нечто совсем другое. Это слово так же не предполагало множественности, как не предполагало ее имя Авраам. Человека из Ура звали Аврам, а потом его имя путем почетного удлинения превратилось в «Авраам». То же самое и с «элохим». Это была величальная, почетно удлиненная форма, и ничего больше, — в этом слове не содержалось ни малейшего намека на то, что подходило бы под бранное определение «многобожие». Иаков неустанно твердил об этом в своих поучениях. Элохим был один. А потом все-таки получалось, что их больше, не менее трех. Три мужа явились Аврааму у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного. И эти три мужа, как тотчас узнал побежавший навстречу им Авраам, были господом богом. «Владыка», — сказал он, поклонившись им до земли, «Владыка» и «ты». Но время от времени он говорил также «вы» и «ваши». И попросил их сесть в тень и подкрепиться молоком и телятиной. И они ели. А потом они оказали: «Я опять буду у тебя в это же время в следующем году». Это был бог. Он был один, но он был определенно втроем. Он являл многобожие, но при этом он неизменно и принципиально говорил «я», тогда как Авраам говорил то «ты», то «вы». Значит, если послушать Иакова дальше, то, вопреки предшествующему его утверждению, кое-какие резоны считать имя «Элохим» множественным числом все-таки были. Да, если послушать его дальше, то становилось заметно, что и его представление о боге было, как Авраамово, тройственно и складывалось из троих мужей, трех самостоятельных и тем не менее совпадающих в едином «я» лиц. Он говорил, во-первых, об отцовском боге, или боге-отце, во-вторых, о Добром Пастыре, который пасет овец своих — нас, и, в-третьих, о том, кого он называл «ангелом» и о котором у семидесяти складывалось впечатление, что тот осеняет нас голубиными крыльями. Они составляли элохим, тройное единство.

Не знаю, волнует ли это вас, но тем, кто слушал Иакова под уже известным нам деревом, это было очень занятно и любопытно; такой уж у них был дар. Расходясь и даже уже улегшись, на сон грядущий они долго и увлеченно рассуждали об услышанном, о почетном удлинении и тройном Авраамовом госте, о необходимости не впадать в многобожие перед лицом единого божества, чья множественность, с другой стороны, содержала в себе известный соблазн, но этот искуc в роду Иакова был нипочем даже подросткам.

Самому главе рода на каждую из трех проведенных им в Беэршиве ночей расстилали постель под священным деревом. В первые две ночи он снов не видел, зато третья принесла ему тот сон, ради которого он спал и в котором нуждался для успокоения и подкрепления сил. Он боялся земли Египетской, и ему крайне необходимо было заверение, что бояться ехать туда ему не следует, потому что бог его отцов не связан с определенным местом и пребудет с ним, Иаковом, в этой преисподней в точности так же, как был с ним в царстве Лавана. Во что бы то ни стало требовалось ему подтверждение, что бог не только спустится с ним, но и возвратит его или — сделав его многочисленным народом — вернет хотя бы его, Иакова, племя в землю отцов, в эту страну между Нимродовыми царствами, которая при всей своей непросвещенности, при всем неразумии коренных своих жителей, Нимродовым царством все-таки не была, так что там лучше, чем где-либо, можно было служить духовному богу. Короче говоря, душе его требовалось уверение, что его разлука с этой землей не отменит обетования великого сна о лестнице, приснившегося ему на вефильском гилгале, и что бог-вседержитель будет верен слову, прозвучавшему тогда под звуки арф. Чтобы узнать это, он спал, и во сне он

узнал это. Святым своим голосом бог ободрил его, как в том нуждалась его душа, и самыми приятными словами бога были слова, что Иосиф «положит руки на глаза Иакова» — проникновенно-многозначительные слова, которые могли означать, что его могучий в мире сын защитит и пригреет старика в стране язычников, а также что некогда любимец его собственноручно закроет ему глаза, а подобного сновиденья наш сновидец давно уже не мог себе позволить.

А тут ему приснилось и это, и то, первое, и спящие глаза его увлажнились под веками. И когда он проснулся, он почувствовал прилив сил и бодрости и захотел сняться с этой стоянки, чтобы продолжить путь со всеми семьюдесятью. Теперь он сел в изящный египетский паланкин с ветрозащитной камерой, который водрузили на спины двух белых, украшенных сольником ослов, и выглядел в нем еще лучше, еще величественней, чем на верблюде.

### О любви отказывающей

Северо-восток Дельты соединялся с Хевроном торговой дорогой, проходившей через Беэршиву и сухие земли ханаанского юга. По ней-то и двигались дети Израиля, следуя, таким образом, несколько иным путем, чем тот, которым следовали братья в своих деловых поездках. Места здесь шли поначалу обжитые, со множеством мелких и крупных селений. Затем, правда, с умножением дней, края пошли окаянные, без единой травинки, и увидеть здесь можно было только мелькавших вдалеке разбойных скитальцев пустыни, так что боеспособные мужчины Израиля не расставались с луками. Но и в самых скверных местах цивилизация исчезала не вовсе, она сопровождала их примерно так же, как бог, хотя и с жутковатыми перерывами, где она прекращалась и бог оставался уже единственным утешеньем, — сопровождала то в виде защищенных колодцев пустыни, то в виде заложенных и хранимых духом передвиженья дорожных знаков, смотровых башен и мест для привала — до самой цели, подразумевая под ней покамест ту область, где драгоценная земля Египетская продвинула свою военную силу далеко на чужбину, область, предшествующую неприступной границе Египта и стенам крепости Зел, придиричивого ее стража.

Их они достигли через семнадцать дней — или, может быть, дней прошло больше? Они считали, что дней их пути — семнадцать, и не стали бы спорить по этому поводу с любителями точных подсчетов. Порядка семнадцати эта цифра безусловно была, если даже она была чуть выше или чуть ниже — вполне возможно, что дней прошло немного больше: учтем хотя бы пребывание в Беэршиве; да и лето еще давало себя знать, и для передвиженья, щадя Иакова, отца, пользовались только вечерними и утренними часами. Да, добрых семнадцать дней прошло с тех пор, как они покинули Мамре и отправились в путь, то есть на некоторое время перешли на положение кочевников, разбивающих шатры то там, то сям. И вот дни доставили их к крепости Зел, проходу в царство Иосифа.

Есть ли у кого-нибудь хоть малейшее опасение, связанное с этой грозной пограничной твердыней и нашими путниками, неужели кто-нибудь думает, что у них тут возникнут какие-то трудности? Того, кто так думает, впору поднять на смех. У них были и фирман, и пропуск, и удостоверение — господи боже мой! Никогда ничего подобного наверняка не имелось ни у каких сынов горемычной чужбины, стучавшихся в ворота земли Египетской, а для этих не существовало ни ворот, ни стен, ни оград, бастионы и башни Зела были для этих как воздух и пар, а придиричивость контролеров оборачивалась для них улыбочливой услужливостью. Ведь, конечно, пограничные офицеры фараона получили особые указания насчет этих людей; указания, которые не могли не смягчить их! Ведь как-никак дети Иакова были приглашены в эту страну самим менфийским владыкой хлеба,

Тенистой Сенью Царя, Джепнутеэфонехом, исключительным другом фараона, приглашены на кормление и на жительство! Опасенья? Трудности? Паланкин, в котором несли старого главу рода, говорил, надо думать, сам за себя и сам представлял своего владельца, на паланкине этом были уреи, уреи из фараоновой сокровищницы. А того, кто сидел в нем, этого величаво усталого и кроткого старика, — его несли не так-то и далеко, на свиданье с сыном, весьма высоким начальником, который мог сделать бледным трупом любого, кто хотя бы только задержит этих сынов чужбины расспросами.

Одним словом, пограничные офицеры были как нельзя более любезны и слащаво-угодливы — бронзовые решетки взлетели вверх, люди Иакова проследовали между рядами поднятых рук, с обозом и семенящим скотом хлынули они по плавучему мосту на фараоновы пажити и оказались в болотистой, удобной для пастбищ местности с купами деревьев, плотинами, каналами и разбросанными кругом селеньями; это была земля Госен, которую именовали также Косен, Несем, Госем и Гошем.

Так по-разному звучало это название в устах людей, трудившихся у запруды, по которой проходила дорога, на небольшом поле, окруженном поросшими камышом канавами, когда наши путники стали расспрашивать их, чтобы убедиться в правильности избранного направленья. Пробыв в пути от силы день, сказали они, путешественники уже к вечеру доберутся до Пер-Бастетского рукава Нила и до самого Пер-Бастета, Дома Кошки. Но еще ближе был богатый съестными припасами городок Па-Кос, — по-видимому, столица и рынок этой округи, которому она, вероятно, и была обязана своим названием: заглянув далеко за ее луга, за камыши болот, блестящие зеркала луж, кустистые острова и сочные равнины, можно было увидеть, как в утреннем свете на горизонте вырисовывается пилон па-косского храма. Ибо было раннее утро, когда Израиль вступил в эту землю, переночевав перед пограничной крепостью; они ехали еще несколько часов, углубляясь в день и держа путь к маячившему на горизонте строенью, а потом остановились, и снятый со спин ослов паланкин Иакова был временно поставлен на землю; ибо где-то близ па-косского рынка, неподалеку отсюда находилось место, которое Иосиф назначил для свиданья и избрал местом встречи, заявив, что прибудет туда встретить своих родных.

За то, что все делалось именно так, мы ручаемся, и если слова: «Иуду послал он перед собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Госем» — соответствуют истине, то неверно было бы толковать их в том смысле, что, поехав вперед, Иуда добрался до города Закутанного и лишь тогда Иосиф велел запрягать и отправился навстречу отцу в Госен. Нет, возвысившийся был давно поблизости, он ждал здесь и вчера уже и позавчера, и послан был Иуда вперед, только чтобы разыскать его в этой округе и, указав ему местонахождение отца, помочь обоим, Иосифу и отцу, друг друга найти. «Здесь Израиль подождет господина сына, — сказал Иаков. — Спустите меня! А ты, Иегуда, сын мой, возьми трех рабов и поезжай отсюда на поиски своего брата, первенца Рахили, чтобы объявить ему место, где мы находимся!» Иуда повиновался.

Мы можем заверить слушателей, что отсутствовал он недолго, всего какой-нибудь час-другой, и потом возвратился, исполнив порученное; ибо что прибыл он не с Иосифом, а вернулся раньше, чем тот явился к отцу, явствует из вопроса, с которым обратился к нему Иаков при приближенье Иосифа и который мы сейчас услышим.

Место, где ждал Иаков, было довольно приятно: он сидел в тени трех пальм, выросших как бы из одного корня, и прохладой веяло здесь от небольшого пруда, где розовыми и голубыми цветами цвел лотос и возвышались над водой тростинки папируса. Он сидел здесь в окружении своих сыновей, сначала десяти, но вскоре, когда вернулся Иуда, снова одиннадцати, а перед ним открывалась земля лугов и оград, над которой летали птицы, и старые глаза его могли издали увидеть двенадцатого.

Они увидели, что Иуда возвращается рысью с тремя рабами, что он только кивает головой и, не говоря ни слова, указывает куда-то назад. Поэтому они стали глядеть мимо него вдаль: там что-то копошилось, издали еще маленькое, но блестящее, ослепляющее и переливавшееся красками; оно стремглав приближалось, и вот это были уже колесницы с конями в сверкающей упряжи и пестрых султанах, а впереди и в промежутках — скороходы, и позади и по бокам — тоже скороходы; весь Израиль, повернувшись к ней лицами, глядел на переднюю колесницу, над которой поднимались шесты опахал. Все это приблизилось и приобрело свои истинные размеры, и стало различимо для тех, на кого несло. Но Иаков, который глядел вперед из-под стариковской своей руки, позвал одного из сыновей, того, что снова стоял рядом с ним, и сказал:

— Иуда!

— Вот я, отец, — отвечал тот.

— Кто, — спросил Иаков, — этот человек умеренной полноты, облеченный знатностью этого мира и вылезавший сейчас из своей колесницы и из золотого кузова своей колесницы, — его ожерелье подобно радуге, а его платье — просто как свет небесный?

— Это твой сын Иосиф, отец, — отвечал Иуда.

— Если это он, — сказал Иаков, — то я встану и пойду навстречу ему.

И хотя Вениамин и другие пытались его удержать, прежде чем помогли ему, он с трудом, но с достоинством поднялся и один, хромя сильнее обычного на бедро свое, ибо преувеличивал почетную свою хромоту, пошел навстречу идущему, который ускорил шаги, чтобы сократить ему путь. Улыбающиеся губы этого человека складывали слово «отец», и он широко распротер руки; Иаков же вытянул руки вперед, словно шел ощупью, как слепец, и шевелил кистями их, как будто чего-то требовал и в то же время от чего-то оборонялся; когда же они сошлись, он не позволил Иосифу, как тот хотел, броситься ему на шею и спрятать лицо на его плече, а отстранил его от себя за плечи и, откинув голову, долго и настойчиво, с любовью и страданием, глядел и вглядывался усталыми глазами в лицо египтянина, которого сначала не узнавал. Но покуда он так глядел, глаза Иосифа медленно наполнялись слезами и переполнились ими; и когда чернота его глаз расплылась в их влаге, это оказались глаза Рахили, с которых когда-то, в похожих уже на сон далях жизни, Иаков поцелуями стирал слезы, и он узнал его, он уронил голову на плечо ставшего таким чужим Иосифа и горько заплакал.

Они стояли особняком на лугу, ибо братья боязливо держались в стороне во время их встречи, а свита Иосифа, его дворецкий, конюшие при колесницах, скороходы и опахалоносцы, а также любопытные из соседнего городка, уже сбежавшиеся, тоже ждали поодаль.

— Отец, простишь ли меня? — спросил сын, и чего только он не имел в виду своим вопросом — бесцеремонность, с какой он с ним обошелся и натворил дел на его голову; заносчивость любимца и скверное свое озорство, преступное доверие и слепую требовательность, сотни глупостей, за которые он платился молчанием мертвых, живя тайком от платившегося вместе с ним старика. — Отец, простишь ли меня?

Совладав с собой, Иаков оторвался от его плеча.

— Бог нас простил, — ответил он. — Ты видишь, он вернул мне тебя, и теперь Израиль

может спокойно умереть, потому что ты — предо мной.

— А ты предо мной, — сказал Иосиф. — Папочка... можно мне тебя снова так называть?

— Если ты ничего не имеешь против, сын мой, — ответил Иаков чинно и даже, несмотря на старость свою и степенность, отвесил легкий поклон молодому человеку, — то я предпочел бы, чтобы ты называл меня «отец». Пусть наше сердце блюдет достоинство и не унижается до балагурства.

Иосиф понял это вполне.

— Слушаю и повинуюсь, — ответил он и поклонился в свою очередь. — Незачем, однако, говорить о смерти! — прибавил он горячо. — Жить, отец, надо нам вместе теперь, когда наказание отбыто и долгое ожидание кончилось.

— Очень уж оно было долгим, — кивнул старик, — ибо Его гнев неистов, а Его ярость — это ярость могучего бога. Видишь ли. Он настолько велик и могуч, что может испытывать только такой гнев, никак не меньший, и карает нас, слабых, так, что вопли наши льются водой.

— Его можно понять, — словоохотливо заметил Иосиф, — если в своем величии он не способен держаться какой-то меры и, не имея себе подобных, не в силах представить» себя на нашем месте. Возможно, что у Него несколько тяжелая рука, отчего даже Его прикосновенье уже сокрушительно, хотя у Него вовсе нет таких жестоких намерений и Он просто хотел дать шлепка.

Иаков не мог удержаться от улыбки.

— Я вижу, — сказал он, — что мой сын даже среди чужих богов сохранил очаровательную тонкость своих суждений о боге. В том, что тебе угодно было сказать, есть, видно, доля правды. Еще Авраам часто ставил Ему на вид Его необузданность и, бывало, урезонивал Его: «Тише, господи, не надо так горячиться». Но каков уж Он есть, таков и есть, и не станет умереннее ради наших нежных сердец.

— Дружеское увещание, — отвечал Иосиф, — со стороны тех, кого Он любит, все-таки не повредит. Но теперь воздадим хвалу Его милосердию и Его миролюбию, хотя Он и не торопился их проявить! Ибо под стать Его величию только Его мудрость, то есть богатство Его мысли и глубокий смысл Его деяний. Решенья Его имеют всегда много последствий — вот что замечательно. Наказывая, Он, действительно, имеет в виду наказание, но, не переставая быть своей суровой самоцелью, оно оказывается и ступенью к событиям большей важности. На тебя, отец мой, и на меня Он жестоко обрушился, Он отнял нас друг у друга, и я для тебя умер. Это Он и имел в виду, и Он это сделал. Но вместе с тем Он имел в виду выслать меня, спасенья ради, вперед, чтобы я прокормил вас, тебя, братьев и весь твой дом, во время голода, который был послан Им неспроста и, в свою очередь, явился ступенью ко многому, а прежде всего к тому, что мы встретились снова. Все это замечательно в мудром своем сплетенье. Это мы бываем пылки или холодны, а Его страсть — это провидение, и Его гнев — это дальновидная доброта. Высказался ли твой сын о боге наших отцов примерно так, как то подобает?

— Примерно, — подтвердил Иаков. — Это бог жизни, а жизнь можно выразить, разумеется, только примерно. Говорю это тебе и в похвалу, и в оправданье. Но в моей похвале ты не нуждаешься, ибо тебя наперебой хвалят цари. Хотелось бы, чтобы жизнь, которую ты вел в отрешенье, не слишком нуждалась и в оправданье.

Когда он это говорил, взгляд его озабоченно скользил по египетскому облачению Иосифа, спускаясь от полосатого желто-зеленого убора на его голове к сверкающим украшениям, к дороговому, диковинного покроя платью, к драгоценностям на его наборном поясе и на его руке и, наконец, к золотым пряжкам его сандалий.

— Дитя, — сказал он тревожно, — сохранил ли ты свою чистоту среди народа, чья похоть подобна похоти жеребцов и ослов?

— О папочка, то есть я хочу сказать: отец, — ответил, несколько смутившись, Иосиф, — какие заботы у моего господина! Оставь это, дети Египта такие же, как другие дети, они не лучше и не хуже других. Поверь мне, только Содом в свое время особенно отличился в пороках. С тех пор как он исчез в смоле и сере, в этом отношении дела обстоят везде примерно одинаково, то есть в общем-то сносно. Тебе, наверно, случалось урезонивать бога и говорить ему: «Не надо так горячиться!» Так вот, не будет грехом, если я, дитя твое, обращусь к тебе с исполненным любви увещанием и посоветую тебе, поскольку ты здесь: не показывай людям этой страны, какого ты о них мнения, и в осуждение им не изображай их нравов такими, какими они видятся твоей вере, не забывай, что мы здесь чужеземцы и герим и что фараон сделал меня великим среди этих детей, и займи среди них, повинувшись воле бога, достойное положение.

— Я знаю, сын мой, я знаю, — ответил Иаков и снова сделал легкий поклон. — Не сомневайся в моем почтении к миру! У тебя, — прибавил он вопросительно, — есть, говорят, сыновья?

— Конечно, отец. От моей девушки, дочери Солнца, женщины очень знатного рода. Их зовут...

— Девушки? Дочери Солнца? Это меня не смутит. У меня есть внуки от Шекема, внуки от Моава и внуки от Мидиана. Почему бы мне не иметь внуков и от дочери Она? А родоначальник их все-таки я. Как зовут твоих мальчиков?

— Манассия, отец, и Ефрем.

— Ефрем и Манассия. Это хорошо, сын мой, это очень хорошо, агнец мой, что у тебя есть сыновья, два сына, и что ты добродетельно назвал их такими именами. Я хочу поглядеть на них. Представь их мне как можно скорее, будь добр.

— Ты велишь, — сказал Иосиф.

— А знаешь ли ты, дорогое дитя, — продолжал Иаков тихо и с влажными глазами, — почему это так хорошо и так кстати пред господом?

Обняв одной рукой Иосифа за шею, он говорил ему на ухо, а сын, отвернув лицо, склонил одно ухо к губам отца.

— Иегосиф, однажды я отдал и завещал тебе разноцветное платье, потому что ты выклянул его у меня. Ты знаешь, что оно не означало первородства и преемничества?

— Я знаю это, — ответил Иосиф так же тихо.

— А я, в глубине сердца, пожалуй, считал, что означало или почти означало, — продолжал Иаков. — Ибо сердце мое любило тебя и всегда будет любить тебя, мертв ли ты или жив, больше, чем твоих товарищей. Но бог разорвал твоё платье и осадил мою любовь могучей десницей, с которой спорить нельзя. Он отделил и отдалил тебя от моего дома;

он оторвал побег от ствола и пересадила его в мир — тут остается только повиноваться. Повиноваться в своих поступках и решениях, ибо сердце не может повиноваться. Он не может отнять у меня сердце и пристрастие сердца, не отняв у меня жизни. Если твои поступки и решения не определены любовью твоего сердца, то это повиновение. Ты понимаешь?

Иосиф повернул голову к нему и кивнул. Он увидел слезы в этих старых карих глазах, и его собственные глаза тоже увлажнились опять.

— Я слышу и я знаю, — прошептал он и снова наклонил ухо.

— Бог дал тебя, и бог тебя отнял, — тихо говорил Иаков, — и снова дал тебя, но не сполна; Он вместе и удержал тебя. Хотя Он и выдал кровь животного за кровь сына, ты все же не как Исаак, негодная жертва. Ты говорил мне о богатстве Его мысли, о высокой двусмысленности Его советов — ты говорил умно. Ибо мудрость — Его удел, а человеку дан ум, чтобы тщательно вдумываться в Его мудрость. Он и возвысил тебя и отверг в то же время; я говорю это тебе на ухо, любимое дитя, и ты достаточно умен, чтобы это услышать. Он возвысил тебя над твоими братьями, как тебе снилось, — я всегда, мой любимый, хранил сны твои в сердце. Но возвысил Он тебя по-мирски, не в смысле спасения и наследования благословения — спасения ты не несешь, наследье тебе заказано. Ты знаешь это?

— Я слышу и знаю, — повторил Иосиф, на мгновение отвернув от отца ухо и повернув к нему взамен шепчущий рот.

— Ты благословен, мой любимый, — продолжал Иаков, — благословен от неба и от бездны, что внизу, благословен весельем и ударами судьбы, остроумьем и снами. Но это благословение мирское, а не духовное. Слышал ли ты когда-либо голос отказывающей любви? Так услышь же его, повинаясь, у самого уха. Бог тоже любит тебя, дитя, хотя он сейчас и отказывает тебе в наследье и наказал меня за то, что я предназначал его тебе втайне. Ты первороден в земных делах, ты благодетель и для чужеземцев, и для отца и братьев. Но спасутся народы не благодаря тебе, и водительство тебе не дано. Ты знаешь это?

— Я знаю, — отвечал Иосиф.

— Это хорошо, — сказал Иаков. — Это хорошо — глядеть на судьбу с веселым и восхищенным спокойствием, и на собственную судьбу тоже. А я поступлю, как бог, который одарил тебя, тебе отказав. Ты отщепенец. Ты отделен от рода и родом не будешь. Но я возвышу тебя и произведу в отцы тем, что первородные твои сыновья будут как мои сыновья. Те, которые еще у тебя родятся, будут твои, а эти мои, ибо я их приму вместо сына. Ты не похож на отцов, дитя мое, ибо ты не духовный вождь, а мирской. И все же ты будешь сидеть рядом со мною, отцом племени, как отец племен. Доволен ли ты?

— Нижайше тебя благодарю, — ответил Иосиф тихо, снова повернув к отцу рот вместо уха.

И тут Израиль перестал его обнимать.

## Угощение

Стоя поодаль с разных сторон, люди Иосифа и спутники Иакова благоговейно смотрели на душевную эту беседу. Теперь они увидели, что она кончилась и что друг фараона

пригласил отца тронуться в путь. Он повернулся к братьям и направился к ним, чтобы их приветствовать; но они поспешили ему навстречу и все склонились пред ним, и он обласкал Вениамина, сына своей матери.

— Теперь я хочу увидеть твоих жен и твоих детей, Туртурра, — сказал он малышу. — Я хочу увидеть всех ваших жен и детей, чтобы познакомиться с ними. Вы представите их мне и отцу, рядом с которым я при этом буду сидеть. Неподалеку отсюда я приказал соорудить шатер, чтобы вас там принять; там-то и нашел меня брат мой Иуда, и оттуда я приехал сюда. Несите же дальше дорогого господина, отца нашего, и садитесь в повозки и седла и следуйте за мной! Я поеду впереди я своей колеснице. Но если кто-нибудь захочет поехать со мною вместе. Иуда, например, который любезно меня позвал, то в колеснице хватит места и ему, и мне, и возникшему. Иуда, я приглашаю тебя. Поедешь со мной?

И тогда Иуда поблагодарил его и действительно взошел с ним на колесницу, поданную по знаку Иосифа; он поехал с Возвысившимся на его колеснице и стоял с ним в золотом кузове его колесницы, позади упряжки резвых коней с пестрыми султанами и в алой сбруе. За колесницей Иосифа следовали его окольные, а за ними дети Израиля во главе с покачивавшимся в паланкине Иаковом. А сбоку бежали люди с па-косского рынка, которые все это хотели увидеть.

Так прибыли они к расписному, устланному коврами шатру, приготовленному слугами, очень красивому и просторному, где уже выстроились у стен украшенные венками кувшины с вином на тонких тростниковых подставках, лежали подушки и стояли наготове чаши для вина, сосуды с водой, а также всевозможные пироги и плоды. Пригласив туда отца и братьев, Иосиф еще раз приветствовал их и при содействии своего знакомого реем одиннадцати дворецкого принялся угощать. Он весело пил с ними из золотых кубков, в которые слуги наливали вино через цедильные салфетки. А потом он и его отец Иаков сели на два походных стула у входа в шатер, и перед ними прошли «жены, дочери и сыновья, а также жены его сыновей», то есть жены братьев Иосифа и их отпрыски, одним словом — Израиль, чтобы он поглядел на них и познакомился с ними. Рувим, старший его брат, называл ему их имена, и он обращался ко всем с приветливыми словами. А в памяти Иакова из глубин времени всплывала другая сцена знакомства: после ночи борьбы в Пени-эле, когда он представлял свою семью космачу Исаву — сначала служанок с их четверкой, затем Лию с ее шестерыми и наконец Рахиль с тем, кто сейчас сидел рядом с ним и чья глава так высоко по-мирски вознеслась.

— Всего семьдесят, — сказал он ему с достоинством, указывая на свое племя, и тут Иосиф не спросил, семьдесят ли их с Иаковом или без него, и с ним ли самим или без него: он не спрашивал и не считал, а только весело глядел на проходивших; он привлек к своим коленам младших сыновей Вениамина — Мупима и Роса, чтобы те стояли с ним рядом, и когда ему представили Серах, Асирову дочь, очень заинтересовался ею и обрадовался, узнав, что это она первой пропела Иакову весть о том, что сын его жив. Он поблагодарил девочку и сказал, что вскоре, как только у него найдется время, она должна будет пропеть свою восьмиструнную песнь и ему, чтобы и он услышал ее. А среди жен братьев прошла Фамарь со своими Иудиными отпрысками, и Рувим, который называл имена, не сумел в двух словах, стоя и наспех, объяснить, как обстоит дело с нею и с ними; пояснения были отложены до более удобного случая. Высокая и темная, шагала Фамарь, ведя за руки двух своих сыновей, и склонилась она перед Тенистой Сенью с гордостью, ибо про себя думала: «Я на столбовой дороге, а ты — нет, хоть ты и блещешь».

Когда все были представлены, слуги стали потчевать в шатре также жен, сыновей дочерей и дочерей жен. А Иосиф собрал вокруг себя и отца глав хижин и, наставляя их, отдавал распоряженья со всей мирской осмотрительностью и определенностью.

— Вы находитесь в земле Госен, на прекрасных пастбищах фараона, — сказал он, — и я устрою так, чтобы вы остались здесь, где еще не самый заправский Египет, и жили здесь, на правах герим, до поры до времени, не пуская глубоких корней, так же как прежде в земле Ханаан. Пасите свой скот на этих пажитях, постройте себе хижины и кормитесь. А тебе, отец, я уже приготовил дом, точное подобие твоего дома в Мамре, так что все в нем будет тебе привычно, — он поставлен недалеко отсюда, ближе к па-косскому рынку; ибо лучше всего жить на вольном воздухе, но неподалеку от города: так велось у отцов, среди дерев жили они, а не между стенами, но недалеко от Беэршивы и недалеко от Хеврона. В Па-Косе, Пер-Сопде и Пер-Бастете, что у рукава Нила, вы сможете продавать свои изделия — мой господин фараон позволит вам пасти скот и заниматься торговлей. Ибо я испрошу аудиенции у Его Величества и замолвлю за вас слово. Я доложу ему, что вы находитесь в Госеме и что вам несомненно следует здесь остаться, поскольку вы всегда были пастухами мелкого скота, как уже и ваши отцы. Дело в том, что пастухи овец немного противны детям Египта — не в такой мере, правда, как свинопасы, однако легкое отвращение скотоводы у них все-таки вызывают, но это отнюдь не должно обижать вас, напротив, мы используем это, добиваясь, чтобы вам разрешили остаться здесь, в стороне от египтян, ибо овчарам место в земле Госен. Ведь и собственные стада фараона, мелкий скот бога, тоже пасутся в этой местности. А поскольку вы, братья, опытные пастухи и скотоводы, то напрашивается мысль, — и я наведу на нее Его Величество, так что она появится у него как бы сама собой, — что вас или хотя бы некоторых из вас нужно поставить здесь смотрителями его стад. Он очень мил и держится просто, и вы же знаете — он приказал мне некоторых из вас (ибо всех — это было бы для него слишком обременительно) представить ему, чтобы он задал вам вопросы, а вы отвечали на них. И если он спросит вас, чем вы кормитесь и какое ваше занятие, то знайте, что это просто формальность, что он давным-давно знает от меня, каков ваш промысел, и что я уже навел его на мысль поставить вас смотрителями над его скотом. С этой задней мыслью он и задаст вам свой формальный вопрос. А потому вы убедительно подтвердите мои слова и скажете: «Мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей, как и наши отцы». Тогда он, во-первых, распорядится, чтобы вы поселились в низменной земле Госен, а во-вторых, выскажет мысль, что я поступлю наиболее разумно, если назначу самых способных из вас смотрителями его скота; А самых способных из вас вы можете определить сами, или пусть это определит отец, дорогой наш владыка. Когда же все это будет улажено, я и тебе, отец мой, устрою особую аудиенцию у сына бога; ибо нужно, чтобы он увидел тебя во всей величавой славе твоих историй и чтобы ты увидел его, нежно пекущегося, неподходящего путника на верном пути. Да он и сам уже письменно заявил, что хочет тебя увидеть и расспросить. Не могу передать, как я рад, что представлю ему тебя, чтобы он увидел во всей его торжественности благословенного Авраамова внука. Он уже кое-что о тебе знает, например, проделку с полосами на прутьях. А ты, стоя пред ним, не правда ли, сделаешь мне любезность и, памятуя, что я занимаю среди детей Египта достойное положение, не станешь осуждающе изображать фараону, отцу этих детей, их нравы такими, какими они видятся твоей вере, это было бы промахом.

— Не беспокойся, господин сын, любимое дитя мое, — отвечал Иаков. — Твой старый отец умеет считаться с мирским величием, ибо и оно тоже от бога. Спасибо тебе за жилище, которое ты предусмотрительно приготовил мне в земле Госен. Туда-то и подастся теперь Израиль, чтобы обдумать все это и внести в сокровищницу своих историй.

Иаков стоит перед фараоном

Мы с удивлением замечаем, что эта история идет к концу, — кто бы подумал, что она когда-нибудь будет исчерпана и закончится? Да по сути, она и не заканчивается, как,

собственно, не начиналась, она просто не может длиться до бесконечности; и поэтому раньше или позже она должна извиниться и закрыть свои повествующие уста. Не имея конца, она должна разумно поставить себе предел; ибо установление предела — это разумный акт перед лицом бесконечности, недаром говорится: «Уступит тот, кто разумнее».

Итак, обладая в общем-то, несмотря на всю неумеренность, выказанную ею при жизни, здоровым чувством меры и цели, наша история начинает готовиться к смерти и к последнему своему часу — как то начал Иаков, когда те семнадцать лет, что ему оставалось прожить, пошли на убыль и он устроил дела своего дома. Семнадцать лет — это срок, который еще дан и нашей истории, вернее, который она сама себе, из чувства разумной меры, дает. Никогда, при всей ее предприимчивости, у нее не было намеренья пережить Иакова — разве лишь ровно настолько, чтобы рассказать еще его смерть. Размеры нашей истории в пространстве и времени достойны патриархов. Старая, сытая жизнью, довольная, что всему есть предел, она вытянет ноги и смолкнет.

Но куда она длится, она будет, не унывая, заполнять свое время, и сразу же на совесть расскажет о том, что все уже знают, — что Иосиф сдержал слово и сначала представил фараону пятерых избранных братьев, а затем официально привел к прекрасному сыну Атона и своего отца Иакова, и патриарх вел себя при этом с большим достоинством, хотя и по мирским понятиям немного надменно. Подробности не замедлят последовать. Об этих аудиенциях Иосиф ходатайствовал перед владыкой благоухания лично, и примечательно то прекрасное знание египетских условий, которое обнаруживает предание своим выбором обозначающих направление слов. В землю Египетскую «спускались»; дети Израиля спустились на госенские пажити. Но, двигаясь в том же направлении дальше, ты уже «поднимался», то есть плыл вверх по реке в сторону Верхнего Египта: именно это, как совершенно правильно сказано, сделал Иосиф: он «поднялся» в Ахет-Атон, город горизонта в Заячьей округе, единственную столицу стран, чтобы известить Гора во дворце, что его, Иосифа, братья и дом его отца явились к нему, и навести Гора на мысль, что нет ничего умней, чем назначить этих опытных пастухов стражами государственного скота в земле Госен. Фараону эта осенившая его мысль доставила удовольствие, и когда пять братьев предстали перед ним, он ее высказал и назначил их собственными своего величества пастухами.

Произошло это немногими днями позднее прибытия в Египет Израиля, как только фараон снова проехал в любимый свой Он и заблистал там на горизонте своего дворца, как блистал, когда к нему впервые привели Иосифа, чтобы тот растолковал его сны. Приезда этого дождались, щадя Иакова, чтобы избавить старика от слишком долгого путешествия к фараонову трону. Иаков находился в то время в доме Иосифа в Менфе, куда прибыл вместе с пятью отобранными для аудиенции сыновьями — двумя отпрысками Лии, Рувимом и Иудой, одним сыном Валлы: Неффалимом, одним — Зелфы: Гаддиилом, и вторым сыном Рахили Бенони-Вениамином. Сопровождая отца, они поднялись в город Закутанного на западном берегу и в дом Возвысившегося; здесь отца разбойника приветствовала девушка Аснат, и к нему привели его египетских внуков, чтобы он познакомился с ними и благословил их. Старик был очень взволнован.

— Господь подавляюще любезен, — сказал он. — Он дал мне увидеть лицо твое, сын мой, на что я и то никак не надеялся, а теперь он мне еще и семья твое позволяет увидеть.

И он спросил старшего мальчика, как его зовут.

— Манассия, — отвечал тот.

— А как зовут тебя? — спросил он затем меньшего.

— Ефрем, — прозвучало в ответ.

— Ефрем и Манассия, — повторил старик, назвав сперва то имя, которое услышал после. Затем он привлек Ефрема к правому своему колену, а Манассию к левому, приласкал их и поправил еврейский их выговор.

— Сколько раз я вам уже говорил, Манассия и Ефрем, — побранил их Иосиф, — чтобы вы произносили так, а не этак.

— Ефрем и Манассия, — сказал старик, — не виноваты. Ты сам стал немного косноязычен, господин сын мой. Хотите ли вы стать множеством народов во имя ваших отцов? — спросил он обоих мальчиков.

— Очень хотим, — ответил Ефрем, заметивший, что ему отдано предпочтение, и уже тогда Иаков благословил их предварительно.

Сразу после этого сообщили, что фараон прибыл в Он, город Ра-Горахте, и Тогда Иосиф с пятью избранниками поехал, а Иакова понесли к нему вниз Если спросят, почему его, почтенного старца, приняли во вторую очередь, а братьев, как то известно, в первую, мы отметим: ради движенья по восходящей линии. Ведь в торжественном строю самое лучшее редко бывает вначале, сперва обычно идет менее значительное, затем то, что получше, а уж потом ковыляет самое достославное, вызывая оглушительные овации и восторги. Спор о том, кому идти первым, стар, но как раз с точки зрения церемониала он всегда неразумен. Первым всегда должно идти меньшее, и честолюбию, помогающемуся этого права, следовало бы с улыбкой потворствовать.

К тому же прием братьев связан был с конкретным, так сказать, деловым вопросом, который нужно было сначала уладить. Краткая же беседа Иакова с юным кумиром представляла собой лишь прекрасную формальность, так что и фараон не знал, с чего начать разговор, и не придумал ничего лучшего, чем спросить патриарха о его возрасте. Беседа с сыновьями отличалась большей продуманностью, но зато, как все почти беседы царя, была в административной своей части заранее подготовлена.

Лебезящие камергеры ввели пятерых братьев в Палату Совета и Опроса, где под украшенным лентами балдахин, окруженный, как статистами, служащими дворца, с жезлом, хлыстом и золотым знаком жизни в руке, сидел молодой фараон. Хотя его резной, по-старинному неудобный престол принадлежал к мебели архаической, Эхнатон ухитрялся сидеть на нем в более чем небрежной позе, поскольку иератическая чинность не вязалась с его идеей любвеобильной естественности бога. Верховные Уста его. Владыка Хлеба, Джепнутеэфонех. Кормилец, стоял рядом, у правого переднего столба затейливого этого сооружения, и следил за тем, чтобы протекавшая при посредничестве толмача беседа шла так, как было намечено.

Установив связь между своими лбами и каменным полом палаты, переселенцы пробормотали не слишком растянутую похвальную речь, которую разучил с ними их брат, составив ее так, чтобы она была достаточно придворной и в то же время не оскорбляла их убеждений. Впрочем, будучи чистым витийством, эта речь не сподобилась даже перевода: фараон сразу же поблагодарил их ломким мальчишеским голосом и прибавил, что Его Величество искренне рад видеть перед своим престолом достопочтенную родню своего Истинного Дарителя Тенистой Сени и Дяди. «Какое ваше занятие?» — спросил он затем.

Отвечал Иуда, — отвечал, что они пастухи скота, кем всегда были также их отцы, и по этой

причине знают толк во всем, что касается скотоводства. В эту страну они явились потому, что у них не стало пастбищ для их скота, ибо в земле Ханаанской свирепствовала дороговизна, и если им дозволено высказать просьбу перед лицом фараона, то они просят разрешить им остаться в Госене, где стоят сейчас их шатры.

На живом лице Эхнатона невольно появилась гримаска, когда переводчик произнес: «пастухи скота». Затем фараон обратился к Иосифу с заранее составленной речью:

— К тебе пришли твои родственники. Страны открыты тебе, им они тоже открыты. Пусть они живут на лучшем месте, пусть они живут в земле Госен. Моему величеству это будет весьма приятно.

И когда Иосиф взглядом напомнил ему, прибавил:

— Кроме того, мой отец в небе внушает Моему величеству одну мысль, которую сердце фараона находит прекрасной: ты, друг мой, лучше, чем кто бы то ни было, знаешь своих братьев и их способности. Поставь же их, по их способностям, над моими стадами там внизу, поставь самых способных из них смотрителями царского скота! Мое величество весьма дружески и любезно приказывает тебе выписать им оклад. Мне было очень приятно.

А потом настала очередь Иакова.

Он вошел торжественно и с большим трудом, нарочно преувеличивая преклонность своих лет, чтобы уравновесить покоряющим достоинством старости Нимродову величественность и несколько не унижить перед нею своего бога. При этом Иаков отлично знал, что придворный его сын не совсем спокоен за его поведение и опасается, что он будет держаться с фараоном надменно, а чего доброго, и заведет речь о козле Биндиди, о чем Иосиф даже по-детски упомянул в предварительных своих наставленьях. Иаков не собирался касаться этого вопроса, но ронять свое достоинство он не был намерен и защищался подавляющим своим возрастом. Кстати сказать, его не только избавили от каких бы то ни было челобитий, не ожидая от него необходимой для этого подвижности, но и решили сделать аудиенцию как можно более краткой, чтобы старику не пришлось долго стоять.

Несколько мгновений они разглядывали друг друга молча — изнеженный сын позднего времени, боговидец, который с любопытством приподнялся в своей золоченой часовенке, нарушив свою сверхудобную позу, — и сын Ицхака, отец двенадцати; они глядели друг на друга, связанные одним и тем же часом и разделенные веками, исстари венценосный мальчик, болезненно пекущийся о том, чтобы выжать из тысячелетий богословской учености розовое масло нежно-мечтательной религии любви, и многоопытный старец, чья стоянка во времени была у исходной точки необозримо далеко идущего становленья. Фараон вскоре почувствовал себя неловко. Он не привык сразу заговаривать с тем, кто стоял перед ним, и ждал предусмотренного этикетом приветственного гимна, которым ему представлялись. К тому же, как мы отлично знаем, Иаков не вовсе пренебрег этой формальностью: известно, что войдя, а также перед своим уходом он «благословил» фараона. Это нужно понимать в самом буквальном смысле: обязательное славословие патриарх заменил формулой благословенья. Он поднял не обе руки, как перед богом, а только правую и простер ее, почтено дрожавшую, к фараону, словно бы по-отечески осеняя ею издали голову юноши.

— Да благословит тебя господь, царь земли Египетской, — сказал он голосом глубокой старости.

На фараона это произвело очень большое впечатление.

— Сколько же тебе лет, дедушка? — спросил он удивленно.

Тут Иаков снова впал в преувеличение. Известно, что он определил число своих лет цифрой сто тридцать — а это совершенно случайный ответ. Во-первых, он вообще не знал так точно своего возраста — в его местах и поныне обходятся без ясных представлений на этот счет. А кроме того, мы знаем, что всего Иакову отпущено было сто шесть лет жизни — долголетие не сверхъестественное, хотя и чрезвычайное. Следовательно, тогда он еще не дожил до девяноста и был даже очень крепок для столь почтенного возраста. И все же этот возраст давал ему возможность облечь себя перед фараоном величайшей торжественностью. Жесты его были под стать слепцу и пророку, обороты речи выпендренны. «Дней странствования моего сто тридцать лет, — сказал он и прибавил: — Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их».

Фараон содрогнулся. Ему суждено было умереть молодым, чему нежная природа его не противилась, и такие сроки жизни поистине ужаснули его.

— Бог ты мой! — сказал он с каким-то даже унынием. — И ты всегда жил в Хевроне, дедушка, в горемычном Ретену?

— По большей части, дитя мое, — ответил Иаков, и плоные статисты по обе стороны балдахина оцепенели от неожиданности, а Иосиф увещевающе покачал головой, глядя на отца.

Тот отлично это видел, но притворился, что ничего не заметил, и, упрямо не отступаясь от темы подавляющих сроков, прибавил:

— Дней Хеврона, как утверждают мудрецы, две тысячи триста лет, и не достиг до лет его Мемпи, могильный город.

Снова Иосиф быстро покачал головой, глядя на него, но старика это нимало не беспокоило, да и фараон проявил большую уступчивость.

— Может быть, дедушка, может быть, — поспешил он ответить. — Но как мог ты назвать несчастными дни своей жизни, если родил сына, которого фараон любит, как свет своих глаз, и выше которого в обеих странах нет никого, кроме владыки венцов.

— Я родил двенадцать сыновей, — отвечал Иаков, — и этот был один из их числа. Проклятие в их среде — как благословенье, а благословенье — как проклятие. Иные отвергнуты, но остаются избранниками. А один хоть и избран, остается любовно отвергнутым. Потеряв его, я должен был его найти, а найдя, потерять. На высокое подножие выходит он из круга рожденных, но вместо него туда входят те, которых он мне родил, один впереди другого.

Фараон слушал эту сивиллину речь, которую перевод делал еще более темной, с открытым ртом. Ища помощи, он поглядел на Иосифа, но тот не поднимал глаз.

— Ну, да, — сказал он. — Ну, конечно, дедушка, ясное дело. Хороший и мудрый ответ, который фараону воистину приятно услышать. Но довольно тебе утруждать себя, стоя перед Моим величеством. Ступай с миром и живи, покуда это тебя хоть сколько-нибудь радует, живи еще несметное множество лет вдобавок к твоим ста тридцати!

А Иаков и в заключение благословил фараона простертой рукой, после чего, ни на йоту не уронив своего достоинства, торжественно удалился утомленной походкой.

## О плутоватом слуге

Дадим-ка сейчас надежный разбор административной деятельности Иосифа, чтобы раз навсегда лишить всякой почвы полукомпетентные разговоры по этому поводу, никогда не стихавшие и часто вырождавшиеся в ругань и поношения. В этих кривотолках, из-за «которых правление Иосифа не раз называли даже „гнусным“, виновато — нельзя не отметить этого — в первую очередь самое раннее изложено; нашей истории, так непохожее своим лаконизмом на ее первоначальное самоизложение, то есть на действительный ее ход.

Первое его описание сводит действия великого фараонова дельца к суровым и сухим цифрам, не дающим никакого представления о всеобщем восторге, который его действия вызывали в оригинале, и не объясняющим этого восторга, неоднократно переходившего в обожествление и, благодаря мечтательно-буквальному пониманию таких, например, титулов, как «Кормилец» или «Владыка Хлеба», заставлявшего широкие толпы народа видеть в нем некое нильское божество и даже олицетворение самого Хапи, хранителя и дарителя жизни.

Эта мифическая популярность Иосифа, к которой его естество, пожалуй, всегда стремилось, основывалась прежде всего на переливчатой смешанности, на улыбочивой двойственности его мероприятий, направленных как бы в две противоположные стороны и на очень личный манер, с магическим остроумием, связывавших разные задачи и цели. Мы говорим об остроумии, потому что в маленьком космосе нашей истории этот принцип занимает определенное место и уже на ранних порах было замечено, что остроумие обладает природой гонца на посылках и ловкого посредника между противоположными сферами и влияниями: например, между властью Солнца и властью Луны, между отцовским наследством и материнским, между благословением дня и благословением ночи и даже, чтобы выразить это прямо и в полном объеме, между жизнью и смертью. В стране, где гостил Иосиф, в стране Черной земли, это расторопно-легкое, примирительно-веселое посредничество еще не нашло настоящего воплощения в каком-либо божестве. Ближе всего к такому воплощению был Тот, писец и поводырь мертвых, изобретатель всевозможных уловок. Лишь у фараона, которому все божественное доставлялось издалека, были сведения о более завершенной разновидности божественного этого образа, и милостью, которую Иосиф снискал у царя, он был обязан преимущественно тому обстоятельству, что фараон узнал в нем черты плутоватого сына пещеры. Владыки проделок, и по праву сказал себе, что никакой царь не может желать ничего лучшего, чем иметь министром проявление и воплощение этой выгодной идеи божества.

Дети Египта познакомились с крылатой этой фигурой через Иосифа, и если они не приняли ее в свой пантеон, то лишь потому, что соответствующее место уже занимал Джхутн, белая обезьяна. Религиозный их кругозор знакомство это все же расширило, особенно благодаря тому веселому изменению, которое претерпевала в данном случае идея колдовства и которое само по себе было уже способно вызвать мифотворческое изумление этих детей. С колдовством у них всегда связывалось представление о чем-то нешуточно-страшном, тревожном: надежно предотвратить беду, неприступно от нее защититься — в этом заключался для них смысл всякого волшебства, отчего и спекуляция Иосифа хлебом, и его островерхие зернохранилища были окружены для них ореолом волшебства. Но уж вовсе волшебной показалась им встреча

предусмотрительности и беды, вернее сказать, хватка, с какой Даритель Тенистой Сени, благодаря мерам предосторожности, веревки вил из беды, извлекал из нее прибыль и выгоду, ставил ее на службу целям, которых у непроходимо глупого, занятого лишь опустошением дракона и в мыслях не было, — волшебной на непривычно веселый, хоть смейся, лад.

В народе и правда много смеялись — и смеялись восхищенно — над тем, как Иосиф, хладнокровно играя на ценах, когда дело касалось богатых и знатных, заботился о том, чтобы его господин, Гор во дворце, стал золотым и серебряным, и наполнял фараонову казну огромными ценностями, вырученными за проданное имущим зерно. В этом сказывалась проворно-услужливая преданность божества, олицетворяющего всякое беззаветное, прибыльное для господина служенье. Но рука об руку с этим шло даровое распределение хлеба среди голодающей бедноты городов, — распределение от имени юного фараона, богомечтателя, что приносило тому столько же и даже больше пользы, чем озлащенье. Это слияние социального попечительства с государственной политикой казалось очень новым, веселым и хитроумным, хотя всю прелесть его на основании первого изложения нашей истории представит себе разве лишь тот, кто умеет вникать в каждое слово и читать между строк. Связь этого изложения с его оригиналом, то есть самоизложением нашей истории на языке действия, обнаруживается в некоторых грубых оборотах явно комического звучанья, которые кажутся сохранившимися остатками народного фарса и сквозь которые проглядывает характер первоосновы. Так, бедствующие кричат Иосифу: «Хлеба дай нам! Умирать нам перед тобой, что ли? Деньги вышли!» — очень вульгарный оборот речи, не встречающийся больше нигде во всем Пятикнижии. А Иосиф ответил на это в том же стиле, а именно: «Давайте сюда ваш скот! Тогда получите». В таком тоне нуждающиеся и великий хлеботорговец фараона переговоры, само собой разумеется, не вели. Но эти обороты речи равнозначны воспоминанию о том, в каком настроенье переживал упомянутые события народ — в настроении комедийном, без малейшей тени моральных мук.

Тем не менее упрека в эксплуататорской жестокости почтенный реферат от действий Иосифа не отвел и заставил людей нравственно строгих заклеить их проклятьем. Это понятно. Мы узнаем, что в течение голодных лет Иосиф сначала прибрал к рукам, то есть собрал в казну фараона, все серебро, какое было в стране, затем взял в залог весь скот и, наконец, отнял у людей землю, прогнал их с насиженных мест, произвольно переселил и сделал государственными рабами в чужих краях. Хотя это и неприятно слышать, но на поверку дело обстояло совершенно иначе, как то недвусмысленно явствует опять-таки из некоторых насыщенных воспоминаниями мест отчета. Читаем: «И давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их». Однако перевод этот неточен, он не передает одного оттенка, о котором оригинал заботится. Вместо слова «снабжал» там стоит слово, означающее «направлять», и «направлял их, — следует читать, — хлебом за их имущество в тот год», — выражение своеобразное, и выбрано оно с умыслом; оно взято из пастушеского словаря и переводится «оберегать», «пасти», обозначая заботливый и кроткий уход за беспомощными существами, особенно за легко приходящим в смятенье стадом овец; и для тех, у кого на мифы слух острый, это броское и, как формула, точное слово приписывает сыну Иакова роль и качества доброго пастыря, который оберегает народы, пасет их на зеленом лугу и выводит к свежей воде. Здесь, как и в тех скоморошеских оборотах, проступает краска подлинника; странный этот глагол «направлять», прокрававшийся в повествование как бы из самой действительности, выдает, в каком свете виделся народу великий фаворит фараона; сужденье народа очень отличалось от того приговора, которым нынешние моралисты государственности считают нужным осудить Иосифа, ибо «оберегать», «пасти» и «направлять» — это действия бога, известного как «владыка подземной овчарни».

В фактических данных текста ничего не нужно менять. Продавая хлеб имущим, то есть князькам и крупным землевладельцам, считавшим себя ровней царям, по неумеренным конъюнктурным ценам, Иосиф стягивал «деньги», вернее, меновые ценности, в царскую казну, так что «денег» в узком смысле слова, то есть благородного металла всех видов, у этих людей вскоре не стало; «денег» же как чеканной монеты не существовало вообще, и с самого начала к взимавшимся за зерно ценностям относились и все виды скота — никакой очередности, никакой градации тут не было, и изложение, которое дает право подумать, будто «безденежье» этих людей Иосиф использовал для того, чтобы отнять у них лошадей, крупный скот и овец, оставляет желать лучшего. Скот тоже деньги; он даже преимущественно представляет собой деньги, что явствует и из современного ученого словечка «пекуниарный»; и даже еще раньше, чем своими золотыми и серебряными сосудами, имущие платили своим крупным и мелким скотом — о котором, кстати, не сказано, что он целиком, до последней коровы, перешел в фараоновы загоны и стойла. В течение семи лет Иосиф строил не загоны и стойла, а зернохранилища, и для всего равнозначного деньгам скота у него не нашлось бы ни места, ни применения. Кто не слышал о таком экономическом явлении, как «ссуда под заклад», тому, конечно, в подобной истории не разобраться. Скот отдавался в залог или закладывался — кому какое выражение по вкусу. По большей части он оставался на усадьбах и в поместьях, но переставал принадлежать своим хозяевам в старом смысле слова. То есть он и был, и в то же время не был уже их собственностью, он был ею лишь условно и обременительным образом, и если чего недостает первому изложению, так это вот чего: оно не создает впечатленья, — а впечатленье это очень существенно, — что все действия Иосифа были направлены на то, чтобы заколдовать понятие собственности и перевести его в неопределенное состояние владенья и невладенья, владенья ограниченного и заимообразного.

А поскольку годы засухи и плачевного мелководья множились, поскольку царица урожаев по-прежнему отворачивала грудь, почки не распускались, хлеб не рос, материнское лоно не раскрывалось и не дарило жизни детям земли, — то дело и вправду, в полном соответствии с текстом, дошло до того, что большие части Черной земли, еще остававшиеся дотоле в частных руках, перешли во владение царской казны, о чем и передано словами: «И купил Иосиф всю землю Египетскую для фараона, потому что продали Египтяне каждый свое поле». За что? За семенное зерно. Учителя сходятся на том, что случиться это должно было к концу полосы голода, когда тиски бесплодия уже немного разжались, когда дела водные пришли опять в сносную норму и поля, если бы их можно было засеять, уродили бы хлеб. Отсюда и слова просителей: «Для чего нам погибать в глазах твоих, и нам и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб; и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть и чтобы не опустела земля!» — Кто это говорит? Это связная речь, а не крик толпы. Это предложение, деловое предложение, сделанное отдельными лицами, определенной группой, определенным, дотоле весьма непокорным, даже мятежным классом людей, крупнопоместными князьями, которым фараон Ахмос, в начале династии, давал такие громкие титулы, как «Первый царский сын богини Нехбет», и вынужден был предоставлять право независимого владенья огромными латифундиями, — предложение по старинке строптивых феодалов, чье пережиточное, мешавшее объединенью земель существование давно уже было для нового государства бельмом на глазу. Политик Иосиф воспользовался случаем, чтобы приноровить к требованиям времени этих гордых бар. Экспроприация и переселенье, о которых нам сообщается, касались в первую очередь их: то, что происходило при этом решительном и мудром министре, было не чем иным, как ликвидацией еще имевшегося крупного землевладенья и заселением более мелких поместий крестьянами-арендаторами, ответственными перед государством за обработку, ирригацию и орошенье земель на уровне века; это было, следовательно, более равномерным распределеньем земли между народом и улучшением, благодаря правительственному надзору, агрикультуры.

«Первые царские сыновья» сплошь да рядом становились именно такими крестьянами-арендаторами или перебирались в город; сельские хозяева сплошь да рядом переселялись с полей, о которых они дотоле заботились, в новонарезанные поместья помельче, а прежние владенья переходили в другие руки; и если эти перемещенья были в ходу и вообще если сообщается, что владыка хлеба «распределял» людей по городам, то есть по пригородным сельским округам, переселяя их с места на место, то в основе этого был хорошо продуманный воспитательный умысел, связанный как раз с тем преобразованием понятия собственности, которое одновременно сохраняло и уничтожало его.

Это существенное условие государственной семенной ссуды означало, собственно, дальнейшее взимание «прекрасной пятой части» — того самого оброка, благодаря которому Иосиф в тучные годы накопил те волшебные запасы, откуда он теперь черпал, — это было закрепление установленного тогда оброка на будущее, его увековечение. Надо, однако, иметь в виду, что этот налог, если не считать упомянутого переселенья, был единственной формой, в которой выразилась «продажа» полей вместе с их владельцами — поскольку владельцы предлагали как товар и себя. Никем до сих пор не было по достоинству оценено то, что самопродажей хозяев, на которую те, чтобы не погибнуть, решились, Иосиф воспользовался лишь в очень символической степени, что слов «рабство» и «крепостная зависимость», по понятным причинам ему не нравившихся, он лично вообще не употреблял и что отсутствие прежней «свободы» земли и людей выражалось при нем лишь в неукоснительной выплате пятой части, то есть в том, что снабжаемые семенами работали уже не только на самих себя, но частично и на фараона, иными словами — на государство, на общественную погребу. В этой мере, следовательно, труд их был барщиной крепостных — так вольно определять его каждому поборнику человечности и гражданину гуманного нового времени, который готов, по законам логики, отнести это определение и к себе самому.

Оно отдает, однако, преувеличением, если разобраться в мере зависимости, навязанной Иосифом этим людям. Принуди он их отдавать три четверти или хотя бы половину их продукции, для них было бы ощутительнее, что они уже не принадлежат себе, а их поля — им. Но двадцать из ста — даже при самой злой воле нельзя не признать, что это значит держать эксплуатацию в известных границах. Четыре пятых урожая оставалось им на новый посев и на то, чтобы прокормить себя и своих детей, — нас простят, если мы, лицом к лицу с этим обложением и положением, говорим лишь о намеке на рабство. Тысячи лет звучат благодарственные слова, которыми приветствовали подъяремные своего угнетателя: «Ты спас нам жизнь; да обретем милость в очах твоих, и да будем рабами фараону!» Чего уж больше? Но если нужно еще больше, то да будет известно, что сам Иаков, с которым Иосиф не раз эти дела обсуждал, решительно одобрял установленный оброк, имея в виду, впрочем, именно его размеры, а не то, кому он предназначался. Когда он, говорил Иаков, станет множеством народов, которому придется поставить устав, сельские жители должны будут считать себя тоже лишь управляющими своей землей и тоже отдавать пятую часть — но никакому не Гору во дворце, а Иагве, единственному царю и господину, которому принадлежат все поля и который дает напрокат всякую собственность. Но он, Иаков, понимает, конечно, что, управляя миром язычников, обособленный господин сын должен решать эти вопросы по-своему. А Иосиф улыбался.

Так вот, в сознании плательщиков мысль о вечной выплате оброка не вязалась с их пребыванием на прежних, наследственных землях. Как раз из-за своей мягкости эта мера была неспособна разъяснить им новое положение и заставить их согласиться с ним. Это и послужило причиной такой меры, как переселенье: оно было желательной добавкой к обложению налогом, ибо одного обложения не хватило бы, чтобы сделать наглядной для сельских хозяев «продажу» их собственности и дать им по-настоящему

почувствовать их новое отношение к ней. Земледелец, оставшийся на своем давнишнем клочке земли, не мог бы расстаться с преодоленными взглядами и в один прекрасный день, чего доброго, по забывчивости восстал бы против притязаний казны. Если же он покидал свою усадьбу, а взамен получал из рук фараона другую, то ленный характер владенья становился много нагляднее.

Самое любопытное, что владенье при этом оставалось владеньем. Признаком личной и свободной собственности является право продажи и наследования, а Иосиф сохранил это право. Во всем Египте земля принадлежала отныне фараону, но при этом ее можно было продавать и передавать по наследству. Недаром мы говорили, что мероприятия Иосифа заколдовали понятие собственности, что они поставили это понятие в неопределенное положение: внутренний взгляд, устремленный к идее «владенье», расплывался и увязал в двусмысленности. То, что пытался он охватить, не было ни отменено, ни разрушено, но оно представало в двойном свете утвержденья и отрицанья, исчезновенья и сохранности, и все только глазами моргали, пока не освоились. Экономическая система Иосифа была поразительным сочетанием обобществленья и свободы отдельного собственника, смесью, которая казалась плутовской и воспринималась как плод усилий некоего лукавого посредника-бога.

Предание подчеркивает, что эта реформа не распространялась на земли храмов: пользовавшееся государственной дотацией жречество многочисленных святынь, особенно же угодья Амуна-Ра, оставались в неприкосновенности и от налога освобождались. «Только земли жрецов, — читаем мы, — не купил». И это тоже было мудро, если мудрость — это граничащий с плутовством ум, который умеет вредить врагу по сути дела, оказывая ему уваженье по форме. Щадить Амуна и меньшие местные божества фараон, безусловно, не был настроен. Он был бы рад увидеть карнакского бога до нитки обобраным и по-мальчишески спорил из-за этого со своим Дарителем Тенистой Сени, который, однако, пользовался поддержкой маменьки, матери бога. С ее одобренья Иосиф продолжал щадить приверженность маленького человека к старым богам страны, его пиетет, который фараон, во имя ученья о своем отце в небе, готов был начисто уничтожить, и другими, не подвластными Иосифу средствами уничтожить пытался, не понимая в своем усердии, что народ примет облагораживающую новь гораздо податливей, если ему одновременно разрешат держаться за его привычно-старинные верования и культы. Что касалось Амуна, то Иосиф счел бы величайшей глупостью создать у овноголового впечатленья, что вся эта аграрная реформа направлена против него и задумана как средство его разжалования, ибо это побудило бы его подстрекать против реформы народ. Куда лучше было успокоить Амуна жестом почтительности и вежливости. События всех этих лет, изобилие, меры предосторожности и спасенье народа существенно укрепили фараона и его религиозный авторитет, а богатства, которые Иосиф, благодаря продаже зерна, добыл и все еще продолжал добывать Великому Дому, наносили косвенно такой ущерб имперскому богу, что реверанс перед его традиционной свободой от обложенья оборачивался чистой иронией и светился той самой улыбкой, которую видел народ во всех решительно действиях своего пастыря. Даже тот козырь, какой давало суровому карнакскому богу безусловное миролюбие фараона, его категорическое неприятие войны, был отнят у Амуна или, во всяком случае, потерял прежнюю силу благодаря введенной Иосифом системе ссуд и залогов, которая хоть временно сдерживала дерзость, вызываемую у рядового человечества мягкой и не склонной к насилью властью. Велики были опасности, уготованные кротостью позднего наследника царству Тутмоса-завоевателя, ибо вскоре по государствам пошла молва, что уже не железный Амур-Ра задает тон в земле Египетской, а ласковое, похожее не то на цветок, не то на птенца божество, которое ни за что не обагрит кровью меч царства, так что не натянуть нос этому божеству было бы противно здравому смыслу. Тенденция к неповиновенью, к отложенью, к измене распространялась. Волновались обложенные данью восточные провинции от страны

Сеир до Кармела. Несомненно было стремление сирийских городов добиться независимости, опираясь на воинственно рвавшееся на юг Хатти, а одновременно дикари-бедуины востока и юга, тоже прослышавшие, что теперь царит добросердечие, поджигали, а порой и захватывали эти фараоновы города. Ежедневные призывы Амуна к энергичному применению силы, преследовавшие, правда, прежде всего внутривосточные цели и направленные против «ученья», были, таким образом, внешнеполитически вполне оправданны, и этот досадно убедительный довод в пользу героического старого и против утонченного нового заставлял фараона очень тревожиться о своем отце в небе. Голод же с Иосифом пришли ему на помощь; они значительно ослабили амуновскую агитацию, сковав шатких азиатских царьков экономическими цепями, и хотя проявлено тут было, пожалуй, больше целеустремленной непреклонности, чем атоновской кротости, все же не следует переоценивать этой суровости, памятуя, что она позволила фараону не обагрять меч. Вопли тех, кто оказывался привязан к фараонову престолу золотыми цепями, бывали часто достаточно пронзительны, чтобы дойти до нас, нынешних, но в общем они не вызывают у нас мук сострадания. Конечно, за хлеб в Египет посылали не только серебро и лес, туда посылали заложниками и своих молодых сограждан, — жестокость, спору нет, и все же она не разрывает нам сердце, тем более что, как нам известно, дети азиатских князей бывали превосходно устроены в аристократических интернатах Менфе и Фив и получали там лучшее воспитание, чем то, на какое могли рассчитывать у себя на родине. «Нет больше, — звучало и поныне звучит еще, — их сыновей, их дочерей и деревянной утвари их домов». Но о ком это говорилось? О Милкили, к примеру, ашдодском князе; а о нем нам известно кое-что, указывающее на то, что его любовь к фараону была не слишком надежна и очень даже нуждалась в таком подкреплении, как пребывание в Египте его детей и супруги.

Короче говоря, мы не можем заставить себя усмотреть во всем этом признаки изоцированной жестокости, которой не было в характере Иосифа, и склонны, скорее, вместе с народом, который он «направлял», видеть в этом улыбочивые уловки какого-то умного и услужливо-ловкого божества. Так воспринималась деятельность Иосифа всеми не только в Египте, но и далеко за его рубежами. Она вызывала смех и восхищение, — а чего лучшего ждать от людей человеку, чем восхищение, которое, связывая души, одновременно освобождает их и веселит?

### Из послушанья

Слушая то, что остается еще рассказать, нужно с чувством реальности учитывать возраст лиц, участвовавших в этих событиях, — возраст, превратные представления о котором не раз создавали у широкой публики песня и живопись. Это, впрочем, не относится к Иакову, которого в смертный его час всегда изображают древним и почти слепым стариком (за последние годы зрение его и в самом деле заметно ухудшилось, чем Иаков до некоторой степени дорожил, пользуясь этим для вящей торжественности своего вида и беря за образец слепого дарителя благословенья — Исаака). Что же касается Иосифа и его братьев, а также его сыновей, то утвердившееся мнение склонно задерживать их на определенной ступени возраста и продлевать их молодость, никак не соотнося этих поколений с глубокой старостью их патриарха.

Наш долг — внести необходимую поправку и, не довольствуясь сказочной расплывчатостью, указать на то, что лишь смерть, то есть противоположность всякого повествующего бытия, обеспечивает сохранность и неизменность, тогда как предмет повествования и участник истории не может в ходе ее не делаться старше, и притом быстро. Да ведь мы сами, развертывая эту историю, стали значительно старше — вот нам

и лишняя причина стремиться к ясности в этом вопросе. Нам тоже, конечно, приятнее было рассказывать об очаровательном семнадцатилетнем или даже о тридцатилетнем Иосифе, чем повествовать теперь о человеке добрых пятидесяти пяти лет; и все-таки наш долг перед жизнью и перед прогрессом — призывать вас к верности правде. Покуда почитаемый и опекаемый детьми и внуками Иаков прибавлял к своим годам в округе Гошен еще семнадцать, чтобы достичь крайне почтенного, но еще не противоестественного возраста ста шести лет, обособленный любимец его. Исключительный Друг Фараона, превратился из зрелого мужчины в стареющего, чьи темные волосы и борода, если бы он первых не стриг и не прикрывал дорогим париком, а второй, по местному обычаю, наголо не сбрасывал, оказались бы с сильной проседью. Можно, однако, прибавить, что черные глаза Рахили сохранили тот приветливый блеск, который всегда доставлял удовольствие людям, и что вообще его таммузовский атрибут — красота — оставался, подобающе преобразившись, верен ему — верен благодаря двойному благословенью, чьим сыном он всегда слыл: благословен он был не только свыше, не только остроумием, но и из бездны, что лежит долу и питает росток материнской радостью жизни. Таким натурам нередко выпадает на долю даже вторая молодость, до некоторой степени возвращающая внешний облик к пройденным уже стадиям жизни; и если в иных кривых зеркалах искусства Иосиф, стоящий у смертного одра Иакова, все еще сохраняет юношеское обличье, то такие изображения не совсем не соответствуют правде, поскольку за десять — пятнадцать лет до того первенец Рахили действительно был уже гораздо грузней и тучней, а к этому времени снова решительно приобрел стройность и походил на себя двадцатилетнего больше, чем на себя же сорокалетнего.

Но уж никак нельзя не назвать совершенно безответственными и безрассудными некоторых фантазмагорий кисти, где сыновья Иосифа, молодые мужчины Манассия и Ефрем, предстают перед зрителями в сцене благословенья их умирающим дедом кудрявыми семи— или восьмилетними мальчиками. Ясно же, что они были тогда инфантоподобными кавалерами двадцати с лишним лет, в щегольски зашнурованной и украшенной лентами придворной одежде, в остроносых сандалиях и с камергерскими опухалками, и непонятную вообще-то бездумность этих картин можно извинить разве что несколькими мечтательными оборотами раннего текста, по смыслу которых Иаков взял внуков на колени или, вернее, Иосиф снял их с колен старика, после того как тот «поцеловал их и обнял их». Такое с ними обращение было бы довольно неприятно этим молодым людям, и очень жаль, что из-за своей тенденции остановить время для большинства лиц нашей истории, а зато Иакова сделать преувеличенно старым — стосорокасезимлетним! — первоисточник дает повод для таких вздорных представлений.

Мы сейчас наглядно покажем, как проходил этот визит, второй из трех, нанесенных Иосифом отцу в последние годы его жизни. Бросим только сначала короткий взгляд на предшествующие семнадцать лет, в течение которых дети Израиля, приживаясь в земле Госен, пасли, стригли и доили овец, вели торговлю, дарили Иакову правнуков и собирались стать множеством народов. Никогда нельзя будет сказать с полной определенностью, сколько, собственно, из этих семнадцати лет пришлось еще на мякинное семилетие, потому что ведь так и не выяснено, было ли оно семилетием или «всего» пятилетием. (Мы берем это «всего» в насмешливые кавычки, ибо прекрасной значительностью пятерка несколько не уступает семерке.) Как уже говорилось, колебания в определении сроков бедствия внесли некоторую неопределенность в эти подсчеты. На шестом году, в священное время года. Кормилец поднялся у Менфе не менее чем на пятнадцать локтей, и, попеременно краснея и зеленея, как то с ним обыкновенно случается, когда дела его хороши, обильно отложил тук — но лишь с тем, чтобы на следующий год снова оказаться совершенно истощенным и слабым, так что осталось спорным, следует ли причислять эти два к их пяти костляво-тощим предшественникам, как шестой и седьмой, — или нет. Во всяком случае, к тому времени,

когда этот вопрос обсуждался во всех храмах и на каждом углу, аграрная реформа Иосифа была уже завершена, и, продолжая хозяйничать на своей земле в звании Верховных Уст фараона, он пас своих овец и остригал их на одну пятую.

Нельзя сказать, что отца и братьев он видел при этом очень уж часто. По сравнению с прежним, они жили близко от него, но все-таки между городом Закутанного, его резиденцией, и их местожительством расстояние было немалое, а он был перегружен административными делами и придворными обязанностями. Связь с родственниками была гораздо слабее, чем можно заключить на основании трех последних, быстро следовавших один за другим посещений отца, но в доме Иакова никто на это не сетовал, все молча принимало это как должное, и такое молчанье было очень красноречиво, в нем выражалось не только понимание внешних помех. Кто внимательно вслушивался в тихий разговор Иакова и первенца Рахили при встрече после долгой разлуки, сумеет придать обоюдной их сдержанности — ибо она была обоюдна — тот суровый и слегка грустный смысл, который ей подобал: смысл послушания и отказа. Иосиф был обособлен, он одновременно возвысился и отступил, — отделенный от племени, он не должен был стать племенем. Судьба миловидной его матери, судьба, имя которой было «отвергнутая готовность», повторялась в его случае видоизмененно и называлась иначе: «отказывающая любовь». Это было понято и принято, и в первую очередь сознанием этого, а не расстоянием и занятостью, объяснялась та сдержанность, о которой идет речь.

Взять хотя бы слова, с какими Иаков обратился к Иосифу, чтобы высказать некую просьбу, взять хотя бы эту цветистую фразу: «Если нашел я благоволение в очах твоих», — это же почти охлаждающий, почти постыдный образец подчеркнутой дальности, установившейся между отцом и сыном, между Иосифом и Израилем, и вспоминается, как вспоминался он Иакову, тот ранний сон на току, где вместе с одиннадцатью кокабимами перед сновидцем склонились и согнулись также луна и солнце. У братьев эти сны вызвали смертельную грусть и ненависть и толкнули их на злодеяние, за которое им пришлось тяжело расплачиваться. Но странно подумать, — а они тоже молча об этом думали, — что злодеяние это выполнило свою задачу и что они все-таки своего добились. Ведь хотя все приняло самый неожиданный оборот и хотя они лежали на брюхе перед тем, кто стал первым внизу, — продали они его все-таки не напрасно, то есть не только в мир, но и миру, — к миру он и отошел, а наследие, которое произвольно предназначал ему одержимый своим чувством отец, Иосифу не досталось: от Рахили, возлюбленной, оно перешло к Лии, постылой. А разве за это не стоило немного поклоняться и погнуть спину?

«Если нашел я благоволение в очах твоих» — слова эти Иаков сказал дорогому своему отчужденцу в первое из тех трех посещений, чувствуя, что жизнь его идет на убыль и давно вступила в ту последнюю, лишь утомленно, красновато и запоздало маячащую под горизонтом четверть, за которой — полная темнота. Он не был тогда болен и знал, что конец еще не так скоро. Но, умея оценивать свои силы и верно определяя, сколько их у него осталось, он знал, что хоть времени у него еще немного и есть, пришло уже время сделать одно свое настоящее желанье настоящим желаньем того, кому только и было под силу его исполнить.

Поэтому он послал за Иосифом. Кого же послал он? Неффалима, разумеется, прыткого сына Валлы; ибо прыткость ног и языка Неффалим все еще сохранял, сохранял несмотря на свои годы, упомянуть о которых надо потому, что и возраст братьев предание окутывает покровом безразличья. Если разобраться, то возраст их колебался между сорока семью годами и семьюдесятью восемью, — причем от третьего по младшинству, родившегося перед Иосифом Завулону, которому было шестьдесят восемь, малыш Вениамин отставал не менее чем на двадцать один год. Об этом упоминается уже здесь, чтобы потом, когда Иаков соберет вокруг себя в последний свой час, чтобы проклясть их

и благословить, своих сыновей, вы не воображали, будто шатер был заполнен молодыми людьми. Повторяем, однако, что жилистость своих длинных ног, болтливую юркость своего языка, а также потребность уравнивать знание на земле и разносить новости Неффалим в свои семьдесят пять лет сохранил почти полностью.

— Мальчик, — сказал Иаков крепкому этому старику, — сходи отсюда в большой город, где живет мой сын, друг фараона, явись к нему и сообщи ему: «Иаков, отец наш, хочет поговорить с твоей милостью по важному делу». Не пугай его, чтобы он не подумал, что я уже умираю. Напротив, скажи ему: «Наш старик-отец в Госене чувствует себя, по его годам, хорошо и еще не думает умирать. Но он считает, что пришел час обсудить с тобой одно дело, которое касается его самого, хотя и не укладывается в пределы его жизни. А потому соблаговоли пожаловать к его постели, где он уже — правда, сидя — большей частью и пребывает, находясь в доме, который ты приготовил ему!» Ступай, мальчик, поскорее, и скажи ему это!

Неффалим мигом повторил поручение и отправился в путь. Если бы ему не понадобилось на дорогу нескольких дней, поскольку он шел пешком, Иосиф явился бы сразу. Ибо тот приехал в коляске, с небольшой свитой и со своим дворецким Маи-Сахме, который придавал слишком большое значение участию в этой истории, чтобы не сопровождать добровольно своего господина. Но вместе с другими домочадцами Иосифа он ждал снаружи, когда тот был один у отца в шатре, в благоустроенной жилой и спальней комнате дома, ставшей теперь тем четырехугольником, в который сжалась такая вообще-то просторная арена нашей истории. Ибо там, в глубине этого покоя, в постели или возле нее, проводил Иаков последние дни своей жизни, а ходил за ним Дамасек, сын Елиезера и сам названный Елиезером, одетый в белую, подпоясанную рубаху, еще моложавый, несмотря на свою окаймленную венком седых волос лысину, человек.

Он приходился, собственно, племянником Иакову, ибо Елиезер, учитель Иосифа, был, если трезво разобраться, сводным братом благословенного от какой-то служанки. Занимал он, однако, положение слуги, хотя и более высокое, чем прочая челядь; подобно своему отцу он называл себя Старшим Рабом Иакова и управлял его домом, как Иосиф — домом фараона, а комендант Маи-Сахме — домом Иосифа. Он вышел к коменданту, доложив отцу о прибытии сына, и беседовал с ним как равный с равным.

Войдя к отцу, правитель Египта опустил на колени и коснулся лбом войлока и ковра пола.

— Не надо так, сын мой, не надо, — запротестовал Иаков, сидевший с укутанными меховым одеялом коленями в глубине комнаты на своем ложе, между глиняными светильниками на деревянных подставках. — Мы находимся в мире, величие которого этот верующий старик слишком чтит, чтобы согласиться на такие почести с твоей стороны. Добро пожаловать ко мне, немощному от старости, которого оправдывает осторожность, если он не идет навстречу тебе, возвысившийся мой агнец, с отцовской почтительностью! Возьми скамеечку и сядь рядом со мной, милый, — Елиезер, Старший мой Раб, мог бы и сам поставить ее тебе, впустив тебя, — он не то что его отец, сват, которому земля скакала навстречу, и не стал бы для меня тем, чем был тот во время кровавых слез. О каком времени я говорю? О том времени, когда ты пропал. Тогда он вытирал мне лицо влажным платком и любя выговаривал мне за невольные мои роптанья на бога. А ты был жив... Спасибо за твой вопрос, я чувствую себя хорошо. Мальчику Неффалиму, сыну Валлы, было поручено заверить тебя, что я призываю тебя не к смертному своему одру, — то есть оно будет смертным моим одром, это ложе, и качество это оно постепенно приобретает, но оно еще не обладает им в полной мере, ибо некоторые силы у меня еще есть и умереть я собираюсь еще не сейчас: до моей смерти ты успеешь еще раз-другой возвратиться отсюда в свой египетский дом и к делам

государственным. Однако оставшимися у меня силами я намерен и обязан распоряжаться осмотрительно и расходовать их в меру и бережливо, ибо они еще понадобятся мне в разных случаях, особенно напоследок, и мне следует скупиться на слова и движенья. Поэтому, сын мой, этот наш разговор будет краток и ограничится самым необходимым и важным — тратиться на лишние слова значило бы идти против бога. Возможно даже, что я уже сказал кое-что лишнее. Когда же я выскажу единственно важное, изложив это тебе в виде настойчивой просьбы, ты, если время твое позволит, посиди еще часок тихонько у будущего моего смертного одра, только чтобы нам быть рядом, не заставляя меня тратить силы на разговоры. Я молча склоню на твое плечо голову и буду думать, что это ты и о том, как родила мне тебя в Месопотамии в сверхъестественных муках единственно-праведная, как я потерял тебя и в известной мере снова обрел благодаря чрезвычайной доброте бога. А когда ты родился при вершинном солнце и лежал в подвесной колыбели, рядом с девой, что пела задыхающуюся песню изнеможенья, вокруг тебя было какое-то приветливое сиянье, значенье которого я сумел распознать, и глаза твои, когда ты от моего прикосновенья открыл их, были сини тогда, как небо, и только позднее стали черными, с тем плутовским отблеском черноты, из-за которого я здесь, в хижине, вон там, у выхода, завещал тебе пестрое платье невесты. Об этом я, может быть, скажу еще в самом конце, — сейчас это, вероятно, излишне и нерасчетливо. Очень трудно сердцу экономно отличать нужные слова от ненужных. — Вот ты сейчас успокаивающе гладишь меня в знак верности своей и любви. На них-то я и положусь, — на верности твоей и любви основана моя к тебе просьба, и на них я рассчитываю, обращаясь к тебе во избежание лишних слов с деловитым ходатайством. Ибо, Иосиф-эль, возвысившийся мой агнец, пришло время мне умирать, и хотя я отнюдь еще не при последнем издыханье, Иаков все же вступил в свою предсмертную пору, в пору изъявленья последней воли. Так вот, когда я сложу ноги мои и приобщусь к отцам моим, я не хотел бы, чтобы меня похоронили в Египте, не обижайся на меня, я этого не хотел бы. Лежать здесь, где мы находимся, в земле Госен, хотя здесь еще не самый заправский Египет, было бы тоже вразрез с моими желаньями. Я знаю, конечно, что после смерти у человека уже нет желаний и ему все равно, где лежать. Но покуда он жив и способен желать, для него важно, чтобы с ним после смерти случилось то, чего он хочет при жизни. Я знаю также отлично, что очень многие из нас, тысячи и тысячи, будут похоронены в Египте независимо от того, родились ли они здесь или еще в стране отцов. Но я, отец их всех и твой, я не могу заставить себя послужить им в этом примером. С ними пришел я в царство твое и в землю царя твоего, поскольку бог выслав тебя вперед открыть нам дорогу; но в смерти мне хочется отделиться от них. Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мне, как положил руку Елиезер под стегно Авраама, и поклянись мне, что выкажешь мне любовь и верность и не похоронишь меня в стране мертвецов. Я хочу лежать с моими отцами и к ним приобщиться. А потому унеси прах мой из Египта и похорони его в их гробнице, что зовется Махпеллах, или Двойная пещера, в земле Ханаанской. Там лежит Авраам, почетно удлиненный, которого в пещере его рожденья вскормил принявший козье обличье ангел, он лежит там рядом с Саррой, героиней и высочайшей избранницей. Там лежит неугодная жертва, поздно зачатый Ицхак, он лежит там с Ревеккой, умной и решительной родительницей Иакова и Исава, которая все исправила. И еще там лежит Лия, первопознанная, мать шестерых. С ними со всеми хочу я лежать, и я вижу, что мою волю ты принимаешь с сыновним благоговеньем и с готовностью к послушанью, хотя тень сомненья и немого вопроса и омрачает при этом твой лоб. Глаза мои уже не очень остры, ибо я вступил в предсмертную свою пору и взгляд мой заволакивается темнотой. Но тень, омрачающую твое лицо, — ее я прекрасно вижу, ибо знал, что она омрачит его, — как же иначе? Ведь есть же могила при дороге, у самой почти Ефрафы, что зовется теперь Вифлеем, могила, куда я положил то, что было мне милее всего на божьей земле. Так разве я не хочу лечь рядом с ней, когда ты меня покорно доставишь домой, и лежать с ней особняком у дороги? Нет, сын мой, я этого не хочу. Я любил ее, я слишком ее любил, но выше всего не чувство, не своевольная мягкость сердца, а величие и послушание. Нет,

негоже мне лежать у дороги, Иаков ляжет рядом со своими отцами и рядом с Лией, первой своей женой, которая родила наследника. Черные твои глаза полны сейчас слез — я и это хорошо еще вижу — и так похожи на глаза премноговозлюбленной, что кажутся ими. Это хорошо, дитя, что ты так похож на нее в тот час, когда ты в благоволение кладешь руку свою под стегно мое и клянешься, что похоронишь меня, как того требуют величие и послушанье, в Двойной пещере Махпелах.

Иосиф дал ему эту клятву. И когда он дал ее, Израиль согнулся над изголовьем кровати, творя благодарственную молитву. Потом обособленный посидел еще некоторое время у отца в тишине, и старик сидел рядом с ним на смертном одре, молча склонив голову ему на плечо, чтобы поберечь силы на будущее.

## Ефрем и Манассия

Несколькими неделями позже он заболел. Легкий жар румянил его столетние щеки, у него спирало дыханье, и, опершись на подушки, он полусидел в постели, чтобы легче дышать. Неффалиму не нужно было идти оповещать Иосифа, ибо тот установил осведомительную связь между Госеном и своим городом, благодаря которой дважды в день получал известия о состоянии старика. Когда же ему донесли: «Вот, отец твой болен, у него легкий жар», — он позвал обоих своих сыновей и сказал им по-ханаански:

— Приготовьтесь, мы поедem в низовье навестить вашего деда.

Они ответили:

— У нас назначена охота на газелей в пустыне, отец.

— Вы слышали, что я сказал, — спросил он по-египетски, — или не слышали?

— Мы очень рады нанести визит деду, — отвечали они и известили своих друзей, богатых менфийских щеголей, что не смогут участвовать в охоте по семейным обстоятельствам.

Сами они тоже были щеголями и детьми изощренной культуры — наманикюренные, причесанные парикмахерами, надушенные и нафабранные, с перламутровыми ногтями ног, с затянутыми талиями и развевающимися лентами спереди, по бокам и сзади набедренника. Ничего дурного в обоих не было, и их щегольство, само собой вытекавшее из общественного их положенья, не нужно им ставить в упрек. Правда, Манассия, старший, был очень заносчив и своим происхождением от жрецов Солнца со стороны матери кичился еще больше, чем славой отца. Зато Ефрема, младшего, с глазами Рахили, надо представлять себе благодушно-веселым, скорее скромным, как раз в той мере, в какой скромность из веселости вытекает; ведь заносчивость не любит смеяться.

Обняв друг друга руками в кольцах, чтобы тверже стоять на ногах в прыгающей повозке, они ехали позади отца на север, в сторону устий. Май-Сахме сопровождал Иосифа, надеясь принести пользу больному врачевными своими познаниями.

Иаков лежал в полузабытьи среди подушек, когда Дамасек-Елиезер сообщил ему о приближении его сына Иосифа. Старик сразу собрался с силами, велел этому присносущему Старшему Рабу посадить себя на постели и чрезвычайно оживился.

— Если мы нашли благоволение, — сказал он, — в очах господина сына и он навещает нас, нам не к лицу распускаться из-за небольшого жара.

И он разгладил серебряную свою бороду и поправил ее на груди.

— Молодые господа тоже с ним, — сказал Елиезер.

— Хорошо, хорошо, вот оно что, — ответил Иаков и выпрямился, готовясь к приему.

Вскоре вошел Иосиф с обоими принцами, они с церемонными приветствиями остановились у входа, а он приблизился к ложу и любовно взял в руки бледные руки старца.

— Святой папочка, — сказал он, — я прибыл с ними, потому что мне сказали, что на тебя напал легкий недуг.

— Он легок и слаб, — отвечал Иаков, — как то свойственно болезням старости. Болезни тяжелые и цветущие — удел юности и крепкой мужественности. Они рьяно набрасываются на них и резво доплясываются с ними до могилы, что никак не подобало бы почтенному возрасту. Лишь слегка дотрагивается немощная болезнь дряхлым своим перстом до старости, чтобы ее погасить. Эта болезнь немощнее, чем я; она сбита с толку преклонными моими годами, и ее недостаточно. Побывав у моего ложа вторично, ты еще раз вернешься домой раньше, чем оно станет смертным моим одром. В первый раз я позвал и пригласил тебя к себе. На этот раз ты явился сам. Но я позову тебя еще раз, на третье и последнее свиданье и на празднество смерти.

— Пусть оно будет нескоро, и пусть еще не одно лето отпущенья переживет господин мой!

— Возможно ли это, дитя? Довольно того, что сегодня еще не пришел час этого празднества, час собранья. Устами твоими говорит придворная вежливость, а я нахожусь в предсмертной своей поре, когда неуместно красивое пустозвонство и нужны только строгость и правда. И после, в час собранья, царить будут только они, говорю это тебе наперед.

Иосиф склонил голову.

— Хорошо ли ты чувствуешь себя, дитя мое, перед господом и перед богами этой страны? — спросил Иаков. — Видишь, болезнь моя настолько слабее меня, что я могу позволить себе справляться о самочувствии других. Правда, тех только, кого я люблю. Ты, вероятно, по-прежнему усердно взыскиваешь пятину с туземцев? Это нехорошо, Иосиф, не царю должна бы принадлежать пятина, а одному господу. Знаю, возвысившийся мой, все знаю. Ты, вероятно, при случае и воскуряешь солнцу и звездам, как того требует твое положенье?

— Дорогой мой отец...

— Знаю, отрешенный мой агнец, все знаю! Как это, однако, мило с твоей стороны, что между первым и третьим разом ты незвано, по собственному почину, навестил старика, несмотря на свою занятость служебными обязанностями и всякими воскуреньями! Я воспользуюсь твоим приездом, чтобы продвинуть одно дело, о котором мы так и не говорили с тех пор, как ты снова явился мне на лугу, пропавший мой сын, — тогда, любимый, я сказал тебе на ухо, что разделю тебя в Иакове и рассею в Израиле, что расщеплю тебя на племена внуков, и сыновья сына праведной будут как сыновья Лии, а ты — как один из нас, ибо ты будешь произведен в отцы, чтобы исполнились слова: «Он возвысился».

Иосиф склонил голову.

— Есть в Ханаане одно место, — возведя глаза к небу, начал вещать Иаков, подхлестываемый жаром, которому он был очень благодарен за то, что тот разогрел ему кровь, — одно место, что прежде звалось Луз, где делают чудесную синюю краску для шерсти. Но место Это уже не зовется Луз, оно названо Вефилем и Эчсагилой, Домом Вознесенья Главы. Ибо там явился мне в сновиденье бог всемогущий, когда я спал на гилгале и камень подпирал мою голову, он явился мне в обличье царя на самом верху лестницы, которая связывала небо с землей и где сновали сладкогласные ангелы звезд, он благословил меня знаком жизни и под звуки арф произнес слова безмерного утешенья, ибо он обещал мне могущественное свое пристрастье и что он расплодит и размножит меня и произведет от меня множество народов, несметных детей пристрастия. А потому, Иегосиф, два сына твои, родившиеся тебе в земле Египетской до моего прибытия, — они будут мои, как Рувим и Симеон, и называть их будут по моему имени; те же, что родятся у тебя позже, будут твои, и называть их будут по именам их братьев, которым они станут как сыновья. Ибо ты изгнан со своего престола в кругу двенадцати, но изгнан с такой любовью, что взамен тебе уготовлен четвертый рядом с тремя торжественнейшими.

Тут Иосиф уже приготовился поставить перед ним принцев, но старик начал вещать о Рахили, еще раз о том, как она умерла у него, когда он шел из Месопотамии, в стране Ханаан, на дороге, немного не доходя Ефрафы, и как он похоронил ее там же, у дороги в Ефрафу, которая зовется теперь Вифлеем. Говорил он это просто так, невзначай; никакой особой связи с тем, о чем шла сейчас речь, слова его не имели — разве что он хотел вызвать в этот час тень единственной своей возлюбленной и, может быть, указать потомкам Рахили их собственную, их особую святыню — ее могилу, поскольку для других местом паломничества должна была стать Двойная пещера Махпеллах. Возможно также, что этим он хотел заранее оправдать ту уловку, ту замену, к которой сейчас собирался прибегнуть и задумал которую, несомненно, уже давно, — мнения учителей о целях этого упоминанья расходятся, но мы склонны думать, что никаких целей у него вообще не было и говорил он о миловидной потому просто, что, ведя сейчас торжественные речи, он мыслями уносился к своим историям, и ему было бесконечно приятно говорить о Рахили, так же как и о боге, даже несвязно; и еще он боялся, что больше ему уже не случится о ней говорить, а ему хотелось непременно сделать это еще раз.

Затем, когда он в последний раз похоронил ее у дороги, он огляделся, приставил козырьком руку ко лбу и спросил:

— А это кто?

Ибо он притворялся, что до сих пор вообще не замечал обоих своих внуков, и преувеличивал слабость своего зрения.

— Это мои знакомые тебе сыновья, святой папочка, — отвечал Иосиф, — которых бог дал мне в этой стране.

— Если это они, — сказал старик, — то подведи их ко мне, чтобы я благословил их.

Тихо прищелкивая языком, старик покачал головой.

— Миловидные мальчики, насколько я вижу, — сказал он. — Оба славны и миловидны пред богом! Наклонитесь ко мне, сокровища, чтобы я поцеловал молодую кровь ваших щек столетними своими устами! Кого это я сейчас целую — Ефрема или Манассию? Ну да все равно! Если то был Манассия, то сейчас я целую Ефрема — в щеки и в глаза. Подумай,

я снова увидел лицо твое, — повернулся он к сыну, все еще обнимая Ефрема, — на что уже и не надеялся; но вот бог показал мне даже детей твоих. Будет ли преувеличением назвать его источником беспредельной доброты?

— Нет, конечно, — ответил Иосиф рассеянно; ибо он заботился о том, чтобы мальчики правильно стояли перед Иаковом, который показал, что не различает их.

— Манассия, — сказал он тихонько старшему. — Внимание! Сюда! Соблюдай порядок, Ефрем, стань вон там!

И правой своей рукой он подтолкнул его к левой руке Израиля, а левой поставил Манассию против правой руки Иакова, чтобы все было как полагается. Но что же он тут увидел — увидел с изумленьем, досадой и тихой радостью? Увидел он вот что: слепо подняв кверху глаза, отец положил левую свою руку на склоненную голову Манассии, а правую, крест-накрест, на голову Ефрема и, слепо уставившись в пустоту, тотчас же, прежде чем Иосиф успел вмешаться, начал говорить и благословлять. Он призвал тройного бога, отца, пастуха и ангела, благословить отроков, наречь на них его Иакова, имя и имя отцов его и взрастить их во множестве, чтобы они кишели, как рыба. Да, да, пусть будет так. Излейся, благословенье, священный дар, из моего сердца, через мои ладони, на ваши головы, в вашу плоть, в вашу кровь. Аминь.

Иосиф никак не мог прервать благословение, а его сыновья и не замечали, что с ними происходит. Они сейчас вообще были довольно рассеянны и немного сердиты, особенно Манассия, оттого что им пришлось отказаться от охоты из-за этой церемонии. Каждый ощущал только прикосновение благословляющей руки к своей голове, и даже если бы они могли видеть, что руки скрещены и правая лежит на младшем, а левая — на старшем, они не придали бы этому никакого значения и решили бы, что так и должно быть, что так принято в роду чужеземного деда. И тут они были не так уж неправы. Ибо Иаков, брат косматого, конечно же, повторял и подражал. Он подражал слепому в шатре, своему отцу, который отдал ему благословение, прежде чем пришел Красный. Без обмана, на его взгляд, тут нельзя было обойтись. Какая-то замена нужна была, и поэтому он поменял местами хотя бы руки, и правая легла на голову младшего, и тот стал праведным. У Ефрема были глаза Рахили, и он был явно приятнее, — это, конечно, тоже имело значенье. Но главное — он был младшим, а младшим был и он сам, Иаков, а его заменили с помощью шкур, с помощью меха. Когда он сейчас менял руки, в ушах его звенели заклинанья, которые, снаряжая его, бормотала рачительная родительница, но которые доносились из куда более дальних далей и были куда древней и исконнее, чем та, учиненная Ревеккой замена: «Дитя обовью, закутаю камень, ощупай, отец, поешь, господин мой, а братья из бездны тебе покорятся».

Иосиф, как мы уже сказали, был и обрадован и уязвлен сразу. Приверженность его к плутовству сомнению не подлежала, но как государственный деятель он чувствовал себя обязанным спасти порядок и право, поскольку их еще можно было спасти. Как только старик закончил благословение, он сказал:

— Прости, отец, все не так! Я поставил перед тобой мальчиков правильно. Знай я, что ты собираешься скрестить руки, я расположил бы их иначе. Позволь обратить твое внимание на то, что левую свою руку ты положил на Манассию, старшего моего сына, а правую на Ефрема, родившегося позднее. Скверное освещение виною тому, что ты, с позволенья сказать, немного облагомолвился. Не угодно ли тебе быстро поправить дело, поменяв надлежащим образом руки и сказав еще раз, ну хотя бы только «Аминь»? Ведь право на правую принадлежит не Ефрему, а Манассии.

При этом он даже прикоснулся к лежавшим еще на головах рукам старика, пытаясь

почтительно положить их по правилам. Но Иаков не уступил.

— Я знаю, сын мой, я знаю, — сказал он. — И пусть так будет! Ты правишь в земле Египетской и взимаешь пятину, а в этих делах правлю я, и я знаю, что делаю. Не печалься: этот (и он приподнял левую руку) тоже умножится, и от него произойдет великий народ; но меньший его брат будет больше его, и от семени его произойдет народ величайший. Как я хотел, так и поступил, и такова даже моя воля, чтобы это вошло в поговорку и стало крылатым словом в Израиле, то есть чтобы, благословляя, говорили: «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». Запомни это, Израиль!

— Как ты прикажешь, — сказал Иосиф.

А юнцы убрали свои головы из-под благословляющих рук, подбоченились, пригладили прически и были рады, что можно выпрямиться. Замена не очень-то их тронула — и по праву, поскольку священный вымысел, приравнявший их к сыновьям Иакова и к потомкам Лии, ничего не изменил в личном их бытии. Они прожили свою жизнь знатными египтянами, и только их дети, а вернее, некоторые из их внуков, благодаря общению, религиозному воспитанию и бракам, все больше и больше примыкали к евреям, так что иные части клана, отправившегося однажды из Кеме назад в Ханаан, возводили свой род к Ефрему и Манассии. Но и в свете дальнейшего, в свете последствий уловки Иакова равнодушие этих молодых людей никак нельзя назвать неоправданным — по крайней мере, если говорить о количестве тех, кто назывался позднее их именами. Ибо, по нашим изысканиям, в пору их расцвета люди Манассии составляли на каких-нибудь двадцать тысяч душ больше, чем люди Ефрема. Но Иаков свое дело сделал и свое благословенье обманом сопроводил.

Он очень обессилел после этого празднества, и сознание его помутилось. Хотя Иосиф просил его лечь, он продолжал, выпрямившись, сидеть в постели и принялся рассказывать своему любимцу о земельном участке, который он завещает ему «преимущественно пред братьями» и который был отнят им, Иаковым, у аморреев «мечом и луком». Речь могла идти только о той пахотной земле у Шекема, что Иаков однажды, под воротами города, приобрел у подагрика Хамора или Еммора, заплатив ему за нее сто шекелей серебра, и следовательно, отнюдь не завоевав ее мечом и луком. Почему это вдруг Иаков, благочестивый житель шатров, заговорил о мече и луке? Орудий такого рода он никогда не любил и не пускал в ход и не мог простить своим сыновьям, что когда-то они по-дикарски пустили их в ход в Шекеме, — отчего как раз и приходилось сомневаться в действительности заключенной тогда сделки и в том, что Иаков вправе еще распоряжаться этим участком.

Однако, ослабев, он распорядился им, и, припав лбом к рукам отца, Иосиф поблагодарил его за его особое завещание, тронутый этим доказательством любви и одновременно тем удивительным явлением, что именно слабость побудила старика увидеть себя в роли героя-воина. Иосиф рассудил, что это признак близкого конца, и решил на этот раз не возвращаться в Менфе, а дожидаться вызова на последнее собрание в близлежащем Па-Косе.

Собрание перед смертью

«Соберитесь, дети Иакова! Сойдитесь и столпитеесь вокруг отца вашего Израиля, чтобы он возвестил вам, кто вы и что будет с вами в грядущие дни!»

Вот какой клич послал Иаков из шатра своим сыновьям, когда нашел, что настал час

держат предсмертные речи. Ибо он управлял своей жизнью и точно знал, сколько у него осталось сил, чтобы истратить их на предсмертные речи и потом умереть. Клич этот он послал через Елиезера, старика-отрока. Старшего своего Раба; Иаков произнес ему этот призыв и заставил Дамасека несколько раз повторить его вслух, чтобы тот запомнил его не приблизительно, а слово в слово.

— «Не прибудьте», — говорил Иаков, — а «сойдитесь», и не «станьте вокруг Израиля», а «столпитесь»! А теперь повтори все еще раз и не забудь двучленного выражения «кто вы и что будет с вами»! — Ну вот, наконец-то! Боюсь, что я израсходовал слишком много сил на то, чтобы наставить тебя. Ступай же скорее!

И Дамасек подпоясался и побежал — он бежал во все стороны так быстро, что казалось, будто земля скачет ему навстречу, и прикладывал раструбом руки ко рту и кричал: «Сходитесь и собирайтесь, сыновья Иакова, какие ни на есть, и пусть вам будет хорошо и в нынешние, и в грядущие дни!» Он бежал в селения, на поля и к стадам — и к царским, над которыми были поставлены пятеро, и к прочим, бежал через болота и по лужам, забрызгивая тощие свои ноги мутной водой; ибо дело было во время спада, в пятый день первого месяца зимы, по-нашему — в начале октября, и после долгой осенней жары в Дельте прошли обильные дожди. Он все кричал и кричал в раструб рук, и голос его облетал окрестности и вторгался в жилища: «Собирайтесь, сыновья Иакова, кем бы вы ни были, чтобы сгрудиться около него в грядущие дни!» Сбегал он и в близлежащий Па-Кос, где Иосиф остановился у местного старосты, отчего у дома его стояла стража, и позорно неточно выкрикнул там слова, которые Иаков так тщательно выбрал и выстроил на вечные времена. Но свое действие слова эти, невзирая на искажение, оказывали и смущенное послушанье встречали везде. Друг фараона тоже поспешил к дому отца, а с ним Май-Сахме, его мажордом, и вдобавок множество уличных зевак, которые ждали этого клича, чтобы развлечься.

Одиннадцать братьев ждали Иосифа у входа в шатер. Он поздоровался с ними с подобающим случаю видом, многозначительно-грустно, поцеловал сорокасемилетнего малыша Вениамина, и, не входя в дом, тихо сказал им несколько слов о состоянии отца и о том, что он, видимо, умирает и хочет произнести свою предсмертную речь. Они отвечали ему с опущенными глазами и чуть поджав губы, ибо, как обычно, боялись могучей выразительности старика, а на этот раз и предсмертной суровости величавого тирана-отца, которая ничего им не спустит, и каждый потихоньку думал: «Бог ты мой, что сейчас будет!» Сильные мышцы лица Ре'увима, семидесятилетней башни стад, были свирепо напряжены. Он когда-то побушевал с Валлой, в столь торжественный час ему наверняка предстояло услышать об этом в весьма выразительной форме, и он готовился к неминуемому. Симеон и Левий — они молодыми людьми варварски опустошили из-за сестры Шекем, с тех пор прошла, правда, целая вечность, но они могли быть уверены, что им торжественно об этом напомнят, и тоже готовились. Иегуда — он нечаянно сошелся со своею снохой и не сомневался, что у старика хватит жестокости и предсмертной суровости поставить ему это в упрек, тем более что тот сам был немного влюблен в нее. Все они — все, кроме Вениамина, которого отец нянчил, продали когда-то Думузи. Иаков не преминет пропеть и сказать по такому поводу и об этом — они ждали его укоров и ожесточались в ожидании. Ожесточались главным образом сыны Лии, ибо никто из них так и не смог простить отцу, что после смерти Рахили тот произвел в любимые и праведные не их мать, а служанку Рахили Валлу. У него тоже были свои слабости, и всю жизнь он давал своим чувствам полную волю. В истории с Иосифом, думали они упрямо, он был так же виноват, как они, и ему следовало бы сначала взять это в толк, а потом уже отчитывать их за этот проступок, воспользовавшись таким великолепным случаем, как предстоящая смерть. Одним словом, их страх перед неминуемой сценой облекался в ожесточенность; она заставляла их заранее строить обиженные лица по поводу того, что предстояло в шатре; Иосиф это видел и доброжелательно успокаивал их, он ходил от

одного к другому, дружески дотрагивался до них и говорил:

— Войдемте же к нему, братья, и давайте смиренно выслушаем приговор, который вынесет нам любовь, каждому свой. Выслушаем его, если понадобится, снисходительно! Снисходительность, правда, должен дарить бог человеку и отец сыну, но если ее не видно, тогда дитя должно с благоговейной снисходительностью прощать старшему всякую его слабость. Пойдемте, суд его будет правый, и все мы, поверьте, получим свое, я тоже.

И они осторожно вошли в шатер с египтянином Иосифом, который вошел, однако, отнюдь не первым, хотя они и пропускали его вперед; он шел вместе с Вениамином позади сыновей Лии и только перед детьми служанок. Вошел в шатер и Май-Сахме, его управляющий — отчасти по праву давнего своего пребывания в этой истории, которую он к тому же деятельно разукрашивал, отчасти же потому, что собрание это было весьма открытым и присутствовать на нем, как выяснилось, мог, по сути, любой: когда братья вошли в смертный покой, там стало очень тесно, ибо вместе с созвавшим их Дамасеком-Елиезером ложе господина окружали и младшие, непосредственно ухаживавшие за Иаковом слуги, а дальше повсюду стояли или лежали, пав на лицо, многочисленные его потомки. Были здесь даже женщины с детьми, причем иные кормили грудью младенцев. На стоявших у стен ларях сидели мальчишки, которые вели себя не всегда наилучшим образом, хотя всякие неподобающие действия немедленно пресекались. Кроме того, занавеска у входа была широко отдернута, благодаря чему толпившиеся у входа, то есть дворня и безбилетные зрители из городка Па-Коса, — а их собралось множество, — могли заглядывать внутрь и, так сказать, участвовали в собрании. Оттого что солнце садилось и наружная эта толпа видна была на фоне оранжевого вечернего неба, она казалась одной сплошной тенью, и лица различались с трудом. Но падающий с противоположной стороны свет двух масляных ламп, горевших на высоких подставках в изголовье и в изножье смертного ложа, позволяет нам все же отчетливо разглядеть одну выразительную фигуру там на дворе: худощавую пожилую женщину в черном, с седыми волосами под покрывалом, между двух на редкость широкоплечих мужчин. Вне всякого сомнения, это была Фамарь, исполненная решимости, со своими крепкими сыновьями. Она не вошла в дом, а остановилась снаружи на тот случай, если в предсмертных своих речах Иаков упомянет об Иудиним с ней грехе. Но она явилась — да и могла ли она не явиться, когда Иаков должен был передать благословенье тому, с кем она соблудила у дороги и выбилась на дорогу! Даже если бы и не светили изнутри лампы, от нас не ускользнул бы гордый ее силуэт на фоне красочного, наполовину ненастного вечернего неба.

Тот, кто открыл ей некогда мир и большую историю, куда она включилась, он, который созвал это собрание, благословенный прежде Исава Иаков бен Ицхак, лежал на подушках, под овчиной, в глубине покоя на своем ложе, и сил у него было ровно столько, сколько ему еще требовалось, и восковую бледность лица его слегка смягчали красочный сумрак и багрянец близстоящей жаровни. Вид его был кроток и величествен. Белая повязка, которую он обычно надевал, когда приносил жертвы, обвивала его лоб. Из-под нее выбивались на висках белые волосы, переходя в столь же широкую, целиком покрывавшую грудь, густую и белую под подбородком, а ниже сероватую и более редкую бороду патриарха, в которой вырисовывался тонкий, одухотворенный, чуть скорбный рот. Он не поворачивал головы в сторону, но его нежные, с прожилками под ними глаза пылливо косились, заметно обнажая желтоватые белки. Они были обращены к входившим сыновьям, к многочисленной дюжине, перед которыми быстро открылся проход к постели. Дамасек и ухаживавшие за Иаковом слуги отошли от нее; рожденные за Евфратом и малыш, из-за которого в стране Авраама умерла его мать, пали перед этой постелью ниц, а потом сгрудились у отцовского изголовья. Наступила полная тишина, и все взгляды нацелились на бледные губы Иакова.

Они несколько раз открылись на пробу, прежде чем образовали слова, и речь его началась тихо и через силу. Позднее он стал говорить свободнее, и голос его приобрел полноразличность, чтобы лишь совсем под конец, когда Иаков благословлял Вениамина, ослабеть снова.

— Привет тебе, Израиль, — заговорил он, — пояс мира, круг коловращения, оплот и твердыня неба, порядок священных знаков! Послушно ты собрался и мужественно, полным числом, столпился у одра моей смерти, чтобы я судил тебя по справедливости и предсказал тебе будущее, пользуясь мудростью последнего часа. Хвала тебе, круг сыновей, за твою готовность и слава тебе за твою смелость! Будь же весь целиком благословен рукой умирающего и прославлен в своей совокупности. Благословен с благонакопленной силой и прославлен навеки! Заметь же: то, что я скажу каждому особо, по очереди, я скажу под знаком общего благословенья.

Тут речь его прервалась, и несколько мгновений он только беззвучно шевелил губами. Но потом лицо его напряглось, он наморщил лоб, и, грозя слабости, нахмурились его брови.

— Ре'увим! — призывно слетело с его губ.

И башнеподобный великан стада выступил вперед на обтянутых ремнями столпах ног, совершенно седой, с бритым, красным лицом, которое, словно у мальчика перед нагоняем, было искажено плаксивой гримасой: глядевшие из-под белых бровей глаза его часто моргали воспаленными веками, а уголки рта были так горестно-сильно оттянуты книзу, что с обеих сторон образовались желваки мышц. Он стал на колени у края кровати и склонился над ней.

— Рувим, самый большой мой сын, — начал Иаков, — ты самая ранняя моя сила и первенец моей мужественности, твоим достоянием были великое преимущество и могучее превосходство, ты был главным в кругу, ближайшим к жертве и ближайшим к царству. Это была ошибка. Мне сказал это в поле во сне один идол, пакостный зверь пустыни, мальчик с собачьей головой и прекрасными ногами, зачатый по ошибке, зачатый с несправедливой в слепой ночи, которой все едино и которой неведома различающая любовь. Так породил я тебя, мой главный, в ветреной ночи с неподлинной и усердной, в заблуждении породил я тебя и дал ей цветок, ибо случилась замена, заменили покрывало, и день показал мне, что я только совершил труд зачатия, когда мнил, что люблю, — и внутренности перевернулись во мне, и я отчаялся в душе моей.

На некоторое время речь его стала невнятна; долго он снова только шевелил беззвучно губами. Затем голос вернулся, он был даже еще сильнее, чем прежде, и порой Иаков говорил теперь уже не с Рувимом, а о нем, про него, в третьем лице.

— Он бушевал, как вода, — говорил Иаков. — Словно кипящая вода, выплескивался он из котла. Он не будет главным, не будет опорным шестом дома, и преимущества он не получит. Он взшел на ложе отца своего и осквернил постель мою, взойдя на нее. Он обнажил и высмеял срам отца, он приблизился с серпом к отцу своему и предался скверному озорству со своей матерью. Он — Хам и черен лицом и ходит нагой с неприкрытым срамом, ибо он поступил, как дракон хаоса, и уподобился повадкой гиппопотаму. Слышишь ли, начаток силы моей, в чем я виню тебя? Будь проклят, сын мой, будь проклят в благословенье! У тебя отнято преимущество, ты лишен священного сана и утратил царскую власть. Ибо ты не годишься в вожди и первородство твое отвергнуто. Ты живешь за Щелочным морем и граничишь с Моавом. Дела твои хилы, и ничтожны плоды твои. Спасибо тебе, мой старший, что ты так отважно явился сюда и так храбро выслушал мой приговор. Башне среди стада подобен ты, и ноги твои — как столпы

храма, потому что я так мощно и мужественно излил свою первую силу в заблуждении ночи. Будь отечески проклят и прощай!

Он умолк, и старик Рувим отступил к остальным братьям — с яростным достоинством напрягши каждую мышцу лица и потупив глаза — как потупляла их его мать, когда прятала под веками свое косоглазие.

— Братья! — потребовал тогда Иаков. — Неразлучные на небе сыновья-близнецы!

И Симеон и Левий склонили головы. Им тоже исполнилось уже семьдесят семь и семьдесят шесть (ведь они вовсе не были близнецами, а были лишь неразлучны), но вид забияк оба сохранили в самой большой мере, какая только возможна.

— О, о, силачи, в рубцах и кровоподтеках! — сказал отец и отстранился, делая вид, что боится их. — Они целуют орудия насилия, я знать о них не хочу. Я этого не люблю, головорезы. В совет их да не внидет душа моя, и слава моя да не имеет ничего общего с их славою. Их ярость убила мужа, а их прихоть надругалась над тельцом, за это на них пало проклятье обиженных, и гибель стала уделом их. Что я говорил им? Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа! — Это я говорил вам. Будьте прокляты, дорогие мои, прокляты в благословенье. Вы будете разделены и разлучены, чтобы вам не бесчинствовать вместе во веки веков. Рассейся в Иакове, мой Левий! Тебе, сильный Симеон, выпадет все-таки страна, но я вижу, — она не будет самостоятельна и растворится в Израиле. Место твое не на виду, двойное светило, таково предсмертное прозренья благословляющего! Отойдите же!

Они отошли, довольно невозмутимо выслушав свой приговор. Они же давно знали, что так будет, и лучшего приговора не ждали. Что он был еще раз, самым недвусмысленным образом, объявлен во всеуслышанье на празднестве, это тоже не имело для них значенья, ибо все и так все знали, а «Израилем» близнецы оставались во всяком случае — их отвергали в благословенье. К тому же, как, впрочем, и все присутствующие, они были проникнуты убеждением, что отверженность — это такая же роль, как любая другая, и что у нее есть свое достоинство: каждое положение почетно по-своему — так считали и близнецы, и все остальные. Кроме того, было совершенно ясно, что отчасти отец говорил совсем не о них, а о созвездии Близнецов. Частью по врожденной своей тяге к значительному, частью же от смятенья мыслей, которое было вызвано слабостью и которому он, опять-таки из любви к значительному, торжественно поддавался, Иаков сильно спутал их с созвездием Гемини и примешал к приговору свои вавилонские воспоминания, известные всем вплоть до примостившихся на ларях мальчишек. Он явно и притом намеренно путал их порой с Гильгамешем и Эбани из песни, которые, мстя за свою сестру, в гневе и ярости растерзали на куски небесного быка и были прокляты за это злодеянье богиней Иштар. Сами они в Сихеме, или Шекеме, где вообще-то порядком накуролесили, к быкам особого внимания не проявляли, и не помнили, чтобы они перерезали жилы хоть одному; только Иаков с самого начала и всякий раз, когда вспоминал об этом, приплетал к делу быка. Но можно ли быть проклятым более почетным образом, чем если тебя при этом путают с Диоскурами, Солнцем и Луной? Такую отверженность можно принять и на людях, она лишь наполовину касается тебя лично; другой своей половиной это предсмертно-мечтательная игра мыслей.

Лучше будет сразу сказать, что звездочетно-многозначительные намеки повторно примешивались к отеческим приговорам Иакова, придавая им, наряду с возвышенностью, некоторую человеческую неточность. Тут были и умысел, и слабость, и умысел в слабости. Уже в Рувиме проглядывало что-то от Водолея. Иуда, чья очередь сейчас наступила и на мощное, решающее благословенье которого старик израсходовал столько сил, что потом вынужден был призвать на помощь бога, боясь, что не выдержит

и, самое главное, не дойдет до Иосифа, — Иуда и прежде всегда именовался «Львом», но посвященная ему предсмертная речь орудовала этим титулом так неустанно и изображала мученика Иегуду в облике льва так подчеркнуто, что нельзя было не ощутить подразумевавшейся связи с эклиптической областью. В Иссахаре сквозило многое от Рака — созвездие Осликов, стоящее под этим знаком, было связано с обычным прозвищем Иссахара «Костлявый осел». В Дане каждому виделись Весы, символ суда и права, хотя облик его определялся также упоминанием о ядовитой змее; а оленьекосульи черты Неффалима для большинства видоизменялись и превращались в черты Овна. Сам Иосиф не составлял исключения, напротив, астральное возвышение было в данном случае даже двойным, ибо в его характеристике чередовались приметы Девы и приметы Тельца. Характеристика же Вениамина, когда пришла его очередь, определялась, по-видимому, Скорпионом: добрый малыш изображался хищным волком только потому, что Люпус находится не намного южнее Шипохвоста.

Тут особенно ярко сказалась та обезличивающая звездно-мифическая окраска, благодаря которой воителям-близнецам было так легко принять свой приговор со спокойной душой. Они жили в раннее время, но, с другой стороны, уже и в позднее, имевшее опыт во многих отношениях, в том числе относительно не безусловной надежности предсмертных пророчеств и ясновиденья. Взгляд умирающего в грядущее впечатляющ и внушает почтение; он заслуживает большого доверия, но не слишком большого, ибо полностью он не всегда подтверждается, и то внеземное уже состояние, которым он рожден, есть, по-видимому, одновременно источник ошибок. Иаков тоже не избег торжественных заблуждений, — хотя кое-что он разглядел очень точно. Потомство Рувима действительно далеко не пошло, а племя Симеона всегда нуждалось в поддержке и потерялось в Иуде. Но что сыны Левия достигнут со временем высших степеней и приобретут постоянные священнические права, — как то известно нам, находящимся хоть и в этой истории, но вместе и вне ее, — это было для предсмертного взора Иакова явно покрыто мраком. Пророчество его достопочтенно оплошало в этом пункте — да и в других. О Завулоне он сказал, что тот будет жить при берегу морском и у пристани корабельной и граничить с Сидоном. Это напрашивалось само собой, ибо пристрастие Завулона к морю и к запаху смолы было общеизвестно. Однако впоследствии область его племени отнюдь не достигла зеленой воды и никогда не граничила с Сидоном. Она находилась между морем и Галилейским озером, и от первого ее отделял Асир, а от второго — Неффалим.

Для нас такие ошибки обладают высокой ценностью. Разве иные умники не утверждают, что благословения Иакова сочинены после времен Иисуса Навина и в них следует видеть «предсказания пост фактум»? Можно только пожалеть плечами по этому поводу — не только потому, что мы сами стоим у смертного одра патриарха и слышим его слова собственными ушами, но и потому, что в пророчествах, изрекаемых на основе исторических данных, задним числом, очень легко избежать погрешностей. Самым верным доказательством подлинности пророчества остается его ошибочность...

Итак, Иаков призвал Иуду — это была великая минута, и глубокая тишина воцарилась и снаружи, перед шатром, и у нас, внутри его. Редко случается, чтобы такое многочисленное собрание охватывала такая глубокая, такая полная тишина. Древний старик простер бледную руку к четвертому сыну, который, заранее сгорая от стыда, склонил свою семидесятипятилетнюю голову, — указал на него пальцем и сказал:

— Иуда, это ты!

Да, это был он, мученик, чувствовавший себя совершенно недостойным, раб владычицы, не сладострастник, а страстотерпец, грешник, но грешник совестливый. Наверно, кто-нибудь подумает: ну, в семьдесят пять лет кабала похоти не так уже страшна, но тот, кто

так думает, ошибается. Это длится до последнего вздоха. Конечно, бодец становится немного тупее, но чтобы владычица дала своему рабу вольную — такого не бывает. С глубоким стыдом склонился для благословенья Иуда — но странное дело: по мере того как над ним вершился обряд и миро обетованья изливалось из рога на его темя, он чувствовал себя все уверенней и, заметно ободряясь, говорил себе с возрастающей гордостью: «Ну вот, несмотря ни на что. В общем-то это оказалось не так и скверно, а уж благословенью явно не помешало, наверно, это не такой тяжкий грех, — чистота, по которой я томился, была, выходит, для благодати необязательна, для нее нужно было, конечно, все, весь этот ад, кто бы подумал, каплет на мою голову, боже, помилуй меня, но это я!»

На голову его не капало, а лилось ливнем. Почти безудержно тратил свои силы Иаков, благословляя Иуду, и на долю многих братьев пришлось потом лишь по несколько невразумительных, произнесенных слабым голосом слов.

— Это ты, Иегуда! Рука твоя на затылке врагов твоих — да восхвалят тебя братья твои. Более того, пусть склонятся перед тобой сыновья отца твоего, а сыны всех матерей пусть славят в тебе помазанника!

Затем пришла очередь льва. Некоторое время существовал только лев, существовали только величавые изображения льва. Иуда был львенком, детенышем львицы, истинным львом. Хищник поднимался с Добычи, он фыркал и гремел. Он возвращался на свою пустынную гору, ложился и вытягивался, как гривоносный царь и как сын яростной львицы. Кто отважился бы вспугнуть его? Никто не отважился бы! Удивительно было только, что сыновей, которых он хотел благословить, отец прославлял как хищных разбойников, а тех, которых благословить не хотел, так осуждал за то, что они породнились с орудиями насилия. Если раньше, только от слабости, он увидел витязем с мечом и луком себя, то сейчас он славил своих сыновей, сперва мученика Иуду, а под конец даже и малыша Вениамина, как кровожадных зверей и неукротимых бойцов. Знаменательно: слабость кротких и живущих духовной жизнью — это слабость к героическому.

И все же, благословляя Иуду, Иаков, вовсе не помышлял о героизме разбойном. Герой, которого он имел в виду и которого уже давно выносил в мыслях, был не из тех, чьим рычащим великолепием восторгается слабость, — Шилох было имя его. От льва до него было далеко; поэтому благословлявший сделал переход: он вставил образ некоего великого царя. Царь сидел на своем престоле, держа между ног жезл, который не мог быть ни сдвинут с места, ни отнят у властелина, покуда не придет «герой», пока не явится Шилох. Для Иуды, царя с законодательским жезлом между ног, обетованное это звание было новостью — оно было неожиданностью и для всего собранья, удивленно насторожившегося. Только одна из всех знала о нем и жадно его ждала. Мы невольно поднимаем глаза на ее силуэт — стройно и прямо стояла она, объятая темной гордостью, когда Иаков провозглашал будущее ее семени. От Иуды не должна была отойти благодать, он не должен был умереть, глаза его не должны были вытечь, покамест его величие не станет сверхвеликим, оттого что из него выйдет тот, кому покорность народов, примиритель и мирносец, человек звезды.

То, что лилось на пристыженную голову Иуды, превосходило все ожидания. Его образ или образ его племени — то ли по умыслу, то ли от смятения мыслей, а может быть, по обоим причинам сразу, то есть оттого, что это смятение было умышленно использовано для поэтического разгула, — его образ сливался и смешивался с образом Шилоха, так что никто не знал, кого имеют в виду Иаковлевы видения благодати и милости — Иуду или грядущего. Все плавало в вине — у слушавших застилало красным глаза от сверканья вина. Называлась некая земля, страна этого царя, где к виноградной лозе привязывали

ослов, а к лозе лучшего винограда сынов ослиц своих. Были ли то хевронские виноградники, энгедийские холмы лоз? «Он» въезжал в город свой верхом на осле и на детеныше ломовой ослицы, — вид его не вызывал ничего, кроме пьяного, как от красного вина, веселья, и сам он походил на пьяного бога вина, который, подобрав платье, с воодушевлением топчет гроздь: их кровь пропитала его передник, его одежда в красном соку лоз. Он был прекрасен, когда шлепал ногами по алым лужам, исполняя пляску давить, — прекраснее всех на свете, — белый, как снег, красный, как вино, черный, как черное дерево...

Голос Иакова замер. Голова его опустилась, и он глядел сейчас снизу вверх. Он очень издержался в этом благословенье, почти расточительно. Казалось, он молится о подкреплении сил. Считая относящееся к себе благословенье оконченным. Иуда отошел от ложа, пристыженный и удивленный тем, что греховность, оказывается, совсем не помеха. Совершенно новые откровения и указания, содержащиеся в этом благословенье, в частности слова о Шилохе, произвели сенсацию, и собрание никак не могло успокоиться. Люди оживленно перешептывались в шатре и снаружи. Снаружи даже переговаривались; слышны были голоса, взволнованно повторявшие имя Шилоха. Но все сразу смолкло, как только Иаков снова поднял руку и голову. Имя Завулону слетело с его губ.

Тот подставил голову под ладонь отца, и поскольку имя его означало «жилище», «пристанище», никто не удивился, что Иаков указал ему его пристанище и жилище: жить ему надлежало у берега, близ богатств кораблей, у границы Сидона. Вот и все, он всегда этого желал, и приговор ему был вынесен довольно вяло и машинально. Иссахар...

Иссахару суждено было уподобиться костлявому, лежащему между оград ослу. Ослики Рака были его кумовьями, но, несмотря на эту связь, отец не возлагал на него, по видимому, больших надежд. Вскоре Иаков стал рассказывать о нем в форме прошедшего времени, которая означала будущее. Иссахар увидел, что покой хорош и что земля приятна. Он был силен и флегматичен. Он не находил ничего зазорного в том, чтобы носить грузы на своем кряже, как осел каравана. Самым удобным казалось ему служить, и он подставлял плечи, чтобы их нагружали. Вот как обстояло дело с Иссахаром. Обосновался он, виделось Иакову, на Иордане. Довольно о нем. Теперь Дан.

Дан носил весы и хитроумно судил. Он был так остер на язык и умом, что жалил и походил на гадюку. Этот сын дал Иакову повод вставить, подняв палец, небольшое зоологическое поучение присутствующим. Вначале, когда Бог создавал мир, он скрестил ежа с ящерицей, и получился аспид. Дан был аспидом. Он был змеем на дороге и аспидом на пути, незаметным в песке и крайне коварным. Геройство принимало в нем форму коварства. Коня врага он жалил в ногу, так что всадник падал назад. Таков был Дан, сын Валлы. «На помощь твою надеюсь, предвечный!»

Вот когда Иаков издал этот стон и сотворил короткую эту молитву, чувствуя, что совсем изнемог, и боясь не успеть. Он родил столько сыновей, что в последний его час на всех у него могло и не хватить сил. Но с помощью бога он выдержал бы.

Он потребовал коренастого, обшитого медью Гада.

— Гаддиил, толпа будет теснить тебя, но в конце концов оттеснишь ее ты. Тесни же ее, коренастый! — Теперь Асир!

У лакомки Асира была тучная земля между горой и Тиром. Низменность эта была до краев засыпана хлебом и купалась в масле, благодаря чему он ел тучную пищу и изготавливал из тука тонкие благовония, какие посылают друг другу для ублаженья цари.

От него шли благодущие и радость ухоженного тела, которая тоже чего-то стоит. И ты тоже будешь чего-то стоить, Асир. И песня пошла от тебя, и дивное возвещенье, хвала тебе за это перед братом твоим Неффалимом, которого я сейчас призываю под свою руку.

Неффалим был серной, что прыгает через рвы, и стройной косулей. Его уделом были стремительность и проворство, он был бегущим бараном, когда тот, рогами вперед, мчится во весь опор. Проворен был и его язык, спешивший принести новость, и быстро созревали плоды Генасарской равнины. Пусть будут деревья твои, Неффалим, полны скороспелых плодов, и пусть быстрый, хотя и не такой уж великий успех будет обетованным твоим уделом.

И этот сын тоже, получив свое, отошел от постели. Старик полулежал с закрытыми глазами, в глубокой тишине, прижав к груди подбородок. А через несколько мгновений он улыбнулся. Все увидели эту улыбку и растрогались, ибо знали, что она возвещает. То была счастливая, даже лукавая улыбка, немного, правда, печальная, но потому-то и лукавая, что печаль и отказ были полны в ней любви и нежности. «Иосиф!» — сказал старик. И пятидесятишестилетний, который был когда-то тридцати-, семнадцати и девятилетним и лежал в колыбели агнцем объягнувшейся овцы, дитя времени, прекрасный лицом, одетый по-египетски в белое, с небесным кольцом фараона на пальце, баловень удачи, склонился, чтобы на голову его легла бледная благословляющая рука.

— Иосиф, отросток мой, сын девы, сын миловидной, сын плодоносного дерева у родника, плодоносная лоза, ветви которой вьются по камню стены, привет мой тебе! Владыка весны, первородный, по-своему прекрасный телец, тебе привет мой!

Иаков произнес это громко и внятно, как торжественное обращение, которое надлежало услышать всем. Но затем он понизил голос почти до шепота, явно желая если не вовсе лишиться гласности это благословение, то хотя бы ограничить ее. Только близстоящие слышали прощальное его слово обособленному; кто был подальше, довольствовался долетавшими до него отрывками, и уж вовсе ни с чем остались на первых порах находившиеся снаружи. Потом, однако, все это повторялось, распространялось и обсуждалось.

— Самый любимый, — слетало с горестно улыбающихся губ. — Смело избранный сердцем ради той единственно любимой, что в тебе жила и чьими глазами глядел ты, точь-в-точь как глядела она однажды на меня у колодца, когда впервые явилась передо мной среди овец Лавана и я отвалил для нее камень — я поцеловал ее, и пастухи ликовали: «Лу, лу, лу». В тебе я удерживал ее, любимец мой, когда всемогущий вырвал ее у меня, она жила в твоей прелести, а что может быть слаще, чем двойственное и зыбкое? Я знаю, что двойственное чуждо духу, которому мы верны, что это глупость людская. И все-таки я поддавался исконно могучему его волшебству. Да и можно ли всегда целиком принадлежать духу и избегать глупости? Двойствен ведь и сам я сейчас, Иаков я и Рахиль. Я — она, которая так трудно ушла от тебя в страну властного зова, ибо и мне сегодня суждено уйти от тебя, повинуюсь ее призыву, — она призывает нас всех. И ты тоже, радость моя и тревога, прошел уже половину пути в эту страну, и все-таки ты был некогда мал, а потом юн, и был всем, что казалось прелестным моему сердцу, — строгим было сердце мое, но мягким, поэтому перед прелестным оно не могло устоять. Призванное к величию, к созерцанию алмазных вершин, оно тайно любило отраду холмов.

Речь его на несколько минут остановилась, и он улыбался с закрытыми глазами, словно дух его блуждал по отрадной холмистой местности, картина которой предстала перед

ним при благословенье Иосифа.

Когда он заговорил снова, он, казалось, успел забыть, что голова Иосифа находится под его ладонью, ибо и о нем он говорил теперь некоторое время, как о ком-то третьем.

— Семнадцать лет он жил для меня и прожил для меня, по милости бога, еще другие семнадцать; в промежутке было мое оцепененье, была судьба обособленного. Прелесть его преследовали — глупо, ибо ум был неотделим от нее, и ум его посрамил их жадность. Невиданно соблазнительны женщины, которые поднимаются, чтобы смотреть на него со стен, с башен, из окон, но никакой радости они себе так и не высмотрели. Тогда люди наказали его за это и засыпали стрелами злоречья. Но тверд оставался лук его, и крепки мышцы его, и руки предвечного держали его. С восторгом будут вспоминать имя его, ибо ему удалось то, что удается немногим: найти благоволение в глазах бога и в глазах людей. Это благословение редкое, ведь обычно приходится выбирать и нравиться либо богу, либо людям; а ему дух прелестного посредничества даровал способность нравиться и людям и богу. Не зазнавайся, дитя мое, — нужно ли мне предостерегать тебя? Нет, я знаю, твой ум уберезет тебя от высокомерия. Ибо это благословенье приятное, но не самое высокое и не самое строгое. Пойми, драгоценная твоя жизнь видна умирающему во всей ее правде. Она была игрой и намеком, доверчивым и дружеским избраньем в любимцы, она только отдавала благодатью, но воистину избрана и призвана она не была. Веселье и грусть смешаны в ней, и это наполняет мое сердце любовью, — дитя, кто видит лишь блеск твоей жизни, тот не может любить тебя так, как отцовское сердце, которое видит и ее грусть. И вот я благословляю тебя, благословенный, во всю силу своего сердца именем Предвечного, который дал тебя и отнял и дал и теперь отнимает меня у тебя. Пусть благословения мои изольются мощнее, чем излилось благословение моих отцов на мою голову. Будь благословен, как благословен ты, благословеньями свыше и благословеньями бездны, лежащей долу, благословеньями сосцов неба и лона земли! Благословенье на темя Иосифа, и пусть греются в лучах твоего имени те, что пойдут от тебя. Пусть снова и снова широко текут песни, воспевая игру твоей жизни, ибо все-таки она была священной игрой, и ты страдал и умел прощать. И я тоже прощаю тебе, что ты заставил страдать меня. А бог да простит нас всех!

Он кончил и очень медленно снял руку с его головы. Так разлучается одна жизнь с другой, уходя; а вскоре, глядишь, и другая уходит за ней.

Иосиф отошел к братьям. Он не преувеличил, когда сказал, что тоже получит свое и что от правого предсмертного суда не уйти и ему. Он взял Вениамина за руку и подвел его к постели, потому что старик не вызвал его. Силы умирающего были явно на исходе, и руку отца Иосифу пришлось уже положить на темя братца, сама она уже не нашла бы туда дороги. Что приговора его ожидал младший, старик, вероятно, еще помнил, но то, что бормотали слабеющие губы Иакова, никак нельзя было отнести к Малышу. Возможно, что это как-то относилось к его потомкам. Вениамин, удалось услышать, был хищным волком, который утром ест, а вечером делит добычу. Он был озадачен услышанным.

Последняя мысль Иакова была о двойной пещере на поле Ефрона, сына Цохарова, о том, чтобы его похоронили там рядом с отцами.

— Так я повелеваю вам, — прошептал он без голоса. — За нее уплачено, уплачено Авраом сынам Хетовым четыреста шекелей серебра общепри...

Тут смерть прервала его, он вытянул ноги, откинулся на постель, и жизнь его замерла.

Они все тоже приостановили свою жизнь и свое дыханье, когда это случилось. Затем управляющий Иосифа Маи-Сахме, который был и врачом, спокойно подошел к ложу. Он

приник ухом к неслышному сердцу, деловито сжав рот, поглядел на перышко, которое поднес к онемевшим губам и ни одна пушинка которого не шевельнулась, и высек огонь у зрачков, уже безразличных. Тогда он повернулся к Иосифу, своему господину, и доложил ему:

— Он приобщился.

Но Иосиф кивнул головой на Иуду, показывая Маи-Сахме, что докладывать следует Иуде, а не ему. И покуда этот добряк вытягивался перед Иудой и повторял: «Он приобщился», — Иосиф подошел к смертному одру и закрыл мертвецу глаза: для того он и направил к Иуде Маи-Сахме, чтобы самому это сделать. Затем он припал ко лбу отца лбом и стал плакать об Иакове.

Иуда, наследник, распорядился сделать все, что полагалось: пригласить плакальщиков и плакальщиц, певцов, певиц и флейтистов, омыть, умастить и укутать тело. Дамасек-Елиезер зажег в шатре жертвенное куренье — смешанные с солью сок мирры, пахучий корень с Красного моря, гальбан и ладан; и в то время как мертвеца обволакивали пряные клубы, прощальные гости толпой повалили из шатра, смешались с теми, что стояли снаружи, и разошлись, оживленно обсуждая приговоры и прорицанья, которые оставил Иаков двенадцати.

#### Иакова закутывают

Вот история эта, песчинка за песчинкой, тихо, но безостановочно, и вытекла через стеклянное горлышко; она вся внизу, и только несколько крупинки видны еще в верхнем сосуде. Ничего не осталось из всех ее дел, кроме того, что делают с мертвым. Это, однако, не пустяки; советуем вам благоговейно проследить, как вытекут и мягко упадут в наполнившуюся склянку последние зернышки. Ибо то, что произошло с бранными останками Иакова, было совершенно необычайно и возданные им почести были почти беспримерны. Царей не носили к могиле так, как отнесли к ней его, торжественного, по указу и по наказу сына его Иосифа.

После кончины отца тот, правда, предоставил сделать первые, предварительные распоряжения своему брату Иегуде, благословенному наследнику; но сразу затем Иосиф взял это дело в свои руки, ибо только он мог справиться с ним, и принял меры, принять которые уполномочил его наскоро созданный совет братьев. Меры эти вытекали из обстоятельств; они вытекали из воли и завещанья Иакова, и то, что они вытекали из них, было Иосифу по сердцу. Ведь обособленный думал по-египетски, и пламенное его желанье почтить отца, ничего не пожалев для его останков, само собой приняло то направление, какое египетский ход мыслей определял.

Иаков не хотел быть погребенным в стране мертвых богов и заручился торжественным обещанием, что его похоронят рядом с его отцами в пещере. Это предполагало дальние проводы, которые Иосиф собирался обставить необычайно пышно и которые требовали времени: времени для необходимых приготовлений и времени для самих этих величественных проводов, путешествия по меньшей мере семнадцатидневного. Для этого труп нужно было сохранить, сохранить по правилам египетского искусства, засолив его и замариновав, и если бы приобщившийся отвергал эту мысль, он не должен был бы настаивать на том, чтобы его отвезли домой. Именно из-за этого наказа не хоронить его в Египте его приходилось хоронить по-египетски, великолепно набитым чучелом, запеленатой озирисовской мумией — что иных, возможно, и оскорбит. Но мы ведь не прожили, как сын его Иосиф, сорока лет в Египте и не питались соками и воззреньями

этой странной страны. Для него было радостью и утешением в горе, что завещанье отца позволяло ему поступить с дорогими останками согласно самым изысканным и почетным местным обычаям и обеспечить им сохранность по высшей смете.

Поэтому, едва вернувшись в менфийский свой дом, где он предавался трауру, Иосиф послал в Госен людей, которые его братья называли «врачами», хотя таковыми они не были, а были техниками по мумиям, художниками увековеченья, искуснейшими и известнейшими мастерами своего дела, недаром проживавшими в городе Закутанного. С ними прибыли плотники и каменотесы, златокузнецы и граверы, которые тотчас открыли свою мастерскую у волосяного дома кончины, покуда внутри его «врачи» делали с трупом то, что братья именовали умощением. Но это было неточное слово. Кривой железкой извлекли они через ноздри мозг и наполнили череп специями. С помощью крайне острого, из обсидиана, эфиопского ножичка, которым они, оттопырив пальцы, изящно орудовали, они вскрыли слева живот, чтобы удалить внутренности, хранимые, по обычаю, в особых алавастровых кувшинах с изображением на крышке головы похороненного. Выпотрошенное тело они основательно промыли финиковым вином и начинили самыми лучшими пряностями: миррой и корой отростков от корней лавра. Они делали это с профессиональным наслаждением, ибо смерть была областью их искусства, и радовались тому, что теперь у их пациента внутри было все гораздо чище и аппетитней, чем во время его одушевленности.

Затем они тщательно зашили разрез и положили труп в раствор селитры на целых семьдесят дней. Все это время они не работали, а только ели и пили, но платили им за каждый час. Когда положенный срок миновал и труп засолился, можно было приступить к закутыванию, труду не из легких. Четыреста локтей виссоновых, смазанных клейкой смолой повязок, бесконечных полос полотна, тончайшие из которых прилепали к самому телу, намотали они на Иакова, накладывая их то рядом, то одну поверх другой, и поместили между ними на запеленатой шее золотой воротник, а на груди плоское резное украшение из золота, изображавшее коршуна с распростертыми крыльями.

Ибо и мастера, прибывшие вместе с врачами, тоже успели продвинуться в своих работах, и в украшениях не было недостатка: кованые, листового золота полосы с выгравированными на них именем мертвеца и восхвалениями его имени были наложены поверх повязок на плечи, талию и колени и соединены с такими же продольными полосами сзади и спереди. Затем то, что было некогда Иаковом, а ныне представляло собой очищенную от всего тленного, нарядную и долговечную куклу смерти, с головы до ног обернули тонкими, гибкими пластинами из чистого золота и в таком виде водрузили в ароон, ковчег, который тем временем точно по мерке изготовили столяры, ювелиры и скульпторы, — человеческой формы, обильно украшенный драгоценными камнями и пестрой финифтью. Кукла покоилась в кукле; голова наружной была вырезана из дерева и покрыта изготовленной из толстого листового железа маской с усировской бородой.

Вот какой пышный и почетный обряд справили над Иаковом, хотя все это было не в его вкусе, а лишь во вкусе его прижившегося на чужой земле сына. Но, вероятно, так и надо — считаться с чувствами того, у кого в теле живые внутренности, ибо другому это в общем-то безразлично.

Все усилия Иосифа были направлены на то, чтобы, исполняя последнюю волю отца, как можно торжественнее посмертно почтить его, и покуда тело готовили к путешествию. Возвысившийся предпринял шаги, чтобы превратить это путешествие, громкое и знаменательное событие, в великий триумф. Ему требовалось для этого согласие фараона, но из-за траура и из-за того, что несколько недель Иосиф умышленно не заботился о своей внешности, он не мог самолично предстать перед богом и послал к нему вверх, в город горизонта в Заячьей округе, гонца, чтобы испросить у прекрасного

сына Атона разрешения проводить посмертный образ отца за границу, в страну его усыпальницы. Обязанности своего ходатая он возложил на Маи-Сахме, хотя бы уже затем, чтобы дать добряку-домоправителю возможность до конца участвовать в этой истории. Кроме того, он мог вполне положиться на его спокойствие и преданность при решении той дипломатической задачи, которую заключала в себе подобная миссия. Ведь нужно было получить от фараона определенные приказания, лишь наводя его на соответствующие мысли, но ни в коем случае ни о чем не прося; нужно было добиться от него распоряжения о высокаторжественных государственных похоронах родителя его, фараона, первого слуги, или, другими словами, побудить его распорядиться о так называемом «Великом шествии».

Мы опять видим, как сильно привыкли мысли агнца Рахили идти египетскими путями. «Великое шествие» было понятием чрезвычайно египетским, популярнейшим в Кеме представлением о праздничной церемонии, и, наряду с мыслью о бальзамировании по высшей смете, идея Великого шествия, о котором будут говорить и за Евфратом и даже на островах моря, возникла у Иосифа благодаря завещанью Иакова сразу же. Шествие это должно было соревноваться в пышности с самыми славными посольствами, когда-либо отправлявшимися за рубеж, в Вавилон, в Митанни или к великому царю Хаттушили, что в стране Хатти, и войти в анналы державы на память потомству. Получить у фараона семидесятидневный служебный отпуск, чтобы со своими сыновьями и сыновьями братьев отвезти отца через границу к могиле почетным окольным путем, для этого избранным, было самым первым и самым легким делом. Этого было недостаточно, это еще не было Великим шествием, царскими похоронами, а доставить отца к могиле мирскому сыну хотелось не иначе как царя. Фараона нужно было подвести к этому, чтобы он это разрешил, об этом распорядился; он должен был представить на похоронах чиновничество, двор и воинство воинскую силу даже особенно — для охраны во время долгого путешествия через пустыню; и фараон напал на эту мысль и распорядился об этом, когда управляющий получил у него аудиенцию, он распорядился, отчасти растрогавшись и желая отплатить заслуженнейшему своему слуге, который сделал ему столько добра, любовью и милостью, отчасти же боясь, что Иосиф вообще не вернется, если отпустить его в родную его страну без охраны египетской воинской силы. Что Мени всерьез этого опасался и что Иосиф такое спасенье учитывал, ясно проскальзывает в словах, которые, излагая его переговоры с двором, вставляет ему в уста основополагающее повествование: «И теперь хотел бы я пойти, и похоронить отца моего, и возвратиться». Возможно, что он дал это обещание предупредительно, по собственному почину; столь же возможно, что фараон потребовал его. Подозрение, что Иосиф воспользуется этим выездом, чтобы не возвратиться, между господином и слугой, во всяком случае, стояло, и фараону было приятно, что он может соединить милость с осторожностью и мощным египетским эскортом предотвратить невозвращение незаменимого.

Владыка венцов тоже был уже не первой молодости; лет его жизни миновало более сорока, и жизнь эта была нежна и печальна. Со смертью он тоже успел повстречаться: девяти лет умерла одна из его дочерей, вторая из шести, Макетатон, самая малокровная из всех, и Эхнатон, отец дочерей, пролил по этому поводу куда больше слез, чем его царица Нефернефруатон. Он много плакал и без всяких смертей, глаза у него были вообще на мокром месте, ибо он был одинок и несчастен, и драгоценность его существования, та нега и роскошь, в которой он жил, делала его лишь все более чувствительным к одиночеству и к тому, что он ни у кого не находил понимания. Правда, он любил говорить, что тот, кому живется трудно, должен жить хорошо. Но без слез у него не получалось сочетания того и другого; он жил слишком хорошо, чтобы при этом ему жилось еще и трудно, и поэтому он много о себе плакал. Утреннее его облачко с золотым краем, его царица, и прозрачные его дочки то и дело стирали тонким батистом слезы с его уже пожилого мальчишеского лица.

Ему доставляло радость совершать жертвоприношения цветов в прекрасном дворе великолепного храма, построенного им в единственной столице Ахет-Атоне своему отцу в небе, кроткому другу природы, которого он представлял себе тоже обильно плачущим. Но радость этого обряда, сопровождавшегося хоровым пением гимнов, отравляло фараону его неверие в искренность царедворцев, которые при нем кормились и «учение» приняли, но, как показывала любая проверка, этого учения не понимали и не доросли до него. Никто не дорос до ученья о его бесконечно далеком, но нежно пекущемся о каждой мышке, о каждом червячке отце в небе, отце, всего лишь посредником и подобием которого был солнечный диск; отце, который нашептывал ему, «Эхнатону», любимейшему своему чаду, правду истинного своего естества; никто, он не скрывал этого от себя, по совести говоря, ничего не смыслил в его учении. Народа он чуждался и соприкосновения с ним страшился. С религиозными властями своей державы, храмами, жречеством, не только с Амуном, но и с другими древнейшими и испокон веков почитаемыми местными божествами, исключая разве только онскую солнечную обитель, он жил в безнадежной вражде и в болезненной увлеченности своим откровением не удерживался от насильственных и разрушительных мер, направленных опять-таки не только против Амуна-Ра, но и против Усира, владыки жителей Запада, и против матери Исет, против Анупа, Хнума, Тота, Сетеха, даже искусника Птаха, что усугубляло разлад между ним и его духовно косной, постоянно ратовавшей за сохранность и неизблемость древних порядков страной, внутри которой он становился замкнувшимся в царской роскоши чужаком.

Удивительно ли, что его серые, лишь наполовину открытые глаза были почти всегда красны от слез? И когда, явившись к нему по поручению Иосифа, Маи-Сахме передал ему в связи с известием о кончине Иакова ходатайство своего господина об отпуске, он тоже сразу заплакал, — проливать слезы он всегда был готов, и этого повода поплакать тоже не упустил.

— Как грустно! — сказал он. — Он умер, этот древний старик? Это удар, это депремирующий удар для Моего величества. Он, помнится, навел на меня при жизни и произвел на меня немалое впечатление. В юности он был плутом, я знаю его проделки со шкурками и с прутьями, — Мое величество готово и сегодня смеяться над этим до слез. И вот, значит, жизнь его достигла цели, и мой дядюшка, смотритель всего, что дает небо, осиротел? Как это бесконечно грустно! Он сидит и плачет, твой господин, мой Исключительный Друг? Я знаю, что слезы ему не чужды, что он легко плачет, и сердце мое потому с ним, ибо у мужчины это всегда добрый и милый признак. И когда он открылся своим братьям словами «Это я», он тоже плакал, я знаю. И он спрашивает отпуск? Отпуск в семьдесят дней? Это много для похорон отца, даже если тот и был величайшим плутом. Неужели так-таки семьдесят дней? Без него так трудно! Несколько, может быть, легче, правда, чем в годы тучных и тощих коров, но все же и в эти уравновешенные времена мне будет очень тяжело без того, кто ведает за меня царством черноты, ибо Мое величество разбирается в этом плохо, — моим делом всегда был свет горний. Ах, должной благодарности за это я не дождался, — люди гораздо признательнее тому, кто заботится о черноте, чем тому, кто возвещает им свет. Не подумай, однако, что я завидую дорогому твоему господину! Пусть будет он в странах, как фараон, до конца своих дней, ибо никакой благодарностью нельзя отблагодарить его за то, что он помог бедному Моему величеству, поскольку ему вообще можно было помочь.

Он снова немного поплакал, а потом сказал:

— Разумеется, пусть он хоронит достойного своего отца, старого плута, с надлежащими почестями и отвезет его за границу со своими сыновьями и братьями, а также и сыновьями братьев, короче говоря, со всей мужской частью своего дома, — получится

целое шествие. Оно будет, пожалуй, походить на исход, и людям покажется, что он уходит из Египта со своими родными туда, откуда пришел. Такого заблуждения нужно избежать. Оно может привести к беспорядкам в стране и к мятежным действиям, если народ ошибочно решит, что Кормилец покидает его, — я думаю, он был бы огорчен этим гораздо сильнее, чем если бы Мое величество само отправилось прочь из этой страны, которая надрывает ему сердце черной неблагодарностью. Послушай, друг мой: разве это шествие комильфо, если оно состоит только из детей и детей детей? По-моему, ни за чем дело не стало, и проводы эти — вполне достаточный повод устроить Великое шествие. Пусть оно будет одним из самых великих, которые когда-либо отправлялись за границу, чтобы затем столь же торжественно вернуться оттуда. Да и хорош был бы я, если бы только выполнил просьбу Кормильца, Единственного моего Друга, но не перевыполнил ее, и притом щедро! Скажи ему: «Семьдесят пять дней, осыпая тебя поцелуями, дает тебе фараон на похороны твоего отца в Азии, а отправятся с тобою и с телом не только родственники твои и их домочадцы, нет, фараон назначит вполне великое шествие, и отца твоего проводят к могиле сливки Египта; я направлю туда весь мой двор, велел передать тебе Эхнатон, самых знатных моих слуг и самых знатных во всей стране, главных персон государства с их челядью, а также колесницы и воинов, огромную силу. Все они, зеница моего ока, последуют с тобою за гробом, перед тобой, позади тебя и с обеих сторон, и так же они проводят тебя обратно ко мне, когда ты сложишь свой дорогой груз в желанном месте».

## Великое шествие

Вот с какой вестью вернулся из Ахет-Атона Маи-Сахме к Иосифу, и теперь все делалось и устраивалось в соответствии с нею. Во все стороны поспешили гонцы с приглашениями, которые были равносильны приказам и рассылались высоким дворцовым чином, именовавшим себя «тайный советник утреннего покоя и тайных решений», и был назначен день, когда приглашенным из всех частей царства участникам шествия надлежало собраться в пустыне близ Менфе. Затруднительная честь выпала на этот раз слугам фараона, вельможам дома его и вельможам страны Египта. Но никто не осмеливался от нее отказаться, более того, сановники, почему-либо ее не удостоившиеся, подвергались ехидным нападкам со стороны приглашенных и заболели от огорчения. Выстроить Великое шествие, звенья и части которого стекались в пустынную равнину, было задачей нелегкой: она досталась одному военачальнику, именовавшемуся вообще «возничий царя, высокий в войсках», но по этому случаю, на время погребальной операции, получившему титул «строевой начальник великого похоронного шествия Озириса Иакова бен Ицхака, отца Тенистой Сени Царя». Именно этот полководец определил с помощью списка участников порядок кортежа и создал в месте сбора из сутолоки повозок и носилок, верхового и ломового тягла четко расчлененную красоту. Под его началом находились также взятые для прикрытия воины.

Порядок шествия был следующий. Его открывал отряд воинов: впереди трубачи и тимпанщики, затем нубийские лучники, вооруженные серповидными мечами ливийцы и египтяне-копейщики. Далее следовал цвет фараонова двора, представленный так многолюдно, как только возможно было это сделать, не начисто лишив бога благородного окруженья: Друзья и Единственные Друзья царя, Опахалоносцы Одесную, чины дворца ранга начальника тайн и тайного советника царских приказов, такие высокопоставленные лица, как главный пекарь и главный чашник его величества, первый стольник, смотритель царского платья, главный белильщик и мойщик Великого Дома, сандалиеносец фараона, главный его цирюльник, являвшийся одновременно тайным советником обоих венцов, и так далее.

Эта толпа подхалимов двигалась впереди катафалка, который, когда добрались до Госена, тронулся в путь вместе с процессией и с тех пор, сверкая, возвышался над ней. Искрившаяся самоцветами гробовая фигура Иакова с золотым лицом и бородкой была поставлена на носилки, носилки на золоченые салазки, а салазки на повозку с закрытыми колесами, которую тащили двенадцать белых волов; так и катилась, покачиваясь, высокая эта махина, порою под сопровождаемые флейтами плачи профессиональных плакальщиков, которые следовали за ней перед домом умершего, его родней, чья очередь и наступала теперь. Это был Иосиф со своими сыновьями и со штабом своего дома во главе с Маи-Сахме; это были одиннадцать братьев Иосифа с их сыновьями и сыновьями сынов — все мужчины Израиля следовали за гробом, а с ними, кроме ближайших слуг умершего, в частности его Старшего Раба Елиезера, собственная их челядь, так что семейный этот эскорт был очень многочислен и долог, — но какая еще толпа следовала за ним!

Ибо далее следовало высшее чиновничество обеих стран: визири Верхнего и Нижнего Египта, подчиненные Иосифа, главные книговоды Продовольственного Дома, такие лица, как Смотритель говяд и всего скота страны, носивший также звание «Смотритель Рогов, Копыт и Пера»; начальник судоходства; Истинный Глава Кабинета и Хранитель Весов Казны; генеральный инспектор всех лошадей и множество Истинных Судей и Верховных Писцов. Кто перечислит все должности и званья, исполнители и носители которых почли за честь приказанье сопровождать за границу мумию отца Кормильца, Иосифа! За государственными деятелями следовали снова воины, знамена и трубы. А замыкал шествие обоз, — поклажа, палатки, повозки с фуражом, погонщики, лошаки, — ибо каких только запасов питья и еды не требовала такая процессия для путешествия через пустыню!

Весьма великий сонм — предание утверждает это по праву, представьте себе только эту массу роскошных упряжек и носилок, эту пестроту перьев, блеск оружия, эту пыхтящую, катящуюся, марширующую толпу, оглашаемую ржаньем, криками ослов, мычаньем, трелями груб, барабанным боем и заученными плачами, над которой, возвышаясь посредине, господствует взгроможденная гробовая фигура с закутанным путником внутри. Иосиф мог быть доволен. В земле Египетской потеряло его когда-то отцовское сердце, а теперь весь Египет чтит скорбь этого сердца, неся на плечах к могиле мертвого Иакова.

Так дотянулось это удивительное и вызывавшее везде удивление шествие до восточной границы и вступило в те гибельные места, которых нельзя миновать, если хочешь добраться от пажитей Хапи до восточных провинций фараона — Хару и Еммора. Оно двигалось верхним краем Синайской горной пустыни, но затем выбрало направление, которое показалось бы каждому, кто знал цель этого пути, неожиданным: ибо вместо того чтобы направиться обычным, кратчайшим путем через страну филистимлян в приморскую Газу, а оттуда через Беэршиву в Хеврон, оно последовало по низменности, что тянется южнее гавани Хазати через Амалек на восток к Едому и к южной оконечности Щелочного моря. Обогнув его, процессия направилась по восточному его берегу к устью Иардена, затем несколько вверх по долине этой реки и оттуда, то есть с востока, со стороны Гилеада, перейдя реку, вступила в страну Хенану.

Великий крюк сделало великое похоронное шествие; он увеличил продолжительность дороги до дважды семнадцати дней, и по этой-то причине Иосиф и потребовал семидесятидневного отпуска, — потребовал, впрочем, чересчур скромно, ибо немного не уложился и в те семьдесят пять, которые, любя его, предоставил ему фараон. Сделать такой большой крюк Иосиф решил заранее и сразу же открыл это свое намерение начальнику шествия, упомянутому уже полководцу-распорядителю, который очень одобрил его. Иосиф заявил, что вторжение в страну со стороны Газы, по военной дороге,

такого количества египтян с большим войском может вызвать волнения, недоразумения и трудности, и потому предпочел более глухие обходные пути. А для души его этот огромный крюк означал почетное удлинение путешествия. Ему хотелось, чтобы торжественные эти проводы потребовали как можно больше времени и усилий; чтобы как можно длиннее были дороги, по которым понесет на своих плечах его отца гордый Египет. Поэтому он и задумал продлить этот путь и исполнил задуманное.

Обогнув Содомское море и немного поднявшись против течения Иардена, они прибыли в некое место на берегу, называвшееся Горен Атад; в старину здесь был только ток с терновым плетнем, а сейчас оно стало многолюдным рынком. Рядом, у реки, был просторный луг, где они и расположились лагерем, разбив его на виду у местных жителей, которые с любопытством на них глядели. Они пробыли там семь дней, творя ежедневно возобновляемый плач, род скорбного семидневного молебна, плач настолько горький и настолько пронзительный, что он, как того и желали, глубоко поразил туземцев, тем более что и животные носили при этом траур. «Это очень важный лагерь, — говорили местные жители, высоко поднимая брови, — и очень внушительный плач Египта!» С тех пор этот луг они называли не иначе, как «Авель-Мицраим», или «луг плача Египта».

После этой почетной задержки шествие выстроилось заново и перешло Иарден бродом, который туземцы для собственных нужд сделали еще удобопроходимее, навалив в воду камней и бревен. Салазки с гробовой фигурой Иакова были для этого сняты с колесницы, и все двенадцать сыновей перенесли их на шестах через реку.

Теперь они вступили в страну Ханаан и из душной от испарений речной долины поднялись на высоты более свежие. Они двигались по гребню гор благоустроенной дорогой и на третий день вышли к Хеврону. Опоясанная стеной, лежала Кириаф-Арба у склона горы, по которому спешили вниз горожане, чтобы поглядеть на пышную толпу, явившуюся сюда со священным грузом и заполнившую долину, где находилась замурованная двойная пещера в скале, древняя наследственная усыпальница. Заложенная природой, но достроенная и расширенная человеческими руками, она была снаружи не двойной, а только с одним входом. Но стоило разбить кладку, что сейчас и было сделано, как открывался круглый наклонный провал, от которого справа и слева ответвлялись затворенные каменными плитами ходы, и ходы эти вели к двум склепам с маленькими туповерхими сводами: поэтому пещера и называлась «двойной». И если подумать, кто обрел в этих каморках вечный покой, то невольно бледнеешь, как побледнели братья, когда перед ними отверзлась эта пещера. Египтяне никаких особенных чувств не испытывали, кое у кого из них такая немудреная усыпальница вызывала, возможно, даже презренье. Но все, кто был Израилем, побледнели.

Провал и ходы были очень узки и низки, и только два человека из дома Иакова, один спереди, другой сзади. Старший его Раб и второй по старшинству, да и то с трудом, смогли внести в каморку его мумию — в которую из двух внесли они ее, в правую или в левую, это забыто. Если бы пыль и кости могли удивляться, то, конечно, этот отмеченный печатью сумасбродной чужбины пришелец вызвал бы в пещере великое удивление. А так там царило полное равнодушие, из затхлой обители которого те двое и поспешили, согнувшись, выбраться через провал на сладостный воздух жизни.

Вот дом и закрыт, отец похоронен, — десять человек неподвижно глядят на кирпич последней дыры. Что с ними? Они так бледны, эти десять, и кусают губы. Они украдкой косятся на одиннадцатого и опускают глаза. Совершенно ясно: они боятся. Они чувствуют себя покинутыми, удручающе покинутыми. Ушел отец, столетний отец этих семидесятилетних. До сих пор он еще был с ними, хотя и в закутанном виде, — теперь он замурован, и они вдруг падают духом. И вдруг им начинает казаться, что он был защитой им, только он, и стоял там, где теперь не стоит никто и ничто, между ними и воздаянием.

Они шептались о чем-то, столпившись в вечернем сумраке. Взошла луна, показались вечные светочи, сырая прохлада гор поднялась от земли между хижинами почетной свиты Иакова. Тогда они подозвали двенадцатого, Вениамина, сына Рахили.

— Вениамин, — сказали они непослушными губами, — вот какое дело. Нам нужно передать наказ приобщившегося брату твоему Иегосифу, и тебе более всего подобает передать ему этот наказ. Незадолго до смерти, в последние свои дни, когда Иосифа с ним не было, отец вызвал нас и сказал: «Когда я умру, скажите брату вашему Иосифу от моего имени: „Прости братьям твоим вину и грех их, хотя они сделали тебе зло. Ибо между ним и вами я буду после смерти, как и при жизни, и это мое тебе завещанье и последний наказ — не делать им зла и отказаться от мести за старое, даже если меня как бы и не будет меж вами. Дай им стричь овец своих, а их не стриги!“

— Правда ли это? — спросил Вениамин. — Я не участвовал в этой беседе.

— Ты ни в чем не участвовал, — отвечали они, — вот и помалкивай! Такому малышу не нужно во всем участвовать. Но ты ведь не откажешься передать своему брату, его милости Иосифу, последнюю волю отца. Пойди к нему сейчас! А мы последуем за тобой и подождем твоего ответа.

И Вениамин пошел к Возвысившемуся в палатку и смущенно оказал:

— Прости, Иосиф-эль, что я помешал тебе, но через меня братья сообщают тебе, что на смертном одре отец заклинал тебя не платить им злом за старое после его смерти, ибо и после нее он будет стоять между вами, защищая их и запрещая тебе мстить.

— Правда ли это? — спросил Иосиф, и глаза его стали влажны.

— Ну, наверно, не такая уж чистая, — ответил Вениамин.

— Ведь он же знал, что в этом нет нужды, — прибавил Иосиф, и две слезы отделились от его ресниц. — Они, вероятно, ждут тебя перед домом?

— Они здесь, — ответил малыш.

— Так выйдем к ним, — сказал Иосиф.

И он вышел туда, где мерцали звезды и серебрилась луна. Братья, стоявшие в ожиданье, пали перед ним ниц и сказали:

— Вот, мы пред тобой, слуги бога отца твоего, вот, мы рабы тебе. Прости же нам наше злодейство, как сказал тебе твой брат, и не мсти нам, пользуясь своей силой! Как ты простил нас при жизни Иакова, прости нас и после его смерти!

— Ах, братья, старые братья! — ответил он и склонился к ним, широко разводя руки. — Что за речи? Вы говорите так, словно боитесь меня, и просите, чтобы я простил вас! Разве я как бог? Там внизу говорят, правда, что я как фараон, а его называют богом, но он просто бедное, милое созданье. Если вы ходатайствуете передо мной о прощенье, то, по видимому, вы не поняли толком всей истории, в которой мы находимся. Я не браню вас за это. Можно преспокойно находиться в истории, не понимая ее. Наверно, так даже и должно быть, и это преступно, что я всегда слишком хорошо знал, какая тут шла игра. Разве вы не слышали из уст отца, когда он благословлял меня, что моя жизнь была только игрой и намеком? А вспомнил ли он, открывая вам свои приговоры, то зло, что

разыгралось когда-то между вами и мной? Нет, он умолчал о нем, ибо он был тоже в этой игре, игре бога. Под его защитой я должен был вопиющей своей незрелостью подстрекнуть вас ко злу, а уж бог повернул это к добру, и, накормив множество людей, я к тому же еще немного дозрел. Но если речь идет о прощении человеческом, нашем, то просить о нем должен вас я, ибо вам пришлось играть злодеев, чтобы все получилось, как получилось. И теперь я, по-вашему, воспользуюсь фараоновой силой только потому, что она моя, чтобы отомстить вам за трехдневный урок колодца и снова обратить во зло то, что бог сделал добром? Мне просто смешно! Ведь смешон человек, который только потому, что у него есть сила, пускает ее в ход против права и разума. И если сегодня он еще не смешон, то в будущем он непременно станет смешон, а мы смотрим в будущее. Спите спокойно! Завтра с помощью божьей мы отправимся назад, в забавную землю Египетскую.

Так говорил он с ними, и они смеялись и плакали вместе, и все тянулись руками к нему, стоявшему среди них, и дотрагивались до него, и он тоже их гладил. И на этом кончается прекрасная, придуманная богом история об

ИОСИФЕ И ЕГО БРАТЬЯХ.

Томас Манн

Доклад: Иосиф и его братья

Меня часто спрашивают, почему я, собственно говоря, решил обратиться к этому ни на что не похожему, далекому от современности сюжету и что меня побудило построить на основе библейской легенды об Иосифе Египетском эпически обстоятельный, монументальный цикл романов, которому я отдал так много лет труда. Задающие этот вопрос вряд ли будут удовлетворены, если, отвечая на него, я остановлюсь на внешней, так сказать, анекдотической, стороне дела и расскажу о том, как однажды вечером, в Мюнхене, — с того времени прошло целых пятнадцать лет, — меня почему-то потянуло раскрыть мою старую фамильную Библию, чтобы перечитать в ней эту легенду. Достаточно сказать, что я был восхищен и сразу же начал нащупывать пути и взвешивать возможности, — а нельзя ли преподнести эту захватывающую историю совершенно по-иному, рассказать ее заново, воспользовавшись для этого средствами современной литературы, всеми средствами, которыми она располагает, — начиная с арсенала идей и кончая техническими приемами повествования? Экспериментируя в уме, я почти с самого начала связывал мои поиски с известной традицией: мне вспомнился Гете и то место в его мемуарах «Поэзия и правда», где он рассказывает, как однажды, еще в детстве, он развил историю об Иосифе в пространную импровизированную повесть, которую он продиктовал одному из своих товарищей, но вскоре предал сожжению, так как, на взгляд самого автора, она была еще слишком «бессодержательной». Поясняя, почему он взялся за эту явно преждевременную для подростка задачу, шестидесятилетний Гете говорит: «Как много свежести в этом безыскусственном рассказе; только он кажется чересчур коротким, и появляется искушение изложить его подробнее, дорисовав все детали».

Удивительно! Отдавшись моим мечтаниям, я тотчас же вспомнил об этой фразе из «Поэзии и правды»: я знал ее наизусть, мне не надо было ее перечитывать. Она и в самом деле как будто создана для того, чтобы служить эпиграфом к произведению, которое я тогда задумал, — ведь она дает самое простое и самое убедительное объяснение мотивов, побудивших меня взяться за эту задачу. Искушение, которому наивно поддался юный Гете, вознамерившись изложить «во всех подробностях» скупую, как репортаж,

легенду из Книги Бытия, — это искушение суждено было испытать и мне, но ко мне оно пришло в том возрасте, когда я мог надеяться, что, разрабатывая сюжет, я сумею извлечь из него и нечто нужное людям, какое-то внутреннее содержание. Но что значит разработать до мелочей изложенное вкратце? Это значит точно описать, претворить в плоть и кровь, придвинуть поближе нечто очень далекое и смутное, так что создается впечатление, будто теперь все это можно видеть воочию и потрогать руками, будто ты наконец раз и навсегда узнал всю правду о том, о чем так долго имел лишь очень приблизительные представления. Я до сих пор помню, как меня позабавили и каким лестным комплиментом мне показались слова моей мюнхенской машинистки, с которыми эта простая женщина вручила мне перепечатанную рукопись «Былого Иакова», первого романа из цикла об Иосифе. «Ну вот, теперь хоть знаешь, как все это было на самом деле!» — сказала она. Это была трогательная фраза, — ведь на самом деле ничего этого не было. Точность и конкретность деталей является здесь лишь обманчивой иллюзией, игрой, созданной искусством, видимостью; здесь пущены в ход все средства языка, психологизации, драматизации действия и даже приемы исторического комментирования, чтобы добиться впечатления реальности и достоверности происходящего, но, несмотря на вполне серьезный подход к героям и их страстям, подоплекой всего этого кажущегося правдоподобия является юмор. Юмором пронизаны, в частности, те места книги, где проглядывают элементы анализирующей эссеистики, комментирования, литературной критики, научности, которые, точно так же как и элементы эпоса и наглядно-драматического изображения событий, служат средством для того, чтобы добиться ощущения реальности, так что справедливый для всех других случаев афоризм «Изображай, художник, слов не трать!» на этот раз оказывается неприменимым. Здесь перед нами встает эстетическая проблема, которая часто занимала меня Поясняющая и анализирующая авторская речь, прямое вмешательство писателя отнюдь не всегда противопоставлены искусству, — все это может быть элементом искусства, самостоятельным художественным приемом. Книга высказывает эту истину как нечто уже известное и руководствуется ею, комментируя даже самый комментарий. Книга комментирует и самое себя, — она говорит, что эта легенда, пережившая на своем веку столько разных переложений и преломлений, на этот раз преломляется в особой среде, где она как бы обретает самосознание и по ходу действия поясняет самое себя. Пояснения входят здесь «в правила игры», они представляют собой, по сути дела, не авторскую речь, а язык самой книги, в сферу которого они включены, это речь косвенная, стилизованная и шутливая, способствующая мнимой достоверности, очень близкая к пародии или, во всяком случае, иронизирующая, ибо применять научные методы к материалу совсем не научному, сказочному — значит заведомо иронизировать над ним.

Вполне возможно, что эти тайные соблазны играли для меня известную роль уже в то время, когда замысел произведения был еще в самом зародыше. Однако это отнюдь не ответ на вопрос о том, почему я остановился в своем выборе на столь архаичном материале. Выбор этот определяется целым рядом обстоятельств, как личных, так и более общих, касавшихся всех, кто жил в то время, причем на обстоятельствах личных тоже лежал отпечаток времени, они были связаны с прожитыми годами, с достижением известного жизненного этапа. The readiness is all.[3 - самое важное — это готовность (англ.)]

По всей вероятности, я находился тогда, — как человек и как художник, — в состоянии какой-то внутренней готовности, был предрасположен к тому, чтобы воспринять такого рода тему как нечто созвучное моим творческим интересам, и мне не случайно захотелось почитать Библию. У каждой жизненной поры есть свои склонности, свои притязания и вкусы, а может быть, и свои особые способности и преимущества. По-видимому, существует какая-то закономерность в том, что в известном возрасте начинаешь постепенно терять вкус ко всему чисто индивидуальному и частному, к отдельным конкретным случаям, к бургерскому, то есть житейскому и повседневному в

самом широком смысле слова. Вместо этого на передний план выходит интерес к типичному, вечно человеческому, вечно повторяющемуся, вневременному, короче говоря — к области мифического. Ведь в типичном всегда есть много мифического, мифического в том смысле, что типичное, как и всякий миф, — это изначальный образец, изначальная форма жизни, вневременная схема, издревле заданная формула, в которую укладывается осознающая себя жизнь, смутно стремящаяся вновь обрести некогда предначертанные ей приметы. Можно смело сказать, что та пора, когда эпический художник начинает смотреть на вещи с точки зрения типичного и мифического, составляет важный рубеж в его жизни, этот шаг одухотворяет его творческое самосознание, несет ему новые радости познания и созидания, которые, как я уже говорил, обычно являются уделом более позднего возраста: ибо если в жизни человечества мифическое представляет собой раннюю и примитивную ступень, то в жизни отдельного индивида это ступень поздняя и зрелая.

В моем изложении появилось слово «человечество». Речь шла о вневременных категориях типичного и мифического, и в этой связи оно всплыло само собой. Моя внутренняя готовность воспринять материал вроде легенды об Иосифе как нечто созвучное моим творческим интересам определялась намечавшимся тогда переворотом в моих вкусах: отходом от всего бюргерского, житейски-повседневного и обращением к мифическому. Но эта готовность определялась также и тем, что я был предрасположен чувствовать и мыслить в общечеловеческом плане, — я хочу сказать: чувствовать и мыслить как частичка человечества, — а эта предрасположенность была, в свою очередь, продуктом времени, — не только в смысле отмеренного лично мне срока, не только в смысле жизненной поры, в которую я вступил, но времени в более широком и общем смысле слова, продуктом нашего времени, эпохи исторических потрясений, причудливых поворотов личной жизни и страданий, поставивших перед нами вопрос о человеке, проблему гуманизма во всей ее широте и возложивших на нашу совесть столь тяжкое бремя, какого, наверно, не знало ни одно из прежних поколений. Книги вроде «Волшебной горы», которая была предшественницей «Иосифа» и представляла собой попытку пересмотреть всю совокупность проблем, волновавших Европу на заре нового века, уже можно считать порождением этой моральной обеспокоенности, криком смятенной и потрясенной совести. Психология сновидений отмечает любопытное явление: восприняв внешний толчок, вызывающий то или иное сновидение, например услышанный во сне звук выстрела, сознание спящего выворачивает причинно-следственную связь наизнанку и подыскивает обоснование этого толчка в долгом и запутанном сне, который кончается выстрелом (и пробуждением), тогда как на самом деле нервный шок был исходной точкой во всей мотивировке сна. Так и в романе о Волшебной горе: по внутренней хронологии произведения раскаты грянувшей в 1914 году военной грозы раздаются в конце книги, а в действительности они раздались в начале ее возникновения и были толчком, вызвавшим все ее мечтания и сны. То был сокрушающий, пробуждающий ото сна, преобразующий мир удар грома, — он завершил целую эпоху, — взрастившую нас бюргерскую эпоху, когда прекрасное могло еще представляться самоценным, и открыл нам глаза на то, что отныне мы не сможем жить и творить по-старому. И вовсе не Ганс Касторп, приятный молодой человек, плутоватый простачок, на которого обрушивается вся воспитующая диалектика жизни и смерти, болезни и здоровья, свободы и смирения, был героем этого романа о времени, — так кажется лишь с первого взгляда, подлинным же его героем был homo Dei[4 - человек божий (лат.)], человек, с религиозным пылом ищущий самого себя, вопрошающий, откуда он пришел и куда идет, что он такое и в чем его назначение, где его место во вселенной, жаждущий проникнуть в тайну своего бытия, разгадать вечную, вновь и вновь встающую перед нами загадку: «Что есть человек?»

Но в этом свете и возрожденная в форме романа легенда об Иосифе уже не покажется нам нарочито непривычным, расходящимся с общепринятым, уводящим от

современности произведением, теперь мы увидим в нем произведение, внушенное той заинтересованностью в человеке, которая не замыкается в рамках индивидуального, а распространяется на общечеловеческое, — окрашенную юмором, смягченную в своем звучании иронией, я сказал бы даже: стесняющуюся заговорить во весь голос поэму о человечестве.

Разумеется, такая характеристика уже сама по себе говорит за то, что свойственная этой книге трактовка мифа по самой своей сокровенной сути отлична от небезызвестных современных приемов его использования, приемов человеконенавистнических и антигуманистических, — мы все хорошо знаем, как они называются на языке политики. Ведь слово «миф» пользуется в наши дни дурной славой, — достаточно вспомнить о заглавии, которым снабдил свой зловеющий учебник присяжный «философ» германского фашизма Розенберг, этот идейный наставник Гитлера. За последние десятилетия миф так часто служил мракобесам-контрреволюционерам средством для достижения их грязных целей, что такой мифологический роман, как «Иосиф», в первое время после своего выхода в свет не мог не вызвать подозрения, что его автор плывет вместе с другими в этом мутном потоке. Подозрение это вскоре рассеялось: приглядевшись к роману поближе, читатели обнаружили, что миф изменил в нем свои функции, причем настолько радикально, что до появления книги никто не считал бы это возможным. С ним произошло нечто вроде того, что происходит с захваченным в бою орудием, которое разворачивают и наводят на врага. В этой книге миф был выбит из рук фашизма, здесь он весь — вплоть до мельчайшей клеточки языка — пронизан идеями гуманизма, и если потомки найдут в романе нечто значительное, то это будет именно гуманизация мифа...

Начинать всегда невероятно трудно: сколько всяких подходов нужно перепробовать, сколько вложить труда, как долго надо свыкаться с предметом и вживаться в него, прежде чем почувствуешь, что ты им овладел, усвоил его язык и сам можешь говорить на нем. А тогдашний мой замысел был столь нов и непривычен, что на этот раз я особенно долго напоминал того кота из поговорки, который ходит, облизываясь, вокруг блюдца с горячим молоком. Мне предстояло установить контакт с неведомым миром, миром мифическим, первозданным, а «установление контакта» означает для художника весьма сложный и интимный процесс — проникновение в материал, доходящее до растворения в нем, до самозабвенного отождествления себя с ним, — проникновение, из которого рождается то, что называют «стилем» и что всегда представляет собой неповторимое и полное слияние личности художника с изображаемым предметом.

Насколько авантюристичной казалась мне моя затея с мифологическим романом, видно уже из введения к «Былому Иакова» — первому тому цикла об Иосифе, которое является антропософским прологом ко всей тетралогии и носит название «Сошествие в ад»; это фантастическое эссе напоминает тщательную подготовку перед отправкой в рискованную экспедицию, — путешествие в глубины прошлого, к прапрадедам всего сущего. Пролог занял шестьдесят четыре страницы; это могло бы мне внушить — а действительно внушило — опасения относительно пропорционального объема всего произведения, особенно после того, как я решил, что одним только жизнеописанием Иосифа здесь не обойдешься и что тема требует от меня, чтобы я включил в книгу, хотя бы в общих чертах, всю предысторию легенды, историю отцов и праотцев Иосифа вплоть до Авраама и далее в глубь времен вплоть до сотворения мира. «Былое Иакова» заполнило целый толстый том; не придерживаясь естественной хронологии, то предвосхищая последующее, то возвращаясь к предыдущему, повествовал я о событиях его жизни и находил своеобразную прелесть в новизне общения с людьми, которые еще как следует не знали, кто они такие, или же судили о себе более скромно и смиренно, но зато глубже и вернее, чем современный индивид, с людьми, не опиравшимися на опыт

себе подобных, не имевшими корней в прошлом и в то же время бывшими его частицей, отождествляющими себя с ним и шедшими по следам прошлого, которое вновь оживало в них. «*Novarum rerum cupidus*»[5 - алчущий нового, бунтарь (лат.)] – никто не оправдывает эту характеристику лучше, чем художник. Никому другому не может так наскучить все старое и избитое, как ему, и нет никого, кто так нетерпеливо стремится к новому, как он, хотя в то же время он более, чем кто-либо другой, скован традициями. Смелость вопреки скованности, наполнение традиции волнующей новизной – вот в чем видит он свою цель и свою первейшую задачу, и мысль о том, что «этого еще никто и никогда не делал», неизменно служит двигателем всех его творческих усилий. Я никогда не мог бы ничего сделать, не мог бы даже взяться за какое-нибудь дело, если бы эта будоражащая мысль не сопутствовала моим начинаниям, а на этот раз ее благотворное присутствие казалось мне более ощутительным, чем когда-либо.

«Былое Иакова» и последовавший за ним «Юный; Иосиф» возникли от начала до конца еще в Германии. Работа над третьим томом, «Иосифом в Египте», совпала с тем временем, когда мой внешний жизненный уклад претерпел резкую ломку: я отправился тогда в путешествие, но не смог вернуться на родину и внезапно лишился всякой материальной опоры; остальную, большую часть романа мне суждено было дописать уже в изгнании. Моя старшая дочь, у которой хватило смелости захватить в Мюнхен еще раз, уже после переворота, и проникнуть в наш дом, – он был тем временем конфискован, – привезла мне рукопись на юг Франции, и там, оправившись от растерянности, охватившей меня на первых порах, когда все было мне внове и я чувствовал себя вырванным из родной почвы, я постепенно возобновил работу над романом, а продолжать и завершить ее мне пришлось на Цюрихском озере в Швейцарии, стране, которая целых пять лет гостеприимно предоставляла нам убежище.

Здесь-то передо мной и раскрылась высокая культура древнего царства на Ниле, чем-то полюбившаяся мне еще с отроческих лет и уже тогда довольно хорошо знакомая мне по книгам, так что я разбирался в этих вещах, пожалуй, лучше, чем наш гимназический законоучитель, который однажды на уроке спросил нас, двенадцатилетних юнцов, как древние египтяне называли своего священного быка. Я рвался ответить на его вопрос, и он вызвал меня. «Хапи», – сказал я. По мнению учителя, это было неправильно. Он пожурил меня за то, что я вызываюсь отвечать, хотя ничего толком не знаю. «Не „Хапи“, а „Апис“, – сердито поправил он меня. Но „Апис“ – это лишь латинский или греческий вариант подлинного египетского имени, которое я назвал. Люди Кеме говорили „Хапи“. Я разбирался в этом лучше, чем незадачливый учитель, но моя дисциплинированность не позволила мне разъяснить ему эту ошибку. Я промолчал, – и всю жизнь не мог простить себе этой молчаливой капитуляции перед ложным авторитетом. Американский школьник уж наверно не дал бы заткнуть себе рот.

Работая над «Иосифом в Египте», я порой вспоминал об этом маленьком происшествии из моих отроческих лет. Произведение, которое я пишу, должно глубоко уходить корнями в мою жизнь, тайные связующие нити должны тянуться от него к мечтаниям самой ранней поры моего детства, – лишь тогда я смогу признать за собой внутреннее право на него, лишь тогда уверю в то, что мое желание заниматься им имеет свое законное основание. Хвататься за какой-либо материал произвольно, не обладая давним, освященным любовью и знанием предмета правом на него, значит, на мой взгляд, подходить к делу несерьезно и по-дилетантски.

Третья книга об Иосифе благодаря своему эротическому содержанию похожа на роман больше, чем все другие части произведения, которое, если брать его как целое, в силу обстоятельств превратилось в нечто довольно сильно расходящееся с общепринятыми представлениями о романе. Этот литературный жанр всегда был очень гибким и изменчивым. В наши же дни дело, кажется, идет к тому, что скоро романом будет

считаться все что угодно, но только не сам роман. Впрочем, может быть, это Всегда так и было. Что касается «Иосифа в Египте», то читатель обнаружит, что его эротика и вообще все идущее от романа, несмотря на всю психологичность, тоже стилизованы здесь под миф; в частности, это относится к облеченной в сказочную форму сатире на сексуальные проблемы, скрытой в образах двух карликов: бесполого, но приветливого, и Дуду — злобного, но исполненного мужского достоинства крошечного самца. Здесь юмористически изображается связь половой сферы с изначальным злом — сцены, призванные сделать более правдоподобной «чистоту» Иосифа, объяснить то заданное мне библейским первоисточником сопротивление, на которое наталкиваются желания его несчастной госпожи.

Этот третий роман об Иосифе был написан в пору прощания с Германией: четвертый был создан в пору прощания с Европой. «Иосиф-кормилец», завершивший всю тетралогия, объем которой перевалил за две тысячи страниц, возник от начала до конца под небом Америки, главным образом под ясным небосводом Калифорнии, который чем-то сродни египетским небесам.

И вот отверженный фаворит Потифара заключен в крепость на Ниле, комендант которой оказался добрым малым и так полюбился Иосифу, что впоследствии тот производит его в управляющие, делает его в качестве верного друга и советчика одним из действующих лиц драматической повести своей жизни. Вот Иосифу поручают прислуживать знатным придворным — кравчему и хлебодару, которых в один прекрасный день заточают в крепость на время следствия. Вот Иосиф толкует сны знатных узников и сам видит вещие сны, и настает день, когда его поспешно освобождают из темницы, и он предстает перед фараоном. К тому времени ему исполнилось тридцать лет, а фараону — семнадцать. Этот глубоко одухотворенный и нежный отрок, богоискатель, как и отец Иосифа, влюбленный в мечтательную религию любви, взошел на трон, пока Иосиф томился в заточении. Он один из тех, кто предвосхищает будущее, христианин, родившийся до христианства, мифический прообраз «неподходящего путника на верном пути». Далее следует целая серия глав с многочисленными сюжетными ответвлениями, на протяжении которой Иосиф завоевывает полное доверие юного властителя и наконец принимает из рук фараона символизирующий власть перстень.

Теперь он стал министром, отдает известные из Библии дальновидные распоряжения, чтобы предотвратить голод, и вступает в продиктованный интересами государства брак с юной Аснат, дочерью жреца Солнца. Но тут повествование покидает пределы Египта, возвращается на место действия первого и второго тома, в землю Ханаанскую, затем в него вклинивается самостоятельная, внутренне замкнутая новелла, и с ней в роман приходит его самый примечательный женский образ, который является для него тем, чем была прелестная Рахиль для первой, а страдалница Мут-эм-энет — для третьей книги. Это Фамарь, сноха Иуды, страстная натура, женский прототип людей решительных и честолюбивых; став посвященной, эта язычница и дитя Баала не гнушается никакими средствами для достижения своей цели: выйти на дорогу обетования и стать прародительницей Мессии.

Но вот голод наступил; перед нами разворачивается цепь драматических событий, которые так хорошо знакомы каждому, ибо все они взяты прямо из той шкатулки, где хранятся воспоминания детства, и для того, чтобы держать читателя в напряжении, теперь остается только одно: самым тщательным образом выписывать каждую деталь, чтобы он увидел воочию, как было дело и почему все случилось именно так. Появление братьев Иосифа, его свидание с Вениамином, которого уже осенила догадка, серебряная чаша, подложенная в мешок с пшеницей, и как наделенная даром песен девочка поет под звуки лютни старцу Иакову, что сын его Иосиф жив и царствует в земле Египетской, — обо всем этом рассказано в мельчайших подробностях, так что читатель узнает (и, наверно,

моя мюнхенская машинистка тоже когда-нибудь узнает), как все это «произошло на самом деле». Роман доведен до тех скорбно-величавых эпизодов библейской легенды, где повествуется о кончине Иакова, отца героя, в стране Гошен, и Великое шествие его соотечественников, несущих в родные края набальзамированное тело патриарха, чтобы дать ему вкусить вечный покой в двойной пещере рядом с прахом его отцов, завершает всю эпопею, которая была спутницей моей жизни на протяжении пятнадцати бурных, полных событиями лет.

Многие склонны были видеть в «Иосифе и его братьях» роман о евреях или даже всего лишь роман для евреев. Да, обращение к материалу из Ветхого завета, конечно, не было случайностью. Мой выбор, несомненно, стоял в скрытой связи с современностью, полемизировал с ней, шел наперекор известным тенденциям, внушавшим мне глубочайшее отвращение и особенно непозволительным для немцев: я имею в виду бредовые идеи расового превосходства, которые являются главной составной частью созданного на потребу черни фашистского мифа. Написать роман о духовном мире иудейства было задачей весьма своевременной, — именно потому, что она казалась несвоевременной. Верно и то, что в изложении событий мой роман придерживается Книги Бытия, с неизменно шутивной серьезностью стараясь оставаться верным этому первоисточнику, и многие его места весьма напоминают толкование и комментарий Пятикнижия Моисеева, написанный каким-нибудь ученым раввином мидраш. Но тем не менее все еврейское составляет в романе лишь его передний план, точно так же как древнееврейская интонация повествования является лишь передним планом, лишь одним из равноправных элементов стиля, лишь одним из слоев его языка, в котором так странно смешаны архаичное и современное, эпическое и аналитическое. В последнем, четвертом, томе есть стихотворение — та самая песнь возвещения, которую музыкально одаренная девочка поет перед престарелым Иаковом и в которой столь причудливо переплетаются рифмованные реминисценции псалмов и строки с поэтической интонацией немецкого романтизма. Этот пример характеризует одну из главных особенностей всего романа — произведения, которое пытается объединить в себе очень многое и заимствует свои мотивы, рассыпанные в нем намеки, смысловые отзвуки и параллели, а также и самое звучание своего языка из самых разных сфер, ибо он ощущает и представляет себе все человеческое как нечто единое. Подобно тому как сфера иудейских преданий и легенд повсюду покоится на подведенных под нее опорах в виде элементов других, взятых безотносительно ко времени мифологий, так что они видны сквозь эту прозрачную среду, — так и образ главного героя романа, Иосифа, прозрачен и обманчиво изменяет свои черты в зависимости от освещения; в нем есть — и это отнюдь не случайно — нечто от Адониса и Таммуза, но затем он явственно оборачивается Гермесом и начинает играть роль по-мирскому ловкого посредника в делах, мудро пекущегося о выгоде, — роль, отведенную Гермесу в сонме богов, а во время его долгой и важной беседы с фараоном все мифологии мира — еврейская, вавилонская, египетская, греческая — сплетаются в такой пестрый клубок, что читатель, полагававший до сих пор, что держит в руках книгу библейско-иудейских легенд, теперь уж вряд ли вспомнит об этом.

Есть признак, позволяющий определить природу того или иного произведения, установить, в какую категорию оно стремится попасть, узнать его мнение о самом себе; этот признак — книги, которые его автор особенно охотно читает во время работы над ним, так как ощущает пользу от их чтения, причем, говоря о книгах и чтении, я подразумеваю не источники нужных автору сведений о предмете, не изучение материалов, а произведения мировой литературы, в которых он видит старших сородичей своих собственных планов и замыслов, высокие образцы, созерцание которых поддерживает в нем творческий дух и которым он стремится подражать. Все, что не может сослужить ему эту службу, не может пригодиться, не относится к делу — устраняется из соображений умственной гигиены: сейчас все это не показано, а, значит,

подлежит запрету. В годы работы над «Иосифом» в круг такого подкрепляющего чтения входили две книги: «Тристрам Шенди» Лоренса Стерна и «Фауст» Гете. Видеть их по соседству несколько странно, но каждое из этих столь разнородных произведений имело в качестве стимулирующего средства свою особую функцию, причем мне было приятно вспоминать о том, что Гете ставил Стерна очень высоко и однажды назвал его «одним из самых блистательных умов», которые знает человечество. Разумеется, чтение Стерна шло на пользу прежде всего юмористической стороне «Иосифа». Удивительная изобретательность Стерна по части юмористических оборотов, его щедрая выдумка, безукоризненное владение техникой комического — вот что влекло меня к нему; ведь все это было нужно и мне, чтобы оживить мой роман. А гетевский «Фауст», этот гигант, выросший из хрупкого лирического ростка и ставший делом жизни его творца и монументальным языковым памятником, этот потрясающе дерзкий эксперимент скрещивания волшебной оперы с трагедией о человечестве, пьесы для кукольного театра с поэмой о Вселенной! Вновь и вновь возвращался я к этому неиссякаемому кладезю языка, особенно ко второй его части, к эпизодам с Еленой, к классической Вальпургиевой ночи; и эта одержимость, это ненасытное восхищение проливали свет на тайную нескромность моих собственных помыслов, невольно выдавали, на что направлены честолюбивые стремления эпопеи об Иосифе, — ее собственные честолюбивые стремления, ибо на первых порах сам автор был, как это обычно случается, совершенно неповинен в таком честолюбии.

«Фауст» — это символический образ человечества, и чем-то вроде такого символа стремилась стать под моим пером история об Иосифе. Я рассказывал о начале всех начал, о времени, когда все, что ни происходило, происходило впервые. В том-то и заключалась прелесть новизны, по-своему забавлявшая меня необычность этой сюжетной задачи, что все происходило впервые, что на каждом шагу приходилось иметь дело с каким-нибудь возникновением, — возникновением любви, зависти, ненависти, убийства и многого другого. Но эта всеобъемлющая первичность и небывалость является в то же время повторением, отражением, воспроизведением образца; она результат круговращения сфер, которое перемещает уходящие в звездный мир высоты вниз, на землю, и возносит все земное ввысь, в область божественного, так что боги становятся людьми, люди — богами, земное находит свой прообраз в звездном мире, а человек ищет уготованный ему высокий жребий, выводя свой индивидуальный характер из вневременной, первобытной схемы мифа, которую он делает осязаемой и зримой.

Я рассказывал о рождении «я» из первобытного коллектива — Авраамова «я», которое не довольствуется малым и полагает, что человек вправе служить лишь высшему, — стремление, приводящее его к открытию бога. Притязания человеческого «я» на роль центра мироздания являются предпосылкой открытия бога, и пафос высокого назначения «я» с самого начала связан с пафосом высокого назначения человечества.

И все-таки какая-то немаловажная сторона индивидуальности этих людей еще находится в плену нерасчлененности коллективного бытия, свойственной мифу. То, что они называют духовностью и просвещенностью, — это как раз сознание того, что их жизнь есть претворение мифа в плоть и кровь, и их «я» выделяется из коллектива примерно так, как некоторые изваяния Родена, с трудом выбирающиеся, как бы пробуждающиеся из толщи камня. Окутанный покровом историй Иаков — тоже такая лишь наполовину обрисованная фигура: в его величавости есть нечто идущее от мифа, и в то же время она уже индивидуальна; культ, которым он окружает свои чувства, — за что его карает ревнивый вседержитель, — это мягкое по форме, но горделивое утверждение «я», которое с полным сознанием своего достоинства видит в себе главное лицо, подлинного героя драматической повести своей жизни. Это пока еще патриархально-благолепная форма обособления и эмансипации человеческой личности; с Иосифом, сыном Иакова, дело обстоит сложнее, его личность утверждает себя гораздо более дерзко и более

рискованным путем. Он не из тех, кто открыл бога, но знает, как с ним надо «обращаться»; не из тех, кто довольствуется ролью героя своей жизненной драмы, — он еще и ее режиссер, более того — ее автор и сам «расцветивает и приукрашивает» ее; в нем, правда, еще есть нечто от первобытно-коллективных форм существования личности, но эта причастность одухотворенная, целеустремленная, его острый ум постигает ее и тешится ею. Короче говоря, мы видим, что освобождающаяся человеческая индивидуальность очень скоро становится индивидуальностью художественного типа — восприимчивой, непостоянной и легко ранимой, предметом забот и тревог для нежно пекущихся о потомстве благолепно-патриархальных отцов, но наделенной от рождения такими задатками к развитию и созреванию, каких доселе не знал род людской. Смолоду это художественное «я» преступно эгоцентрично, оно живет на свете, нимало не сомневаясь в том, что все должны и будут любить его больше самих себя, и даже не подозревая, какие беды может навлечь на него эта уверенность. Но благодаря своей доброжелательной и сочувственной натуре, от которой оно все же никогда не отрекается, оно находит, вступая в пору зрелости, свой путь к общественному, становится благодетелем и кормильцем чужого народа в своих близких: в лице Иосифа человеческое «я» возвращается от высокомерного возведения самого себя в абсолют назад к коллективным началам, вливаясь в общество людей, так что эта сказка разрешает противоречие между служением прекрасному и служением согражданам, между обособленностью личности и ее принадлежностью к обществу, между индивидом и коллективом, подобно тому как это противоречие должно быть разрешено и будет разрешено, — ибо мы верим в это и хотим этого, — демократией Грядущего, путем сотрудничества свободных и не утративших своеобразие наций под эгидой несущей равенство справедливости.

Символический образ человечества, — что ж, пожалуй, мое произведение имело известное право вполголоса называть себя этим именем. Ведь оно вело от начала всех начал, от простейших прообразов, от канонических схем к сложности и запутанности позднейших времен. Путь из земли Ханаанской в Новое Египетское Царство — это путь от благочестивой примитивности, от праотцев, идиллически созидавших и созерцавших бога, к высокой ступени цивилизации с ее приманками и доходящим до абсурда снобизмом, в страну внуков, где Иосифу именно потому так хорошо и дышится, что он сам один из внуков, и душа его открыта для будущего.

Ведущий вдаль путь, продвижение вперед, изменение, развитие очень сильно ощущаются в этой книге, вся ее теология связана с развитием и выводится из него, точнее, из ее трактовки присущей Ветхому завету идеи союза между богом и человеком, то есть мысли о том, что богу не обойтись без человека, человеку — без бога и что стремления того и другого к высшим целям переплетаются между собой. Ведь и богу свойственно развитие, он тоже изменяется и идет вперед: от демонизма властителя пустынного космоса к одухотворенности и святости; и подобно тому как он не может пройти этот путь без помощи человеческого разума, так и разум человека не может развиваться без бога. Если бы меня попросили определить, что лично я понимаю под религиозностью, я сказал бы: религиозность — это внимание и послушание; внимание к внутренним изменениям, которые претерпевает мир, к изменчивой картине представлений об истине и справедливости; послушание, которое немедля приспособливает жизнь и действительность к этим изменениям, к этим новым представлениям и следует таким образом велениям разума. Жить во грехе — значит жить не так, как этого хочет разум, по невнимательности и из непослушания цепляться за устаревшее и отсталое и продолжать жить в этом заблуждении. И каждый раз, когда в книге заходит речь насчет «заботы о боге», речь идет о праведном страхе перед этим грехом и безрассудством. Эта «забота о боге» живет в моем романе повсюду: на пастбищах Ханаанских и на престоле Египетского царства. «Думать о боге» — значит не только стараться «выдумать» его, определить, что он такое, познать его, это прежде всего значит думать о том, чтобы выполнить его волю, с которой должны гармонировать наши помыслы, не упустить

сделать то, чему пришла пора свершиться, чему уже пробил срок на часах истории, чего требует век. Кто «заботится о боге», тот озабочен мыслью: не продолжает ли он считать правильным и справедливым то, что некогда действительно было истиной, но перестало быть ею, не живет ли он по этим, ставшим анахронизмом канонам; «забота о боге» — это благочестивое смирение, умение распознать дурное, устаревшее, все то, из чего человек уже внутренне вырос, что стало нестерпимым, невыносимым, или, на языке Израиля, «скверной». «Заботиться о боге» — значит всеми силами своей души внимать велениям мирового разума, прислушиваться к новой истине и необходимости, и отсюда вытекает особое, религиозное понятие о глупости: глупости перед богом, которая не ведает этой заботы или же пытается отдать ей дань, но делает это так неуклюже, как родители Потифара, ставшие супругами брат и сестра, приносящие в жертву Свету детородную способность своего сына. Глупцом перед богом оказывается и Лаван, все еще верящий в то, что долг повелевает ему заколоть своего маленького сына и похоронить его под фундаментом дома, что некогда считалось делом весьма благочестивым, но теперь уже не считается признаком благочестия. Первоначально люди знали только один вид жертвоприношения — приношение в жертву человека. Когда же наступил момент, в который человеческие жертвы стали считаться «скверной» и глупостью? Книга Бытия фиксирует этот момент в рассказе об Аврааме, который отказался заклать сына своего Исаака, заменив человеческую жертву животным. Здесь мы видим человека, уже настолько далеко ушедшего в познании бога, что он расстается с отжившим обычаем, выполняя волю божества, которое стремится приподнять — и уже приподняло нас — над подобными предрассудками. Благочестие — это своего рода мудрость: мудрость перед богом.

Нужно ли добавлять, что страдания, бремя которых мы сейчас несем, катастрофу, которая на нас обрушилась, мы навлекли на себя тем, что в нашем легкомыслии, которое давно уже стало преступным, растеряли последние остатки этой мудрости перед богом? В Европе, во всем мире было столько пережитков, столько явных и уже кощунственных анахронизмов и заскоружлых остатков прошлого, через которые мировой разум перешагнул, недвусмысленно повелел предать их забвению, а мы, глухие к его воле, все еще упорно сохраняли их. Дух всегда опережает действительность, косная материя следует за ним лишь с трудом — все это вполне понятно. Но столь болезненной, столь очевидно зловещей напряженности соотношения между истиной и действительностью в политической, социальной и экономической жизни народов, между тем, что давно уже постиг и свершил разум, и тем, что еще смело называть себя действительностью, — такой напряженности до сих пор, пожалуй, еще никогда не было; так где же, если не в нашем безрассудном непослушании разуму или, выражаясь языком религии, в нашем непослушании воле божией, следует нам искать подлинную причину той разразившейся наконец грозы, что оглушительно грохочет над нами? Но всякая разрядка — это восстановление утраченного равновесия, и, быть может, мы не так уж тщетно тешим себя надеждой, что после этой войны нам — или нашим детям и внукам — доведется жить в мире, где разум и действительность будут более счастливо гармонировать друг с другом, что мы «выиграем мир». В звучании слова «мир» всегда есть нечто религиозное, и люди обозначают этим словом один из даров мудрости перед богом.

2

в чреслах отцов своих (лат.)

3

самое важное — это готовность (англ.)

4

человек божий (лат.)

5

алчущий нового, бунтарь (лат.)